

Владимир Кантор

«...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА»

Россия: трудный путь к цивилизации

Владимир Кантор

«...Есть европейская держава»

Россия: трудный путь к цивилизации

Историософские очерки

Москва

РОССПЭН

1997

ББК 66.3  
К 19

Издание  
осуществлено при финансовой поддержке  
*Российского гуманитарного научного фонда*  
(РГНФ)

проект № 97-03-16073

**Кантор В.К.**

К 19 **«...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки.** – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – 479 с.

В предлагаемой читателю книге рассматриваются те проблемы, которые позволяют показать специфику русского приобщения к цивилизации. Это прежде всего отношение России к Западу; противостояние стихийных элементов элементам цивилизационно-организующим; тип национальной ментальности; роль степного начала как препятствия на пути к праву и закону; фактор насилия, всегда служившего провокацией цивилизационных срывов в России; весьма своеобразный наш демократизм, приводивший к тирании; отсутствие подлинной бюрократии при засилии чиновников; не сложившийся цивилизованный механизм смены поколений; страх буржуазного предпринимательства и роль литературы в христианизации страны, утверждении в ней идей просвещения и свободы.

Увидеть нынешнюю ситуацию в контексте предшествовавших событий, сквозных тем, проблем и архетипов тысячелетнего существования России и есть задача данной книги.

ББК 66.3

© В.К.Кантор, 1997.

© «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997.

ISBN 5-86004-106-3

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В своем «Наказе», подводя итог петровским преобразованиям, Екатерина Вторая твердо объявила своим подданным: «Россия есть Европейская держава»<sup>1</sup>. Это было не только внушение, не только постановка культурно-исторической и политической задачи, но и в значительной степени констатация факта: раз христиане — значит европейцы. Доказывала императрица свое утверждение ссылкой на успех введенных Петром Первым «нравов и обычаев европейских». Прежние же наши нравы, по мнению Екатерины, были нам не органичны, возникли из «смешения разных народов», усвоения их обычаев, чуждых «европейскому народу», поэтому так благотворны оказались и сравнительно легко привились петровские реформы<sup>2</sup>, вернувшие Россию в Европу. С тех пор проблема органичности для нас европейских принципов жизни — сущностная и почти государственная по важности тема русской мысли.

Отсюда — все «проклятые вопросы» русской духовности. Действительно ли Западная Европа — это «страна святых чудес» и в самом ли деле ныне там «ложится тьма густая» (А.С.Хомяков)? Надо ли противопоставлять Богу христианскому «русского бога», который есть «бог голодных, бог холодных, нищих вдоль и поперек» (П.А.Вяземский)? Справедливо ли утвер-

---

<sup>1</sup> НАКАЗ ея императорскаго величества ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЯ самодержицы всероссийския данный комиссии о сочинении проекта новаго уложения. Спб., 1893. С. 3.

<sup>2</sup> Там же.

ждение, что «умом Россию не понять», и благословил ли ее Царь Небесный (Ф.И.Тютчев)? И хорошо ли, что в рабском виде? Или Россией правит мрачный Уицраор (Даниил Андреев) и это — «страна уныний» (Н.А.Заболоцкий)? Можно ли в Россию верить или — без усилий новой христианизации — на ней можно «поставить крест»? Ответы, как правило, давались в профетическом духе, превращаясь в советы, в требование изгнания «чужеземных богов», включая порой и Христа, в воскрешение почвенного язычества или, на худой конец, оправдание и героизацию Чингис-хана и Батыя. А бывало и так, что западный мыслитель преображался под перьями «искателей правильного пути» во вполне национального идола, требовавшего фимиама и жертвоприношений. Вообще поиски отечественными любомудрами российской самобытности в концепциях западных мыслителей выглядели бы забавно, если бы не накладывались жесткими схемами на действительность, предавая забвению простые трудности российской истории.

К примеру, можно назвать трудность, абсолютно невнятную западноевропейской ментальности, ибо чуждую истории Западной Европы. Зато Екатерина Вторая, подлинная преемница Петра Великого — Преобразователя России, эту трудность назвала как самоочевидную: неимоверность неосвоенных пространств и мизерность народонаселения, просто физически не способного освоить и цивилизовать эти пространства. В главе XII своего «Наказа» она констатировала: «Россия не только не имеет довольно жителей, но обладает еще чрезмерным пространством земель, которые ни населены, ниже обработаны. И так не можно сыскать довольно ободрений к размножению народа в государстве»<sup>3</sup>. Не случайно для подлинно самобытных русских мыслителей — от Чаадаева до Бердяева — проблема «географического фактора» как препятствия на пути цивилизации России занимала важное место.

Предлагаемая читателю книга не есть книга советов и рекомендаций, схем и прожектов, направленных на

---

<sup>3</sup> Там же. С. 91.

совершенствование нашего настоящего и тем паче будущего. Судьба народа заключена в его истории, и ею определяется. Современная жизнь не более, чем некоторый этап в складывавшемся веками жизнеповедении. Если мы поймем, что привело нас к сегодняшнему дню, быть может, мы сумеем выявить некоторые принципы нашего развития. Увидеть нынешнюю ситуацию в контексте предшествовавших событий, сквозных тем, проблем и архетипов тысячелетнего существования России и есть задача данной книги.

Автор рассматривает те проблемы, которые позволяют показать специфику российского приобщения к цивилизации. Это: отношение России к Западу; противостояние стихийных элементов элементам цивилизационно-организующим; тип национальной ментальности; роль степного начала как препятствия на пути к праву и закону; фактор насилия, всегда служившего провокацией цивилизационных срывов в России; весьма своеобразный наш демократизм, приводивший к тирании; отсутствие подлинной бюрократии при засилии чиновников; не сложившийся цивилизованный механизм смены поколений; страх буржуазного предпринимательства и роль литературы в христианизации страны, утверждении в ней идей просвещения и свободы.

Культуры достигают цивилизации, увеличивая количество своих первоначальных смыслов, усложняя их, гуманизируя свои архетипы, усваивая опыт соседних, в том числе умерших культур, находя цивилизованные средства межкультурного общения помимо войн. Ведь на системе заимствования, приобретения и переработки чужих смыслов и ценностей держится взаимосвязь культур, их внутренний рост, их самообучение и взросление.

Человечество насчитывает не одну попытку построения универсалистских цивилизаций. Сейчас продолжается, пока наиболее успешное, построение новой мировой цивилизации, начало которой положено европейски-христианской культурой. Ее экстенсивное движение оказалось возможным в результате секуляризации «христианского мира» (отождествлявшегося до

XV в. с Европой). Сыграв свою роль воспитателя, христианство благотворно воздействовало на попавшую в поле его излучения человеческую ментальность, внушив гуманистические нормы поведения и морали. Теперь эти нормы существуют как бы внерелигиозно, определяя жизнь значительной части человечества. Именно поэтому влияние новой универсальной цивилизации переживают не только христианские страны, отколовшиеся от основного ядра в результате геополитических и антиисторических катаклизмов (Чехия, Польша, Словакия, Греция, Болгария, Россия, Сербия и др.), но и культуры, выросшие в лоне совсем вроде бы чуждых религий — от мира ислама до Японии, Тайваня, Южной Кореи и т.д. Этой цивилизации принадлежит континент Австралия и огромный американский континент (освоенные выходцами из христианской Европы), несмотря на разный социальный опыт и уровень жизни сложившихся там народов, на удивительную самобытность их культур. Вообще все страны входят в цивилизованное время-пространство не просто, многовековыми усилиями. В чем же особые трудности для России?

Казалось бы, после реформ Петра Великого развитие России вполне определилось. Как писал замечательный русский мыслитель Владимир Вейдле: «Допетровская русская культура была западней византийской, и потому дело Петра было лишь законным завершением того кружного исторического пути, который начался перенесением римской столицы в Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург»<sup>4</sup>. Константин положил начало раздвоению Европы, Петр приложил все силы к восстановлению европейского единства. Деяние воистину всемирно-историческое. После чудовищного потрясения двух мировых войн, октябрьской самоизоляции России от живой жизни Европы, десятилетий большевистского террора, умудренный всем этим катастрофическим опытом, русский философ находит очень ясные слова, своего

---

<sup>4</sup> Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956. С. 57.

рода итог полуторавековых споров славянофилов и западников: «Воссоединиться с Западом значило для России найти свое место в Европе и тем самым найти себя. Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия»<sup>5</sup>. Итоговых слов, однако, как показывает исторический опыт, не бывает. Они остаются как некие ориентиры, а все каждый раз приходится решать заново. В этом заключается бесконечный смысл человеческого мышления. Меняется ситуация, вынужденно меняются и темы, и ракурсы рассмотрения старых проблем.

Скажем, сегодня, после вторичного распада империи (уже не царской, а советской), и возникшего вследствие этого нового евразийского бума, нам яснее стала неизжитость когда-то сковавшего Русь степного ига. Русь очень долго выбиралась из этого кошмара. И хотя были стычки, была Куликовская битва, подлинного освобождения не произошло. То, что считается формальным завершением ига — стояние Ивана III на реке Угре в 1480 г., — все же не избавило страну от давления Степи. Не случайно в 1571 г. татарский хан еще довольно спокойно смог сжечь Москву, из которой постыдно бежал русский царь-самодержец. Если иго можно назвать своеобразной исторической болезнью, то изживалась она медленно, постепенно. И русские цари жили не только под вечным страхом, но и в подражании монгольской системе правления, не знавшей ни твердых законов, ни свобод, опиравшейся на принцип произвола. Поэтому могла эта болезнь заново вспыхнуть опричным террором Ивана Грозного или жестокостями Смуты.

Это состояние длящегося, но не осознаваемого нездоровья породило и своеобразную философию русской истории, находившуюся едва ли не в самой бо-

---

<sup>5</sup> Там же. С. 62.



лезни основания российского развития к прогрессу и цивилизации. В статье «Россия и свобода» Г.П.Федотов писал: «Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории, она — вслед за Соловьевым и Ключевским — приняла как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма) московско-татарское поглощение Руси, с непонятым оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве»<sup>6</sup>. Петровские реформы строились на весьма зыбком фундаменте плохо преодоленного «московско-татарского» прошлого, потому не произошло подлинного возврата к европейски-христианскому началу Руси, и петровский период занял не более двухсот лет. Петровско-пушкинская цивилизация была снесена волной стихии, антиевропейской и антихристианской по своей глубинной сути. Парадокс заключался в том, что разбудившая и будоражившая эту стихию интеллигенция не понимала исторического смысла своих усилий: полагая обогнать Запад, большевики обрушили Россию в еще не закрывшуюся черную дыру первого сбоя России на пути к цивилизации — в бездну бесправной жизни, восстановив принципы монгольской тирании. Не случайно, в первые же годы большевизма родилось евразийство, утверждавшее, что России заказан европейский тип жизни и цивилизации, что ее судьба — пространство, а не история.

Русские писатели петровско-пушкинского периода, начиная с прошлого века, понимали и строили духовную суть России как исторической страны. Именно поэтому они так остро почувствовали атмосферу преисподней (в которую попала при большевиках Россия), где все было направлено на уничтожение человеческого достоинства и жизни. «А в наши дни и воздух пахнет смертью: // Открыть окно что жилы отворить», — произнес в 1918 г. Борис Пастернак.

---

<sup>6</sup> *Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. СПб., 1992. Т. 2. С. 294.*

Случившаяся в конце восьмидесятых перестройка (название, кстати, абсолютно точное) не означала де-большевизации. Россия, к несчастью (исключая петровский период и период Великих реформ), развивалась — вопреки Вл.Соловьеву — не самоотречениями, а перестройками, которые сохраняли неизжитым варварский нигилизм и произвол: ведь помимо почвенного язычества Россия пережила и вторичную варваризацию во время татарского нашествия — традиция мощная. Из этой тяжелейшей ситуации внеисторического и противочивилизационного жизнеповедения и искала выход русская литература, пытаясь осмыслить Россию как христианскую страну или, по крайней мере, с точки зрения христианства. Анализируя и по возможности формируя ментальность своего народа. Именно поэтому диагнозы многих русских писателей прошлого актуальны и сегодня. Обращение к созданным ими художественным смыслам также позволяет оценить дальнейшее движение страны. Ведь оно все-таки происходит, подчиняясь внутренним нуждам и потребностям социокультурного организма. Понять их, не впадая в иллюзии или панику, трудное дело. Автор во всяком случае попытался.

Получилось ли — судить читателю.



Раздел первый

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
РОССИИ



## І. ЗАПАДНИЧЕСТВО КАК ПРОБЛЕМА «РУССКОГО ПУТИ»

Историософское осмысление пути России — одна из постоянных тем и проблем русской мысли. Представляется, что в резко изменившейся жизненной ситуации наших дней эта традиция нуждается в продолжении и развитии. Уже недостаточен анализ историософских идей прошлого, необходим сегодняшней, рожденный нынешним положением дел анализ «русского пути»: слишком серьезен и значителен пережитый и накопленный Россией опыт, чтобы не попытаться его заново осмыслить.

Стремление России последних лет, пытающейся выйти из кошмара тоталитаризма к европеизации — очевидно. Во всяком случае именно туда направлен курс нашего государственного корабля. Хорошо это или плохо? Еще недавно можно было, говоря о большевизме и катастрофических последствиях его господства, искать истоки зла в «русском западничестве», или, упрощая, в «продаже» русских интересов Западу (Ленин — немецкий шпион), а то и просто в мировом еврейско-сионистском заговоре (не забудем, что Маркс — немецкий еврей). Но уже сегодня мы живем в другой духовной, экономической и социокультурной реальности. Борьбу с «чуждыми влияниями» сменила — в ситуации распада советской империи — борьба за выживание: каждого человека в отдельности и всей России в целом, ибо именно она была становым хребтом СССР. Стало вдруг почти расхожим мнение, что

беды наши все же не от «иноверцев», а суть плоды самобытного роста и развития. И хотя неославянофилы не умолкают, они отнюдь не солируют. Они находят контакт с не вошедшими в современный истеблишмент бывшими партийными функционерами, — в результате возникает движение, известное сейчас под термином «красно-коричневые», или «патриоты». Коммунисты и «патриоты» суетятся, смыкаются с ксенофобской частью православного клира, объявляют отечество в опасности, но опять же есть четкое ощущение, что государственно-националистические призывы вспомнить величие России и блага социализма работают словно бы вполсилы. Народ все же за ними пока не идет.

Кряхтя и постанывая, он идет за нынешними так называемыми демократами и рыночниками, справедливо ругая их при том жульем и ворами, «демокрадами», но идет. Потому что за этими рыночниками — Запад, западная помощь, чистая и сытная западная жизнь, или, надо, наконец, осмелиться это сказать, — вековая российская мечта стать «столь же цивилизованными, как Запад». Ведь даже советизированная коммунистическая Россия пыталась усвоить себе достижения «прогнившего», буржуазно-индивидуалистического мира при сохранении разумеется, традиционной общинно-коллективистской структуры собственности и сознания. Но в какой-то момент преимущество Запада — прежде всего, как всегда, материально-техническое и военное — стало очевидным. И в сознании российского советского человека, вроде бы верившего в свое превосходство над всем остальным миром, вдруг произошел переворот и отказ от видения России, как богоизбранной страны, выразившей магистральную тенденцию человеческого прогресса. Сейчас кажется даже, что втайне каждый в нашей стране подзревал, что настоящая жизнь, подлинная справедливость, короче, «идеальное общество» находятся «где-то там», а уж дальше следовало типично российское представление об идеале: «текут молочные реки с кисельными берегами», а «жареные рябчики сами в рот

падают». И стоит нам только отказаться от представления о своем первородстве, как заживем сразу не хуже, чем «там»: мечта немедленно должна воплотиться в явь.

Видимо, и наши правители представляли себе поначалу ситуацию примерно так: привезенные с Запада — по гуманитарной помощи — продукты сразу улучшат нашу жизнь, а экономика расцветет. Однако вместо ожидаемого подъема уровень материального производства упал. Жить стало тяжелее. Очевидно дело в том, что хорошая жизнь «по-европейски» требует иных отношений собственности, иного отношения к труду, иной системы управления, иной ментальности, в конечном счете — появления независимой личности. Не буду даже обсуждать, являются ли «западниками» в классическом смысле этого слова нынешние «люди власти», взращенные по большей части в недрах брежневского партаппарата. Они вынуждены быть таковыми под давлением исторических обстоятельств, их «несет рок событий». Именно за лозунгами западничества: демократия, частная собственность, свобода — двинулась наиболее активная часть общества, определяющая народное движение. Когда-то такие же активные пошли за западным марксизмом — и оказались в сталинских лагерях. Сегодня манит новый мираж с Запада, новый идеал, идеал «потребительского общества»... Желание хорошо жить, не хуже соседа, — стимул, конечно, сильный...

Но встает серьезнейший и даже роковой вопрос: хватит ли у нас терпения и выдержки, силы и прилежания самим строить цивилизованное общество, не захотим ли снова просто отобрать имущество у соседа, иными словами, надолго ли этот поворот умов на Запад или это временное помутнение разума у народа, изверившегося в коммунизме и в православии, которое со времен Горбачева пытаются сызнова превратить в государственную идеологию. Не пройдет ли и вера в Европу? Уязвленное имперское самолюбие возьмет верх и — взревет из своей берлоги медведь национализма или даже национал-социализма... Что тогда? Даже подумать страшно. Поэтому и хотелось бы понять,



насколько, так сказать, «западническое» умонастроение отвечает особенностям российского исторического развития.

Разумеется, тема отношения России к Западу обсуждалась у нас неоднократно, хотя всего основательнее и активнее — в спорах «западников» и «славянофилов» в прошлом веке. Интересно, что западники считали Россию плохо воспринимающей уроки Европы, слишком медленно двигающейся в сторону цивилизации, а пытавшиеся противостоять этому «объевропеиванию» славянофилы, напротив, тревожились, что русское общество прямо на глазах теряет свою самобытность. Например, крупнейший теоретик славянофильства А.С.Хомяков писал: «Мы действительно ставим западный мир гораздо выше себя и признаем его несравненное превосходство»<sup>1</sup>. Кто был прав в своих тревогах? Мне кажется, что ни те, ни другие. Хотя общий пафос развития России в прошлом веке и можно определить как движение к европейскому типу цивилизации, парадокс этого развития в том и заключался, что переиначив по-своему рожденные на Западе идеи, Россия сумела отторгнуть и начавшие вкореняться европейские принципы жизни.

Среди наиболее явных симптомов русской духовной жизни, сосредоточивших в себе это взрывное сближение-отталкивание, был русский нигилизм, один из истоков большевизма. Скажем, Н.Н.Страхов утверждал, что нигилизм, «какого бы оттенка он ни был», всегда характеризуется «великим уважением к Западу», всегда «имеет там каких-нибудь божков и оракулов». То есть нигилизм, по его мнению, был проявлением «крайнего западничества»<sup>2</sup>. Тут, однако, возникало резонное возражение: что на самом Западе почему-то не существовало столь разрушительных «отрицателей всего мироздания». И наиболее пронизательные русские писатели, такие, как Н.С.Лесков, показывали в своей прозе,

---

<sup>1</sup> Хомяков А.С. Мнения русских об иностранцах // Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. С. 114.

<sup>2</sup> Страхов Н.Н. Бедность нашей литературы // Страхов Н.Н. Литературная критика. М., 1984. С. 76.

как прекраснодушный западный социализм вдруг превращался у нас в оголтелый русский нигилизм. Русский Левша подковывал блоху западных теорий, и она уже не могла скакать так, как было задумано построенным ее европейским механиком. Причиной такого превращения была специфика русской почвы, на которой из посеянных семян вырастали иные растения, чем предполагалось. И тот же Страхов, корректируя себя, замечал, что в нигилизме следует видеть «чисто русское явление», только разве возникшее «под влиянием западных явлений»<sup>3</sup>. Характерно, что и свидетели Октябрьской революции 1917 г. называли ее абсолютно русским событием (Лев Шестов и др.), инвариантом типичного русского бунта.

Все это вроде бы ясно и уже проговаривалось в литературе, но вопрос остается. Почему все же Запад был столь привлекателен для русской мысли, да и для народа, который шел под «западнические» знамена охотнее, чем под «славянофильские»? Почему даже в самых разрушительных своих деяниях Россия искала санкции Запада, ссылаясь на его теории? Ответить на эти вопросы необходимо, если мы хотим оценить перспективы сегодняшней «вестернизации» России. Ибо узлы проблем, которые мы нынче так неуклюже пытаемся распутать, завязаны не восемьдесят лет назад и не в эпоху первых русских революций, и даже не в XIX веке. XIX век лишь осмысливал доставшееся ему от прошлого миропонимание, сложилось же оно много раньше. Проблематика каждой культуры скрывается в ее истории, есть сама эта история.

Причину западной ориентации русской мысли можно определить достаточно просто. Россия через Запад тянулась к своим первоисточкам, ведь начало нынешней и восточной и западной Европы коренится в одном событии — в принятии христианства. И, разумеется, духовное родство России с Западной Европой, несмотря на отличие православия от католицизма и их вражду, было все же ближе, чем с мусульманским Вос-

---

<sup>3</sup> Там же. С. 78-79. Курсив Н.Н.Страхова.

током, с которым нас связала наша история. Тяга к Европе — это тяга к восстановлению разорванного когда-то сложными геополитическими противоречиями и варварскими нашествиями единства европейской культуры.

Причина же неусваиваемости результатов европейского развития Россией требует более пристального внимания и анализа. Можно вычлениить четыре характерные особенности складывания Российского государства. Две из них были благоприятны для ориентации Древней Руси на Европу, две другие оказались препятствием для общеевропейского единства.

1. **Призвание варягов**, — было ли оно на самом деле или так назвали потом норманнское завоевание. Из этого события ясно, что славянские и финские племена, составившие далее основу государства под названием Русь, находились в ареале западного влияния. Существенно и то, что пришедшие варяги остались на этой земле не как собиратели дани, а как ее жители и быстро ославянились.

2. **Крещение, принятие христианства**, то есть европейской религии. Русь, расположенная на перекрестке Запада-Востока, Европы-Азии имела возможность выбора религии. Она обратилась к Византии, с которой ее связывали торговые и иные отношения, бывшей в то время самой цивилизованной частью христианского мира. Империя Ромеев сторонилась молодых европейских государств, традиционно считая их варварскими. Но выбирая Византию, Русь не вдавалась в конфликт православия с латинской верой, да и Крещение произошло еще до Схизмы. Поэтому принятие христианства связало русское государство не только с Византией, русские князья стали еще активнее вступать в родственные отношения с королевскими дворами всей христианской Европы.

3. **Географический фактор: степная структура Древней Руси**. Отсутствие резко обозначенных естественных границ, бескрайность просторов придавала номадический характер жителям: всегда можно было перейти на другое место в поисках лучшей доли, не устраивая свой дом навечно на одном месте, как приходи-

лось европейцам. В.О.Ключевский писал: «Исторически Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой; но природа положила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию»<sup>4</sup>. Добавим, что очень важно, Азию особую — *степную*, номадическую.

**4. Татаро-монгольское завоевание Руси**, величайшее несчастье ее истории, во многом было предопределено именно географическим положением. «Пришло их на Русскую землю бесчисленное множество — как саранча, пожирающая траву, так и эти варвары христианский род истребляли»<sup>5</sup>, — сообщает летопись. Завоевание это и определило весь дальнейший характер развития России.

Славянофилы писали, что в Западной Европе история складывалась как результат взаимного сожительства двух племен: завоеванных и завоевателей, к примеру, галлов и франков. Россия же, не испытав завоевания, устроилась самобытно, на собственной основе. К сожалению, это суждение не отвечает истине. Если даже считать, что варягов пригласили на княжение сами славяне, то уж татар никто не звал. Наши необъятные просторы, замечал А.С.Пушкин, поглотили татар и спасли нарождающуюся европейскую цивилизацию. Конечно, это может служить национальным самоутешением, но не более того. Россия была форпостом между степной Азией и Европой, но в XIII в. степь поглотила этот форпост, отрезав молодое, безусловно бывшее составной частью средневековой Европы государство от его западных сородичей.

Мы говорим, что семидесятилетнее правление большевиков наложило неизгладимый отпечаток на нашу историю. Славянофилы утверждали, что Рим, разграбленный и потерявший все свое влияние Рим сообщил западным народам свой характер. Неужели же Золотая

---

<sup>4</sup> Ключевский В.О. Собр. соч. В 9-ти т. М., 1987. Т. I. С. 65.

<sup>5</sup> Летописные повести о монголо-татарском нашествии // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 161.

Орда, в течении нескольких столетий регламентировавшая социальные и политические отношения на Руси (еще в XVII в. Москва платила дань крымскому хану), никак не повлияла на ее судьбу?

Скажем, до сих пор не решенный Россией вопрос — это вопрос о земле, которая почему-то никак не может стать частной собственностью, каковой она давным давно стала в Западной Европе. Почему так? Ответ укрыт в нашем историческом прошлом. Ведь как бы ни обольщались на этот счет отечественные витии, но после завоевания Руси Батыем она как самостоятельная единица перестала существовать. Русские княжества стали частью золотоордынской империи, гигантской по своим размерам. И именно тогда установился на Руси принцип «монгольского права на землю», по которому вся земля принадлежала хану, то есть носителю высшей военно-государственной власти. Частных земельных собственников Золотая Орда не знала. Покоренные русские князья не владели больше своими княжествами, которые перестали быть их собственностью, а каждый раз получали из Орды, привозя дань, «ярлыки» — право на княжение и управление. Именно этот принцип владения землей переняла у татар московская Русь. Лишь с конца XVIII столетия в России ненадолго установилась земельная частная собственность. Но большевики, по сути, восстановили «монгольское право» на землю: она стала снова собственностью государства, а не частных владельцев. Такое отношение государства к земле дает неограниченную власть над подданными, лишая их самой основы независимости личности. И сегодняшней европеизации, чтобы состояться, надо суметь разрушить это и поныне существующее в России наследие татаро-монгольского владычества — государственное владение землей.

Многовековое владычество Степи повлияло на становление Русского государства, искривив его развитие, отделяя от европейских соседей. Казалось бы, христианство — фактор, единящий нас с Европой. Во всяком случае, на это надеется и надеялась современная ин-

теллигенция. Но наше православное христианство специфично. Степь оставила нам духовную связь только с Византией. Византия же откололась от динамично развивающегося западноевропейского мира. После гибели Византийской империи именно Московская Русь оказалась ее духопреемницей, приняв как завет и ее разрыв с Западом. Эту вражду культивировала и Орда, в принципе враждебная г о р о д с к о й Европе. Конечно, Русь вышла из язычества, она не стала мусульманской, и в этом безусловная заслуга православия. Но все же его роль была двойственная. Ибо, как заметил Пушкин в письме к Чаадаеву, православие, оставив нас христианами, отделило от остального европейско-христианского мира. В свое время заместивший православие как государственную идеологию марксизм, тоже взятый с Запада, стал работать по уже сложившемуся в культуре принципу. Скажем, с почтением говоря о предшественниках Маркса, мы старательно вычеркивали из своего сознания всю культуру современной Европы. Наш марксизм оказался аналогом православия, признававшего Вселенские Соборы до Схизмы, но категорически отрицавшего все, что происходило в европейской религиозной и культурной жизни после. Не случайно экуменическая попытка Вл. Соловьева, пытавшегося открыть православие навстречу миру. Не получилось.

И может ли сегодня стать орудием духовного раскрепощения эта религия, всегда бывшая в тесном союзе с властным государством, с тем, кто сильнее! Говоря о цезарепапизме византийской церкви, Владимир Соловьев замечал, что «ответственная преемница Византии есть русская империя. И теперь Россия, — писал он, — есть единственная христианская страна, где национальное государство без оговорок утверждает свой исключительный абсолютизм, делая из церкви атрибут национальности и послушное орудие мирской власти, где это устранение божественного авторитета не уравнивается даже (насколько это возможно) свободой человеческого духа»<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Сочинения. В 2-х т. М., 1989. Т. 2. С. 244.

Но здесь, кажется, не только простое следование византийской традиции (сыгравшей, разумеется, роль немалую) — подчинения иерархов церкви императорам. Эта традиция была усилена в России.

Степные завоеватели пощадили и сохранили православную церковь, но при неперемennom условии молебнов за ханов Золотой Орды, то есть они использовали церковь как полицейско-психологическую силу, укреплявшую их господство над покоренным народом. Вот она — «удивительная сметливость татар», о которой писал Пушкин! В награду за службу — это отмечали русские историки — татары дали церкви ряд привилегий: освободили от дани, закрепили за церковью недвижимые имения, находившиеся к тому моменту в ее владении, разрешили автономию церковного суда... Даже митрополит Макарий, избегающий говорить об ордынском господстве над православным клиром, приводит эпизоды, достаточно рельефно показывающие сложившуюся ситуацию. К примеру, он рассказывает, как в 1357 г. св. Алексий-митрополит ездил в Орду для «свершения молебствия о больной царице», т.е. о ханше Тайдуле, излечил ее и после некоторых перипетий получил от сына выздоровевшей — нового хана Бердибека (в том же году умертвившего своего отца Чанибека) — «новый ярлык, подтверждавший права и преимущества Русской церкви и духовенства»<sup>7</sup>. Эта сервильная приспособляемость и позволила православии выжить в самые разные времена. Впоследствии, как раньше за татар, молились ее иерархи за большевиков и служили в КГБ.

Характерно, что митрополичий престол церковь перенесла в Москву при Иване Калите, когда «ярлык» на великое княжение явно перемещался в Москву. И борьбу московских князей с татарами церковь поддер-

---

<sup>7</sup> Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Кн. 3. М., 1995. С. 40, 41. Стоит здесь привести слова глубокого исследователя древнерусской святости Г.П.Федотова о св. Алексии: «Основы политики Алексия были традиционны: мир с Востоком, борьба с Западом, концентрация национальных сил вокруг Москвы» (Федотов Г.П. Святые Древней Руси. Paris, 1985. С. 108).

жала только после того, как Москва стала равняться с Золотой Ордой. Выявилось это в благословении, которым напутствовал св.пустынный, игумен Троицкого монастыря Сергей Радонежский Дмитрия Донского на Куликовскую битву. По справедливому соображению Б.Зайцева, «преподобный Сергей вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. <...> Идут два процесса: разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется»<sup>8</sup>. Но и то первая его реакция — предложить приехавшему к нему за благословением князю откупиться от татар. И лишь после того, как князь сказал, что пробовал, но безуспешно, «благословил его, молитвой вооружил и сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредим в свое отечество вернешься»<sup>9</sup>. Характерна эта первоначальная, отраженная даже в его житии неуверенность святого Сергия: «если Бог поможет тебе». И лишь накануне битвы получил от него князь гонца со словами: «Обязательно поможет тебе Бог»<sup>10</sup>. Церковь окончательно поверила в Москву. И поставила ей в услужение все свое влияние.

В борьбе уделов победила Москва, надежно укрывшаяся от соседей под сенью ханского шатра. Ей благоволил тогдашний политический центр империи — ханы Золотой Орды, а потому ее поддержало и военнослужилое сословие, тоже в конечном счете зависевшее от милостей центральной, то есть ханской власти. Окрепнув и скопив силы, Москва сумела выйти из-под татарского ига, освободиться, но ее развитие пошло не протобуржуазным путем (варианты новгородской и галицко-волынской Руси), а путем золотоордынским, могучего самодержавия. Отбирая у князей их вотчины и уделы, Москва возвращала их им, но уже не в собственности, а в форме жалованья. «Малые родины поте-

---

<sup>8</sup> Зайцев Б. Преподобный Сергей Радонежский // Зайцев Б. Улица Святого Николая. М., 1989. С. 220.

<sup>9</sup> Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. М., 1981. С. 387.

<sup>10</sup> Там же.



ряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становится сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма», — писал Г.П.Федотов. В результате и утвердилось, по его же выражению, «православное ханство»<sup>11</sup>.

Наследовав от Орды вражду к Западу, к его принципам жизни — упорядоченности, методичности, трудовой выдержке, Московская Русь наследовала и ее специфику. А специфика кочевого варварства — в паразитарности, в отсутствии собственной производительной силы. Что не исключает, разумеется производства оружия массового поражения: от лука и стрел до ядерных ракет. Кстати, татары раньше русских стали использовать при штурмах крепостей артиллерию. К этому надо добавить произвол как норму жизни и права, а также привычку к поборам, к дани. Русский человек с легким сердцем берет дань, быть данником он также привык. А как широко распространился этот обычай в среде русского чиновничества, вплоть до современных хапуг: дать взятку, брать взятку, да разве проживешь в России без этого, прокормишь семью, воспитаешь детей?! Чаадаев писал: «Жестокое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и донныне»<sup>12</sup>. Евразийцы в 20-е годы нашего века подтвердили чаадаевский диагноз, увидев в империи большевиков возврат к империи Золотой Орды. Не случайно, Сталин постоянно апеллировал к идеологии Московской Руси, к Ивану Грозному, то есть к Руси, ставшей правопреемницей татарского ханства. «Железный занавес», опущенный большевиками между Россией и Европой, явился символом все того же степного отторжения Руси от Запада. Нет сомнений, что Заболоц-

---

<sup>11</sup> Федотов Г.П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. СПб., 1992. Т. 2. С. 282.

<sup>12</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 509.

кий имел в виду «вождя всех народов» (на это указывают современные слова — «портупей», «генералиссимус»), когда описывал татарского хана:

Наполнив грузную утробу  
И сбросив тяжесть портупей,  
Смотрел здесь волком на Европу  
Генералиссимус степей.  
Его бесчисленные орды  
Сновали, выдвинув полки,  
И были к западу простерты,  
Как пятерня его руки

(«Рубрук в Монголии»).

Освобождение русского государства от татарского ига не отменило степного произвола по отношению к собственному народу, который воспринимался как данник государства. Русский простолудин оставался в положении не просто бесправном, а в положении постоянного страха, что его правители, наследники татарских ханов, отберут у него все им благоприобретенное: никаких гарантий собственности, чести и достоинства личности Россия очень долго не могла выработать. Это не очень замечали русские летописцы, но фиксировали приезжие европейцы. Характерна запись англичанина Дж.Флетчера (в конце XVI в.): «Чрезвычайные притеснения, которым подвержены бедные простолудины, лишают их вовсе желания заниматься своими промыслами, ибо тот, кто зажиточнее, тот в большей находится опасности не только лишиться своего имущества, но и самой жизни. <...> Вот почему народ, хотя вообще способный ко всякому труду, предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем, кроме дневного пропитания»<sup>13</sup>. Так что наша работа «спустя рукава» имеет давнюю традицию. К тому же, не обладая собственностью, русский человек всю свою историю работал «на того парня»: на татар, на помещиков, на коммунистических чиновников. Традиция жизни — без собственности, которую можно оставить в наслед-

---

<sup>13</sup> Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии. М., 1991. С. 70.

ство потомкам. А следовательно, и без реального будущего, но с устремленностью в мифическое время-пространство, где «все хорошо».

Такие вот сложились отношения, препятствовавшие России (при всем ее безусловном стремлении) вернуться в Европу, откуда, как писал С.М.Соловьев, ее вытеснила «история-мачеха». Но не просто вытеснила. Вытеснила, отдав ей — отошедшие от монголов — огромные пространства, во много раз превышающие территории всех государств Европы вместе взятых. «Есть один факт, — замечал Чаадаев, — который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это факт географический»<sup>14</sup>. По справедливому напоминанию В.Н.Топорова, в Европе со времен Ренессанса существует миф, идея — о победе культуры и цивилизации над пространством, подчинении его человеку путем последовательного наложения на него форм и образов, усваивающих пространство Великому художнику — будь то Бог или человек. «Через мир вещей и через человека (последующий уровень творца вещей), — пишет он, — пространство собирается как иерархизированная структура соподчиненных целому смыслов»<sup>15</sup>.

В России эти пространства были слишком безграничны, потому и служили препятствием материального и духовного развития страны. У нас от мысли до мысли — пятьсот верст, иронизировал П.А. Вяземский. А Андрей Белый патетически восклицал: «Исчезни в пространстве, исчезни, // Россия, Россия моя!» Вряд ли такое мог произнести любой из европейских поэтов. Это бескрайнее пространство накладывало от-

---

<sup>14</sup> Чаадаев П.Я. Указ. соч. С. 154.

<sup>15</sup> Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 242.

печаток и на социальное мироощущение народа, рождало чувство безнадежности: «До Бога высоко, до царя далеко». Значит, справедливости не найдешь, ногами не выходишь. Не случаен на Руси тип **странников**, а впоследствии **ходоков**, ищущих правду у властей. Не случайно, скажем, в советской иконографии была столь знаменита картина И.Бродского «Ходоки у Ленина», — до нового царя, стало быть, дошли. Освоить, цивилизовать, культурно преобразовать невероятные российские территории — задача огромной сложности: как считал А.Тойнби, практически неразрешимая. Когда эти пространства подчинялись кочевым племенам Чингисидов, речь об их освоении и не могла идти. Именно в таком виде они и были нужны кочевникам, потому что все остальное они добывали грабежом оседлого населения и других стран.

После того, как они достались во владение христианскому земледельческому народу (название «крестьяне», как полагал Карамзин, идет от презрительно переименованного татарами слова «христиане»), хоть и со склонностью к номадизму, ситуация переменилась. Пространства начали осваиваться: и свободным почином самого народа (землепроходцы, бежавшие из центральной России старообрядцы и т.п.), и самим государством — ссылкой в отдаленные земли империи преступников и инакомыслов. Но эта географическая протяженность и безразмерность державы сказалась и на духовном развитии ее жителей, сообщая народу, с одной стороны, удаль и размах, с другой — обеспоживая его стремления и реализации возможностей: все равно всего не освоишь, можно все бросить и уйти на новое место и т.д. В своей статье «О власти пространств над русской душой» Бердяев писал: «Необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а порабощает ее. <...> Эти необъятные русские пространства находятся и внутри русской души и имеют над ней огромную власть. Русский человек, человек

земли, чувствует себя беспомощным овладеть этими пространствами и организовать их»<sup>16</sup>. Но культурное освоение земельных просторов Российской империи, раскинувшейся на территории бывшей империи Чингис-хана, тем не менее шло. Исходная, европейская тенденция пробивалась постоянно, даже когда, казалось бы, целые столетия страна жила по совсем иным принципам. Иначе не возникли бы великая литература и искусство XIX столетия, попытавшиеся духовно оформить, осмыслить и образить свою Родину. Культурно-генетический код оказывал влияние на жизнь страны сквозь все напластования искажавших его исторических событий.

При Иване III произошло в 1480 г. знаменитое стояние на реке Угре, когда татары впервые не осмелились напасть на русских в открытом поле (впрочем, русские не решились тоже). К этому моменту Орда уже распалась на не очень большие ханства (прежде всего в результате внутренних междоусобиц, а также после разгрома татар на рубеже XIV-XV вв. Тамерланом). Эти ханства по-прежнему представляли опасность для Руси, хотя и перестали быть постоянной угрозой, ломавшей внутреннюю жизнь народа. И именно Иван III поворачивает свой взор к Западу. При дворе появляются в немалом количестве иностранцы, князь берет в жены племянницу византийского императора Софью, жившую в Риме, да еще сосватанную ему римским папой. Причем заинтересованность Москвы в этом браке такова, что приехавшие за невестой послы (а главным поверенным великого князя был его подданный Иван Фрязин, «венецианского происхождения», замечает Карамзин) уверяли папу *«о ревности их монарха к благословенному соединению церквей»*<sup>17</sup>. Разумеется, в результате Рим остался ни с чем, выиграл лишь московский князь, получивший право называться преемником византийского императора. Соединения церквей не произошло, Иван Фрязин был обви-

---

<sup>16</sup> Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 63.

<sup>17</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V—VIII. Калуга, 1993. С. 200. Курсив Н.М.Карамзина.

нен в латинстве и посажен в тюрьму, а Софья стала истово православной. Но, как писал Карамзин, «главным действием сего брака <...> было то, что Россия стала известнее в Европе, <...> начались государственные сношения, пересылки; увидели москвитян дома и в чужих землях; говорили об их странных обычаях, но угадывали и могущество»<sup>18</sup>.

Далее произошел даже ряд побед над татарами, были разгромлены при Иване Грозном Казанское и Астраханское ханства. Внешнее давление на Русь, мешавшее ей жить по своему хотению, вроде бы было устранено окончательно. Интересно, что Иван IV любил подчеркивать свое западноевропейское происхождение<sup>19</sup>, переписывался с представителями европейских царствующих династий, в войсках у него служили западные наемники, думал об убежище в Англии, искал выход к Балтийскому морю (хотя из-за его тиранства Ливонская война была позорно проиграна). Но в своем правлении он при этом оказался резким антизападником, воплотив в высшей степени татарский произвол на московском престоле. Интерес к Западу был у него чисто прагматический, о европеизации России он не помышлял. Напротив, опасался европейского примера свобод для своих подданных, понимая, что прельщенные западными преимуществами русские люди захотят такой же жизни. Пожалуй, наиболее реформаторские планы были — до Петра I — у Бориса Годунова. Он отправил двадцать молодых людей учиться в Европу, хотел выдать дочь за шведского принца, затем датского герцога, собирался основать в Москве университет — на сто пятьдесят лет раньше, чем сделала это Елизавета и т.д. Но все его замыслы и начинания потерпели крах. Татары как помеха связи с Европой исчезли, но остались внутренние проблемы, внутренняя Степь. И чтобы преодолеть ее, нужна была абсолютная власть. Борису же не хватало легитимности, а потому не было поддержки страны.

---

<sup>18</sup> Там же. С. 203.

<sup>19</sup> «Мы от Августа кесаря родством ведемся», — писал он в 1573 г. шведскому королю Юхану III (Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 136).

В России, как показывает исторический опыт, для проведения европейских реформ необходима безграничная власть самодержца, ибо — при господстве огромного неосвоенного пространства — отсутствуют необходимые инфраструктуры, на которые мог бы опереться реформатор. И прежде всего — подлинно городские структуры. В Европе, замечал С.М.Соловьев, город разбогател и освободил село. Россию X-XII вв. скандинавы называли «Гардарикой», страной городов. Города были сильны и могли выставить ополчение не слабее княжеской дружины: не только Новгород, но и город великокняжеского престола — Киев. Но после захвата Руси татарами и оттоке населения на северо-восток, где города складывались не сами собой, а создавались как опорные пункты княжеской власти, ситуация изменилась. И города Московской, северо-восточной Руси существовали уже на основе полной подчиненности князю. К тому же «княжеские города» были превращены татарами в центры по сбору дани. Так независимость, на которой выросло и сформировалось западноевропейское бюргерство, втянувшее и деревню в торговые отношения, была Русью в эти столетия утрачена. И получалось, что город, прежде всего столичный, с ярлыком великого княжения, высасывал соки из деревни, но не для себя, а для хана. Кстати, механика подобных отношений досуществовала до недавних дней. В СССР столица каждой республики паразитировала на всем остальном населении; хотя самими горожанам доставались объедки, они жили сытнее села, но основной собранный продукт шел жившим в столицах новым ханам — партийной номенклатуре. Западный стиль жизни — городской, там и село напоминает город, не уступая ему своей благоустроенностью. Наши города стали по сути своей *антигородами*. Поэтому так очевидно захлебывались все попытки европеизации Московской Руси, унизившей и разгромившей другие города, да и Москву превратившей не в город, а в своего рода военную ставку, местопребывание и местожительство высшего состава власти.

Об этом коренном отличии европейской истории от русской писали отечественные западники начала XX века. Приведу слова М.И.Туган-Барановского: «Средневековый город, цеховое ремесло были почвой, из которой выросла вся цивилизация Запада, весь этот в высшей степени своеобразный общественный уклад, который поднял человечество на небывалую культурную высоту. Город создал новый общественный класс, которому суждено было занять первенствующее место в общественной жизни Запада — буржуазию. Достигнув экономического преобладания буржуазия стала и политически господствующей силой и вместе носительницей культуры и знания. <...> Историческое развитие России шло совершенно иным путем. Россия не проходила стадии городского хозяйства, не знала цеховой организации промышленности — и в этом заключается самое принципиальное, самое глубокое отличие ее от Запада, отличие, из которого проистекали, как естественное последствие, все остальные. Не зная городского хозяйственного строя, Россия не знала и той своеобразной промышленной культуры, которая явилась отправной точкой дальнейшей хозяйственной истории Запада»<sup>20</sup>.

И все же попытки европеизации со времени Бориса Годунова не прекращались. Характерно, что *пришедшего с Запада* Лжедмитрия народ принял с восторгом и надеждой. Но как реформатор он себя проявить или не успел или не сумел. После его убийства и низложения Шуйского на русский престол избирается даже католик, польский королевич Владислав. Но никаких реальных деяний по переустройству и, так сказать, «облагодетельствованию» Руси, чего так ждали москвиты, не происходило. Продолжалась смута, разбой и грабежи. Народное ополчение во главе с купцом Мининым и князем Пожарским поляков выгнало. Избрали русского царя Михаила Романова — установилась не иноземная, не варяжская даже, а чисто русская династия.

---

<sup>20</sup> Туган-Барановский М.И. Интеллигенция и социализм // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 419-420.



Но именно в правление дома Романовых Россия упорно и настойчиво двинулась на Запад. Западнический интерес московских государей, выведивших страну из-под ордынского ига, еще не мог оформиться в целенаправленную политику. После них Европа из полумифического чужака (царь Иван III к нему за невестой посылал, Мономахиной, почти царь-девицей сказочной) становится реальным соседом (военное и культурное давление Польши, европейские посольства при Московском дворе, английские, немецкие и скандинавские купцы), с которым надо было вступать в некие отношения — деловые, военные, культурные. И говорить с ним по возможности на равных. Для этого необходимы были преобразования, хотя бы на уровне высшего слоя (прежде всего европейское обучение), включающие и модернизацию идеологии, что позволило бы осмысленно противостоять ставшему опасным для России католицизму. Первая серьезная попытка предпринимается сыном Михаила — Алексеем Михайловичем. При нем состоялась проведенная патриархом Никоном знаменитая церковная реформа.

Дело в том, что русское православие к тому моменту, исходя из самовозвеличивающей идеологемы, что «Москва — это третий Рим», совсем закоснуло в изоляции от всего мира. Русская церковь чувствовала свою ущербность, комплекс неполноценности (никто с ней особенно не считался: европейские духовные лица даже защищали диссертации на тему «Христиане ли московиты?», а православные им ответить не умели), переходящий в манию величия (зато мы-то и сохранили истинную веру). Это мешало самым простым контактам с западными конфессиями. Даже с греческой церковью были осложнены связи из-за устаревшего перевода богослужебных книг. Были приглашены переводчики и богословы из Греции, книги исправлены... И тут оказалось, что значительная часть народа не приемлет этих «еллинских борзостей». Сторонники старого обряда откололись от церкви и государства, поддерживавшего и в известном смысле инициировавшего нововведения Никона. Парадокс и урок русского

раскола однако в том, что испугавшаяся европеизации часть народа, вынужденная жить религиозно и экономически самостоятельно, как бы вне и помимо государства, *раньше и органичнее пришла к западному пути, чем оставшаяся с правительством*. Когда реформы Александра II, бывшие по сути дела буржуазной протореволюцией, начали пробуждать в русском обществе экономическую самостоятельность, выяснилось, что жившие независимо старообрядцы дали России наибольшее число «крепких» купцов и промышленников. Все наши Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Щукины, Гучковы, Рябушинские — из старообрядцев. Потому что западный путь — это путь социально, экономически и духовно независимых единиц, которого самодержавие — хоть и стремившееся в Европу, но оставшееся по отношению к народу «православным ханством» — принять не могло.

Вернемся, однако, от старообрядцев к определяющей линии российского развития. Тот факт, что значительная часть народа осталась с государством, говорит либо о привычке покоряться, либо о том, что большинство русских не было против европейских перемен. Романовы не умели поначалу показать выгоды европейской жизни даже высшему слою России, боясь малейшей независимости народа, решительно расправляясь с любыми недовольствами и оппозицией, которые чудились правительству проявлениями российской дикости, а не элементами будущей свободы, и все же, говоря словами Карамзина, «царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах»<sup>21</sup>. После запрета иностранцам покупать дома и селиться в Москве, — неподалеку, на реке Яузе, сложился маленький европейский мирок — «Немецкая слобода». Там жили ремесленники, врачи, техники, офицеры, купцы и заводчики, выписанные царским двором для своих нужд, там и воспитывался будущий преобразователь России Петр I. В своих ре-

---

<sup>21</sup> Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 31.

формах он искал знания, специалистов, он просил: «научи, как». Он хотел, чтобы русские вестернизировались, сами стали производителями, а не просто пользовались готовыми европейскими продуктами. Поэтому он ориентировал русского человека на *учебу* у Запада. «Я принимаю и ласкаю чужестранцев, — говорил он, — для того токмо, чтобы они охотно у нас оставались, и дабы от них научиться и подражать их наукам и искусству, и следовательно для благосостояния Государства и очевидныя пользы моих подданных»<sup>22</sup>. Строя же Петербург по образцу Амстердама, он создавал среду городского обитания для русского европейски ориентированного человека.

Но недостатки, как известно, суть продолжения достоинств. Не надеясь на помощь православной церкви в сближении с Западом, Петр превратил ее в один из государственных департаментов, упразднив патриаршество и поставив во главе Синода обер-прокурора, назначаемого царем. Такой вроде бы вызванный необходимостью шаг, во-первых, окончательно закрепостил церковь государству, поддержав самые худшие, рабские ее тенденции, а, во-вторых, лишив независимости, воспрепятствовал возможности ее собственной эволюции в сторону открытости миру и обновления. Эту роль отныне берут на себя светские верующие мыслители (от А.С.Хомякова до В.С.Соловьева и Л.Н.Толстого).

С петровскими реформами, продиктованными внутренним устремлением России, возникла, однако, диспропорция, оказавшая, быть может, более негативное влияние на судьбу страны, чем закрепощение церкви. Об этом едва ли не первым сказал Н.М.Карамзин: «Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность. Петр ограничил свое преобразование дворянством. Дотоле, от сохи до престола, россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, — со времен Петровых высшие степе-

---

<sup>22</sup> Петр Великий в его изречениях. М., 1991. С. 90.

ни отделились от низших, и русский земледелец, механик, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний»<sup>23</sup>.

Эта культурная диспропорция была закреплена социально-экономическим указом Екатерины II об уравнении поместий в правах с вотчинами, по сути первой русской «приватизацией». Что это значило? В России, по «монгольскому праву на землю», поместья, которые имели русские дворяне, не были их собственностью, а всего лишь временным жалованьем за службу. Один из крупнейших отечественных историков С.Б.Веселовский отмечал, что московские государи смотрели на поместные земли как на свою собственность и распоряжались ими совершенно свободно. Они отбирали их, смотря по надобности, не только за неисправность владельца по службе или за выходом его в отставку, но также и независимо от вины и вообще служебных обязанностей помещиков. Поместный же крестьянин не был принадлежностью помещика, он был тяглец, крепкий земле, а не помещику. Но по указу Екатерины II поместная земля стала частной собственностью дворянина. А стало быть, и крепкие этой земле крестьяне оказались собственностью помещика, превратившись в своего рода рабов. Конечно, это была своеобразная форма рабства, со множеством оговорок: скажем, крестьянина *де юре* нельзя было продавать отдельно от земли, но *де факто* такая продажа была обычной процедурой. Не случайно, на этой коллизии построен великий русский роман «Мертвые души». Иными словами, можно сказать, что Россия в верхнем своем слое приобщилась к европейскому типу частнособственнических отношений, но — за счет собственного народа.

Крестьянин всегда воспринимал помещика как слугу государева, который собирает с него подати для пользы государственной. Но с изменением положения дворянства, когда оно стало действительным собствен-

---

<sup>23</sup> Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. С. 33.

ником, крестьянин начал относиться к дворянам, как к врагам-иноземцам, которые *грабят* его из личной выгоды, как грабили когда-то татарские баскаки. Славянофил Ю.Ф.Самарин это довольно пронизательно заметил, сказав, что народ покоряется помещичьей власти, как некогда покорялась Россия владычеству монголов, в чаянии будущего избавления. Этот разрыв, когда часть народа попыталась жить по западноевропейским принципам, а другая, причем большая, осталась в допетровской Руси, и вызвал невероятной силы конфронтацию, что привела в результате к сокрушительной революции 1917 года, которая *всех* вернула во внеевропейские, «монгольские» структуры жизни.

Если сегодняшняя приватизация будет проводиться таким же «ломовым» решением, а владельцами частной собственности станут лишь «слути государевы», то есть бывшие чиновники партийного и государственного аппарата, будет сохраняться опасность нового взрыва. Только если весь народ пройдет через опыт частной собственности, как некогда прошла Западная Европа, станет позволительным говорить о действительной европеизации русского человека, вошедшей в состав нашей ментальности, из мечты превратившейся в *образ жизни*. Ведь нельзя забывать, что и большевики считали себя западниками и европейцами.

Дело в том, что наряду с, так сказать, настоящим западничеством существовало и *псевдозападничество*, провозглашавшее вроде бы ту же цель — европеизацию России. Различать их трудно, но необходимо. Настоящее западничество — это вера культуры в свои силы, в то, что, научившись, она окажется способной состязаться, соревноваться с Западом, не стараясь, однако, навязать ему свою волю. Например, западник К.Д.Кавелин писал: «Нам не следует, как делали до сих пор, брать из Европы готовые результаты ее мышления, а надо создавать у себя такое же отношение к знанию, к науке, какое существует там. В Европе наука служила и служит подготовкой и спутницей творческой деятельности человека в окружающей среде и над

самим собой. Ту же роль должны мысль, наука играть и у нас. <...> Такой путь будет европейским»<sup>24</sup>.

Но в своем стремлении к европейским благам русская культура, русский народ избрали иной тип западничества, я бы назвал его «*степным*», варварским, или *псевдозападничеством*. Это — отношение к Европе, как к некоему сакральному чудо-месту, откуда можно взять «готовый результат» — мышления ли, техники ли, с тем, чтобы утвердить свое первенство над миром. Взять готовый продукт и им же побить тех, у кого взяли. Начиная с Герцена, возникает идея, что главное создание Запада — учение о социализме, мы же к социализму предрасположены больше, чем Запад, потому что институт частной собственности у нас развит много меньше. Значит, мы должны усвоить теорию социализма, а остальное приложится — и мы мигом окажемся в том светлом будущем, к которому Запад только еще идет, таким образом обогнав его. Именно о таком псевдозападничестве написал в своей поэме «Россия» (1924) Максимилиан Волошин:

На дне души мы презираем Запад,  
Но мы оттуда в поисках богов  
Выкрадываем Гегелей и Марксов,  
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,  
Куриль в их честь стираксою и серой  
И головы рубить родным богам,  
А год спустя — заморского болвана  
Тащить к реке, приязанным к хвосту.

Напрасно наиболее трезвые и европейски просвещенные умы России предупреждали, что этот путь гибелен, что на Западе много и других учений, нейтрализующих учение о социализме, обогащающих его, что нельзя, пользуясь плодами с древа европейской цивилизации, забывать о ее сложной корневой системе, что было бы трагическим заблуждением считать, что одна-единственная теория, взятая с Запада, может стать фундаментом всей русской жизни, что таким путем мы сможем привить себе европейскую цивилизацию. Это

---

<sup>24</sup> Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1989. С. 317.

будет на самом деле очередной фасадной вывеской, на которой будут написаны европейские слова, а скрывать она будет дикость и варварство.

Так и получилось. Вместо того, чтобы вестернизировать Россию, большевики снесли и те европейские институты, которые снова пустили корни на нашей земле: земельную и иную частную собственность, суд присяжных, земское самоуправление, попытались уничтожить христианство даже в его сервиллистском православном облике и т.п. Россия со времен ее «московизации» строилась, как огромный военный лагерь, как Орда, готовая по приказу вождя-императора к любым боевым действиям. Подточенное европеизацией самодержавие ослабело, не могло выполнять роль ядра войска. Большевики создали новое ядро — партию, организованную как боевой отряд, спаянный железной дисциплиной. Они перехватили инициативу у самодержавия, забравши его роль, роль вожака орды. И выдвинув лозунг «грабь награбленное», заявив, что достаточно истребить правящий класс и богачей, чтобы захватить как в Европе, большевики по сути дела пробудили — никогда до конца не засыпавшее — степное начало в русском человеке. И Русь пошла за большевиками, сквозь их европейские лозунги (странно сочетаясь) просвечивало привычное — «ханской сабли сталь» (А.Блок). Блок в «Скифах» это зафиксировал гениально, почувствовал, что Россия снова стала Степью. Даже в жестокости Ленина и его сподвижников к народу узнавалось родное — московско-татарское. «Ленин есть головное выражение национальной стихии»<sup>25</sup>, — заметил Троцкий. Да и возвращение столицы в Москву по решению Ленина было достаточно символическим актом. Эта символика была осознана практически сразу. Известный публицист, «веховец» А.С.Изгоев писал: «История вообще не скупа на шутки. Если социалистам она поднесла подарок в виде ленинского коммунистического государства, то и славянофилов она не обидела, дав им из рук того же Ленина и возвращение

---

<sup>25</sup> Троцкий Л.Д. О Ленине // Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 211.

в «первопрестольную», и торжество древнего исконно русского земско-соборного начала над гнилым западноевропейским конституционным либерализмом»<sup>26</sup>. Переезд был безусловно символичен и исторически закономерен: произошло воскрешение допетровского, антиевропейского, внеправового московского стиля жизни. Стоит вспомнить Ахматову, в год окончания своего «Реквиема» написавшую «Стансы» (1940):

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,  
Там зверства древнего еще кишат микробы:  
Бориса дикий страх и всех иванов злобы,  
И самозванца спесь взамен народных прав.

Марксизм был усвоен большевиками паразитарно. Приведу хотя бы слова одного из умнейших наблюдателей первых послеоктябрьских лет — Льва Шестова: «Большевизм не создает, а живет тем, что было до него создано... Он берет то, что у него под рукой, что без него сделали другие. Короче: большевики — паразиты по самому своему существу... Они сами формулируют свою задачу так, что сперва нужно все разрушить, а потом, лишь начать создавать... Само собой разумеется, что Маркс не признал бы в людях, возвестивших такую программу, своих учеников и последователей. Маркс полагал, что социализм есть высшая форма хозяйственной организации общества, с такой же железной необходимостью вытекающая из предыдущей буржуазной организации, с какой буржуазное хозяйство следовало за феодальным... И социализм не только не предполагал разрушение буржуазной организации хозяйства — он, наоборот, предполагал полное сохранение и совершенную неприкосновенность всего, что было создано предыдущим строем»<sup>27</sup>. Но с марксизмом большевики попытались обойтись вполне по-степному, как с украденным у соседа созревшим плодом, потреблять который не умели. Разумеется, результаты такого усвоения западной теории были чудо-

---

<sup>26</sup> Изгоев А.С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ленинской России. London, 1991. С. 50.

<sup>27</sup> Шестов Лев. Что такое русский большевизм? // Странник. 1991. № 1. С. 51.



вишные, по сути своей ордынские. Запад силен личностным развитием, а в орде независимая личность — явление немислимое. Поэтому и было выбито все, что хотя бы напоминало о личностном своеобразии. Думая рвануться на Запад, вернулись в Московскую Русь.

Насколько успешно пойдет сегодняшняя вестернизация? Что нас ждет завтра? Не дай Бог, очередное неимоверное усилие русского народа (терпящего сейчас новые невзгоды) зажить по-европейски обернется крахом! Если возобладают тенденции изоляционистские и по-степному экспансионистские, то при нынешнем ядерном оружии и сквернейшем состоянии нашей ядерной энергетики может разразиться мировой катаклизм. Одно хорошо в выговариваемой нашими демократами идеологеме: мы не лучше Запада, мы хуже, нам до него еще надо расти. Это вселяет надежду на возможность корректировки пути, на то, что многовековое уже стремление Руси вернуться к своим истокам и сызнова стать частью Европы, европейской Русью рано или поздно осуществится. Ибо это стремление есть по сути дела свидетельство всемирно-исторической борьбы культуры и цивилизации против «географии», процесса пока мало изученного, но являющегося важнейшим фактором мировой истории — своего рода борьбой духа и материи.

## II. СТИХИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ДВА ФАКТОРА «РОССИЙСКОЙ СУДЬБЫ»

Возможно ли построить в России «град цивилизации»?

Это вопрос отнюдь не риторический и относится не только к сегодняшнему, но и к вчерашнему и позавчерашнему времени. Когда-то было сказано, что существует Град небесный и по его образцу должен возводиться Град земной. Именно град, город выступал в раннем христианстве символом очеловеченного, разумного существования человека. Схимники и святые спасались в пещерах, остальные люди жили в городах, защищенные от дикости окружающей стихии. Новгородско-Киевская Русь была страной городов. После опустошительного нашествия кочевников она превратилась в страну деревенскую. О rus! (О деревня), О Русь! — сближал эти два понятия Пушкин в одном из эпиграфов к «Евгению Онегину».

Правда, сам поэт все же считал, что Русь сызнава сумела построить град цивилизации. Это град Петра. Неколебимый, как Россия. С тех пор Россия претерпела многое. Тоталитаризм большевиков вроде бы опять вычеркнул нашу страну из цивилизованного европейского мира. Под перьями наших «деревенщиков» сельская жизнь была объявлена идеалом человеческой жизни вообще, а город как носитель европейской цивилизации проклят и заклеймен всякими страшными языческими заклятиями. Вспомним, однако, что великий поэт был уверен: «будущий историк» вряд ли «поставит нас вне Европы»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.-Л., 1949. Т. X. С. 867.

После крушения советской империи многим стало казаться, что мы сызнова возвращаемся в то пространство, где неустанное построение града цивилизации — норма жизни. Вместе с тем нас не покидает ощущение, что какие-то упорные и неодолимые силы противостоят всем цивилизационным попыткам: война в Чечне, невыплата зарплаты и пенсий, распад производства, безнадежные забастовки рабочих, педагогов и врачей, воровство и взятки на всех уровнях — от госаппарата до мелких делопроизводителей... Чиновники, оправдываясь, объясняют ситуацию тем, что происходящие процессы не поддаются никакому управлению. Мол, что поделаться со стихией!.. Да и обыкновенным жителям очевидно: властвует не закон — непременный фактор цивилизации, а безудержная стихия.

Впрочем, еще Пушкин видел эту опасность — незамысленность с «градом цивилизации», градом Петра, вроде бы побежденной преобразователем стихии. Он все время говорил и писал о возможности потопа, все заносающей метели, наводнения, способного разрушить строящийся град и укрепившуюся в нем частную жизнь. Эту грозную стихию он понимал символически-конкретно, придавая ей вполне человечески-социальные черты:

Осада! приступ! злые волны,  
Как воры, лезут в окна...

(«Медный всадник»)

*Вор* в русском языке — понятие более широкое и емкое, нежели мелкий *карманник* или *форточник*. Это понятие обнимает в себе определенный чрезвычайно обширный пласт явлений и людей — от разбойника Емельяна Пугачева до государственного казнокрада. Вор — носитель стихии, враждебной цивилизации. И миновать опыт, размышления и наблюдения отечественных мыслителей прошлых веков, размышляя о нашей жизни, невозможно. Ибо «сегодня» — просто очередная страница все той же российской истории. Однако, задача наша не только еще раз переосмыслить исторический путь России, осознать константы ее судьбы, но постараться понять, существуют ли цивили-

зованные разрешения современного кризиса. Разумеется, при таком анализе необходимо обойтись без малопредсказуемых политических персонажей и реалий, оставаясь в пределах историсофских сюжетов и сущностей.

Еще в начале прошлого века П.Я.Чаадаев, анализируя исторические тенденции России, увидел константу ее жизни в «безличном хаосе», в отсутствии гарантий для собственности и свободы личности, в тотальном подавлении человека, а в результате — в постоянной готовности русских людей к метафизическому и буквальному бунту против любых правовых норм. В этом смысле русский народ всегда был равен русскому правительству. *Вольность / произвол* противопоставлены в русской ментальности понятию *свободы*, имеющей ограничение в свободе другого человека. Этот диагноз получил подтверждение в творчестве Достоевского, показавшего возможность возникновения из «карамазовской стихии» всеразрушающего бунта. «Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, — и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, нравственно»<sup>2</sup>, — писал он.

К несчастью, русская революционная демократия была глуха к этим предостережениям. После революционного бунта 1905 г. в знаменитом сборнике «Вехи» сызнова прозвучали трезвые голоса русских мыслителей об опасности революционных призывов в стране, где еще не сложились нормы гражданского общества, о том, что попытки революционного переустройства такой страны приведут ее в состояние почти первобытного хаоса, к крушению тех элементов европеизации, которые возникли к концу XIX в. Но предостережения мыслителей никогда не имели исторической силы. И в 1918 г., после тотального крушения всех норм и форм цивилизованной жизни, когда, кстати, было еще неясно, победят большевики или нет, Н.Бердяев следующим образом формулировал состояние россий-

---

<sup>2</sup> *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1976. Т. 16. С. 329. Курсив Ф.М.Достоевского.

ской ментальности: «Личность человеческая тонет у нас в первобытном коллективизме. <...> Совершенно безразлично, будет ли этот всепоглощающий коллективизм «черносотенным» или «большевистским». Русская земля живет под властью языческой хлыстовской стихии. В стихии этой тонет всякое лицо, она не совместима с личными достоинствами и личной ответственностью...»<sup>3</sup>

Строго говоря сталинизм оказался окаменевшей формой этой стихии, где характерный для стихии произвол был возведен в ранг государственной политики. Всякие гарантии собственности, чести и достоинства личности, на которых держится европейская цивилизация, были уничтожены. После падения коммунистической диктатуры и распада империи, когда прежние властные структуры, опиравшиеся на беззаконие в форме закона, были элиминированы, на первый взгляд, осталось одно беззаконие, уже не сдерживаемая даже государственным произволом *российская стихия, противостоящая нормам цивилизованной жизни*.

Сумеет ли нынешнее российское общество найти способ цивилизованного обуздания хаоса или снова выход будет найден на путях войны и диктатуры. Быть может, от этого зависит *судьба всей цивилизации* (нельзя забывать о нашем ядерном оружии и плохо обслуживаемых АЭС). Именно поэтому анализ взаимоотношения этих двух констант российского развития (*стихии и цивилизации*), их сопряжения и отталкивания, и представляется столь актуальным для понимания процессов, происходящих сейчас в России.

## 1. «СТИХИЯ» И «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» КАК ПРОБЛЕМА РУССКОЙ ИСТОРИИ

Незадолго до развала СССР, когда коммунисты еще боялись неожиданного взрыва бунтующей народной стихии, они готовы были поддержать трезвые голоса,

---

<sup>3</sup> Бердяев Н. Идеи и жизнь // Русская мысль. М.-Пг., 1918. № 1-2. С. 105.

предупреждающие об опасности разбушевавшейся толпы (которую сегодня коммунисты вкупе с националистами будят, рассчитывая, что удар придется по их противникам). Таковы были, скажем, размышления писателя Евгения Носова, опубликованные в «Правде» в начале девяностого года: «Толпа не имеет лица. В этом я убеждаюсь, вглядываясь на телевизионном экране в бушующие людские массы, которые все шире разливаются не только по другим союзным республикам страны, но и по городам и весям России»<sup>4</sup>. На что способна эта толпа? Писатель с ужасом констатирует: «Вот они, уже готовые кадры боевиков!.. По первому кличу и опять же от нечего делать, из одного желания поразмяться, поднять шухер, они уже готовы перевернуть, разбить, опрокинуть, двинуть кого-нибудь в ухо, рубануть по черепу арматурным прутком или намотанной на руку цепью...»<sup>5</sup>. Ирония истории в том, что напечатаны были эти строки в газете «Правда», которая выросла на раздувании пожара российской революции. А если стихия — «глас народа»?..

В «Окаянных днях», книге-дневнике, одном из самых потрясающих свидетельств о революции и гражданской войне в России, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин пишет (сначала передразнивая апологетов происходящего, затем возражая им):

«Революция — стихия...»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются»<sup>6</sup>.

С какого момента оказывается возможным бороться с чумой и холерой? Очевидно, когда человечество дос-

---

<sup>4</sup> Носов Е. У толпы нет лица // Правда, 22.02.90. С. 3.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 108. Возможно это был ответ на восторги одного из русских символистов — Андрея Белого, который в своей брошюре 1917 г. «Революция и культура» восклицал: «Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция: предстает ураганом, сметающим формы... Революция напоминает природу: грозу, наводнение, водопад...» И призывал «слиться с внутренним ритмом стихий» (Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 451, 461. Курсив А.Белого).

тигает определенного уровня *цивилизации*, создавая лекарства и вакцины. Таким образом, совершенно определенно задается словами Бунина *оппозиция, которая проявлялась на всем протяжении русской истории*.

### а) *Постановка проблемы*

Рассуждая о специфике российской ментальности, П.Я. Чаадаев характеризовал ее следующим образом: «Это все еще хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали образованию нашей планеты в ее теперешнем виде»<sup>7</sup>. Иными словами, это господство неупорядоченных стихий, хаоса, не претворенного в космос, или, еще точнее, неструктурированность общественной и духовной жизни. Такова роль России в раскладе мировых сил, полагал Чаадаев. В роли же начала гармонизирующего, нашедшего равновесие и порядок (несмотря на предшествовавшие века катаклизмов и брожений), выступает, по мысли русского философа, внешнее по отношению к России геокультурное образование — Западная Европа, выработавшая за долгие годы цивилизованные нормы существования, «идеи долга, справедливости, права, порядка... Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история и психология, это физиология европейца»<sup>8</sup>. Со времени Чаадаева это противопоставление стало постоянным в русской мысли. То этой российской стихийностью гордились — в противовес европейскому «мещанскому порядку», то ее боялись, надеялись на благотворное воздействие европейских правил и принципов.

Что же такое стихия, стихийность? Очевидно, речь идет не о словарном, а об *определенном историософском значении*, которое получило это слово под перьями русских мыслителей. Понятие «стихия» в русской историософии находится в ряду таких понятий, как «хаос», «варварство», «дикость», «природа» (в ее разруши-

---

<sup>7</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения М., 1989. С. 20.

<sup>8</sup> Там же С. 22.

тельной ипостаси: вулканы, землетрясения и т.п.), и противостоит таким понятиям как «космос», «культура», «цивилизация», «логос», «просвещение» и т.п. Скажем, Бердяев был уверен, что «в русской земле, в русском народе есть темная, в дурном смысле иррациональная, непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия. <...> Эта темная русская стихия, — писал он, — реакционная в самом глубоком смысле слова. В ней есть вечная мистическая реакция против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей»<sup>9</sup>. В таком контексте цивилизация выступает как *высшая форма, высший этап культуры*. До появления книги Шпенглера, когда понятие цивилизации приобрело оттенок негативный, иной оппозиции русская мысль и не знала. Не ссылаясь даже на прогрессистов либерально-демократического толка, напомним лишь Н.Я.Данилевского, писавшего следующее: «Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, — вышед из бессознательной чисто этнографической формы быта <...>, создав, укрепив и оградив свое внешнее существование, как самобытных политических единиц <...>, — проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залогов в их духовной природе»<sup>10</sup>. Иными словами период цивилизации, по его мнению, есть период возникновения и развития поэзии, искусства, науки, философии, государственности и прочих явлений, возвышающих и отгораживающих человеческое общество от капризов природы, период «цветущей сложности», говоря словами К.Н.Леонтьева.

Кстати, европейская традиция тоже сохранила и в XX в. сознание благотворной роли этого периода в человеческой истории (возможно, не без учета русского опыта). Скажем, Ж.Маритен говорил о том, что цивилизация необходимо есть и культура, что ненависть к цивилизации ведет к уничтожению человека, не знаю-

---

<sup>9</sup> Бердяев Н. Судьба России. М., 1918. С. 52, 53.

<sup>10</sup> Данилевский Р.Я. Россия и Европа. СПб., 1889. С. 111.



шего иных форм выживания в природном мире, кроме форм культуры и цивилизации. Фрейд же заметил, что «пренебрегает различием между культурой и цивилизацией»<sup>11</sup> ради решения главной задачи — защиты человека от природы.

Говоря о важности окультуривания природы, Фрейд напоминал, что природные стихии отнюдь не укрощены, что земля будто насмехается над человеческими усилиями покорить ее, насылая на человека ураганы, тайфуны, наводнения, извержения вулканов и землетрясения, которые уничтожают человеческие труды. К этому перечислению русские мыслители могли бы добавить нашествие варваров, всегда понимавшееся ими как явление чисто природное. Напомню хотя бы пророчество Герцена о новой (после падения Древнего Рима) гибели западноевропейской цивилизации: «Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот...»<sup>12</sup>. Иными словами, осуществление идеалов социализма, которое Герцен поначалу связывал с европейским пролетариатом, а затем только с Россией, с русской общиной, было равнозначно для него геологическому катаклизму, выбросу природных стихий, уничтожающему все приобретения цивилизации. Эти идеообразы навеяны российскими реалиями.

Возникает, однако, вопрос: а может ли человеческая стихия (если, разумеется, речь не идет о завоевании варварами) уничтожить собственную цивилизацию, что с таким трудом создавалась многими поколениями? Для корректности ответа напомним, что традиционно в научной литературе фиксируют несколько этапов формирования культуры: дикость, варварство, цивилизация, — различающиеся степенью окультуривания природы. В разных исторических типах общест-

---

<sup>11</sup> Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С. 19.

<sup>12</sup> Герцен А. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1955. Т. 6. С. 58.

ва пути к цивилизации бывают более, а бывают менее успешными. В тех случаях, когда цивилизация не стала для культуры достаточно органичной, так сказать, не проросла в ней, сохраняется опасность возврата к варварству. Этот рецидив варварства возможен и в высокоразвитых странах, и «внутреннее варварство» по своим последствиям мало чем отличается от нашествия «варварства внешнего». Увидевший в большевизме и фашизме «восстание масс», «вертикальное вторжение варварства» и «существенный регресс», Ортега-и-Гассет писал, протестуя против апологетики стихийных инстинктов, якобы присущих «творческому» развитию: «Степень культуры измеряется степенью развития норм». И далее: «Цивилизация не дана нам готовой, сама себя не поддержит. Она искусственна и требует художника, мастера»<sup>13</sup>. Именно цивилизация нуждается в созидательной, творческой активности.

К несчастью, быть может, влиятельные и яркие выразители российской духовности, предупреждая о грядущих бедах и катаклизмах, не сумели найти противоядия от стихийных сил своей культуры. Более того, на взгляд, скажем, европейца Фрейда даже Достоевский оказался ущербен в качестве общественного лекаря и моралиста. Как моралист, писал Фрейд, «он напоминает варваров эпохи переселения народов, варваров, убивавших и затем каявшихся в этом, — так что покаяние становилось техническим приемом, расчищавшим путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Грозный; эта сделка с совестью — характерная русская черта»<sup>14</sup>. И к Октябрю в конечном счете вели не только «революционные бесы», но и другие течения русской мысли, пытавшиеся в свойствах самой народной стихии найти позитивную основу строительства «нового мира». В результате сила народного духа обращалась не на самосозидание, — что исключает самоупоенность, предполагает самокритику, самодисциплину и

---

<sup>13</sup> Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 152, 144, 150.

<sup>14</sup> Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Вопросы литературы. 1990. № 8. С. 168.

самодеятельность (вместо привычного крепостного, принудительного труда), — а на разрушение всего непонятного и чуждого этой стихии.

По соображению русского философа Б.П.Вышеславцева, переживание хаоса, ощущение хаоса как основы миропорядка свойственно именно русской душе и именно из этого хаоса выплескиваются стихии, подобные Октябрьской революции, уничтожившей по существу все сложившиеся к тому времени в стране цивилизованные структуры. Надо сказать, что в прошлом веке уже высказывалась русскими учеными идея, что цивилизация обеспечивает сохранение человеческого рода посредством развития и защиты индивида (И.Мечников, Д.Менделеев и др.), а потому удары стихийных сил должно воспринимать как бедствие. Почему же, говоря словами Вышеславцева, «стихия... чувствуется каждым русским как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы»?..<sup>15</sup>

### *б) Славянская мифология и православное христианство*

Возможно, это переживание стихии как сущности русской души связано с исходными моментами развития нашей ментальности, с тем, что славянская мифология не была достаточно разработана (отсутствие или, точнее, слабая обозначенность пантеона «высших богов») и не знала космогонических мифов с их главной темой — преобразования хаоса в космос. Великий русский филолог прошлого века Федор Буслаев писал, что «эпос мифологический полагает первые основы нравственным убеждениям народа, выражая в существах сверхъестественных, в богах и героях, не только религиозные, но и нравственные идеалы добра и зла»<sup>16</sup>. Однако, замечал он далее, «славянский мифологический эпос не успел создать полных, округленных типов божеств, подобно эпосу греческому, скан-

---

<sup>15</sup> *Вышеславцев Б.П. Русская стихия у Достоевского.* Берлин, 1923. С. 5.

<sup>16</sup> *Буслаев Ф.* О литературе. М., 1990. С. 34.

динавскому или финскому <...>, и доселе живет теплою, искреннею верою в целый ряд мифических существ, но существ мелких, немногочисленных: это не крупные, величавые личности греческого Зевса, финского Вейнемейнена, скандинавского Тора или Одина, с определенным нравственным характером, развитым во множестве подвигов и походов, — но ряд существ не самостоятельного, не отдельного бытия»<sup>17</sup>.

Славянское язычество не знает также и «культурного героя», т.е. героя, освобождающего мир от чудовищ, цивилизующего и преобразующего землю. Такие герои (цикл богатырских былин) появляются в России лишь на христианской почве в XI-XII вв. Когда русские писатели и мыслители XIX в. писали об опасности рецидивов русского язычества (изображенного Достоевским в разгульной «карамазовской» стихии), они видели в этом возврате не просто отказ от христианства, но возврат именно к низшей мифологии, отрицавшей «личность в ней самой посредством ее собственной чувственной природы»<sup>18</sup>, не знавшей противоборства Света и Тьмы, Добра и Зла, а потому исторически неплодотворной, лишенной стимула к историческому прогрессу.

*В России православное христианство выполнило роль мифообразующей структуры, внося в сознание крестившихся жителей Руси основные понятия о Добре, Зле, сотворении мира, преодолении Хаоса. Как известно, Русь приняла христианство от Византии. С тех пор не раз спорили о злобредности или благотворности этого выбора, объясняя все недостатки российского развития именно конфессиональной формой христианства — православием, с его цезарепапизмом, несамостоятельностью церкви, с подчиненностью светской власти императоров. Но надо сказать, что в тот момент, в X в., византийское христианство, отточенное в философской школе античности, было и богословски, и философски более разработано, и более утонченно, чем римское. По замечанию одного из крупнейших сего-*

---

<sup>17</sup> Там же. С. 35.

<sup>18</sup> Соловьев В.С. Собр. соч. В 10-ти т. СПб., б.г. Т. 1. С. 22.

дняшних специалистов по средневековой Европе, «для византийцев и мусульман интеграция в римский христианский мир означала бы упадок, переход на более низкую ступень цивилизации»<sup>19</sup>. Поэтому выбор конфессии Киевской Русью был вполне обоснован. В последующие два столетия после Крещения Киевская Русь переживает безусловный социальный, культурный и духовный подъем. Переводятся книги, изучаются иностранные языки (и прежде всего греческий и латынь), строятся храмы, возводятся города, усиливается торговый оборот со всем светом, с Европой и Византией особенно, создается свод законов — «Русская правда»...

Разумеется, существуют разные степени усвоения христианских представлений — от высокого богословия монахов до амальгамы язычества и православия у темного люда. Представление о среднем уровне религиозного развития народа дают, как любят утверждать славянофильствующие публицисты, духовные народные стихи. Однако, как замечал один из самых глубоких исследователей русской духовной жизни Г.П.Федотов, «изучение религиозного содержания духовных стихов ведет нас не в самую глубь народной массы, не в самую темную, близкую к язычеству, среду ее, но к тем высшим ее слоям, где она тесно соприкасается с церковным миром»<sup>20</sup>. Конечно же, влияние этих слоев на толщу народа могло со временем оказаться решающим. Но начавшие входить в народное сознание идеи христианства плохо укоренялись в силу трагического исторического развития Руси и двойственной роли в ней церковного начала. После завоевания Руси татарами православная церковь была вынуждена раболепствовать перед завоевателями, молиться за «царя-хана», став в еще большей степени, чем в Византии, связанной с интересами государства. Завоеватели, поощряя вражду князей между собой, тем не менее поддерживали православие, звериным чутьем кочевников

---

<sup>19</sup> *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 140.

<sup>20</sup> *Федотов Г.* Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 15.

поняв его важность. Ибо обеспечить духовную покорность завоевателям *всей Руси*, независимо от проживания людей в том или ином княжестве, могла только церковь. Заметим, правда, амбивалентность данной ситуации: православие тем самым сохраняло в русских представление о себе как о едином народе, хотя клир и выполнял фискально-полицейские функции. К тому моменту, как Москва, не без содействия ханской власти, принялась покорять остальную Русь, а затем, воспользовавшись распадом Золотой Орды, выходить из-под ее опеки, православная церковь, будучи достаточно огосударственной, сделала ставку на новую силу и стала активной помощницей Москвы в «собрании» русских земель. Но привычка к фискальной роли, к требованию чисто внешнего исполнения обрядов привела к тому, что церковь не умела влиять на души своих прихожан, «окультуривая» их, просвещая и цивилизуя. В XVIII в. екатерининский вельможа Гр. Орлов писал Ж.-Ж. Руссо, что русские священники не умеют ни диспутов вести, ни проповедовать, а паства умеет только креститься, полагая, что этого достаточно, чтобы считаться христианами. Собственно народное религиозно-христианское движение начинается со второй половины XVII в., с раскола. Однако и в XX в. Георгий Федотов констатировал: «Мы лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народной души»<sup>21</sup>.

Православие никогда не было связано (до «неоправославного ренессанса» начала XX в.) с каким-либо общественным движением, мечтавшим улучшить народную жизнь или способствовать духовному и социальному прогрессу, а потому оказалось чуждым реальным социальным интересам народа. Достаточно привести слова даже апологетов православия, вполне сознававших, что в основе бездвижности русской жизни лежит «упорный консерватизм русского православия, не позволяющий изменить ни одной буквы, ни одного движения в обряде. Спасительными оказались именно

---

<sup>21</sup> Федотов Г. П. Новый град. Сборник статей. Нью-Йорк, 1952. С. 81.

эти формулы, а каковы будут новые — еще неизвестно». Поэтому православие «подозрительно относится к социальному и культурному прогрессу»<sup>22</sup>. Не случайно многие представители дворянства начала прошлого века, искавшие в христианстве *социально-преобразующей силы*, обращались к католичеству (М.Лунин, П.Чаадаев, В.Печерин и др.). К 1905 г. совершенно определенно сложилась ситуация нарастающего экономического, политического, социального и религиозно-культурного кризиса, требовавшего неординарного и быстрого решения. Но в этом решении православие помочь не смогло: великая социально-терапевтическая сила христианства не была использована — слишком несамостоятельной, не имевшей собственной позиции, лишенной свободного духовного развития оказалась русская церковь.

Вот как оценивал ситуацию С.Н.Булгаков: «Великий народ, беспомощный, *беззащитный духовно* (курсив мой. — В.К.), как ребенок, находящийся на уровне просвещения почти что эпохи св. Владимира, и интеллигенция, которая несет просвещение Запада, преимущественно с разными последними словами, сменяющимися с быстротою моды, и которая, как ее ни удерживают и ни отстраняют, находит и, конечно, будет находить дорогу к этому ребенку. Два электричества: когда они соединятся, что дадут они — благодетельный свет и тепло или разрушительную и испепеляющую молнию?»<sup>23</sup> Как мы знаем теперь, в русскую жизнь ударила испепеляющая молния, выжигая наработанные за долгие и трудные годы исторического развития элементы европейской и христианской цивилизации в ее православном варианте. И уже в 1918 г. С.Н.Булгаков резюмировал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов» (вошедшего позднее в сборник «Из глубины»): «Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тыся-

---

<sup>22</sup> Ельчанинов А., Флоренский П. Православие // История религии. М., 1909. С. 173, 183.

<sup>23</sup> Булгаков С. О противоречивости современного безрелигиозного мировоззрения (Интеллигенция и революция). Там же. С. 243.

четелнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе... Русский народ вдруг оказался нехристианским...»<sup>24</sup> Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов вспоминал: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты.

Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей»<sup>25</sup>. Достоевский задавался вопросом, сможет ли русский человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъятным просторам России российская вольница, российская стихия. Этот процесс закономерно завершился возникновением жесточайшей сталинской диктатуры.

*в) Стихия — «чужая» и «своя» — как предпосылка  
российского деспотизма*

И российский и германо-романский миры выросли из взрыва стихий, двинувшего полчища варваров в эпоху переселения народов на Римскую империю. Судьба этих полчищ оказалась, однако, различной. Германские племена попали в области Римской империи, где уже был заложен фундамент европейской цивилизации. Славяне же, напротив, были оттеснены на северо-восток, в места девственные, заселенные такими же дикими финскими племенами. Эта тема — бесплодия почвы, на которую попали славяне, и культивированной почвы античности (усвоившей к тому же уже и христианство), сумевшей в течение столетий цивилизовать германцев, — была постоянной в рассуждениях русских мыслителей о становлении России и Европы.

Тем не менее, и славяно-финские племена, *будущая Русь*, шли, более затрудненным путем, к созданию цивилизованных основ жизни. Христианизация (Креще-

<sup>24</sup> Булгаков С.Н Соч. В 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 609.

<sup>25</sup> Шаламов В. Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М., 1996. С. 346.



ние), норманнское завоевание, которое связало молодое государство с остальной Европой, контакты с Византией, хранительницей достижений античности, — все это втягивало Русь в орбиту молодых, европейских, цивилизующихся, хотя еще и полуварварских народов. Надо, однако, учесть, что Русь постоянно испытывала давление Степи, степных племен — половцев и печенегов, кочевников, стоявших на более низкой ступени развития, занимавшихся не производством продукта, а грабежом, т.е. представлявших культуру варварскую, паразитарную. По отношению к этим племенам Русь начинает играть роль, какую играли в свое время Рим и Византия по отношению к окружавшим их варварам — тем же германцам и славянам: отражает набеги, заводит с кочевниками дипломатические связи, русские князья женятся на половецких княжнах... *Цивилизуясь сама, Русь пыталась цивилизовать степных соседей.*

Но это развитие было прервано катастрофой. *Стихийным бедствием* считали практически все мыслящие люди России татаро-монгольское нашествие в первой половине XIII в. Сметая все на своем пути, орды Батыя выжгли и практически уничтожили Киевскую Русь: разрушая города, церкви, убивая и уводя в полон жителей. «Молодое европейское государство Киевская Русь столкнулось... с силой, являющейся абсолютной противоположностью европейской цивилизации. Урбанистическая идея, связанная с принципом... окультуривания пространства, столкнулась с общественной организацией, базирующейся на исчерпании ресурсов без дальнейшего их воспроизводства. Столкнулась с монгольскими ордами»<sup>26</sup>. Татаро-монгольское нашествие (как видно из этой фразы — цитаты из *газетной статьи*) и сегодня переживается как актуальное событие, ибо послужило причиной выхода России из цивилизованного европейского пространства, отбросило ее назад. Земледелие, ремесло и торговля становились делом маловыгодным, ибо завоеватели (а их господство продолжалось несколько столетий) отбирали любой прибыль. Цивилизованная жизнь прекратилась.

---

<sup>26</sup> Грунин Е. Российское «нечто» // Россия. 10-16.03.93. С. 12.

Оценивая масштабы разрушения Руси монгольскими ордами, русские историки проводили аналогию с падением Римской империи в эпоху переселения народов. «Россия, — писал Н.М.Карамзин, — испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою империею от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собою только в силе»<sup>27</sup>. Несмотря на уважение к памяти Карамзина, эффектность и внешнюю убедительность сравнения, ему необходимо возразить. Во-первых, варвары, ворвавшиеся в области Римской империи, приняли христианство, оказавшее в дальнейшем решающее влияние на их культуру. Татаро-монголы однако остались чужды христианству, обходясь с церковью, как с необходимым для их нужд орудием. Не церковь подчиняла завоевателей, а завоеватели-варвары подчинили себе церковь. Во-вторых, германские племена попали на почву высокоразвитой античной цивилизации, складывавшейся и укреплявшейся не одно столетие. Русь же сама только-только ступила на путь цивилизации. И если германцы в конечном счете подпали под влияние покоренного ими Рима, то на Руси произошло обратное: Русь оказалась под мощным воздействием Золотой Орды. Иными словами, неокрепшая, только становящаяся цивилизация была *сызнова варваризована*.

На Руси утверждается военно-тираническая форма правления. Некоторые публицисты называют ее азиатской, восточной деспотией. Но в отличие от восточных деспотий, знавших архитектуру, изящные искусства, придворную поэзию, выработавших свое законодательство, Орда не имела даже начатков цивилизации, никаких элементов гражданского общества. Только невероятная жестокость вожака, хана, в состоянии была удержать в повиновении хаотическую вольницу, не скрепленную никакими законами. Причем каждый из этой вольницы старался быть не менее жестоким, чем

---

<sup>27</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I-IV. Калуга, 1993. С. 419.

вожак, чтобы заслужить его милость и благосклонность. Раболепие перед вышестоящими, предательство, если того требует вожак, своих ближних в соединении с беспрекословной преданностью и готовностью отдать свою жизнь во имя интересов хана, персонифицирующего в своей особе нужды государства, — такое наследие получила Москва от Орды. Именно эти человеческие особенности подданных позволили Орде, а затем московскому самодержавию стать активно боеспособным государственным образованием. «Действием ли примера, привитием ли крови правящим, они (степняки-завоеватели. — В.К.), — писал евразиец П.Н.Савицкий, — дали России свойство организовываться военно, создавать государственно-принудительный центр, достигать *устойчивости*; они дали ей качество — *становиться могущественной «ордой»*<sup>28</sup>.

В результате, разумеется, не могла идти речь ни о «правильном» феодализме, ни тем более о возникновении третьего сословия, сколько-нибудь напоминавшего европейское. Если в Европе централизация происходила как результат внутренних центростремительных тенденций, с опорой на богатевшие города, на поднимавшееся третье сословие, учившееся чувству независимости личности у сословия феодального, то Россия получила свое единство с помощью татарских войск, разорявших враждебные Москве (имевшей «ярлык на великое княжение» от ханов Золотой Орды) города и княжества, приводя страну в упадок. Конечно, как говорят историки, московский князь, обманув татар, окреп с их помощью, а затем сумел им противостоять. В этой хвале не учитывается, однако, что возвышение Москвы могло произойти только потому, что Москва взяла на себя функции *представительницы* завоевателей, собиравшей дань и грабившей Русь от имени и по поручению татар. «Этот союз, — писал В.О.Ключевский, — сначала только финансовый, потом стал на более широкое основание, получив еще политическое

---

<sup>28</sup> Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 124. Курсив П.Н.Савицкого.

значение. Простой ответственный приказчик по сбору и доставке дани, московский князь сделан был потом и полномочным руководителем и судьей русских князей»<sup>29</sup>. Произошла, как замечал Г.П.Федотов, «московизация» Руси, сложилось, по его же словам, «православное ханство». Пытаясь разобраться в истоках русского большевизма и просматривая под этим углом зрения историю России, Н.А.Бердяев пришел к заключению, что «московское православное царство было тоталитарным государством»<sup>30</sup>.

Сторонник евразийства, своего рода певец складывавшейся в эти годы антиправовой русской социальной психологии, Л.Н.Гумилев тем не менее весьма точно формулирует принцип российского деспотизма, на котором выросла Московская Русь. Московиты, утверждал он, «стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, за несение которых полагалось «государево жалованье». Он полагал, что именно «эта оригинальная, непривычная для Запада система отношений власти и подчиненных была столь привлекательна»<sup>31</sup>, что собрала вокруг Москвы всю Русь. При таком устройстве государства, разумеется, не могло сложиться гражданского общества, т.е. цивилизованности — в точном значении этого слова (от латинского *civilis* — гражданский), не было и законов, утверждавших элементарные права личности. «Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан был или оборонять государство, или работать на государство, т.е. кормить тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты, работники, не было граждан»<sup>32</sup>.

Следуя за этой мыслью Ключевского, мы без труда придем к соображению, что стоит ослабнуть или прекратиться по тем или иным причинам самодержавной власти, как все части этого механизма неминуемо начнут действовать вразнобой (ибо в них нет элемента са-

---

<sup>29</sup> Ключевский В.О. Соч. В 9-ти т. М., 1988. Т. 2. С. 21.

<sup>30</sup> Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 10.

<sup>31</sup> Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 624.

<sup>32</sup> Ключевский В.О. Указ. соч. Т. II. С. 372.

модельности) и воцарится хаос, Смута. К этому надо добавить, что в сознании московизированной Руси русский царь как бы соединял в себе и царя (императора) Византии, будучи его «наследником» как владыка *православного государства*, и царя (хана) Золотой Орды: «территориально, — замечает Б.А.Успенский, — он оказывается преемником татарского хана, а семиотически — греческого императора», царь становится «более сакральной фигурой, чем патриарх»<sup>33</sup> — он наделен божественной властью по праву рождения, т.е. государственная власть является в России более важной, чем церковная. Поэтому религиозные ереси, даже такие мощные, как раскол не колебали привычно-равномерного течения жизни большинства, а вот падение династии, ослабление царской власти моментально вызывало катастрофическое потрясение всего национального организма.

Иван Грозный был последний московский царь, завершавший процесс становления независимого от внешних (степных) захватчиков московского государства. Однако со смертью сыновей и пресечением его династии в России воцаряется Смута, разрушительные последствия которой можно сравнить только с татаро-монгольским завоеванием. Смута, эта гражданская война начала XVII века, привела в расстройство всю структуру московского государства. Даже объявленное всенародным избрание на трон в 1613 г. Михаила Романова не сразу могло усмирить всколыхнувшуюся Русь. Не случайно XVII век историки так и называют — «бунташный», т.е. век мятежей, восстаний, бунтов. Россия представлялась тогда европейскому взгляду огромным полупустым пространством с редким крестьянским населением и едва ли не единственным хорошо укрепленным и крупным городом — Москвой. Поэтому с такой легкостью растекались бунты по стране, не встречая особых препятствий. Вот свидетельство из

---

<sup>33</sup> Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 223, 226.

немецкой диссертации, посвященной восстанию Степана Разина (1670-1671) и защищенной в 1674 г., т.е. вскорости после восстания: «Потомство вряд ли поверит тому, что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок»<sup>34</sup>. Этих восстаний опасалась и Европа: не окажется ли страна после поражения московского правительства в руках более варварского и тиранического вожака, который бросит свои орды на Европу и затопит ее новым потопом. Царская Москва все-таки начинала признавать некоторые формы европейской жизни и уже желала, чтобы ее считали страной, подобной европейским.

По мнению русских историков, смысл этого процесса был в том, что после поражения татар, *внешней Степи*, бунтовала *внутренняя Степь*, не желавшая поворачиваться к европейской, городской жизни вместе со всей страной. «Поднималась степь, поднималась Азия, Скифия, — резюмировал данный культурно-исторический конфликт С.М.Соловьев, — на великороссийские города, против европейской России»<sup>35</sup>. Хотя эти восстания зачастую получали социальный характер, ядром их были казаки — тот слой русских людей (по мнению некоторых ученых сложившийся даже в этнос), который возник на основе «полюдной дани», собираемой татарами с покоренной Руси. Из этих пленников, по мнению историка казачества А.А.Гордеева, часть народа, предназначенная для пополнения вооруженных сил монголов, селилась на указанных ими землях, обзаводилась семьями и основывало военные поселения. Вооруженные силы Золотой Орды и были той школой, в которой сформировалось казачество. Впоследствии, в течение истории, казаки были и

---

<sup>34</sup> «Стенко Разин донски казак изменник», т.е. Степан Разин, донской казак изменник. Представлено на публичное рассмотрение под председательством Конрада Самуэля Шурцфлейша, выступил Иоганн Юстус Марций из Мальгаузена в Тюрингии 29 июля 1671 г. // Иностранные известия о восстании Степана Разина. Л., 1975. С. 71.

<sup>35</sup> Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 147.

за, и против степняков (защищая границы Руси), но очень долго превалировало в их поведении степное варварское: грабеж окрестного населения, своего и чужого. Поэтому так легко они сливались с шайками разбойников и иными элементами, недовольным существующим порядком вещей. Это признавали и монархисты начала XX в., видевшие в казаках опору трона. Так, известный русский философ-монархист И.А.Ильин писал: «Не было в старину твердой грани между разбойниками и казаками, эта грань появилась лишь тогда, когда «вольные люди» приобретали *оседлость и имущество*, когда начиналось *огосударствление* «удалых добрых молодцев» и когда храброе казачество заселяло и обороняло русские окраины. Тогда *анархия* постепенно принимала закон и подданство»<sup>36</sup>.

Понимание разбойника как потенциального революционера было характерно для русских нигилистов, скажем, для М.А.Бакунина, считавшего самодержавие порождением «германской Европы» и видевшего «светлое будущее» России в «стихийно-народно-социальной революции». А ее основу, по его мнению, должен составить «казачий воровско-разбойничий и бродяжнический мир», который всегда «играл именно эту роль союпителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве»<sup>37</sup>.

Бесконечные бунты XVII в. привели к новой попытке государства укрепить свою власть, сменив *форму деспотизма*, наделив не только обязанностями, но и правами целое сословие — дворянство, *правами и собственностью* (имения, бывшие раньше жалованьем за службу, были превращены в частную собственность дворянства). Раньше все сословия были перед государством равно бесправны. Теперь же дворяне получили над народом власть не только по долгу государственной службы, но еще и как частные лица. Народ же оказался в новом, как бы двойном рабстве: уже не

---

<sup>36</sup> Ильин И.А. Наши задачи. В 2-х т. М., 1992. Т. 2. С. 83. Выделено И.А.Ильиным.

<sup>37</sup> Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 542.

только у государства, но и у частных владельцев. К тому же дворянство приобщилось и к европейской культуре, — обстоятельство, еще больше отделившее его от народа, пребывавшего в области просвещения, говоря словами С.Н.Булгакова, на уровне киевского князя Владимира. Так внутри одной страны возникли по существу два типа цивилизации. Кровавая «пугачевщина» (1773-1774), уничтожавшая всех представителей культурного европеизированного слоя, хоть и подавленная, была грозным предостережением, что, оставив народ лишенным собственности и прав, послепетровская империя заложила основу растущего противоречия и более страшного стихийного взрыва.

И все же именно реформы Петра Великого стали, пожалуй, самой радикальной попыткой структурировать российский хаос, придать цивилизованные формы российской бесформенности и расхлябанности. Не говоря уж о Пушкине, чье творчество явилось отдаленным результатом петровских преобразований и который к образу и деяниям Петра обращался постоянно, напомним мнение Михаила Ломоносова — прямого наследника петровской идеи просвещения России. Именно он, великий ученый-энциклопедист и поэт, равно почитаемый и западниками, и славянофилами, чувствовал, что своим существованием он обязан петровской ревности к наукам. Петр казался ему Творцом России, «земным божеством России». Он писал (в «Надписи 1 к статуе Петра Великого»):

Се образ изваян премудрого Героя, —  
Что, ради поданных лишив себя покоя,  
Последний принял чин и царствуя служил,  
Свои законы сам примером утвердил,  
Рожденны к Скипетру простер в работу руки,  
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.  
Когда Он строил град, сносил труды в войнах,  
В землях далеких был и царствовал в морях,  
Художников сбирал и обучал солдатом,  
Домашних побеждал и внешних сопостатов;  
И, словом, се есть Петр, отечества Отец.  
Земное божество Россия почитает,



И столько олтарей пред зраком сим пылает,  
Коль много есть Ему обязанных сердец.

В этих строчках Ломоносов в сущности описал практически все усилия Петра по преобразованию России, которые должны были вернуть Россию в Европу как равномогущее государство. Петровские реформы однако, не решили, да и не могли решить проблему европеизации *всей* России. Даже культивация и цивилизация верхнего слоя была чрезвычайно трудной, требовала колоссальных усилий и заняла не меньше столетия. Помимо всего прочего, для этого преобразования не хватало средств, экономика была слаба, и создание нужного государству слоя образованных русских проводилось путем усиления гнета над основной массой населения. Поэтому, опасаясь народа, высшее сословие в массе своей оказалось зависимым от самодержавия, обладавшего силой и возможностью держать низшие слои в повиновении. Отсюда и следствие: дворянство усилило государственную власть, но самостоятельности не приобрело. А поскольку большинство народа оставалось в положении рабов, подлинная цивилизация так и не состоялась тогда в России, ибо дворянство, не стало самодеятельной силой. Сложилось то, что Бакунин удачно назвал «государственной цивилизацией»<sup>38</sup>. Подобная цивилизация в конечном счете основой своего существования по-прежнему считала принуждение, деспотическую власть.

Вместе с тем введенные в Россию, хотя бы и частично, экономические и социокультурные принципы западной цивилизации расшатывали монолит самодержавия, требовали создания законов, обеспечивающих права собственности, права личности, создания, по сути дела, гражданского общества, которое, разумеется, было противоположно и противопоказано принципам российского деспотизма. В значительной степени вынужденные обстоятельствами (поражение в Крымской войне) реформы Александра II двинули страну, казалось бы, в европейском направлении — постепенном

---

<sup>38</sup> Там же. С. 396.

наделении всего народа правами и возможностью иметь собственность. Однако — в каком-то смысле естественное — опасение самодержца дать «слишком много» свобод, тем самым ослабить государственную власть и вновь разбудить стихию, наподобие пугачевской, сдерживало его преобразования. Возможно, вовремя принятая конституция, включившая бы все движения и зарождавшиеся партии в легальные рамки, купировала бы радикальные движения, во всяком случае умерила бы призывы к насильственному ниспровержению режима. Ведь стесненные произволом самодержавия радикалы, отнюдь даже не самые кровожадные, вроде, например, П.Л.Лаврова, начинали видеть — вполне всерьез — в разбойничьей пугачевщине образ грядущей социальной революции, способной дать свободу России.

К этому надо добавить, что поначалу для народа были ощутимы лишь недостатки реформ: к неизжиткам крепостничества добавился капиталистический гнет в его самой дикой и примитивной форме. Успехи и рост промышленности, свободного предпринимательства, расцвет духовного творчества стали внятны только спустя время, когда, к сожалению, эпоха ушла в прошлое. Некоторые трезвые голоса (Д.И.Менделеев в работе «К познанию России». СПб., 1906), говорившие, что, если обойтись без потрясений, Россия к 1930 г. догонит наиболее развитые страны, разумеется, были заглушены хором нетерпеливых. И надо сказать, в этом хоре голос большевиков не был самым громким. Революцию торопили все партии. Забывалась русская история, показывавшая необходимость союза реформаторов и правительства — для мирного вхождения в цивилизацию. Но и государство не шло навстречу реформаторам, не учитывало и народных требований.

Сегодня говорят, что большевики обманули и изнасиловали народ, согнули и загнали в лагеря. Но так ли было на самом деле? Нельзя забывать, что русский народ, погруженный, по словам европейца Энгельса, «в трясины внеисторического существования», *пошел за большевиками*. Иначе бы они не победили. В лагеря на-

род действительно загнали и голодом несколько миллионов уморили, но — потом. А вначале — и в этом-то весь ужас ситуации — народ сам всколыхнулся и сам пошел громить уже появившиеся в России элементы европейской цивилизации. Второй раз в русской истории победила стихия (первый раз «чужая» — татары, второй раз — «своя», в 1917-м)<sup>39</sup>.

## 2. ПОБЕДА СТИХИИ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Буквально в первые же годы «перестройки» не было, кажется, ни одного журнала, ни одной газеты, не обратившихся за «демократическими примерами» к периоду Временного правительства. Период с февраля по октябрь 1917 г. очень долго выглядел в нашей прессе неким социальным идеалом, которому надо бы подражать, к которому необходимо вернуться. Забывалось только, что большевики все-таки победили демократов, и хорошо бы сегодня, в условиях всеобщей неврастности, понять причины поражения — сначала монархии (уже достаточно европеизированной), а затем и демократической коалиции начала нынешнего века.

### *а) Неспособность власти к реальному контакту с обществом и народом*

Начиная с эпохи Николая I, оформилась идеологема о единении самодержавия и народа. Это было справедливо для Московской Руси. Но «бунташный» XVII в. показал, что ситуация изменилась. И идеологическая схема николаевской эпохи говорила уже о должном, а не о сущем. Рост радикальной оппозиции заставлял самодержавие все больше и больше опираться на схему, жить по схеме, а не по реальности. Иллюзия единства давала силу властному аппарату, уверенность в своей правоте. К началу XX в. контакт само-

---

<sup>39</sup> Интересно указать на одно историософское сближение двух понятий: знаменитый католический мыслитель Жозеф де Местр, много писавший о российских проблемах, называл степные, стихийные завоевания «*тамерланическими* революциями» (*Местр Жозеф де. Петербургские письма. 1803-1817. СПб., 1995. С.33. Курсив де Местра*).

державия с народом достиг высшей степени иллюзорности. Даже желая сблизиться с народом, узнать его реальное мнение, царское правительство осуществляло это не путем демократических процедур, а по определенной идеологической схеме.

Скажем, в грозные военные и предреволюционные годы царь слушал не прессу, не депутатов Думы, а «представителя народа» (но народа не реального, а выдуманного, мифологизированного), — знаменитого Григория Распутина. Его явление было возможно только на почве укоренившейся идеи о «народе-богосносе». Но Распутин выражал сразу как бы две ипостаси народа, о которых писал Достоевский: с одной стороны, пьяная, языческая «карамазовская» стихия, с другой — кающаяся, странническая, идущая замаливать грехи к «старцам», как носителям русской православной истины. Гришка и был, с одной стороны, блудником и пьяницей, с другой — православным старцем. История словно бы посмеялась над великим писателем, надевшимся излечить русскую стихию старчеством. И как раз после того, как Гришка, «носитель народности и православия», был приближен к трону, трон и царская Россия зашатались. Ни православная церковь, ни государство не смогли обуздать разгул языческой народной стихии, напротив, словно бы даже поощряли ее, видя в ней специфику народного духа: грех, а затем покаяние.

Петровские европеизирующие устремления, структурировавшие Россию, скреплявшие ее, были подвергнуты сомнению и отринуты. Искус национализма оказалось чрезвычайно силен, а в той ситуации и обрекал на гибельный путь. Был совершен в начале Первой мировой войны символический отказ от петровского наследия, то есть произошло, говоря словами Степуна, «бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград»<sup>40</sup>. Торжество романтического почвенничества на самой вершине государства привело к прише-

---

<sup>40</sup> Степун Ф. (Н.Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. М., 1918. С. 9.

ствию «старца» Распутина, массовому изготовлению для армии так называемых «богатырок» (перехваченных большевиками и утвердившихся в восприятии масс как «буденовки»), появлению Петрограда вместо Санкт-Петербурга... Город лишился своего святого, а при большевиках, несмотря на формально исповедуемый ими марксистский интернационализм, во многом продолживших националистические тенденции последних Романовых, и своего имени, перестав быть и столицей. *Петровский период закончился*, власть вернулась в Москву. Произошел предугаданный Пушкиным в «Медном всаднике» потоп. Именно об этом в двухсотлетнюю годовщину смерти царя-преобразователя (28.1.1925) написал Бунин в стихотворении «День памяти Петра»:

«Красуйся, град Петров, и стой  
Неколебимо, как Россия...»  
О, если б узы гробовые  
Хоть на единый миг земной  
Поэт и царь расторгли ныне!  
Где град Петра? И чьей рукой  
Его краса, его твердыни  
И алтари разорены?  
*Хлябь, хаос — царство Сатаны,  
Губящего слепой стихией.*  
И вот дохнул он над Россией,  
Восстал на Божий строй и лад -  
И скрыл пучиной окаянной  
Великий и священный Град,  
Петром и Пушкиным созданный.  
И все ж придет, придет пора  
И воскресенья и деянья,  
Прозрения и покаянья.  
Россия! Помни же Петра.  
Петр значит камень. Сын Господний  
На Камени созиждет храм  
И скажет: «Лишь Петру я дам  
Владычество над преисподней»  
(курсив мой. — В.К.).

Николаевский самодержавный национализм оказался несостоятельным в управлении европеизирующейся страной, не сумел избежать потрясений и разрешить

возникавшие противоречия нового типа, направив их в русло эволюционного развития. Недовольство самодержавием, потерявшим связь с реальностью, в образованном обществе было всеобщим. Даже монархисты и «патриоты» предлагали, судя по записям французского посла, «национальную революцию». Конечно, «патриоты» верили, что «национальная революция» обойдется без бунта, ибо в русском народе содержится «величайший очаг идеализма, какой только есть на свете»<sup>41</sup>. Но здравомыслящие, в том числе и приближенные к верхам люди, считали это всеобщее недовольство образованных слоев правительством признаком надвигающейся катастрофы. Морис Палеолог в дневнике от 13.XI.1915 приводит слова одного из русских сановников, говорившего, что прогрессисты, кадеты, октябристы и прочие либералы «ведут нас к революции, которая... унесет их самих с первого же дня: ибо она пойдет гораздо дальше, чем они думают; ужасом она превзойдет все, что когда-нибудь видели... Когда мужик, тот мужик, у которого такой кроткий вид, спущен с цепи, он становится диким зверем. И снова наступят времена Пугачева... *Русский народ самый покорный из всех, когда им сурово повелевают; но он не способен управлять сам собою* (курсив мой. — В.К.)... Он нуждается в повелителе... Может быть, это происходит у нас от долгого татарского владычества. Но это так»<sup>42</sup>.

Неспособность управлять самим собой — одна из самых страшных характеристик, иными словами, это бытие в произволе, когда произвол (русская пословица: «чего хочю, то и ворочу») становится основой жизни. Но такие трезвые голоса, как голос этого сановника, по сути предсказавшего все, что у нас произошло, были редки. Не говоря уж о свойственном всему образованному обществу народолюбию, прогрессисты полагали, что народ уже просвещен и созрел для подлинной социальной революции, а патриоты были уверены, что народ изначально «свят» и не способен ко злу. Бе-

---

<sup>41</sup> Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 195.

<sup>42</sup> Там же. С. 225.

да, однако, была в том, что железная власть самодержавия ориентировалась на тот же российский архетип — *архетип произвола*. Произвол народной стихии покорялся произволу самодержавной власти, воспитывая и в маленькой кучке оппозиционеров все ту же склонность к произволу: «Мы во все вносим идею произвола... мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения...»<sup>43</sup> — писал Чернышевский. Тягу русских радикалов и нигилистов к бесконтрольному манипулированию и управлению чужими судьбами прекрасно показал Достоевский в «Бесах».

Самодержавие искало мифологического контакта с народом, чувствуя, что народ меняется, что европеизация пробивает себе дорогу во все более широкие слои населения, что одного произвола уже недостаточно. Но правовые структуры цивилизации только начинали складываться: на свою беду царизм изо всех сил тормозил их развитие. Народ не знал демократических институтов, не был приучен к закону. Поэтому, когда государство ослабело, силой сдерживать оппозиционные тенденции не могло, а иных средств разрешения конфликтов не знало, вспыхнувший взрыв, поддержанный и обществом, и народом, уничтожил все сдерживающие скрепы, и стихия вышла из берегов, затопляя все цивилизованное пространство, унося под воду государственные учреждения, законы, сметая нормы морали, права, разрушая не только элементы цивилизации, но и нормы традиционного общества. «В том-то и дело, — удивлялся С.Булгаков, — что революции у нас никто не делал и даже никто по-настоящему так скоро и не ждал: она *произошла* сама собой, стихийной силой»<sup>44</sup>.

### б) Социальная революция или стихийный бунт?

То, что произошло в России в 1917 г., те «десять дней, которые потрясли мир» (Джон Рид), и друзья, и враги установившегося большевистского режима назы-

---

<sup>43</sup> Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. В 15-ти т. М., 1950. Т. 7. С. 616.

<sup>44</sup> Булгаков С.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 580. Курсив С.Н.Булгакова.

вали социалистической революцией или, на худой конец, социальной революцией. Слишком грандиозны были масштабы разрушения всех прежних социальных, экономических, государственных, правовых и культурных структур. И слишком заманчивы и убедительны для европейского слуха обещания и лозунги новой власти о построении принципиально нового, справедливого общества. Безусловно, были в этом потрясении и элементы чисто социального возмущения и гнева. Однако может ли лозунг «грабь награбленное», брошенный тогда в массы революционерами, быть выражением жажды социальной справедливости?

Казалось бы, самые главные печальники за русский народ — русские писатели наиболее жестко и непредвзято отреагировали на произошедшую со страной катастрофу. Независимо от политических пристрастий, писатели и поэты определяли свою эпоху как время апокалиптически разбушевавшейся стихии, находя аналогии происходящему в бунтах Степана Разина и Емельяна Пугачева (поэмы С.Есенина, В.Хлебникова, В.Каменского и др.). Прислушаемся к названиям произведений и «красных» и «белых» писателей: «Взвихренная Русь» А.Ремизова, «Россия, кровью умытая» А.Веселого, «Голый год» Б.Пильняка, «Рожденные бурей» Н.Островского, «Двенадцать» А.Блока, «Окаянные дни» И.Бунина, «Царство Антихриста» Д.Мережковского, «Черная книжка» З.Гиппиус, «Солнце мертвых» И.Шмелева, «Хождение по мукам» А.Толстого, «Бич Божий» Е.Замятина... Во всех этих названиях — ощущение смуты, охватившей страну, неуправляемых стихий, губительных для человека, рождение нового и гибель старого мира, движение масс, новые двенадцать апостолов, за стихийной жестокостью которых Блок провидит Лик Христа, — короче, во всех этих произведениях чувствуется накал почти космической катастрофы. И даже в таком внешне нейтральном заглавии, как «Конармия» И.Бабеля, если вдуматься, скрыт тот же смысл — пробудившейся стихии. «Конармия» есть сокращение от «конной армии», т.е. ударной силы Степи, кочевников, варваров, вновь обрушившихся на



цивилизацию городов. Сам Бабель, думается, именно так и понимал название своей книги. В его недавно опубликованных дневниковых записях периода, когда он был участником похода буденновской конницы, эта мысль и впрямую выговорена: «Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть... к богатым, к интеллигенции, неугасимая ненависть»<sup>45</sup>.

Сами большевики, говоря, что они совершают социалистическую революцию, называли себя выразителями нужд и интересов народа, и поначалу и в самом деле сливались с народной стихией, на ее гребне взлетая к власти. Бунин зло иронизировал: «Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром»<sup>46</sup>. Россия переживала «пугачевщину», но «пугачевщину» особого рода. Жозеф де Местр как-то заметил, что России следует опасаться Пугачева с университетским образованием, ибо он сможет довести бунт до победы, а перед Европой закамуфлировать суть происходящего привычными для европейского слуха понятиями. Таким человеком оказался Ленин, взявший на вооружение европейскую теорию марксизма, не имевшую никакого отношения к реалиям России (по словам самого Маркса). Объявив русский бунт социалистической революцией, он посеял смущение в головах европейских прогрессистов, поддержавших Октябрьский переворот и Советскую республику. *По сути дела Октябрьская революция явилась первым в русской истории победившим бунтом.* Даже близкий к большевистским вождям Максим Горький так оценивал происходившее в 1917 г.: «В этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт»<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Бабель И. Конармия. М., 1990. С. 178-179.

<sup>46</sup> Бунин И. Окаянные дни. С. 96.

<sup>47</sup> Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 99.

Не случайно и Бердяев выводил диктатуру большевиков из специфики русской истории, видел идейные корни «русского коммунизма» в русской, а не европейской мысли, говоря, что объяснить «русские события» (революцию, гражданскую войну и дальнейший террор) можно (и нужно) прежде всего через русские реалии — склонность к стихийности, бунту, нигилизм, произвол и т.п. Большевики уверяли весь мир и самих себя, что их революция есть событие совершенно небывалое в истории человечества — по замыслу и новизне форм. Сошлюсь опять на злонаблюдательного Бунина: «Новизна форм! В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна»<sup>48</sup>. На несколько лет в нашей стране воцарился повсеместный произвол. Пределов насилию не было. Все списывалось на ситуацию революции и гражданской войны. Поначалу большевикам было выгодно это всеобщее разрушение прежних структур управления, могущих возглавить отпор им самим. Но потом стихия стала грозить и их собственным претензиям на власть. И из партии разрушителей они стали партией собирателей, по сути дела взяв на себя функции самодержавия.

Организация большевиков была достаточно амбивалентна. Выросшая в подполье, строившаяся на принципе произвола по отношению к обществу и историческому процессу, она была при том спаяна — в отличие от разбойничьей вольницы — железной дисциплиной и могла стать (и стала) костяком нового, но не менее, а более деспотического государства. К этому добавим, что установка большевиков на произвол и насилие оказалась в данном случае организующим и структурирующим ферментом: они, как некогда тата-

---

<sup>48</sup> Бунин И. Указ. соч. С. 163-164. Курсив И.Бунина.

ры, собрали распадавшуюся Россию. Идеи коммунизма как бы санкционировали насилие и оправдывали его в глазах Европы.

Стихия народного произвола была страшна. Но большевики жестокостей не боялись. Все рассказы о бессудных расстрелах в чрезвычайках сегодня подтверждены документально. Существует устойчивое представление, что большевики поначалу расстреливали только оппозицию да представителей правящих классов. Действительно, в первые годы острие красного террора было направлено в эту сторону — с полного одобрения народа, видевшего в интеллигенции и всех обеспеченных слоях своих врагов. Однако здесь необходимо важное уточнение: большевики с самого начала уничтожали *всех, кто был против их линии*, невзирая на социальное происхождение. И степень их жестокости — в своей методичности и целенаправленности — превысила степень стихийной народной жестокости. Произвол был побежден еще большим произволом. В своих воспоминаниях кадет и бывший «веховец» А.С.Изгоев, арестованный в первый же год нового режима, приводит много объясняющую фразу своего товарища по советскому концлагерю 1918 г. Собеседник Изгоева был полон иронии к кадетам и другим либералам-западникам, но с почтением относился к большевикам: «Русскому народу, — нередко говаривал он мне, — только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас (т.е. кадетов. — В.К.) уважает. Нет, он над вами смеется, а большевика уважает. Большевик его каждую минуту застрелить может»<sup>49</sup>.

Новая власть инстинктивно ощущала, что должна, пользуясь выражением Салтыкова-Щедрина, «ужаснуть народ». А потом возник миф о единстве партии и народа, так напоминавший старую формулу о единстве православия, самодержавия и народности. Сработал архетип единства народа и власти во имя борьбы с об-

---

<sup>49</sup> Изгоев А.С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ленинской России. London, 1991. С. 72.

щим врагом — «буржуазным окружением». Большевики же даже против народа действовали «во имя народа» и «именем народа». Поэтому обманутый и ограбленный народ, снова отброшенный в сторону от благоустроенной цивилизованной жизни, был, тем не менее, убежден, что он — главный, что он самый великий и счастливый народ в мире, ибо все делается ради него, а жестокость по отношению к себе он прощал, понимая произвол власти как суровую необходимость для усмирения его собственного произвола. Иными словами, из рабства рождается произвол, а из произвола снова рабство. Ибо сталинский тоталитаризм можно определить еще и как застывший, непрекращающийся произвол.

Искать сегодня конкретные причины поражения либерально-демократических, так сказать, «европейских» тенденций, пробивавшихся в начале века в монархической России, занятие, с одной стороны, бесперспективное, но, с другой, — поучительное. Бесперспективное, поскольку все гадания типа «а что было бы, если бы...» — нелепы. Произошло то, что при том раскладе сил не могло не произойти. Поучительно же, чтобы понять, работают ли сегодня те же механизмы, которые вызвали взрыв стихии в начале века.

### *в) Причины победы бунта в 1917 г.*

1. Неминуемо первым фактором, создававшим напряжение в стране, следует назвать социальное расслоение, возникшее с реформ Екатерины II, с «первой русской приватизации», когда значительная часть народа оказалась в рабском положении и даже не попробовала, что такое частнособственнические отношения, *не прошла через опыт владения частной собственностью*, как прошло практически все население Западной Европы. Иными словами, большая часть народа не искала своих прав, *ее реакция на гнет была одна — чисто разрушительная.*

2. Ситуацию усугубила война, причем война не локальная, а мировая, потребовавшая массовой мобилизации, поставившая под ружье и приучившая несколь-

ко миллионов русских людей к убийству. К этому надо добавить голод и разруху в тылу, отсутствие патронов и военного снаряжения на фронте, в результате ряд серьезных военных поражений и озлобление к собственному правительству.

3. Военные неудачи всегда приводили Россию к либерализации и социальным и политическим реформам. Но обычно это происходило на фоне сравнительно спокойных европейских дел, а также прекращения военных действий, в обстановке мира. На этот раз недоверие к правительству и требование реформ возникло во время войны, да к тому же в ситуации *военного безумия самой Европы*. Европа не только не понимала опасности русского бунта, напротив — *провоцировала* его: в данном случае речь идет о Германии, пытавшейся поддержкой большевиков разрушить Россию изнутри («пломбированный вагон», в котором приехал Ленин со товарищи, немецкие деньги большевикам и т.п.).

4. Российский *мессианизм*, возникший, очевидно, не случайно — по причине скрещения мировых противоречий на тот момент в России (противоречий, свойственных Западу и Востоку, капитализму и крепостничеству и т.п.). Россиянам казалось, что Россия укажет дорогу всему миру. На волне такого мессианизма возможны любые потрясения.

5. Историческое вырождение монархической системы правления, выразившееся в *бессилии* царизма остановить народное возмущение, в *отречении* в самый критический для России момент правящей династии от трона, что лишило страну во время войны единственной — легитимной — на тот период власти и основы государства.

6. *Заискивание* всех пришедших в феврале к власти партий перед народом. Это привело, во-первых, к развалу армии (издан приказ № 1 о разрешении смещать и назначать командиров выборным путем, что неминуемо вело к превращению армии в разбойничью вольницу). Во-вторых, постоянные призывы отбирать у помещиков землю, не дожидаясь правовых решений, т.е. методами насилия, что развращало народ, лишая

его всякого уважения к закону. В-третьих, упразднение органов правопорядка (уже в марте была распущена полиция, что должно было символизировать победу над «царскими сатрапами и насильниками», а на деле означало разрешение на грабежи и разбой всем темным элементам).

7. *Решение постфевральским правительством всех проблем неправовым путем.* Коренные вопросы национальной жизни решались не конституционно, не на основе закона, а посредством декретов и указов, утверждая в народном сознании идею произвола, психологически подготавливая народ к большевистским методам.

8. *Нелегитимность Временного правительства:* обстоятельство, которое само Временное правительство постоянно подчеркивало, а потому его указы могли нести лишь разрушительную энергию, но не созидательную. Нелегитимное, не выбранное народом правительство и не может быть правовым: существование его — нонсенс.

9. Закономерность победы большевиков, ибо нелегитимно править может только диктатура.

### 3. О ВОЗМОЖНОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ

Желая и предчувствуя крах большевистской диктатуры, русские философы-эмигранты вместе с тем тревожились, как переживет Россия эту новую ломку. «Момент падения коммунистической диктатуры, — писал Г.П.Федотов, — освобождая национальные силы России, в то же время является и моментом величайшей опасности»<sup>50</sup>. Всякий конец сложившегося образа жизни, пусть и тяжелейшего, но к которому народ притерпелся, чреват неожиданностями. Более всего виделась опасность нового стихийного бунта, который породит неминуемо новую диктатуру. Отчасти об этом слова Н.А.Бердяева: «Внезапное падение советской власти, без существования организованной силы, ко-

<sup>50</sup> Федотов Г.П. Лицо России. Paris, 1988. С. 287.

торая способна была бы прийти к власти не для контрреволюции, а для творческого развития <...>, представляла бы даже опасность для России и грозила бы анархией»<sup>51</sup>. Ожидаемое падение свершилось. Причем не революцией, не нашествием извне, а в результате самоизживания, естественного ослабления режима.

Что же у нас произошло? Началось все с переворота внутри партаппарата, переворота, который сегодня называют «аппаратной революцией», а еще недавно у нас и во всем мире называли «перестройкой». Переворот, совершенный партийной верхушкой, преследовал вполне конкретные прагматичные цели. По сути дела, проиграв «третью мировую», партаппарат решил пожертвовать трупом Ленина и идеологией марксизма, чтобы достигнуть компромисса с Западом. Александр Ципко объявил виновником всего пришедший к нам с Запада марксизм, словно бы и не поняли русские мыслители-эмигранты уже в конце 30-х годов, что марксистами были не только большевики, но и их самые активные противники — меньшевики, что «большевизм может произрастать не на одной марксистской почве. Ленин был сомнительным марксистом. Сталин вообще никакой марксист. В России Маркс только имя без содержания... Большевизм — это культура тоталитарной злобы»<sup>52</sup>. Но под прикрытием борьбы с марксизмом происходил более серьезный процесс: партийная бюрократия старалась приобрести иной социальный статус, связанный не только с пребыванием во властной иерархии (как правило, не долговечным), а ценностями более прочными и долговременными, которые можно передать по наследству. Под видом демократизации и создания экономики, наподобие западной, партийно-государственная номенклатура постаралась использовать свою политическую власть для *приобретения капитала*.

При этом, конечно, не допуская народ до «второй русской приватизации» — дележа на «частные куски» государственного пирога.

---

<sup>51</sup> Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 120.

<sup>52</sup> Федотов Г.П. Защита России. Paris, 1988. С. 203.

Но аппаратная революция, т.е. «перестройка», логикой движения поневоле вовлеченных в аппаратные игры масс приобрела отчасти и реформаторское направление. Не говоря уже о возникшем желании немалой части народа тоже получить собственность, ее сломали два движения: во-первых, сепаратистское — бывших республик империи; во-вторых, демократическое. Нынче демократы расстраиваются, что аппаратчики прикрылись их лозунгами для достижения своих корыстных целей и тем самым опорочили идеи демократии, попутно совратив и купив кое-кого из демократических деятелей. Демократия, однако, стала оценочным критерием деятельности нынешних правителей. И этого критерия большинство из них не выдерживает (стоит открыть любую газету). Хотя, конечно, тем самым идеи западного демократизма оказались подорваны беззастенчивой коррупцией псевдодемократов.

В результате в массовом сознании идеи вестернизации прочно связались с торжеством коррупции, мафиозных игр разнообразных нынешних властей, с развалом экономики и заметным снижением уровня жизни. Разумеется, к действительному европеизму происходящее у нас в последние годы имеет пока что мало отношения, ибо европеизм там, — не могу не согласиться с Л. Баткиным, — «где модернизируется экономика, политика, все жизненные отношения и возникает принципиально открытая, сознательно спорящая внутри себя, актуально не совпадающая с собой культура... «Запад» в конце XX века — не географическое понятие и даже не понятие капитализма... Это *всеобщее определение* того хозяйственного, научно-технического и структурно-демократического уровня, без которого немислимо существование любого истинно современного, освобожденного от докапиталистической архаики общества»<sup>53</sup>. У нас пока слишком много оснований для тревог, недовольств и мрачных предчувствий и пророчеств. Ясно, однако, причем всем, что возврата не будет. Слишком много произошло необратимых со-

---

<sup>53</sup> Баткин Л. Статя Европой // Век XX и мир. 1988. № 8. С. 30, 31.



бытий, показавших в том числе снижение энергийного уровня стихийности, до сих пор служившей одним из препятствий укрепления цивилизованных, а в этом смысле и европейских принципов жизни.

Поэтому стараемся не обращать внимания на взаимоотношения властей и бывшего партаппарата, бывших диссидентов и так называемых «демократов по убеждению», коммунистов, националистов и фашистов... Все это рябь на воде, не определяющая течение, поверхностные, внешние характеристики происходящего процесса, а не его сущность. Если отбросить все слова о якобы складывающемся у нас капитализме и возврате к дореволюционной России, мы увидим, что на самом деле произошло лишь одно: распад империи, т.е. мы второй раз после февраля 1917 г. вступили в полосу тяжелейшего кризиса определенной структурной организации, стабилизовавшей в свое время взаимоотношения разнородных недоцивилизованных, не преодолевших еще свою стихийность элементов на одной шестой части суши. Однако на сей раз этот распад не имеет лекарства вроде интернациональной идеологии марксизма, ставшей инструментом постреволюционного собирания империи. И, что существенно, кризис проходит в другой геополитической и культурной обстановке. Во-первых, Европа сегодня не враждебна России, напротив, заинтересована в ее стабильности как державы, обладающей ядерным оружием и огромным количеством АЭС. Во-вторых, нет пока что внутренних катаклизмов, которые в начале века проходили под лозунгом борьбы труда и капитала. А войны, которые шли и идут на окраинах бывшего СССР, хоть и дестабилизируют ситуацию, не совпадают по своей направленности с противоречиями центральной России.

Об идущем распаде традиционных структур, державших империю, пишут публицисты, пишут ученые. На самом деле распад, чреватый взрывом, катастрофой произошел в 1917 г., и диктатура большевиков была реакцией архаического общества, пытавшегося отсрочить свою гибель. Это был последний выброс архаич-

но-варварской стихии с самым большим за всю историю России энергетическим потенциалом, выброс, длившийся почти полвека (1917-1956), когда сметались и уничтожались целые пласты традиционного русского общества. Сегодня мы присутствуем при завершении этого процесса, который пришел к тому, с чего начался: к распаду империи. Можно предположить, что, пережив такую страшную эпоху господства враждебной личности стихии — сначала во взрыве народных страстей, а потом в форме сталинского террора, — Россия получила своего рода прививку от новой Смуты, а также шанс на построение нового, непривычного для нее типа общества.

Сказать, что этот процесс будет легким, петь ему дифирамбы и утверждать, что он быстро приведет нас в благую жизнь, было бы непростительным легкомыслием. Тем менее возможно думать, что этот процесс пойдет более гладко, чем он шел в Европе, и займет небольшой промежуток времени, что мы проскочим за несколько лет тот путь, которым Европа шла столетия. Такого рода самообман уже был в Октябре семнадцатого. Процесс этот будет долгим, и, пожалуй, не похожим на европейский. Потому что и история у нас была другая. Можно, однако, кое-что предположить, исходя из опыта прожитой нами советской эпохи.

Эту эпоху ведь нельзя вычеркнуть из нашего сознания, мы в ней росли и развивались и, полностью отрицая ее, мы тем самым отрицаем и себя, и возможность дальнейшей жизни нашего общества, в том числе и возможность европеизации, понятой как развитие свободных, самостоятельных сил России, которая в своем генезисе была составляющей частью Европы, к ней и идет. Своеобразие русской культуры в полной мере проявилось после петровского возврата к европейским началам, именно в постпетровскую эпоху Россия стала одной из влиятельнейших культурных сил мирового процесса. И в советский период российской истории отношение к Западу, западной культуре и свободе не было однозначно негативным. Отрицая его, у него учились, проклиная его, старались заимствовать оттуда технологию... Даже идеология, при всех издержках тоталитаризма, была ориентиро-

вана все-таки на европейскую философскую доктрину — марксизм. В русской историософии существует устойчивая точка зрения, что, начиная с Петра I, внедрение европейской культуры шло сверху. Образно говоря, сначала была построена крыша, потом верхние этажи, но все строение как бы висело в воздухе, не имея опоры в народной почве. Октябрьская революция мощным ударом стихии разрушила эти этажи и крышу, но парадокс постреволюционных лет состоит в том, что, несмотря на жесточайший террор, фундамент советской культуры строился из обломков культуры европеизированной «царской» России: образование, провозглашенное неотъемлемым правом советского народа, ориентировалось на европейскую науку, а нравственные принципы наследовались от русской классической литературы, воспитанной на идеале западноевропейской свободы. Все это в конечном счете создало многомиллионный слой советской интеллигенции, ставшей реальной силой в первые годы «перестройки», пытавшейся демократизировать Россию, внести в народное сознание элементы правового порядка, перестроить на правовой основе отношения собственности, чтобы через опыт частнособственнического владения прошел весь народ и т.п.

Что же в результате? Очередная историческая неудача? Экономика пока в развале, общество нищает... Однако нынешнее разочарование в том, что происходит, постоянно *публично выражаемое*, свидетельствует о возникшей в обществе способности к самокритике — явлении невиданном в советский период, а значит, и о европейском в конечном счете векторе движения. Пока это наш единственный гарант от застоя и возвращения на прежние круги. Сам факт этого сызнова (после гибели петербургской России) возникшего движения говорит, что в исконной российской борьбе между стихией и цивилизацией, возможно, наступил перелом в пользу цивилизации. Во всяком случае понятно, что иная, противоположная направленность развития приведет к войне, тем самым к мировой катастрофе, а стало быть, обсуждать *этот* путь бессмысленно. Ибо ядерный апокалипсис находится за пределами историософских конструкций.

### III. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ?

(К спорам о евразийстве)

Этот странный вопрос напрашивается как вывод из утверждения, что Россия есть Евразия, т.е. объяснения смысла и идеи России через географию. Когда-то Чаадаев сетовал, что Россия находится вне истории, что она не более, чем географическое понятие. Тогда это казалось пределом национальной самокритики. Евразийцы обратили этот «географизм» в национальную добродетель, объявив большевистскую Россию (как отринувшую Россию петровскую) полной и абсолютной наследницей Джучиева улуса, апеллируя в том числе к фактору пространства: те же размеры, те же кочевые просторы. И такая же вражда к «романо-германской Европе», живущей прежде всего в системе временных координат, а не только пространственных. Представлялось, что Россия вырвалась за пределы исторического развития. «Довольно жить законом, // данным Адамом и Евой», — провозглашал первый поэт революции Владимир Маяковский. Эренбург в романе «Трест Д. Е.» изображал распад Европы и движение революционных голодных орд из России на Запад с лозунгом «Даешь Европу!», завершая роман картиной выжженного, разрушенного европейского пространства, пригодного лишь для передвижения кочевников. «Наше едва остывшее кочевье»<sup>1</sup>, — называл Есенин Советскую Россию. Быть может, трагичнее прочих ощутил ситуацию конца истории Мандельштам, поэт европей-

---

<sup>1</sup> Есенин С.А. Собр. соч. В 5-ти т. М., 1962. Т. 5. С. 18.

ского духа и склада, в стихотворении: «Сумерки свободы» (1918):

В ком сердце есть — тот должен слышать, время,  
Как твой корабль ко дну идет.

Так что евразийский апофеоз «ордынского начала» как бы венчал картину «гибели западной цивилизации». Цивилизации, взлелеявшей историю и утвердившей в мире пафос исторического развития.

Здесь стоит вспомнить, что в трактовке судьбы России у С.М.Соловьева важную роль играло понятие «внутренней Степи». Он писал, что после победы над «внешней Степью», т.е. татаро-монголами, строящаяся и цивилизующаяся Русь сбивали с этой дороги бунты, иными словами, восстания «внутренней Степи». Так что после победы в октябре 1917 г. народной, «скифской» стихии естественно было вспомнить о катастрофе, постигшей Киевскую Русь в результате татарского нашествия. В «Окаянных днях» об этом с ужасом писал Бунин (1917-1918), вспоминая, что уже в шестнадцатом он предвидел нечто подобное:

«Вот встает бесноватых рать  
И, как Мамай, всю Русь пройдет...»

С другой стороны, значительная часть интеллигенции — еще со времен Герцена — готова была встретить, да и встречала «грядущих гуннов» «приветственным гимном» (В.Я. Брюсов). Но и для этих, «приветствовавших», продолжавших линию «покаяния интеллигенции перед народом» победа «гуннов» означала закат всяческой культурной деятельности («мудрецы и поэты» прячутся «в катакомбы, в пустыни, в пещеры») и уход народа из истории. После налета таких стихийных сил «история прекращает течение свое» (Салтыков-Щедрин в «Истории одного города»). Об этом говорил и Пушкин: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства»<sup>2</sup>. Зато евразийцы восприняли уничтожение петровско-пушкинской цивилизации в России с восторгом и попытка-

<sup>2</sup> Пушкин А.С. Собр. соч. В 10-ти т. М.-Л., 1951. Т. 7. С. 225.

лись обосновать причины своего восторга. Имеет смысл еще раз взглянуть на эти обоснования, ибо они почти без изменений перешли в лексикон и аргументацию современных неоевразийцев.

И *первое*, о чем надо сказать в этом аспекте, — об игнорировании, точнее даже *о перечеркивании евразийцами национальных святынь и преданий*. Речь идет об отношении народа к татарскому нашествию, как оно отразилось в летописях, былинах, сказаниях и песнях и как это нашествие трактовалось евразийцами. Вот несколько фраз из «Летописных повестей о монголо-татарском нашествии»: «В тот же год пришли из восточных стран... безбожные татары... Много святых церковей предали они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду богатую добычу... Старых монахов, и монахинь, и попов, и слепых, и хромых, и горбатых, и больных, и всех людей убили, а юных монахов, и монахинь... увели в станы свои... А епископ Митрофан, и княгиня Юрия с дочерью, и со снохами, и с внучатами, и другие, княгиня Владимира с детьми, и многое множество бояр и простых людей заперлись в церкви святой Богородицы. И были они здесь без милости сожжены... Татары... разграбили все монастыри и иконы ободрали, а другие разрубили, а некоторые взяли себе вместе с честными крестами и сосудами священными, и книги ободрали, и разграбили одежды блаженных первых князей, которые те повесили в святых церквях на память о себе... Расправились татары со всеми... И было видеть страшно и трепетно, как в христианском роде страх, и сомнение, и несчастье распространялись»<sup>3</sup>. Характерны и названия летописей XIII — начала XV вв., все они повествуют о трагедии народа: «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание об убийнии в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора», «Повесть о побоище на реке Пьяне», «Повесть о битве на реке Вожа», «Задонщина», «Летописная повесть о Куликовской битве», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о нашествии Тохтамышша»,

---

<sup>3</sup> Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 135-139.

«Повесть о Темир Аксаке», «Сказание о нашествии Едигея» и т.д. и т.п. Перечень бесконечен. Одна из самых поэтических и печальных русских легенд — «Легенда о граде Китеже» — тоже связана с Батыевым нашествием и повествует, как разоренный и разграбленный, а некогда прекрасный и цивилизованный город на берегу озера Светлояр стал невидим «вплоть до пришествия Христова»<sup>4</sup>, тогда и вернется он на Русь как символ русского города, некогда погубленной городской культуры. Все русские былины говорят о борьбе со Степью как главной задаче русских богатырей, а былина «С каких пор перевелись витязи на Святой Руси» описывает последний бой знаменитых богатырей — с татарским воинством, фиксируя конец русского богатырства, русского рыцарства с приходом монголов. Такова печальная мета в народном сознании, связанная с трехсотлетним игом.

Заметим, что на фоне постоянной борьбы со Степью *ни разу* — до сражений Александра Невского с немцами и со шведами, которых он победил «с небольшой дружиной», — не говорится в русских летописях и былинах об угрозе с Запада. Более того, и эти сражения произошли уже *после* захвата Руси татаро-монголами. Но евразийцы исходят из априорного убеждения, что Русь была обречена стать жертвой какого-либо захватчика, а потому ей повезло, что она попала под владычество татар. «Велико счастье Руси, — писал Савицкий, — что в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, и не кому другому. Татары... не замутили чистоты национального творчества»<sup>5</sup>. Для *евразийцев* от П.Н.Савицкого до Л.Н.Гумилева, с гордостью рассказывавшего, как он пил в память Чингисхана, *татарское нашествие представляется великой удачей русского народа*, ибо благодаря нескольким столетиям рабства на территории бывшей татарской империи возникло могучее военное государство, ни во что не ставившее

---

<sup>4</sup> Там же. С. 219.

<sup>5</sup> *Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 124.*

жизнь и свободу своих подданных (большинство было в крепостной неволе), зато чрезвычайно влиятельное на международной арене. Ибо именно внешняя мощь, а не духовное развитие, не рост благосостояния людей первенствует в концепции евразийцев.

Не буду вспоминать известные слова Пушкина, что духовная жизнь порабощенного народа не развивалась, приведу простые факты: «Последствия нашествия были катастрофичны: тысячи погибших воинов, тысячи разоренных жилищ и сел, десятки оставшихся в руинах городов, многие тысячи угнанных в плен мужчин и женщин, резкое сокращение населения страны», возродились «архаичные формы эксплуатации, вызвав демографический кризис в стране... Всех самых квалифицированных ремесленников отправляли в Орду... На Руси же в результате исчезли многие отрасли ремесла; была забыта техника перегородчатой эмали, производства стеклянных бус, черни, зерни, скани (художественной обработки благородных металлов). В других ремеслах произошло опрощение и огрубление технических приемов. Почти на целое столетие прекратилось каменное строительство в русских городах»<sup>6</sup>. Стоит ли говорить о нравственных, хозяйственных и экономических последствиях ига!

Но, даже став на позицию евразийства и полагая главным мощь государства, мы заметим, что вследствие татарского нашествия ослабленная Русь потеряла возможность укрепиться в Прибалтике, отдав эти территории немецким духовно-рыцарским орденам, и только спустя пять столетий, при Петре, получила доступ к Балтийскому морю. Заметим к тому же, что если в XIV в., скажем, в Германии было около 20 млн. жителей, то в России, во много раз превосходящей ее по территории, население от XV к середине XVII в., возросло с 2-3 млн. до 7 млн. А надо ведь еще учесть и сибирские пространства. Это и есть результат демографического кризиса, вызванного игом. Спрашивается, возможно ли в такой пустынной стране строить цивили-

---

<sup>6</sup> История Европы. В 8-ми т. М., 1992. Т. 2. С. 438.



лизацию, входить в мировую систему как промышленная или хотя бы как сельскохозяйственная страна, просто утверждать какие бы то ни было социально-общественные связи между людьми, выйти из системы пространственных координат в систему временных, обрести самосознание и тем самым войти в исторический процесс?.. Этот возврат в историю стоил России невероятных усилий, но и необходимых — ибо вектор ее развития был направлен в Европу.

Евразийцы (особенно Трубецкой) много писали о важности самопознания для России, тогда-де она отойдет от Европы. Они забывали, что самосознание и самопознание суть добродетели европейские, возникшие в европейской античности. И Россия обладала ими! Можно подумать, что русские летописи и былины не являются выражением народного самосознания и самопознания!.. Но евразийцы, вроде бы постоянно апеллируя к истории, по сути отказываются от ее реалий во имя своих идеологических конструкций. Поэтому их понимание и толкование истории было вполне аисторичным.

*Второе* — это отношение к Европе и — шире — ко всему Западу. В 60-е годы прошлого века польский историк Франциск Духинский в книге «Арии и туранцы. Земледелие и история ариев-европейцев и туранцев, в частности, московских славян», изданной в Париже, утверждал, что Россия находится вне европейской семьи народов и что напрасно ее цари с политическими целями пытаются ей придать европейский облик. Объяснялась такая позиция понятным желанием поляка унижить Россию в глазах Европы после подавления польского восстания. А в 1925 г. князь Н.С. Трубецкой с упоением писал о «туранском элементе в русской культуре», заявляя, что именно этот элемент, по счастью, отделил Русь от Европы, а потому Европа чужда нам в принципе. И это-де хорошо — по нескольким соображениям. Во-первых, Европа — это *постоянный источник агрессий*. Во-вторых, это место, *обреченное на гибель*. В-третьих, *все заимствования из Европы губительны для России*, которой надлежит идти своим пу-

тем. Разумеется, все эти постулаты придуманы не евразийцами, но ими артикулированы наиболее отчетливо за последнее столетие. Да и сегодня они постоянно на слуху.

Заметим, однако, что *все европейские агрессии Россия всегда отбивала*, в конечном счете усиливаясь в результате этих битв. Да и испытывать нажим со стороны Европы Россия начала только с XVII века, когда сама вошла в европейский ареал. Вряд ли нажим поляков или шведов, даже французов, можно сравнить с *трехсотлетним* ордынским игом. Да и сама Европа на протяжении многих столетий помимо внутренних войн вела оборонительную борьбу против тех же монголов, венгров, арабов и турок, мобилизуя все свои силы («крестовые походы») для целей этой борьбы. Еще в 1682-1683 гг. турки-османы осаждали Вену. Так что Европа не более агрессивна, чем досаждавшие ей в течение столетий соседи.

О гибели же Европы, о ее закате евразийцы заговорили не первые. Пожалуй, после первых контактов с Европой образованные русские (Фонвизин, славянофилы, Герцен и др.), *опираясь на европейскую самокритику*, которая всегда была и остра, и беспощадна (и Руссо, и романтики, и Маркс с Энгельсом — да мало ли других!), *глобализировали эту самокритику*; находясь в другом «местоположении», *превратили ее в критику с категорическим приговором о неизбежной и скорой смерти европейской культуры*, полагая себя ее наследниками. *И как нетерпеливые наследники мысленно торопили окончательный исход*. У евразийцев иной оттенок неприятия. Видя развал России, находясь во власти «катастрофических» настроений, они боялись «коварного Запада» — старика, пережившего своих потенциальных наследников. А потому и ненавидели его более остро и непримиримо.

На руку евразийцам оказался трактат Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes» («Закат Европы»), который выдержал с 1918 по 1920-й — к моменту выхода их первых сочинений («Европа и человечество» Н.С.Трубецкого в 1920 г.) — уже более тридцати изданий. Повлиявший на всю мировую историософию,

Шпенглер своей идеей поликультурности мирового исторического процесса, безусловно, оказал влияние на евразийцев: о знакомстве с его книгой они нехотя признавались, хотя и говорили, что пришли к своим идеям «одновременно» с немецким философом. Существенно, однако, что сам Шпенглер выражал антиевропейские настроения как представитель окраинной, менее западной страны, нежели другие европейские страны, был одним из вдохновителей, быть может, последней попытки Германии пойти своим особым, «немецким» путем. И его неприятие «Запада» (ведь точный перевод названия его трактата — «Гибель Запада»), было не меньшим, чем у евразийцев. Все острие шпенглеровской критики направлено против идеи европоцентризма. Приняв многие его соображения, евразийцы вместе с тем взглянули на Европу и на «мир истории» с точки зрения «мира природы», противопоставив «логику пространства» «логике времени»: все исторические изменения, по их мнению, ничего не определяют, определяет все «месторазвитие», бог данного места, *идея вполне языческая*. И опять же антиисторичная, ибо *Западная Европа стала Западом* в историософском смысле этого слова — *на том самом месте, где некогда существовали варварские и кочевые племена*.

Что касается губительности для России заимствований с Запада, то тут евразийцы умудрились перечеркнуть практически всю русскую культуру — в ее высших послепушкинских проявлениях. Говоря о благотворности византийских влияний (кстати, для Руси X в. эти влияния были вполне западные — принятие европейской, а не восточной религии, интенсивный контакт со всеми европейскими государствами: династические браки и пр.), евразийцы полагали, что «западноевропейские» влияния прошли мимо русского духа: «Все получаемое с «запада» органически не усваивалось, не вдохновляло национального творчества. Западные товары привозились, покупались, но не воспроизводились. Мастера выписывались, но не с тем, чтобы учить русских людей, а с тем, чтобы выполнять заказы. Ино-

гда переводились книги, но не порождали соответствующего рода национальной литературы»<sup>7</sup>.

Эти соображения, отчасти справедливые для Московской Руси, уже абсолютно неприменимы к России Петра I, заветным желанием которого было, по мысли Ключевского, пересадить европейские корни на русскую почву, чтобы они у нас дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной культуры. Для евразийцев два постпетровских столетия словно бы и не история; на их взгляд, они только разрушали Россию. Еще понятно отвержение славянофилами петровской реформы, ее плоды могли быть не очень заметны и вняты сознанию в начале прошлого века. Но к XX столетию уже заявила всему миру о себе и о России великая русская литература, появилась могучая наука, самобытная философия, живопись и музыка... Этого мало? Как сказать! Афанасий Фет в противовес весьма многим западным критикам России (вроде уже упомянутого Ф.Духинского), равнявшим русских с племенами, еще не вышедшими из варварского образа жизни, а стало быть, не имеющими, говоря словами Пушкина, «ни истории, ни дворянства», указывал на русскую литературу, как на доказательство вхождения России в круг цивилизованных, исторических народов. Он писал:

Вот наш патент на благородство, —  
Его вручает нам поэт,  
Здесь духа мощного господство,  
Здесь утонченной жизни цвет.  
В сыртах не встретишь Геликона,  
На льдинах лавр не расцветет,  
У чукчей нет Анакреона,  
К зырянам Тютчев не придет.

(«На книжке стихотворений Тютчева», 1883)

К этому стоит добавить, что роль поэзии отнюдь не преувеличена Фетом, поэты в самом деле конституируют нацию. Такова была роль Гомера в античной

---

<sup>7</sup> Трубецкой Н.С. Верх и низы русской культуры // Пути Евразии. М., 1992. С. 338.

Греции, давшего грекам историю, поэзию и религию. Нельзя забывать о могучем поэтическом пафосе Ветхого завета, создавшего еврейскую нацию из кочевого племени. Г.П.Федотов писал, что уже в новейшее время Рунеберг, автор «Калевалы», создает «новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью»<sup>8</sup>. Об эстонцах и латышах он тоже пишет, как о нациях, творимых на наших глазах поэтами. Не так давно М.К.Мамардашвили говорил «о рождении из творчества писателей целой страны, России»<sup>9</sup>. Речь шла о русской словесности XIX в., по которой и в самом деле весь мир узнает Россию — через ее собственное самопознание посредством литературы. Пушкин как-то сказал о себе, что он ударил по наковальне русского языка и тот зазвучал. Но заставить «звучать язык» это и означает конституировать национальное сознание.

Оставался, однако, вопрос о российской катастрофе. Кто погубил Россию?.. «Откуда же известно, — спрашивал евразийцев И.А.Ильин, — что нас погубил запад, а не наше собственное, неумелое подражание? Из чего же видно, что наша самобытность за двести лет погибла?» И восклицал иронически: «Ну, а в чем же выразилась наша самобытная культура за двести лет? Ни в чем! Ничего русского! Ничего самостоятельного! Ничего первоначального, почвенного! Сплошное подражание гнилой германо-романщине: вся государственность от Петра I до Столыпина; вся поэзия от Державина до Пушкина и Достоевского; вся музыка от Глинки до Рахманинова; вся живопись от Кипренского до Сомова; вся наука от Ломоносова до Менделеева и Павлова. Где во всем этом здоровая и самобытная стихия Чингисхана? Где здесь национальное самосознание татарского улуса? Где здесь слышен визг татар, запах конского пота и кизяка?»<sup>10</sup>!

Иными словами, в отношении к Европе у евразийцев ксенофобия, оборачивающаяся отрицанием собственной культуры и истории.

---

<sup>8</sup> Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. СПб., 1992. Т. 2. С. 320.

<sup>9</sup> Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 187.

<sup>10</sup> Ильин И.А. Самобытность или оригинальность? // Начала. 1992. № 4. С. 61. Выделено И.А.Ильиным.

Правда, современные неоевразийцы главной заслугой этой теории — и это *третий пункт* нашего рассуждения — считают утверждение поликультурности мира. Отвечать на это даже как-то неловко. Не говоря уж о европейских мыслителях от Гердера и романтиков до Шпенглера и Тойнби, вполне преодолевших простодушный европоцентризм, стоит вспомнить Геродота, *увидевшего другие народы* и описавшего их, вспомнить бесчисленные путевые записки европейских путешественников, монахов и воинов. Цезарь оставил записки о галлах, Тацит писал о германцах, но где заметки Чингисхана, Батыея или Тамерлана о поработанных ими народах?.. Да и русские первопроходцы — Ермак, Хабаров, Дежнев — не могут похвастаться своим писательским вниманием к жизни и обычаям покоряемых племен. *Видеть другую культуру* в состоянии только человек личностного сознания — и этому видению евразийцы могли научиться только в «индивидуалистической» и полицентричной Европе: *полицентричность предполагает умение воспринимать другую точку зрения, другую культуру, т.е. предрасположенность к толерантности и поликультурности*. Кажется, евразийское пространство такой полицентричностью похвалиться не может, ведь даже наличие в послепетровской России двух столиц — Петербурга и Москвы — воспринималось националистическим сознанием (в том числе и евразийским) как начало российского распада и катастрофы.

Одна из важнейших тем, поднимаемых в связи с обсуждением евразийства, — и это *четвертая* по порядку, но не по значению тема этой главы — касается вопроса о необходимости евразийского центра как антипода «западному» центру для структурирования мирового пространства, поскольку недавнее существование двух сверхдержав, де, не случайность, а закономерность в порядке человеческого развития, ибо всегда было два Рима — Рим Запада и Рим Евразии (вначале в облике Византии, затем России). Но так ли это? Как показывает историческая реальность, периоды стагнационной биполярности чрезвычайно редки в

структурных конфигурациях человечества. Если уж какая-нибудь простая молекула составляет весьма сложную поливалентную конструкцию атомов, позволяющую ей сохранять целостность, то что говорить о человечестве!.. Особенно неудачен часто приводимый пример с Западным Римом и Римом Восточным (Византией). Посмотрим, как было дело: появление второй столицы (Константинополя) приходится на начало четвертого века, разделение Римской империи на Западную и Восточную происходит в 395 г., а в 410 Рим уже взят Аларихом. Это разделение было вызвано невероятным давлением (начиная с III в.) варварских племен на Рим, стал необходим второй центр для лучшей защиты разросшейся империи. Но, как видим, эта биполярность продлилась слишком недолго.

Если же говорить о религиозном смысле разделения на два Рима, то Константинополь (второй Рим) очень долго первенствовал над Римом «западным», окруженным невероятным количеством варварских государств, абсолютно безвластным и маловлиятельным. Светская власть пап, а потому и большее их воздействие на европейскую жизнь начинается с IX в. Теперь они могли потягаться с византийской церковью, прежде с высокомерием относившейся к Риму. Но наметившееся противостояние оформилось в Схизму лишь в XI в. (1054 г.), а уже в 1204 г. Константинополь был захвачен крестоносцами, и влияние Византии резко упало. В 1439 г. сдавленная со всех сторон османскими турками Византия принимает Флорентийскую унию, и на ее стороне сражаются на сей раз латинские рыцари, но Восток оказывается сильнее, и в 1453 г. Византия завоевана османами, а на месте Константинополя появляется Стамбул. Правда, после падения «второго Рима» свет православной веры переходит в Московскую Русь. Но до петровских реформ Московское государство, несмотря на гордые самоименования («третий Рим»), оставалось мировым маргиналом, и говорить, что оно создавало другой полюс европейского континента было бы неверно. Реальной силой Россия становится после столетия постпетровского развития, но то-

гда Запад уже обретает дополнительный центр в лице Северо-Американских Соединенных Штатов. Биполярность же двух сверхдержав занимает еще более короткий промежуток времени — от второй мировой войны до развала СССР. Иными словами, я хочу сказать, что *структурированность мира в истории человечества постоянно меняется и объявлять константным то или иное положение непродуктивно.*

Мы говорим о делении на Запад и Восток, на Европу и Азию. Но нельзя забывать, что *граница между ними подвижна, ибо она есть не географическая данность, а историософское прочтение мира.* Когда-то Европа состояла из двух-трех народов Средиземноморского бассейна, все остальное представлялось варварской азиатской периферией. Россию называют наследницей двух евразийских культур — эллинистической и византийской. Но ведь надо отдавать себе отчет, что основной пафос существования этих культур был в проведении и отстаивании европейских начал на Востоке. В этом смысле и Рим можно назвать евразийской державой. После становления Римской империи граница между Западом и Востоком стала проходить по Рейну. За Рейном уже была сплошная Азия. Но и внутри империи хватало диких, кочевых, вполне азиатских племен, цивилизовавшихся медленно и с трудом. Равнин и в Европе было немало, и ни Альпы, ни Пиренеи не могли остановить кочевые орды. Рим тоже, как и Византия, испытывал мощное излучение со стороны «Азии». Но когда он пал, останки его цивилизации «заразили» варваров, потихоньку пересоздавая их. Процесс, занявший почти десять столетий. Напомню, кстати, что в распавшейся впоследствии на несколько государств огромной империи франков, — первоначальные владения Карла Великого именовались *Австразией* и лишь после присоединения им Лангобардии, Баварии и других земель, после покорения диких кочевников и язычников саксов, их крещения, он был коронован в 800 г. папой Львом III как император Священной Римской империи. Отсюда можно считать начало уверенной европеизации данного пространства. Назвавши



себя «третьим Римом», Русь заявила о своей европейской ориентации и намерении продолжать «дело Рима». И сегодня мы свидетели и невольные участники нового и весьма сложного процесса структурирования евразийского пространства после нескольких столетий господства здесь европеизирующей политики России. Снова связать это пространство единым узлом вряд ли получится: оно связывалось, пока племена и народности не приобрели национальное самосознание — пусть пока диковатое, но где оно начиналось иначе?.. Новые независимые республики пытаются стать субъектами исторического процесса, как некогда пытались сделать это и европейские народы.

Наконец, *пятое*, о чем я хотел сказать, это «проблема устойчивости и силы»<sup>11</sup>, которая якобы была характерна для Московского государства, как наследника Батыева, а также для Сталинской империи, где использовались те же методы скрепления народов, и далее для Советского Союза. Туранская психология и татарское иго, враждебные творческой инициативе, «разрушительной для государственной прочности», по мысли евразийцев, явились основой новой России. Только когда Россия стала окончательно Евразией — и по территории, и по повадкам и методам правления как в Орде — когда она, так сказать, «отатарилась», она обрела самое себя. «Московское царство возникло благодаря татарскому игу, — писал Трубецкой. — Московские цари, далеко не закончив еще «собирания русской земли», стали собирать земли западного улуса великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву»<sup>12</sup>.

Надо сказать, о влиянии татарского владычества на структурирование русской государственности и на рус-

---

<sup>11</sup> Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. С. 71.

<sup>12</sup> Там же. С. 72.

скую ментальность (по крайней мере сюда включались, например, Чернышевским черты паразитарности и произвола) писали многие русские мыслители, правда, *в отличие от евразийцев — с горечью*. Здесь, однако, речь о другом — о приобретении колоссальных территорий как гаранте мощи и устойчивости государства. Стоит, пожалуй, вспомнить наблюдение Тойнби — продемонстрированное на весьма обширном историческом материале — о негативной (для цивилизационного рывка) роли больших завоеваний: «Когда общество, отмеченное явными признаками роста, стремится к территориальным приобретениям, можно заранее сказать, что оно подрывает тем самым свои внутренние силы»<sup>13</sup>. Тойнби считал, что таким препятствием, отяжелившим Россию, стало присоединение Сибири — пространство, не поддававшееся цивилизационному освоению в ту эпоху. Ключевский по поводу Московского государства замечал, что «его склад» стоил «народному благу» огромных жертв<sup>14</sup>. А народ и составляет внутренние силы любого общества. Но, быть может, государство все-таки было крепко — пусть ценой обезпечения народных сил?..

Евразийцы ввели отсчет *могучего* российского государства от правления Ивана Грозного. Верно ли это? Завоевание уже достаточно цивилизованной мусульманской Казани (1552 г.), находившейся, кстати, со времен Ивана III в мире с Москвой, да покорение слабой торговой Астрахани (1554 г.) — вот, пожалуй, и все внешние достижения Ивана Грозного, не считая захвата Сибири, совершенного в конце его царствования отнюдь не государственными войсками, а казаками и торговыми людьми. Но при этом в 1571 г. крымский хан дотла выжег столицу Руси. Как вспоминают зарубежные свидетели, татары «устремились к самой Москве, столице всей страны, и, найдя ее покинутой государем-тираном (Иваном IV), несколько ранее бежавшим в крепость Белоозерскую, и незащищенной, по прошествии трех дней подожгли сразу в тридцати

---

<sup>13</sup> Тойнби А. Дж. Постыжение истории. М., 1991. С. 323.

<sup>14</sup> Ключевский В. О. Соч. В 9-ти т. М., 1988. Т. 2. С. 372.

местах и сожгли, так что в один день погубили много тысяч людей»<sup>15</sup>. Начатая успешно война с Ливонией закончилась бесславным поражением, причем войско Батория было раз в десять меньше сил Москвы. «Россия казалась слабою, почти безоружною, имея до восьмидесяти станов воинских или крепостей, наполненных снарядами и людьми ратными... разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе и в государстве»<sup>16</sup>, — пишет по этому поводу Карамзин. Истребление собственных подданных (включая целые города, Новгород, к примеру) — основной результат деятельности Ивана IV. В этом контексте московского псевдомогущества стоит и униженное письмо царя к английской королеве Елизавете: от нее «хотячи любви», он через посредника сообщал «словом свои великие дела тайные»<sup>17</sup>. Грозный для рабски покорных своих подданных, он, тем не менее, держал наготове казну для бегства в Англию. В одном сходились русские историки от Карамзина до Ключевского, что результаты царствования Ивана IV по бедствиям можно сравнить только с монгольским игом.

Он оставил разоренную, ошалевшую от внутренних неурядиц и царских погромов страну. И спустя всего двадцать лет после его смерти Самозванец с двумя тысячами казаков и тысячею поляков прошел всю Россию и захватил престол. Это вряд ли говорит о государственной крепости. Начиная с десятилетия Смуты вплоть до Петра I, Россию непрестанно терзали бунты и восстания; в описании историков последнее столетие Московской Руси — это «бунташный» век. Маленькая Швеция осмеливается замахнуться на северного колосса, и, если бы не проведенная Петром европейская реформа армии, если бы, говоря современным

---

<sup>15</sup> Иностранцы о древней Москве. Москва XV-XVII веков. М., 1991. С. 77.

<sup>16</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX-XII. Калуга, 1993. С. 128.

<sup>17</sup> Послание Ивана Грозного английской королеве Елизавете I // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. М., 1986. С. 110.

языком, не *своевременная вестернизация*, Русь как наследница монгольской империи была бы разбита.

Замечу, кстати, что «предшественницу Московской державы» (сначала империю Чингисхана, а затем Джучиев улус) без конца сотрясали усобицы, разбивая на все более и более мелкие улусы, дравшиеся друг с другом бесконечно. Уже Мамай не обладал и сотой доли сил Батыея, был всего-навсего темник, захвативший власть на короткое время.

Существенно и то, что все волнения, колебавшие российскую империю, включая и пугачевский бунт, начинались на окраинах (казаки) и питались участием не до конца покоренных народов (калмыков, башкир, татар и др.). Николай I, наиболее близкий по своей психологии московским государям, в отличие от Петра I, Екатерины II, Александра I — вестернизированных императоров, побеждавших в войнах европейские страны, — потерпел сокрушительное поражение в Крыму от не очень больших сил Англии и Франции. А Николай II, пытавшийся возродить по совету националистических публицистов якобы существовавший на Московской Руси прямой контакт царя и народа, вместо «чуждого» России европейского парламентаризма (Думы ведь постоянно разгонялись), развел «распутинщину», сыгравшую немалую роль в возбуждении революционного негодования общества. И первые громы революции, кстати, грянули опять с окраин — из Польши, считавшейся неотъемлемой частью единой и неделимой евразийской державы. И дело не в противопоставлении «евразийскому принципу» мононационального и моноэтнического государства, как упрекают своих противников евразийцы, совсем нет. В Великобритании почти десяток национальностей, причем (в отличие от не менее многонациональных США) компактно проживающих — англичан, шотландцев, валлийцев и т.д. Просто внутри Российской империи была *слишком велика разность цивилизационных потенциалов*. Пока вектор развития России был направлен в сторону вестернизации (ведь марксистские коммунистические идеи из этого же ряда), она могла прими-

рять с собой народы более высокого уровня цивилизации и народы, еще только знакомящиеся с ее плодами: интересы и тех, и других лежали в одном направлении.

Как только этот пафос исчезал — терялась сверхзадача, энергия экспансии сходила на нет: так громадный Советский Союз не сумел в 1940 г. совладать с крошечной Финляндией, бывшей когда-то частью Российской империи. Да и внутреннее единство страны оказывалось под сомнением. На это сомнение опирался Гитлер, полагая сталинскую Россию «колоссом на глиняных ногах», который от первого же толчка распадется на десятки составляющих его народов, народностей и племен. И правда, государство противостоять ему не смогло, и он прошел в течение нескольких месяцев до Москвы, из которой бежали коммунисты и все правительство. Но Гитлер оказался монстром и варваром пострашнее Сталина, и началась народная война «за защиту очага», которая и разбила фашистскую машину — причем с помощью западного, ненавидимого *антизападником Гитлером* сообщества государств. Но характерен испуг Сталина во время войны перед пестротой и многоплеменностью России: отсюда экспатриация чеченцев, ингушей, немцев Поволжья...

\* \* \*

Сегодняшние межнациональные конфликты есть продолжение евразийской политики Сталина, тасовавшего народы, чтобы сохранить целостность державы с единым центром управления.

Известно, что российский колониализм был сухопутный, с открытыми границами, что Российская империя существовала *на фронтире*. Отсюда, разумеется, следует сильное влияние на культуру метрополии культуры колониальных народов. Вместе с тем Достоевский полагал задачу России в том, чтобы быть проводником европейской цивилизации в Средней Азии и на северо-востоке. Да и русские историки прошлого века также видели в распространении на восток «славяно-русской народности» не просто материальные приоб-

ретения и приращение материальной силы, а «победу европейской цивилизации над Востоком»<sup>18</sup>.

Но — в результате — это цивилизованное, пусть даже полуживильное пространство приобретает национальное самосознание на европейский лад. Самоопределение племен и народов становится неизбежным. И в этом смысле напрашивается параллель с сухопутной Австро-Венгерской империей. Австрия тоже ощущала себя проводницей европейской цивилизации в отдаленные от европейских центров (Афин, Рима, Вены, Парижа) славянские страны. Крушение и распад Австро-Венгерской империи по силе энергичного выброса не был, разумеется, равен крушению и распаду Российской империи, но типологически они очень похожи. Не случайно сами австрийцы называли Австрию «лабораторией будущего светопредставления» (*К. Краус*), оспаривая тут пальму первенства у российских «катастрофических» мыслителей и писателей. Но уже сейчас немыслимо даже представить, чтобы Австрия вознамерилась (не приведя мировое сообщество к катастрофе) вернуть себе территории, потерянные ею всего 75 лет назад.

Держит народы вместе не сила, а идея. У большевиков была работающая идея, идея интернационализма, ибо имперская идея в XX веке работать перестала. Идея интернационализма и оправдывала проживание «под одной крышей» разных народов. С ее угасанием ситуация изменилась не в пользу единства. Мы наблюдаем, как «безыдейное» восстановление пространства происходило в начале 90-х годов в Югославии. Думая восстановить силой государства (*а у евразийства тоже нет иной идеи, кроме этатизма, кроме государственного насилия*) единство разных народов, балканские государственники не только сгубили несчетное число жизней, но и пришли к совершенно чудовищной религиозно-этнической чересполосице.

Поскольку то, что происходит сегодня, только по-лоумными националистами называется сознательной

---

<sup>18</sup> *Ешевский С.В.* Русская колонизация северо-восточного края // Вестник Европы. 1866. Т. I. С. 216.

вестернизацией, а на деле есть не что иное, как конвульсии старого государственного организма, пытающегося в этом распаде империи уцелеть (спекулируя на идеях западной демократии) и по-прежнему паразитировать на материальных богатствах огромного пространства, возникают, разумеется, и другие идеологические обоснования и проекты его сохранения. Одним из таких проектов является евразийский. Но, как показывает исторический опыт, именно евразийские по своим устремлениям государственные структуры в России были наиболее уязвимы и склонны к катастрофам — Московское царство, режимы Николая I и Николая II (при котором произошел первый грандиозный распад империи) и, наконец, сталинский режим, закономерно выродившийся в коррупционистское брежневское Политбюро, растащившее как диадохии или, точнее, как татарские ханы, империю на куски. Она пала в результате внутренней немощи. *Посредством евразийства (т.е. посредством причины болезни) болезнь не излечить.* Нынешние мусульманские отделившиеся республики предпочтут контакт с богатыми мусульманскими же странами, уже владеющими всеми благами европейской цивилизации в отличие от нищей России. Что мы можем им предложить снова, кроме насилия? Да ничего, поскольку борьба диадохов, или, точнее, младших ханов, за сохранившиеся куски улуса продолжается.

Легенда о гармонии народов царской России вполне равнозначна легенде о «новой исторической общности — советском народе». Но сегодня, не стыдясь, повторяют и ту, и другую легенду. Чем больше мы желаем новой великодержавности, тем сильнее откатываемся к ситуации и психологии Московского царства — только не в фазе подъема, а в ущербной фазе заката. Попытки сколотить элитное войско, т.е. вариант либо опричнины (если на манер Ивана IV), либо преторианцев (если из эпохи заката Рима), вызывают насмешки газетчиков, использование армии как последнего средства политической аргументации не пользуется поддержкой у населения и т.п. Однако по-другому государство уже не может.

Желая стать Евразией, Россия будет стремительно возвращаться к идеологии Московии, на доцивилизационный, доисторический уровень. Ситуация, однако, такова, что от контактов и взаимоотношений с Западом отказаться не могут даже самые неистовые антиевропеисты: книгопечатание, видео, телевизоры, гармошки, полицейское оборудование, термометр, машины, телефоны, антибиотики, динамит, «лампочки Эдисона», фото, кино, магнитофоны, компакт-диски и т.д. — я нарочно перечисляю в беспорядке и вне логической связи, но это все то, что дала нам цивилизация Запада и что давно уже кажется как бы даже и своим. Что же мы можем противопоставить всему этому изобилию, как можем получить его?.. А природные ресурсы на что?! Тут уж мы всех богаче! И опять все сводится к распродаже наших природных богатств и святой уверенности, что Запад просто непременно «даст нам доллары» за нашу экзотику, за то, что мы такие евразийские и дикие, почти что с кольцом в ноздре, ибо все равно мы с ними состязаться в науке и технике не в силах, это не наша территория, «на наше пространство». Мне кажется, сегодняшняя идеология евразийства — результат духовной слабости и робости перед Западом.

Петр не стеснялся пить здоровье своих учителей — европейцев, шведов в том числе, после Полтавской битвы, победив их, ибо хотел европеизации страны, верил в ее силы, «знал ее предназначение» (Пушкин). И тогда Евразия как целое держалась наднациональной имперской идеей петровской европеизации, а затем коммунистического интернационализма (что не исключало применение насилия, но во имя сверхнациональных целей — не во имя своей нации). После сталинского националистического переворота, который Г.П.Федотов разглядел уже в середине 30-х годов, вождь «мог на целые народы обрушить свой державный гнев» (А.Твардовский). И обрушивал. Лучше уничтожить народ, нежели отдать пространство. В этом Сталин совпадал с другим «евразийцем» — Гитлером, который также не мыслил существования «вели-



кой нации» без огромного «жизненного пространства»: отсюда его стремление на Восток. Не случайно среди кумиров современных евразийцев Сталин и Гитлер находятся в божнице на первом месте. Ленин восстановил империю. Сталин превратил ее в татарский улус, в котором до самого последнего момента сохранялись европейские интенции благодаря марксистской идеологии. В этом странном смещении европейского по типу самоопределения наций с распадом, напоминающем распада татарских ханств, и заключается наша сегодняшняя историческая ситуация. Тут возможны два варианта действий: 1. Варварский, т.е. силой возвращать утерянное. 2. Цивилизованный: видеть в противнике *другого*, субъекта, а не объекта приложения наших сил, решать проблемы путем переговоров, в крайнем случае — «цивилизованного развода». Превращение же народной жизни в арену для бандитских, ханско-панских разборок под видом сохранения «целостности» уже частично разворованного и распавшегося, но еще по-прежнему воруемого постсоветского улуса может привести если и не к глобальной катастрофе, то к ускорению распада, к желанию мелких баскаков и темников стать самостоятельными ханами, объявив свои области независимыми ханствами и обособиться от главного улуса.

Когда говорят о страхе вестернизации и ищут, скажем, союза с Японией, то в сущности ищут тех же цивилизационных благ, которые вроде бы островная держава уступит нам подешевле. Пока, кстати, не похоже. Нынешняя цивилизация (назовем ее условно, соглашаясь с Л.Баткиным, *западной*) полицентрична, но по этой же причине она и поликультурна. В ее лоне процветают самые разные культуры. Более того, именно западноевропейская закваска дает народам ориентацию на самоопределение. Ранние евразийцы, раздосадованные на Европу за «измену белому движению» (ибо Европа не смогла или не захотела поддержать выбрасываемую из России европеизированную часть населения), не учитывали, что *сила европейской цивилизации* не в «репрессивности», как они уверяли и уверя-

ют, не в оружии, а *в идеях*. Как некогда христианство, принятое германскими варварами, переработало их в европейцев, так идеи марксизма создали новый слой европейски просвещенных русских. А еще влияла и живая жизнь самой Европы, которая была всегда лучшим аргументом в спорах о разных образах жизни. И это стало ясно почти сразу после революции. Можно сказать, что к 1924 г. концепция евразийцев сложилась окончательно, конституировалась, была отмечена ЧК как лучшее антиэмигрантское оружие. Ибо эмигранты предлагали другой тип европеизации России, нежели предложенный большевиками, евразийцы же поддерживали самые дикие варварские и свирепые моменты в большевистской революции. И раз такое говорят евразийцы (т.е. тоже эмигранты), то чего уж сетовать на большевиков!

Евразийцы думали, что они ухватили *самую суть* народной психеи России, обозначив ее как антиевропейскую, наследницу Чингисхана... Действительно, многие черты указаны точно. *Но суть ли это?..* В том же 1924 г. в своей автобиографии истинный, на мой взгляд, выразитель русской народной ментальности поэт Сергей Есенин писал (я хочу вернуться к уже цитированным его словам, но расширить цитату, чтоб она прозвучала яснее): «1918 году... началась моя скитальческая жизнь, как и всех россиян за период 1918-21 гг. За эти годы я был в Туркестане, на Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в Оренбургских степях, на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках.

1921 г. я женился на А.Дункан и уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, кроме Испании.

После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому.

Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация»<sup>19</sup>.

Итак, он прошел все главные пункты евразийского континента, поглядел на них воочию, затем сравнил с Европой, и — выбрал цивилизацию. Надо сказать, что

---

<sup>19</sup> Есенин С.А. Указ. соч. С. 17-18.

и сегодняшние наши евразийцы (пусть не покажется пример случайным, он говорит о *реальной их ориентации*) учат своих детей не монгольским и тюркским языкам, а романо-германским, и семьи свои отправляют жить в Европу и Америку. Да и русский язык все же относится к языкам индоевропейской группы, а отнюдь не к тюркским. Если мы считаем, что Россия — страна, пребывающая в истории, значит, она — в системе западноевропейских ценностей, западноевропейской парадигмы развития, родившей само понятие истории, если же Россия станет всего-навсего *псевдонимом Евразии*, то мы больше не будем иметь «ни дворянства, ни истории», а носители духовной культуры и высших нравственных ценностей будут в очередной раз сметены кочевой стихией.

## IV. СВОБОДА ИЛИ ПРОИЗВОЛ

(К вопросу о российской ментальности)

Как помнится, наши так называемые «перестроечные дела» (А.Ципко) начинались с тотальной критики Маркса. Смысл этой критики был прост: во всех наших бедах виновата Октябрьская революция, в российском же осеннем землетрясении 1917 г. повинен, разумеется, иноплеменник, чужак — еврей Маркс. А потому-де и была эта революция антинародной. Впрочем, такое развитие событий еще в 1918 г. предвидел И. Бунин: «Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства. <...> Левые все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея. «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили...»<sup>1</sup>

Многие теоретики (и западники, и патриоты) говорят все же, что семьдесят лет назад мы свернули с самобытного исторического пути. Это отчасти так, если говорить об и с т о р и ч е с к о м пути, как он понимался в гегельянско-марксистской философии, — как о движении к цивилизации, к свободе личности и ее самоосуществлению, «самостоянью человека», по словам европейца Пушкина, к росту благоустройства жиз-

---

<sup>1</sup> Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 96.

ни. Если же говорить о с а м о б ы т н о с т и, то постоянные перерывы традиций, откаты назад, перманентные перестройки, бесконечные бунты полуварварской Степи против медленно и трудно становящейся городской Руси (так понимал этот процесс С.М.Соловьев) случались в нашем прошлом не один раз. В семнадцатом году впервые в истории российский бунт был с помощью большевиков доведен до победы. Поэтому масштабы разрушения были более впечатляющими, чем, скажем, после пугачевской или разинской войны. Марксистские лозунги помогли и обману Европы, где те же идеи социальной справедливости привели-таки к позитивному решению многих общественных проблем, улучшив жизнь массы «непосредственных производителей». Эта простейшая, элементарнейшая параллель показывает одно: разгадку нашей исторической судьбы надо искать не в теориях, используемых идеологами и пропагандистами, а в самой истории. Подытоживая свои наблюдения над провалом в революции безумных иллюзий народолюбцев, монархистов, Бунин восклицал: «Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «русской истории» не имел»<sup>2</sup>. А ведь именно история воспитала у нас определенный тип отношения к жизни, который действует и ныне. Сегодняшняя ситуация — очередной и очевидный повод посмотретья в историческое зеркало. «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» — писал великий баснописец. Последуем его совету.

Что же теперь происходит, чему являемся мы свидетелями? Попробую сформулировать.

\* \* \*

Сегодня, после падения коммунистической доктрины, определявшей жизнь большей части народа, после распада СССР, после упразднения властных партийных структур, мы в России сталкиваемся с чреватой катастрофическими последствиями социально-психологической ситуацией: люди оказались не способны к

---

<sup>2</sup> Там же. С. 98.

самодеятельности и самоорганизации — производство сокращается, сельское хозяйство в упадке, отсутствует какая-либо ответственность за свое дело, за свой труд. Похоже, что организация деятельности существует сейчас только на уровне преступных шайк и мафии. Спущенную сверху свободу народ воспринял как «свободу о т» — от труда, от ответственности, как вседозволенность. Интеллигенции свобода была нужна для самоосуществления, ибо интеллигенция — единственная европейски ориентированная часть страны. Народ не искал этой свободы, «свободы д л я» — для какой-либо независимой деятельности, и, получив ее, не знает, что с ней делать. Он вроде бы имеет возможность требовать экономических свобод, их расширения, права собственности, свобод социальных, но он молчит, возмущаясь только дороговизной и безудержным ростом инфляции, воровства и бандитизма. Но интересно и то, что власть, лишившись привычных репрессивных способов обращения с народом, не в состоянии организоваться сама, а уж тем более организовать народ. Получается, что мечта о европейском порядке, демократии и благоустроенности привела страну к кризису — по крайней мере, на первом этапе избавления от «социалистического образа жизни». Случайно ли такое состояние дел или оно коренится в неких фундаментальных причинах?

\* \* \*

Аналогий сегодняшнему состоянию в истории России немало, но ближайшая — Февральская революция 1917 г., которая была, быть может, наиболее радикальной попыткой европеизации страны. Однако, по мысли известного русского философа-юриста П.И.Новгородцева, кадеты и другие русские европейцы-либералы, активно поддерживавшие февральский переворот, «искренно стремились к народовластию, но достигли только безвластия»<sup>3</sup>. Стремление к европейской свободе обернулось российским хаосом. Как и сейчас, в феврале семнадцатого года «почин в разрушении об-

---

<sup>3</sup> Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 566.

шественного порядка, — на взгляд все того же Новгородцева, — принадлежал верхам общества»<sup>4</sup>, не сумевшим в дальнейшем организовать народ на принципе самодеятельности. Другой наблюдатель февральских дней, тоже впоследствии эмигрант, крупнейший русский социолог Питирим Сорокин так определял психологическое состояние народа после получения им февральских свобод: «Раз свобода, то все позволено»<sup>5</sup>. Этот народный клич взбудораженной толпы по сути является перефразировкой знаменитой формулы Достоевского: «Если Бога нет, то все дозволено». Надо думать, великий писатель очень даже предчувствовал возможный безудерж и беспредел своего народа, когда он лишается сдерживающих ограничителей — в лице ли трансцендентного Бога, в лице ли жестокого самодержавного правителя, которого он боится.

Сразу после революции русский философ Б.П.Вышеславцев издал в Берлине книгу «Русская стихия у Достоевского», в которой он попытался определить важнейшее художественное и историософское открытие великого писателя много, на его взгляд, прояснявшее в реальных событиях тех лет: «Теперь, когда русская стихия разбушевалась и грозит затопить весь мир, — мы должны сказать о нем (Достоевском. — В.К.), что он был действительным ясновидцем, показавшим нечто самое реальное и самое глубокое в русской действительности, ее скрытые подземные силы, которые должны были прорваться наружу, изумляя все народы, и прежде всего самих русских»<sup>6</sup>. Эта стихия таится во внутреннем мире российского человека, Достоевский ее увидел и сумел показать как некий сущностный феномен, определяющий все стороны нашей жизни. Изображение российской необузданности Вышеславцев находит практически во всех поздних романах Достоевского, но, кажется, в «Братьях Карамазовых» она выявлена наиболее ярко — под именем «карамазовщины», став здесь основным предметом писательского внимания и анализа. Что же это такое? Оценка-

---

<sup>4</sup> Там же. С. 569.

<sup>5</sup> Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 228.

<sup>6</sup> Вышеславцев Б.П. Русская стихия у Достоевского. Берлин, 1923. С. 10.

объяснение «карамазовщины» вложена в уста одного из героев романа, брата Алеши: «Братья губят себя... отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут «земляная карамазовская сила», как отец Паисий намеренно выразился, — земляная и неистовая, необделанная... Даже носится ли дух Божий вверху этой силы — и того не знаю». Иными словами, коренной признак этой стихии — ее исконная *обезбоженность*, жизнь не с Богом, не против Бога, а *вне Бога*. Наиболее рельефно такое состояние вне Бога находящейся души — в образе Мити Карамазова.

Его «Бог мучает», «Бог сторожит», не допуская до убийства родного отца, но сам он живет на основе принципов *вненравственного, дохристианского, природно-языческого начала*. Что же делает этот герой, выражающий — по замыслу Достоевского — самобытную, почвенную, не тронутую умственным нигилизмом Россию? Пьянствует, безобразничает и «шутки шутит»: то отставного офицера Снегирева, отца прекрасного Илюшечки, за бороду прилюдно таскает, сломав бедное и гордое сердечко мальчика, целовавшего его руку и просившего Митю «простить папу»; то идет бить женщину (Грушеньку, свою будущую любовь); то собирается принудить шантажом гордую девушку (Катерину Ивановну) расстаться с девичеством, отдавшись ему; то почти насмерть бьет слугу Григория, вышедшего его младенцем и воспитавшего как сына; то, наконец, пытается убить родного отца (но тут ему Бог мешает). Возникает атмосфера хаоса, кровавого тумана, ожидаемого и неминуемого насилия, смертоубийства. И оно происходит. В таком тумане не может не возникнуть Смердяков. В свое время Бердяев полагал, что в большевистской революции реализовались, воплотились взаимоотношения интеллигента-теоретика Ивана Карамазова и лакея Смердякова, укрывшегося за силлогизмом Ивана: «Если Бога нет, то все дозволено». Однако еще большим прикрытием для Смердякова (тоже, кстати, одного из *братьев* Карамазовых) являются поступки и постоянные выкрики Мити: «А не убил, так еще приду убить... Пойду к отцу и проломлю



ему голову... Убью вора моего!.. Убью себя, а сначала все-таки пса... Дмитрий не вор, а убийца!..»

Скажут: есть и другие два брата. Алеша воплощает идеальное Добро и Святость, а Иван — мучения гордого Разума о неустроенности мира. Но, во-первых, каждый из них тоже носит в себе «сладострастие насекомого», то есть чувственную, непросветленную природную силу, а во-вторых, оба они только рассуждают, но не совершают никаких поступков. Действует, а стало быть, и движет ход романа неукротимый Дмитрий Карамазов. Что может остановить эту хмельную, разгулявшуюся натуру?.. Любовь? Вряд ли? Ведь и любя Грушеньку, он безумствует и пакостничает по-прежнему, если не больше. Бог? Но Митя от своего креста (каторги — за искореженные им жизни других людей) старается убежать. А просто суд и тюрьма?.. Да, тут он становится кротким и начинает задумываться о своей жизни.

Этот характер может казаться невероятным, но не вспоминая даже об известных прототипах и подтверждающим это изображение нашем житейском опыте, замечу лишь, что именно в годы, когда писались поздние романы Достоевского, к разнузданности и насилию призывалось п е ч а т н о, публично, и тогда это не было постмодернистским вывертом: было понятно, что за словами стоят реалии живой жизни. Скажем, автор весьма известного «Письма из провинции», опубликованного в «Колоколе», вполне серьезно заявлял: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может!»<sup>7</sup> И подписывался не как-нибудь, а в твердой уверенности что выражает мнение в с е х — «Русский человек», показывая тем самым, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Но ведь и Бакунин призывал к стихийной, разбойничьей революции, не говорю уж о Ткачеве и Нечаеве. Стоит привести здесь

---

<sup>7</sup> Письмо из провинции. Цит. по: Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т. М., 1958. Т. 14. С. 541.

суждение Ю.М.Лотмана: «Русская культура осознает себя в категориях взрыва»<sup>8</sup>. Впрочем, это достаточно внятно уже в 1924 году формулировал Максимилиан Волошин: «Европа шла культурой огня, // А мы в себе несем культуру взрыва». И действительно, слишком многие отечественные духоводители в прошлом веке ждали и жаждали удара народного гнева и безудержа, который должен был снести все, что укрепилось в России с петровских реформ, всю *онемеченную* власть, заимствования европейской цивилизации, чтобы *на чистой почве* возвращать самобытные всходы. Вопрос в том, обладает ли такого рода стихия не просто природно-творческой, а человечески созидательной возможностью. Если же нет, то встает другой вопрос, как укротить ее, чтобы спасти и сохранить результаты человеческого труда и мысли.

Страшно, удручающе звучат в этом контексте слова Петра I об Иване Грозном: «Этот государь <...> мой предшественник и пример. <...> Только глупцы, которые не знают обстоятельств его времени, свойств его народа и великих его заслуг, называют его тираном»<sup>9</sup>. Рядом с этими имеет смысл поставить слова, прозвучавшие несколько столетий спустя. Напомню еще раз фразу из воспоминаний А.С.Изгоева, который приводит мнение простого русского обывателя о причине победы большевиков: «Русскому народу <...> только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ нас (т.е. кадетов. — В.К.) уважает. Нет, он над вами смеется, а большевика уважает. Большевик его каждую минуту застрелить может»<sup>10</sup>. Иными словами, некий порядок оказывается возможным не в условиях свободы, а в условиях весьма свирепого властного диктата. Получается, что всеми хваленый коллективизм и соборность русского народа мгновенно рассыпаются в прах, когда нет внешней

---

<sup>8</sup> Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 269.

<sup>9</sup> Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. В 4 частях. М., 1830. Ч. II. С. 14.

<sup>10</sup> Изгоев А.С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ленинской России. London, 1991. С. 72.

принудительной силы. Если, разумеется, не считать общиной бандитские шайки.

\* \* \*

Поневоле возникает вопрос: не была ли большевистская диктатура единственным способом организации распадавшейся после февральского переворота страны, страны, впавшей в самую беспредельную анархию и, по выражению современников, «дичающей» прямо на глазах?<sup>11</sup> Или, уточняя этот вопрос: способна ли в принципе российская ментальность воспринять европейские нормы трудовой деятельности и жизнеповедения? Разумеется, речь в данном случае не идет об отдельных представителях России, а об огромной общности людей, образующих народ, нацию и организующих свою жизнь на основании определенных принципов. Тысячелетнее существование России говорит о наличии этих принципов, на основании которых сложилась российская ментальность. Следует заметить, что под ментальностью я понимаю не только умственный и духовный строй народа, но и особенности его эмоциональных реакций, его привычки, характер и жизнеповедение, как это утвердилось и принято в отечественной традиции.

Как замечал еще Н.О.Лосский, «при исследовании характера народа» необходимо «определить, какие свойства народа представляют собой первичное, основное содержание его души и какие свойства вытекают из его первоосновы»<sup>12</sup>. В отечественной философии имеются как минимум две тенденции поисков этой первоосновы. Одна из них, вполне романтическая, начало которой кладут славянофилы, исходила из представлений о том, каким им хотелось бы видеть русский народ, — истово религиозным, соборным и т.п. Другая, связанная с именем Чаадаева, исходила из «истины», т.е., если принять расшифровку этого слова

---

<sup>11</sup> *Новгородцев П.И.* Указ. соч. С. 570.

<sup>12</sup> *Лосский Н.О.* Характер русского народа. Книга первая. Франкфурт-на-Майне, 1957. С. 3.

П.А.Флоренским, из того, что есть, из реальности («истина — естина»). В результате возникал портрет более мрачный, но объяснявший много больше эмпирию российской жизни. Примирить эти два подхода попытался Николай Бердяев, следом за Достоевским увидевший в России два взаимоисключающих, не находящихся примирения начала: «Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства... Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с человеконенавистничеством и жестокостью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Великий Инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не такова ли и сама Россия?»<sup>13</sup> Но вот откуда взялась эта антиномичность, каковы ее причины, ее происхождение? На это Бердяев ответа не дает. Он уходит от рассуждений о первопричине, первооснове российской ментальности, проявляющейся в ее исторической судьбе.

Попробуем в поисках ответа вновь обратиться к первому историософскому решению «загадки России», данному П.Я.Чаадаевым, решению, от которого отталкивались все последующие историософские концепции развития России. Размышляя о ключевых событиях русской истории, исходя из того, что «*точка отправления народов определяет их судьбы*»<sup>14</sup>, Чаадаев следующим образом фиксирует эту точку отправления: «Наша история начинается прежде всего странным зрелищем призыва чуждой расы к управлению страной, призыва самими гражданами страны — факт единственный в летописи всего мира»<sup>15</sup>. Речь идет о так называемом

---

<sup>13</sup> Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 3-4.

<sup>14</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 388. Курсив Чаадаева.

<sup>15</sup> Там же. С. 432.

призвании «лучшими людьми» Новгорода, т.е. его вер-  
хами, во главе с посадником Гостомыслом, скандинав-  
ских воинов — варягов, чтобы они приняли власть и  
остановили смуту и беспорядки в стране. Правление  
варягов, несмотря на их быструю ассимиляцию, задало  
тем не менее европейское направление русской жизни.  
И на первые четыре столетия своего исторического суще-  
ствования Русь (тогда она называлась Киевской Русью)  
стала частью европейских государств Средневековья.

Однако в основе этого первоначального вхождения  
в Европу лежало некое свойство национальной ментальности, определившее в дальнейшем то, что можно  
с некоторой натяжкой назвать самодвижением россий-  
ской культуры: ее откаты от европейского пути и воз-  
враты на него. Чаадаев назвал это свойство способно-  
стью народа к отречению, к отказу от самого себя:  
«Эта склонность к отречению — прежде всего плод из-  
вестного склада ума, свойственного славянской расе,  
усиленного затем аскетическим характером наших ве-  
рований, — есть факт необходимый или, как принято  
теперь у нас говорить, факт органический, надо его  
принять, подобно тому как страна по очереди прини-  
мала различные формы иноземного или национально-  
го ига, тяготевшие над ней»<sup>16</sup>. Подхватывая это опре-  
деление Чаадаева, Владимир Соловьев истолковал его  
как способность к «национальному самоотречению»<sup>17</sup>,  
т.е. к отказу от своих пороков, узкого национализма и  
способностью двинуться по пути всечеловеческого  
единства, связанного, на взгляд Соловьева, с путем ев-  
ропейским — христианской свободы и свободной ин-  
дивидуальности.

Как понятно, в самом начале русской истории за-  
ключалась хорошая европейская закваска. Даже отка-  
тываясь от Европы, закрываясь от нее «железным за-  
навесом», народ помнил об истоках своей историче-  
ской жизни. Не случайно при внимательном взглядыва-  
нии в потрясения, имевшие место за тысячелетнюю

---

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч. В 2-х томах. М., 1989. Т. 2. С. 224.

историю России, потрясения, вызванные не нашествием иноземцев, а внутренними причинами (начиная, по крайней мере, с Бориса Годунова), становится ясно, что каждый раз России в разных обликах являлся один и тот же манящий образ, который она то приветствовала, то проклинала. И каждый раз происходила глобальная (иной раз позитивная, иной раз негативная) корректировка российского пути по западному образцу. Удачная или неудачная — это уже другой вопрос.

Сегодня, когда говорят о в ы б о р е западного, буржуазного пути, слышатся и возражения: а может ли национальная культура что-либо в ы б и р а т ь, не отрекается ли она в таком случае от самой себя, ведь культура необходимо должна развиваться по особым, своим собственным законам. Возражение резонное. Но и путь у России в самом деле особый, в него входит и постоянная ориентация на Запад. Это своего рода *саморегуляция культуры*.

Но решение об этой саморегуляции всегда было по преимуществу прерогативой властных структур. Первое государственно-идеологическое решение на заре нашей истории — принять христианство — подкрепило направление России в сторону Европы. Характерна молитва крестителя Руси князя Владимира: «Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны»<sup>18</sup>. Россия тем самым гораздо определеннее вошла в число христианских стран, т.е. стран европейских. Замечу (на это обстоятельство мало обращается внимания, а оно весьма существенно): крещение Руси произошло до разделения церквей, до Схизмы. Тем самым близость к византийской церкви не означала сперва вражду к латинско-католической Европе. Поэтому смело могли русские князья родниться с королевскими дворами всей Европы.

Христианство было сознательным выбором тогдашнего правительства. И, несмотря на некоторую смуту в

---

<sup>18</sup> Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978. С. 133.

умах, простолюдины пошли за князем и его дружиной, «ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре»<sup>19</sup>. Ведь и в самом деле для России была возможность и мусульманской, и иудейской ориентации, не говоря уж о степном паганизме. Существует национальное предание, писал историк С.М.Соловьев, «это предание о выборе веры. Оно говорит, что Владимир должен был выбирать из разных вер: язычество показало свою несостоятельность, нужно было переменить его на другую веру — и вот Владимир избирает из многих вер христианскую. <...> Выбор из многих вер есть особенность русской истории: другим, западным народам нельзя было выбирать из многих вер, им можно было только переменить язычество на христианство. Но русское общество находилось на границах Европы и Азии; здесь, на этих границах, сталкивались не только разные народы, но и разные религии; следовательно, обществу в таких обстоятельствах должно было выбирать из разных религий»<sup>20</sup>.

Когда нынешние наши «князья и бояре» объявили, что они «выбирают капитализм», народ, скуля и охая, все же пошел за ними: помимо привычки к отречению от себя ему как идеал светила западная жизнь. Жизнь богатая, обильная, красивая и удобная. Надо сказать, что обращение в свое время к Византии поперек других стран тоже было связано с этим: Византия была богаче, цивилизованнее, пышнее всей известной на тот момент Ойкумены, и ее богослужения своей роскошью произвели глубочайшее впечатление на русских послов. Не надо забывать и о наиболее важных для тогдашней Руси торговых связях...

Но почему же тот давний поворот к Европе не включил наше отечество в ряд западных благоустроенных стран — с правами личности, свободой жизнеповедения и мысли, активного созидательного труда, трудовой этики?

---

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> *Соловьев С.М.* Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого // *Соловьев С.М.* Соч. В 18-ти книгах. М., 1995. Кн. XV. С. 22-23.

К несчастью, история оказалась мачехой для Руси. Одно из достаточно влиятельных и процветающих государств средневековой Европы вдруг было сокрушено нашествием Степи. Татаро-монгольское завоевание стало самой грандиозной катастрофой в нашей исторической судьбе.

В те дни, по милости Батыев,  
Ладони выев до костей,  
Еще дымился древний Киев  
У ног непрошенных гостей.

Не стало больше песен дивных,  
Лежал в гробнице Ярослав,  
И замолчали девы в гривнах,  
Последний танец отплясав.

И только волки да лисицы  
На диком празднестве своем  
Весь день бродили по столице  
И тяжелели с каждым днем.

Это из поэмы Николая Заболоцкого «Рубрук в Монголии», написанной по материалам путевых заметок Вильгельма де Рубрука, монаха ордена миноритов, в 1253 г. посетившего Русь и другие монгольские владения. Попытка католического воздействия на кочевников кончилась ничем. Уже бывшие в окружении хана христиане-несториане вполне поддерживали его завоевательские устремления. Уцелевшая от разгрома татаро-монголами Европа издали наблюдала за разрушенной и поработанной Русью, когда-то сопредельным, родственным по типу и находившимся прежде в торговом партнерстве государством. А затем Русь была надолго вычеркнута из европейского сознания, оставшись наедине со своим завоевателем и насильником Батыем и чередой его преемников.

Чудовищные последствия степного владычества трудно до конца выявить и оценить.

Произошел своеобразный симбиоз завоевателей и завоеванных. Многие наши привычки, взгляды, типы поведения идут оттуда. Например, взгляд на Западную Европу как на объект «грабежа», явного или завуалированного, как на мир не родственный, а чуждый. Ес-



ли раньше главным врагом Руси была Степь, то теперь под влиянием Степи таким сущностным экзистенциальным врагом стал Запад. С татарами боролись, они были реальным врагом. Обманывая их, с их помощью крепла Москва, обратившая потом свою полученную под сенью ханской власти силу против самой Золотой Орды. Но в Западе видели врага едва ли не мистического, злокозненного, который пытается проникнуть и навредить не материально только, но и духовно, исказить святая святых Руси. Поэтому «еллинские и латинские борзости» были под особым запретом. Более того: европейское, «немецкое» трудолюбие и прилежание были высмеиваемы и презираемы за их мелочность, «бездуховность». Степь отучила наших предков трудиться на себя самих, ибо в результате татаро-монгольского ига в России устанавливается, как уже упоминалось в предыдущих главах, «монгольское государственное право», по которому «вся вообще земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собственностью»<sup>21</sup>.

Не только о праве на собственность, но и о праве на собственную жизнь в таких условиях не могло быть и речи.

Если до монгольского нашествия во внутренних ссорах и конфликтах, а также при общении с иноземцами, прежде всего с европейцами, с *немцами*, в случае какого-либо *разлюбя* существовали на Руси юридически зафиксированные, закрепленные в договоре, в праве, с т о и м о с т и «обид», «бесчестья», «побоев» и «человеческой жизни» (пусть за убийство холопа платили меньше, чем за убийство вольного человека, но платили), то за весь период татаро-монгольского ига никто и не помышлял о «чести», поскольку сама жизнь человеческая потеряла всякую цену. Отсюда и выросло то свойство нашей народной психеи, то равнодушие к смерти, та беззаветная отвага, что, по замечанию Чаадаева, так восхищает иностранцев, но при

---

<sup>21</sup> *Неволин К.А.* История российских гражданских законов // *Неволин К.А.* Полн. собр. соч. Спб., 1858. Т. IV. С. 136.

этом делая нас безразличными к случайностям жизни, вызывает и безразличие к добру и злу, ко всякой истине. Чаадаевский приговор, казалось, был отменен вспышкой ренессансного гуманизма в великой русской литературе XIX века, но уже у Шолохова смерть воспринимается не как трагедия, а как «метла в жизненном доме», «в виде нянечки или уборщицы» и «ничего устрашающего за ней не признается»<sup>22</sup>. Такое же отношение к гибели человека и у героев Андрея Платонова. Однако, как в который раз показала история, именно на равнодушии к жизни индивидуума, на гордости этим равнодушием держится и крепнет любая деспотия.

Московские самодержцы, как писал Герцен, переняли монгольские принципы управления. То же «монгольское право на землю» было усвоено Московским князем и распространено на всю Московскую Русь. Татарское иго было сломлено, внешний враг отброшен от границ государства. Москва перестала платить дань. Но осталась привычна к поборам — давать дань, взимать дань — с покоренных ли народов, со своих ли собственных жителей, которые тоже рассматривались как объект грабежа, как пленники и рабы собственного государства. Бесстыдная психология дикарей, варваров!.. Впрочем, попытаемся перечислить те основные последствия ига, которые не преодолены и сегодня, чтобы понять всю трудность нынешней попытки России вернуться в Европу. Эти последствия окончательно сформировали национальный социально-психологический тип, российскую ментальность, те ее особенности, которые, в частности, способствовали победе большевиков.

1. Отсутствие частной собственности, ее психологическое неприятие, идущее в том числе от так называемого «монгольского права на землю». Земля была хана, а стало быть, в превращенном представлении крестьянина — ничья, Божья, т.е. общая. А стало быть, государственная в конечном счете. 2. Безграничный произвол власти, не встречающей препятствия в граждан-

---

<sup>22</sup> Палиевский П.В. Мировое значение М.Шолохова // Палиевский П.В. Пути реализма. Литература и теория. М., 1974. С. 200.

ских правах. 3. Антигородская направленность российского развития (города — ставки верховной власти для сбора дани), а отсюда бедность и подавленность населения. 4. Несамостоятельность церкви, ее элитизм и антиэкуменическая направленность. 5. Общинность как результат государственного приневоливания (от сельской общины до колхозов). 6. Политический и психологический изоляционизм и паразитарное восприятие достижений западной науки и техники. 7. В результате — отсутствие самостоятельной независимой личности, основы развития европейской цивилизации.

Евразийцы в 20-е годы нынешнего века видели в империи большевиков возврат к империи Золотой Орды, возрождение ее. Сталин, кстати, апеллировал к наследию Московской Руси, к Ивану Грозному, т.е. Руси, ставшей правопреемницей Золотой Орды. В наши дни мы видим возрождение евразийской концепции, ее реанимацию<sup>23</sup> — как замену утраченной советско-коммунистической доктрины, оправдывавшей имперский характер государства. Сызнова настойчиво прокламируется идея, что Степь спасла нас от Европы, помешав западной экспансии в Россию (Л.Н.Гумилев). Но дело-то в том, что Киевская Русь сама была Европой и, не раз отражая попытки завоеваний с Запада, как раз и не сумела противостоять Степи, приспособившись к ней, отрекаясь от своих прав в пользу ханов. Князь Александр Невский разгромил шведов и немцев, но ездил на поклон в Золотую Орду.

\* \* \*

Ситуация, как видим, вполне символическая. Но вернемся к сегодняшним дням. Казалось бы, большевики (как прежде татаро-монголы) целых семьдесят лет учили нас ненавидеть Запад. Стоило, однако, убрать пресловутый занавес, как выяснилось, что большинство народонаселения хочет жить «по-западному» — с западным изобилием, комфортом, удобствами. И

---

<sup>23</sup> См. об этом: *Игнатов А.* «Евразийство» и поиск новой русской культурной идентичности // Вопросы философии. 1995, № 6. С. 49-64.

хотя мы к этому не привыкли, не умеем, но все-таки считаем, что такая жизнь — естественное наше право. Положим, российская интеллигенция безо всякой «перестройки» и безо всякого «разрешения» считала западную культуру от Гомера и Вергилия, Шекспира и Гете, Рафаэля и Брейгеля до Честертона и Пруста, Томаса Манна и Фолкнера, Пикассо и Мунка фактом своей духовной жизни. И это понятно, ибо и личностная литература, и живопись, и театр возникают в результате европейского влияния (пусть часто как полемика с ним: первый чрезвычайно личностный автор — протопоп Аввакум). Даже городские народные гуляния, раешные потешки и т.п. появились у нас, как говорят исторические учебники, в конце XVII в. под воздействием и по примеру Немецкой слободы, они были полностью упразднены при Сталине и возрождаются сейчас как уже давно укоренившееся в русской культуре явление, без осознания его генезиса, «как исконно русское действо». Да так оно и есть: всякое творческое усвоение приобретает самобытный характер.

Но духовность духовностью, а, конечно же, непосредственное соприкосновение с западной жизнью и бытом — «штука посильнее, чем «Фауст» Гете». Не случайно уже Иван III ввел смертную казнь за переход западной границы. Впоследствии европейские наши границы то приоткрывались, то снова «запирались на замок», но даже в самые свободные времена искус «западным образом жизни» казался российским правителям сродни дьявольскому соблазну. Даже русские дворяне начала прошлого века, основным языком которых был французский, попавшие после победы над Наполеоном в Европу, испытали своего рода шок, приведший их в конце концов к идее нового переустройства России, к декабризму. Сошлюсь в данном случае на свидетельство мемуариста и чаадаевского родственника М.И.Жихарева, считавшего решающим в формировании западнических взглядов Петра Яковлевича его непосредственный контакт с Европой: «С выступлением русских войск за границу, с пребыванием их во время перемирия и войны в тринадцатом году в Германии и особенно со днем вступления союзников в

Париж для меня совпадает появление перед глазами Чаадаева той мысли, которую обозначалось и осенилось все его существование»<sup>24</sup>. В сноске Жихарев добавляет: «Кажется, во все время перемирия Семеновский полк был расположен в Силезии, в деревне Lang Wilau. Стоянке в этой деревне я приписываю для Чаадаева чрезвычайную важность. Тут впервые охватило его влияние европейской жизни в одной из самых прелестных и самых обольстительных из ее форм. Об деревне Lang Wilau Чаадаев до конца жизни не поминал иначе как с восхищением, очень понятным всякому, кто знает различие между русской деревней и деревней Силезии или Венгрии»<sup>25</sup>.

Не ссылаясь на другие знаменитые примеры духовных предшественников Чаадаева из XVII и XVIII вв. (князь Иван Хворостинин и пр.), напомним весьма важный для русской культуры эпизод, когда едва ли не впервые жители уже не Киевской, а Московской Руси примерно на двухсотом году татарского ига посетили Западную Европу. Я имею в виду «Хождение на Флорентийский собор», состоявшееся в 1439 г. и записанное по свежим следам безымянным суздальским монахом. Как, быть может, не известно широкому читателю, на этом Соборе была подписана византийским императором, патриархом и римским папой уния, собиравшая в единое целое христианскую Европу, дабы противостоять кочевникам-мусульманам. Однако московский митрополит Исидор, подписавший вместе с патриархом эту унию, по возвращении в Москву был низложен, уния расторгнута и выбран новый митрополит. Духовный контакт с Европой был отныне затруднен на многие столетия, и в каком-то смысле все наше западничество есть побочный результат этого разрыва, отказа Руси войти в «концерт европейских народов». Я не буду здесь вдаваться в конфессиональные тонкости, хотя они безусловно важны и сыграли свою роль в отторжении унии. Если же говорить об истори-

---

<sup>24</sup> Жихарев М.И. Докладная записка потомству О Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М., 1989. С. 60.

<sup>25</sup> Там же.

ческих причинах неприятия этого соглашения, то, во-первых, византийцы сами приучили русских не доверять «латинянам», а в традиционных обществах привычки живут весьма долго, во-вторых же, отсутствие реальной потребности на тот момент у Руси в таком союзе: Византия боялась наступавших на нее турок, а Русь уже была захвачена татарами, отвыкла от Европы, не имея с ней контактов, во всяком случае, помощи оттуда не ждала.

И тем не менее первое — после долгих лет заочного существования — соприкосновение русских людей с Европой состоялось, оставшись в литературе, а стало быть, и в сознании. Что же поразило русского путешественника прежде всего? А его именно — поразило, поэтому почти в каждом абзаце он пишет о своем великом «удивлении» вещам, открывавшимся его взору. Он удивлен и восхищен богатством, разработанностью и насыщенностью религиозной жизни Западной Европы: множество церквей, монастырей, а, скажем, в городе Бамберге в праздник Петра и Павла «ходили по городу триста попов с крестами»<sup>26</sup>. Описание изобилия и разнообразных удивительных для него и восхищающих чудес технического толка имеется в рассказе о почти каждом городе. Вот, к примеру, самое скупое описание: «И за этим городом находится город Нюрнберг, весьма большой и укрепленный. И людей в нем много, и товаров. И в нем из белого камня выстроены с большим мастерством удивительные здания, и каналы возведены к тому городу с огромным трудом и умением; а кроме того, вода подведена к фонтанам с большим искусством, нежели во всех ранее описанных городах; и рассказать об этом невозможно, и понять это нельзя»<sup>27</sup>. Страницы же, посвященные возвращению на родину, заняты сухим перечислением населенных пунктов, где некие переживания возникают лишь в связи с опасением «больших разбоев»<sup>28</sup> на лесных дорогах.

---

<sup>26</sup> Хождение на Флорентийский собор // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. М., 1981. С. 477.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Там же. С. 491.

Возможно, кстати, что отказ от унии объяснялся и более практическими причинами. Уже тогда московско-татарская власть догадалась о том, что было внятно любому средневековому государству: идеология — не только лучший страж границ, но и замечательный предлог для экспансии. Соперницей поднимавшегося Московского княжества была Литовская Русь. В 1386 г. Литва в результате династического брака (литовского князя Ягайло и наследницы польского престола Ядвиги) приняла католичество, но те земли, где жили русские, остались православными. Они-то, эти земли, и были предметом спора. Нежелание унии вытекало из боязни ослабить влияние Москвы на православных подданных Западной, Литовской Руси в борьбе за земельное наследство разгромленной татарами Киевской Руси.

Вместе с тем в период резкого ослабления татарского воздействия московский князь Иван III, закрывая для своих подданных границы с Западом, уже вполне осознал государственную выгоду от контактов с Европой, Западной Европой — через голову Польши и Литвы. Запад это тоже чувствовал, и от римского папы «вышло предположение устроить брак молодого московского князя с племянницей последнего константинопольского императора Зоей-Софией Палеолог. После взятия Царьграда турками (1453) брат убитого императора Константина Палеолога, по имени Фома, бежал с семейством в Италию и там умер, оставив детей на попечение папы. Дети были воспитаны в духе Флорентийской унии, и папа имел основания надеяться, что, выдав Софью за московского князя, он получит возможность ввести унию в Москву»<sup>29</sup>. Не очень давний пример Литвы и Польши обнадеживал римскую курию. В 1472 г. произошло венчание, но уния все же не утвердилась. Москва использовала этот брак в своих интересах: женившись на греческой царице, Иван III усвоил себе византийский герб — двуглавого орла, что должно было указывать на преемство его власти от византийских императоров, привез в Мо-

---

<sup>29</sup> Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 186.

скву итальянских зодчих (Аристотеля Фиорованти и других), отстроивших каменный Кремль (Успенский собор, Грановитую палату и пр.), и явил собой новый тип русского властителя, равного по неограниченности притязаний татарскому хану баснословных лет, — полного хозяина над жизнью своих подданных.

Далее, уже при Василии III, возникает концепция о Москве как третьем Риме, «а четвертому не быти». Обычно ее воспринимают как выражение московского изоляционизма. Я бы назвал ее скорее «извращенным европеизмом». Вчитаемся в послание старца Филофея (автора этой концепции) великому князю Василию: «Старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и оскордами рассекли... Так, пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоём царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь. И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божьим»<sup>30</sup>. Иными словами, Московская Русь в данном случае выступает в качестве ковчега, спасающего, укрывающего в себе христианский мир. Если же учесть, что в Средневековье христианский мир все-таки отождествлялся именно с европейской цивилизацией, то становится понятным, что, назвав себя третьим Римом (Римом! а не Стамбулом, не Сараем, не Багдадом, не Самаркандом), Москва равнялась на Европу, на ее тогдашний центр, полагая себя наследницей и правопреемницей «христианской Европы». Можно даже найти некую переключку с идеей Ортеги-и-Гассета, объявившего Латинскую Америку ковчегом, в котором будут сохранены ценности европейской цивилизации. И в том, и в другом случае речь идет о маргиналах, не выступающих п р о т и в, а наоборот, желающих стать, желающих быть центром Европы, даже если придется для этого не признавать реальную европейскую жизнь, считать ее клонящейся к упадку и закату. Ибо, если не было бы это-

---

<sup>30</sup> Послания старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984, с 437.



го «упадка», то ни к чему был бы ковчег и спаситель. Здесь, кстати, и психологические истоки убеждения, что именно Россия является обетованной страной социализма, ибо общинна и братолюбива в отличие от корыстной и индивидуалистической Европы, которая, конечно же, не сумеет осуществить сформулированные ею коммунистические идеалы. И в семнадцатом году поэтому была, на мой взгляд, очередная попытка стать «европеистее» Европы. Не получилось, как не получилось и несколько веков назад.

Реальная европейская жизнь как и сегодня, так и в прошлые столетия вынуждала Россию считаться с действительным положением дел. И чем сильнее был европейский обгон, тем энергичнее трезвела Русь, предпринимая невероятные усилия, чтобы в кратчайшие сроки стать с Западом на равных, или, говоря словами Петра Первого: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом»<sup>31</sup>. Но все же возвратный шаг к Европе, к тому, чтобы Россия стала одним из (хотя и самым мощным) европейских государств, был Петром сделан решительно, и он закреплял новое российское мироощущение всеми возможными способами. Выяснилось: трудно перенять западные достижения, не перенимая западных принципов жизни, хотя бы в магически подражательном обличье. При всей внешней нелепости, напоминающей порку Перуна князем Владимиром, принятые царем-преобразователем символические перемены оказались весьма важными для самочувствия русских людей, впервые после Киевской Руси почувствовавших себя участниками общеевропейского процесса. Для этого «Петр упорно создавал, — пишет Д.С.Лихачев, — решительную смену всей «знаковой системы»: изобретение нового русского знамени (перевернутого голландского флага), перенос столицы, вынос ее за пределы исконно русских земель, демонстративное название ее по-голландски — Санкт-Питербургом, создание новых и, кстати, неудобных в русском климате мундиров войска, насильственное изменение

---

<sup>31</sup> Цит. по: *Ключевский В.О.* Соч. В 9-ти т. М., 1989. Т. 4. С. 196.

облика высших классов, их одежды, обычаев, внесение в язык иностранной терминологии для всей системы государственной и социальной жизни, изменение характера увеселений, различных «символов и эмблем» и т.д., и т.п.»<sup>32</sup>

Что ж, петровские преобразования задали направление российской жизни лет на двести вперед, несмотря на все откаты и отливы. Как выглядит сегодняшняя ситуация на этом фоне? Скажем, нынешний сюрреализм государственной эмблематики, когда все граждане России проживают по паспортам с гербом уже не существующей империи, говорит или о недостаточной определенности, или о хорошей закамуфлированности идущего процесса. А наблюдаемая тенденция возврата к знаковой системе предреволюционной царской России опять же либо невнятна в плане обещаемых реформ, либо слишком показательна, поскольку обе революции семнадцатого года с их отчаянной попыткой прорыва в западную жизнь (то демократическую — в Феврале, то социалистическую — в Октябре) были как раз вызваны стагнационной малоподвижностью русского самодержавия. Революций мы не хотим, но, похоже, уже не хотим и реформ, чреватых самостоятельностью народа.

Идет интенсивный (как спонтанный, так и сознательный) поиск новой государственной идеологии. Пока эта роль отводится реанимированному православию. Но сможет ли оно в резко меняющихся условиях отвечать крепнувшим имперским, великодержавным амбициям? Слишком полиэтнично российское государство, да к тому же на немалую часть состоит из иноверцев-мусульман. На эту роль претендует и, как я уже поминал, евразийство. Но и оно чересчур откровенно в воспеании многовекового степного ига, воспитавшего, по Л.Н.Гумилеву, наш национальный характер, склонный к подчинению, отказу от нужд собственного «я», предпочитающий свои обязанности самым прогрессистским правам. На гордости с почти трехвековым рабством далеко в развитии и воспитании национальной нравственности не уедешь. Хотя любо-

---

<sup>32</sup> Лихачев Д.С. Прошлое — будущему. Л., 1985. С. 159.

пытно, что морок евразийства охватил значительные круги интеллигенции, считающей, что *завоевав* Русь, татары *спасли ее* от ... европейского завоевания. Воистину, раб никогда не осознает своего рабства, иначе он бы не был рабом. «Раб был раб, главное, по сознанию, — говорил А.Ф.Лосев. — Он не мыслит себе иного положения. Поэтому он механическое орудие. Не личность... Россия, конечно, немножко приобщилась к Западу, но безличного, бездушного, бездейного, каменного здесь очень много. Рабства много. Попробуй, посмотри американца, англичанина, идущего по Арбату, — грудь колесом, видно, что не подхалимствовал, не кланялся. Это все несравнимо с русским болотом. Вот Пушкин и говорил: дернул же черт меня родиться с душой и талантом в России»<sup>33</sup>.

\* \* \*

Чаадаев, похоже, оказался более точен, чем Вл. Соловьев. Склонность не к национальному самоотречению, не к отказу от своих пороков и ограниченностей, а именно к отречению от своих прав в пользу власти — вот что считал Чаадаев характерным для российской ментальности. Эта склонность к отречению помогла пережить татарское иго, которое, по мысли Чаадаева, в еще большей степени «приучило нас ко всем возможным формам повиновения»<sup>34</sup> и сделало в дальнейшем возможным и царствование свирепого Ивана Грозного, реформы Петра Первого, и крепостное право, и, добавлю я, владычество большевиков. Отдавая свои права верховной власти, русский народ мог отныне рассчитывать только на ее инициативу и способность к историческому движению.

Интересно, что в послепетровский период самодержавие и в самом деле зачастую выступало в России, как показал один из крупнейших историков прошлого века, «дейтельным органом развития и прогресса в европейском смысле»<sup>35</sup>. Впрочем, еще Пушкин писал,

---

<sup>33</sup> *Библиан В.В.* Из рассказов А.Ф.Лосева // *Началь.* 1993, № 2. С. 129, 130.

<sup>34</sup> *Чаадаев П.Я.* Сочинения. С. 433.

<sup>35</sup> *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 221.

что государство есть единственный европеец в России и от него только зависит не стать деспотичнее, чем оно уже есть. Потому что сдерживающих сил снизу, со стороны народа, ни царская власть, ни власть большевиков никогда не испытывали. Более того, вся активная созидательная деятельность народа ушла на создание супергосударства, абсолютного господина своих подданных, которое в свою очередь инициировало и направляло деятельность народа... Это уже прекрасно поняли русские мыслители прошлого века — и консервативные, и либеральные. Известный публицист и философ М.Н.Катков писал вопросительно: «Что же было целью стремления русской истории, каким же плодом увенчалось ее развитие?»<sup>36</sup> И приходил к выводу, что этой целью было создание могущественного государства, великой монархии, далее восклицая: «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна?.. Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего?»<sup>37</sup> Но и его оппонент, либерал Кавелин, соглашался с ним, что верховная власть в России является высшей точкой ее развития и «одна остается неподвижной и несокрушимой в русской жизни в течение столетий, несмотря на внутренние потрясения и внешние замешательства и когда все вокруг нее по ее же инициативе движется и изменяется»<sup>38</sup>.

Но ведь знаем, что бывало и так: в результате собственного недогляда или заэкспериментировавшись с европейскими идеями и формами жизнедеятельности, власть падала, переставала на время существовать. Так произошло с краткосрочной династией Годуновых, так произошло и в 1917 году с династией Романовых. Был убит в начале XVII века молодой царь Федор Борисович Годунов, в начале XX — царь Николай Александрович Романов со всем своим семейством. В результате в России наступила Смута как в первый, так и во второй раз. И все же эти смуты не приносили иных

---

<sup>36</sup> Катков М.Н. Песни русского народа // Отечественные записки. 1839. Т. IV. Отд. VI. С. 31.

<sup>37</sup> Там же. С. 36.

<sup>38</sup> Кавелин К.Д. Наш умственный строй. С. 221.

взаимоотношений народа с властью. Впав от безначалия в разруху, пережив смуты и войны, «когда — по выражению В.В.Розанова, — начальство ушло», спасая себя в эти трудные и тяжкие времена, притом что «приходилось чуть ли не сызнова начинать политическое существование, великорусский народ прежде всего принимался за восстановление царской власти»<sup>39</sup> или любого иного самодержавного правления, которое было способно установить в стране порядок и заставить большинство населения работать. Вообще-то говоря, меньшинство, желавшее работать, всегда находилось, но с ним расправлялись в первую очередь, поскольку работа эта преследовала личную выгоду, а не государственную пользу. Людей личной выгоды ненавидело и государство, видевшее в них угрозу своему праву на бесконтрольное руководство жизнью и деятельностью своих подданных, но их ненавидело и большинство народа, поскольку эти трудяги выламывались из воспитанного веками принципа — работать только на хозяина, на общество, на власть, но не на себя.

Пожалуй, мы пришли к пониманию того, что основная проблема России до сих пор остается нерешенной. Меняются внешние картины, названия и наименования, костюмы персонажей, но суть проблемы остается все той же. Именно передача своих прав власти превратила народ в рабов, но и деспотов одновременно, ибо, будучи кому-то подчиненным, любой человек хоть над кем-то начальник. По отношению к советской системе это блестяще показал А.А.Зиновьев в своих «Зияющих высотах». Но это же справедливо и по отношению к Московской Руси, и по отношению к России прошлого века. Самый угнетенный крепостной крестьянин, которым еще в прошлом веке торговали как вещью, был господином и повелителем в собственном доме, его жена была хозяйкой над детьми и т.п. Приведу свидетельство чрезвычайно умного и наблюдательного английского посланника в Москве конца XVI в. Дж.Флетчера: «Образ их воспитания, чуждый

---

<sup>39</sup> Там же. С. 222.

всякого основательного образования и гражданственности, признается их властями самым лучшим для их государства и наиболее согласным с их образом правления... С этой целью цари... стараются не допускать ничего иноземного, что могло бы изменить туземные обычаи. Такие действия можно было бы сколько-нибудь извинить, если бы они не налагали особый отпечаток на самый характер жителей. Видя грубые и жестокие поступки с ними всех главных должностных лиц и других начальников, они так же бесчеловечно поступают друг с другом, особенно со своими подчиненными и низшими, так что самый низкий и убогий крестьянин (как они называют простолюдина), унижающийся и ползающий перед дворянином, как собака, и облизывающий пыль у ног его, делается несносным тираном, как скоро получает над кем-нибудь верх»<sup>40</sup>.

Разумеется, в конечном счете все решала в России самая высшая власть, даже в мелочах проявляя свое господство, не давая развернуться самодеятельности подданных. Но лишенный прав и законов народ приучался на примерах верховной власти всего добиваться силой волевого решения, силой прихоти, произвола, даже в тех случаях, когда он выступал против этой верховной власти. Вот еще наблюдение одного из крупнейших русских демократов прошлого века Н.Г.Чернышевского: «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но

---

<sup>40</sup> Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по Московии. М., 1991. С. 137.

если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно»<sup>41</sup>. Именно этот, вышеописанный тип отношений существовал, как мы знаем, среди большевистских вождей первого призыва, пока не сформировался главный Батый — Сталин, такая же паучья драка была и в постсталинском, и в брежневском Политбюро, а теперь мы аналогичную ситуацию наблюдаем в среде новоявленных демократов. Модель произвола повторяется из раза в раз. Иными словами, я хочу сказать, что в России революционеры, в том числе и революционные выходцы из народа, столь же опирались на произвол, как и властные структуры, поэтому, захватив власть, вчерашние радикалы, практически не меняя методов, легко и быстро легитимизировались.

Сегодня опять путь в цивилизации связывают с государственностью. Но не с правовым государством, а с восстановлением империи. Что ставить во главу угла? Империю? То есть силу, подавляющую всякую самостоятельность внутри и вовне. Или нормальное существование каждого отдельного российского человека — жизнь сытую, обеспеченную, благоустроенную, лишенную перманентных катаклизмов?.. Иными словами, быть сверхдержавой или страной, развивающей культуру и цивилизацию, основанную на правах личности?.. Соединить же всепроникающий произвол власти с духовным и экономическим развитием индивида, свободного человека, отвыкшего от желания достичь всего силой прихоти, было сложно уже в прошлом, а

---

<sup>41</sup> *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 616.

нынче, пожалуй, и невозможно. В попытке подобного соединения — причина постоянных российских неудач на цивилизационном пути. На этом пути — сбой петровских реформ, приведший в результате к кровавой революции в двадцатом столетии. Ибо Петр, как писал Ключевский, «надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная»<sup>42</sup>. И в наши дни ситуация мало в чем изменилась.

Таким образом, на способность народа к отречению от своих прав в пользу власти наложилось татарское иго с его произволом, окончательно приучившее русский народ к бесправной жизни и воспитавшее в нем не стремление к свободе, а стремление к воле: «Наш путь — стрелой татарской древней воли» (А.Блок). Г.П.Федотов прекрасно показал эту разницу между европейским понятием свободы и российским понятием воли. В Европе моя свобода ограничивается свободой и правами другого человека. Российская воля равнодушна к другому человеку, направлена только на удовлетворение прихотей. Цепочка проста: отречение привело к бесправию, которое укрепилось и перешло в рабство под влиянием ига, рабство приучило к отсутствию законности, к произволу (а «раб в бунте опасней зверей, // На нож он меняет оковы... // Оружье свободных людей — // Свободное слово», — писал славянофил Константин Аксаков). А произвол не способен преодолеть рабство, он годится лишь на то, чтоб создать его новые формы, ибо произвол не дает человеку возможности к самостоятельному, самоорганизующемуся труду, который требует выдержки и «высшей

---

<sup>42</sup> Ключевский В.О. Соч. В 9-ти т. Т. 4. С. 203.



идеи», чтобы стать основой жизни. *Произвол опирается на стихийные начала* в человеке и в обществе, а потому он *враждебен цивилизации*, строящейся не только на стремлении к идеалу, но и на чувстве меры, внутренней самоорганизации и самоограничении.

Именно чувство меры, индивидуального, собственного умения самоограничиваться не возникло, не сложилось в историческом воспитании народа. Вся его судьба была соткана из перемежавшихся типов насилия и произвола, где для проявления индивидуальной самостоятельности не было ни времени, ни возможностей. В результате преобладание в нашей ментальности получила *прихоть*, свойственная скорее детям, не обладающим представлением о мире и обществе как сложном организме, подчиненном определенным законам. Взросление народа происходит через развитие чувства личностной ответственности за свои поступки. Пока этого чувства нет — господствует *карамазовский безудерж*. Как раз такой, охваченный безудержем и безоглядностью, увидел и показал постреволюционную Россию в «Окаянных днях» Иван Бунин, уже не веривший — в отличие от автора «Братьев Карамазовых» — в якобы глубоко хранимый русским мужиком идеал христианской жизни<sup>43</sup>. Впрочем, еще задолго до Бунина это осознал первый восприимчивый талант Достоевского — В.Г. Белинский. В 1837 г. он писал своему другу: «Дать дитяти полную свободу — значит погубить его. Дать России, в теперешнем ее состоянии, конституцию — значит погубить Россию. В понятии нашего народа, свобода есть *воля*, а воля — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и ве-

---

<sup>43</sup> «Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса — лишь бы нажраться... Попробуй-ка введи обязательное обучение! С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. <...> Участвовать в общественной жизни, управлении государством — не могут, *не хотят* за всю историю» (Бунин И. Окаянные дни. С. 42. Курсив И.Бунина).

шать дворян, то есть людей, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах, хотя бы, впрочем, у большей части этих дворян не было ни дворянских грамот, ни копейки денег. Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты»<sup>44</sup>.

Вот почему постоянная тяга России к Европе как к прекрасной, благоустроенной стране, желание жить не хуже натывается рано или поздно (после реформ Александра II эта тяга к европейским формам продержалась почти полвека) на ментальность российской культуры: стремление все решить силой прихоти, в «единый миг», как любил определять русский характер Достоевский, волевым начальственным приказом. Но произвол не обладает творческой силой, и когда его усилие оборачивается ничем, а возникает лишь анархия, следует начальственный окрик новой власти «жить, как раньше», и вновь начинается работа из-под палки, которая, разумеется, не может вывести Россию на европейский путь развития.

В заключение приведу слова Герцена, вполне сохранившие свою актуальность: «Дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек», а «свобода лица — величайшее дело; на ней и *только на ней* может вырасти действительная воля народа»<sup>45</sup>. Как создать такую «почву», на которой будет «произрастать» свободный человек, умеющий уважать другого, способный к самодеятельности? Возможно ли это? Я не знаю. Хотя хочется верить. Во всяком случае, решать эту проблему нужно всем и постоянно, изо дня в день, видеть в ней цель и условие развития. Ибо без ее осознания и разрешения любые геополитические стратегии нынешних властных структур ни к чему принципиально новому нас не приведут.

---

<sup>44</sup> *Белинский В.Г.* Собр. соч. В 9-ти т. М., 1982. Т. 9. С. 53. Курсив В.Г.Белинского.

<sup>45</sup> *Герцен А.И.* Указ. соч. Т. 4. С. 14. Курсив А.И.Герцена.

# V. НАСИЛИЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ СРЫВЫ В РОССИИ

## ВВЕДЕНИЕ

Конец столетия и канун нового тысячелетия — как бы законный повод для предчувствий, предсказаний и тревог. В сегодняшней России эта ситуация осложняется тем, что распад Советской империи, случившийся для большинства населения неожиданно, породил жестокие войны на окраинах бывшей метрополии, беженцев, а при этом некоммунистическое правительство России демонстрирует привычно-наплевательское отношение к жизни отдельного человека (особенно в связи с чеченской войной). Газеты заполнены известиями о заложниках, о заказных убийствах, о непрерывных мафиозных разборках. На первый взгляд, XX век в России заканчивается, как и начинался: ощущением надвигающегося катаклизма.

В своей последней книге «Три разговора», вышедшей в 1900 г., русский философ Владимир Соловьев *предрекал*, что XX век станет «эпохой последних великих войн, междоусобий и переворотов»<sup>1</sup>. Его пророчество, похоже, исполнилось. Уже после Второй мировой войны многие философы и публицисты гадали, какова же причина разбушевавшегося в нашем столетии зла. Вина ли в этом Запада, «в лице марксизма и ницшеанства» породившего культ «т ь м ы, как сти-

---

<sup>1</sup> Соловьев В.С. Собр. соч. В 10-ти т. СПб., б.г. Т. 10. С. 193.

хии, способной из себя породить свет»<sup>2</sup>. Или просто в начале этого века, в 1917 году, выплеснулась наружу враждебная цивилизации русская стихия, (как предсказывал, по словам Б.П.Вышеславцева, Достоевский<sup>3</sup>), давшая еще в прошлом веке первых террористов? Ведь от взрыва бомбой русского императора Александра II невелико расстояние до выстрела сербского террориста Гаврилы Принципа в австрийского эрцгерцога Фердинанда.

Но что бы ни было причиной навалившегося на наш мир зла, ныне ясно одно, что Запад в очередной раз сумел его обуздать. В России же насилие поменяло формы, но не исчезло. Более того, приобрело непривычный для русских людей облик *открытого* насилия, о котором впервые сообщается *публично* (печать и телевидение). Известный кинорежиссер и политический деятель Станислав Говорухин выпустил несколько лет назад книгу, которая выдержала не одно издание и была перепечатана всеми региональными газетами. По его мнению, в наше время, впервые в отечественной истории, включая и советский период, в России «произошла глубокая криминализация населения»<sup>4</sup>.

В своих инвективах он не одинок. Уже почти и не вспоминаются кошмары не такого давнего прошлого, скрытые за казенным термином «массовые репрессии», когда десятки и сотни тысяч жителей страны приказом сверху, в плановом порядке, приговаривались к уничтожению и уничтожались. А если это припомнить, то становится понятно, что жизнь тогда была не менее (если не более) страшной, чем сегодня. Что же касается «чистой» уголовщины, то достаточно обратиться к началу Советского государства. И тогда даже из разрешенной при советской власти литературы можно увидеть, что свирепство чрезвычайек и белых контрразведок соседствовало с таким разливом бандитизма, какой трудно даже вообразить европейскому

---

<sup>2</sup> Франк С. Свет во тьме. Париж. УМКА-PRESS. 1949. С. 58. (разрядка С.Л.Франка).

<sup>3</sup> Вышеславцев Б.П. Русская стихия у Достоевского. Берлин, 1923. С.10.

<sup>4</sup> Говорухин С. Великая криминальная революция. М., 1995. С. 4.

обывателю. Стоит сказать, что бандитами был остановлен и ограблен сам Ленин — создатель и руководитель первого в мире «пролетарского» и «социалистического» государства.

## I. НАСИЛИЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Мне кажется, что оценить сегодняшнюю ситуацию с насилием в нашей стране можно лишь в том случае, если за повседневным опытом, за эмпирическими фактами, мы разглядим некие константы бытия, а главное перейдем с уровня обыденного сознания на уровень историософских размышлений. Современные публицисты и писатели из бывшего СССР, потрясенные вспышкой разнообразных смертоносных конфликтов, полагают их явлением антиисторическим. Одна из лучших документальных писательниц Светлана Алексиевич (автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики» и др.) формулирует это так: «Когда формировались нации, религии, государства, возможно, у истории были свои резоны. Сегодня невозможно найти оправдания политикам, которые в собственной стране начинают гражданскую войну...»<sup>5</sup> Оправдания, разумеется, быть не может. Но должно быть понимание места и времени, в которых мы живем, ибо история продолжается, а чудовищные механизмы, действующие сегодня, создавались в течение многих веков.

### *а) Насилие как фактор человеческой природы*

Здесь однако надо избежать опасности приписать именно России и только ей повышенную восприимчивость к насилию, как средству структурирования общественного организма. Приведу отрывок из выступления С.А.Королева, участника «круглого стола» в журнале «Вопросы философии»: «Почему столь часто в России осуществляется наихудший из возможных сце-

---

<sup>5</sup> Алексиевич С. Нас так долго учили любить человека с ружьем // Известия. 29 февраля 1996, № 40. С. 5.

нариев развития? Это легко констатировать, но не так легко объяснить. Вероятно, это связано с ролью насилия в российской истории. Чаще всего торжествовали те, кто не останавливался перед крайним насилием. Рефлектирующие либералы терпели поражение. При этом насилие получало социокультурную легитимацию, принималось массовым сознанием и даже выступало в известном ореоле. Возможно, это связано с самой логикой формирования единого геополитического пространства России, сшиваемого силой власти... Те, кого насилие пугает, выбывают из числа «делающих историю» в России... Исторический выбор без насилия, вне насилия у нас в России пока еще невозможен»<sup>6</sup>.

Словно бы история западных стран или стран азиатских развивалась вне насилия, вне войн, переворотов и революций, восстаний, бунтов. Еще Кант писал, что человеческая история *стимулируется природой* «посредством войн, посредством чрезвычайно напряженной и никогда не ослабевающей подготовки к ним, посредством нужды, которая должна вследствие этого ощущаться в конечном счете внутри каждого государства даже в мирное время»<sup>7</sup>. Но очевидно, что постоянные крушения цивилизационных попыток в России вызывают представление о российской истории как о бесперспективном процессе, а насилие начинает казаться специфической особенностью именно нашего пространства. Иногда кажется, что в таких рассуждениях еще не преодолена наивная докантовская вера Монтескье, что мир и гармония являются первым *естественным законом* человека, т.е. *законом природы*.

Но именно поэтому рассуждение о роли насилия в российской истории следует начать с того, что насилие является константой как доисторического, так и исторического существования человечества, что склонность к насилию, к агрессии заложена в саму природу живых

---

<sup>6</sup> Риск исторического выбора (Материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1994. № 5. С. 20.

<sup>7</sup> Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. М., 1994. Т. 1. С. 101-103.

существ. «Более чем вероятно, — отмечал выдающийся австрийский этолог Конрад Лоренц, — что пагубная агрессивность, которая сегодня как злое наследство сидит в крови у нас, у людей, является результатом внутривидового отбора, влиявшего на наших предков десятки тысяч лет на протяжении всего палеолита»<sup>8</sup>.

Иными словами, агрессивность присуща человеческому роду как порождению природы. Однако, становясь элементом культуры, в разных человеческих сообществах этот прирожденный инстинкт, проходя через сознание, модифицируется в насилие, которое оказывается одним из важнейших факторов в становлении или гибели разнообразных социокультурных структур. Являясь постоянной угрозой человеческому бытию, насилие заставляет homo sapiens'a изобретать различные способы защиты своей жизни, совершенствуя взаимоотношения между людьми. К несчастью, пока все попытки договориться о ненасильственном существовании суть либо благие утопии и пожелания, либо важные общественные движения и социальные попытки, не оказывающие тем не менее решающего влияния на историческое развитие. Понять причину такого положения невозможно, если рассматривать эту проблему, скажем, только морально-этически. Такой подход не раскрывает культуuroобразующую роль насилия в человеческой истории: вместо постановки проблемы он снимает ее. Не поняв специфику культуры, в которой мы существуем, и сопутствующего ей типа насилия, мы не сможем оценить ситуацию нашего времени.

В первой половине прошлого века русский мыслитель Алексей Хомяков определил, что народы делятся на два типа: завоевательные и земледельческие. Однако деление это слишком условно. Фрейд справедливо замечает, что «трудно дать общую оценку завоевательным войнам. Одни из них, например, завоевания монголов и турок, не приносили ничего, кроме бедствий. Другие, напротив, приводили к превращению насилия в право — с установлением более широких объедине-

---

<sup>8</sup> Лоренц К. Агрессия. (Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Agression). М., 1994. С. 49.

ний, в пределах которых исключалась возможность обращения к насилию, а новый правопорядок сглаживал конфликты»<sup>9</sup>. Очевидно такое определение выводит нас из пространства первобытного насилия — почти животного, — указывая его проявления в разных типах уже исторических культур. Пока шли схватки между быстро возникавшими, исчезающими, растворявшимися друг в друге племенами — это был скорее природный, во всяком случае доисторический процесс. Но, скажем, если говорить об одном из последних переселений народов (словно выброшенных из какого-то дальнего азиатского котла и пущенных скитаться по миру) то с того момента, как оно соприкоснулось с римской цивилизацией, насилие стало историческим фактом.

*б) Насилие в контексте истории.  
Попытка классификации.*

При самом общем взгляде на исторический процесс можно, пожалуй, вычленить *три типа насилия*, наиболее отчетливо проявивших себя на протяжении последних трех-четырёх тысячелетий; действуют они и сейчас, хотя порой и не столь явственно.

*Первый тип*, который я назвал бы **варварски-разрушительным, грабительским**, является как бы основополагающим: через период варварских набегов прошли практически все племена, которые известны нам из исторических источников. Это и ассирийцы, и евреи, и халдеи, и древние греки — ахейцы и дорийцы, римляне, германцы, славяне, норманны, турки и т.п. Впоследствии большинство из них, усвоив цивилизацию покоренных народов, продолжали цивилизационное строение человечества, внося в него свой вклад. Но были и варварские племена, известные как «бичи божии», вроде гуннов, аваров и т.п., которые проносились по миру уничтожая все на своем пути, а затем исчезали не только из истории, но и из географии (с лица земли).

---

<sup>9</sup> Фрейд З. Почему война? Письмо А.Эйнштейну // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С. 261-262.



Тема варварства всегда была актуальна для русских мыслителей. Его дыхание они постоянно слышали в повседневности. Слишком долгим и слишком недавним — по историческим масштабам — было господство над Русью варварских орд татаро-монголов: еще в середине XVI в. татары жгли Москву. Скажем, Чернышевский определял варвара, как существо, которое «занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва ли и не ближе, чем к развитому человеку»<sup>10</sup>. Энергия варварского нашествия объяснялась им тем, что кочевники «одушевлены расчетом на грабеж»<sup>11</sup>. Но это обстоятельство отмечал, к примеру, и Э.Гиббон, рассказывая о движении на Рим варварских орд, уже «успевших приобрести сильное влечение к удобствам цивилизованной жизни»<sup>12</sup>.

Варвары — это те дикие племена, которые ушли от чисто природной жизни, создали примитивное земледелие, скотоводство, а потому — в эпоху уже возникших больших цивилизаций — оказались способны оценить цивилизационные достижения, но еще не в состоянии сотворить их собственными усилиями. Поэтому их единственный способ присвоения благ цивилизации заключается в насилии. Немного прямолинейно, в духе философии Просвещения, но зато очень выукло изобразил Чернышевский варварский стиль жизни: «По завоевании римских провинций каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы»<sup>13</sup>. Достаточно прочитать «Историю франков» Григория Турского (VI в.), чтоб убедиться в справедливости этих слов. Даже о древних греках, с

---

<sup>10</sup> Чернышевский Н.Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 646.

<sup>11</sup> Там же. С. 656.

<sup>12</sup> Гиббон Э. История упадка и крушения Римской империи. СПб., 1994. С. 430.

<sup>13</sup> Чернышевский Н.Г. Указ. соч. Т. 7. С. 659.

которыми мы привычно связываем начало европейской цивилизации, историки справедливо замечают, что на первых стадиях — прихода на Пелопонесс и разрушения крито-микенской культуры — люди из этих племен не знали, что такое вина или грех. Убийца, заплатив выкуп, чувствовал себя обеленным и т.п. Понятие вины и греха возникает в любой культуре на стадии создания предпосылок цивилизационного движения.

Когда народы начинают строить цивилизацию, варварство остается постоянно присутствующим моментом их судьбы-существования. *И развитие идет в постоянной борьбе с собственным диким прошлым.*

*Второй тип* насилия можно назвать **разрушительно-созидательным, динамичным и продуктивным**, постоянно преодолевающим прошлое для созидания будущего. Это тип открытого, неприкровенного насилия, но потому и способного к самопреодолению путем договора, судов, неких социокультурных механизмов, способствующих развитию правовых структур и прочих норм цивилизации. Он свойственен прежде всего европейской истории. Содействуя распаду традиционных обществ и через войну всех против всех (классовая борьба, межъевропейские войны и т.п.) — прямо по Канту, — насилием преодолевая насилие, западный мир приходит к идее договорного союза народов, регулирующего все конфликты **через право**. Впрочем, еще до Канта, блаженный Августин (IV в.) в своем трактате «О граде Божиим» заявил, что всякая борьба и война в конечном счете служат цели установления на Земле состояния равновесия и гармонии, мира и спокойствия.

Каковы же предпосылки этих *попыток договориться*? Попробуем ответить. Среди варварских племен, по замечанию русского историка Т.Н.Грановского, «религия была народной, продуктом национальности... Отсюда свирепая вражда народов древнего мира; сражаются не только люди, но и божества... Общность религии, принятой западными народами (христианства — В.К.), условила возможность единой европейской цивилизации. Несмотря на расколы и реформации, западная цивилизация сохранила при всех разнообраз-

ных народных цивилизациях нечто общее, общую европейскую цивилизацию, в которую каждый из этих народов принес свою дань»<sup>14</sup>. Поэтому любая война или борьба между странами, связанными генетически и религиозно, рано или поздно приводила к осознанию общих ценностей, которые их скорее связывали, чем разъединяли. «История европейского Запада, — пишет В.Краус, современный австрийский культуролог, — достаточно трагична и кровава, но чаще всего она творилась среди своих, среди близких родственников, и это в конечном итоге делало легче примирение, взаимопонимание, совместную жизнь и деятельность, торговлю, в то время как необходимость самоутверждения и постоянная оборона от народов чуждых культур этого облегчения не давали»<sup>15</sup>. Насилие и на западе Европы, разумеется, никуда не исчезает, оно остается фактором, будоражащим общество, заставляющим его искать новые и новые способы самозащиты.

И, наконец, *третий тип*, который стоит определить как **провокационно-охранительный**, предохраняет общество от развития, всячески консервирует его, полагает идеал в традиционности, а для того постоянно провоцирует или имитирует появление насилия, чтоб, подавляя его сверхнасилием, отсечь все возможные выходы из стагнации. Безусловно, *провокация* понимается здесь не фискально-полицейски, а в культурно-генетическом смысле. Скажем, для Платона такую провокационную роль играло постоянное насилие в греческих полисах, приводившее к тирании и побудившее древнегреческого мыслителя к созданию грандиозной модели прототалитарного государства (К.Поппер), исключая движение, а потому и возможность насилия спонтанного, не регулируемого государством. Всеобщее насильственное принуждение казалось древнегреческому мудрецу лучшим гарантом, исключаям бесконечную демократическую войну всех против всех. Интересно, что при подобной установке

---

<sup>14</sup> Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987. С. 6.

<sup>15</sup> Краус В. Европа будущего. СПб., 1995. С. 61.

насилие приобретает *якобы вынужденный характер*, взаимоотношения внутри общества идеализируются, предстают как мирные по самой своей сути, почти даже идиллические. К примеру, славянофилы таким образом оценивали славянский «патриархальный быт, в котором владелец-тиран сделался покровителем, раб сделался тружеником добровольным, и цепь любви связала правителей и подвластных»<sup>16</sup>. Поразительно, как очевидные насильственные отношения выдаются за мирные и гармоничные, как насилие не называется насилием. *Но в этом и заключается специфика данного типа*. Всякая попытка изменить общество оценивается здесь как преступная акция. Зато незаконное насилие верхов считается благотворным, ибо служит укреплению государства и повышению благосостояния народа. Причем подобные — идиллически осмысленные отношения — Хомяков видел и на средневековом Западе.

*Два последних типа насилия* играют вполне продуктивную историческую роль, во всяком случае под их преобладающим воздействием складывались могучие государства, оказавшие влияние (как негативное, так и позитивное) на развитие человечества. Они определяют своеобразие культур и способ их существования. Так Монтескье полагал, что свои завоевательные войны европейцы вели «как свободные люди», а народы Северной Азии «как рабы и одержали победы лишь для своего господина»<sup>17</sup>. Вместе с тем возможны комбинации всех трех типов насилия, тем более, что первый лежит в основе двух вторых, и история постоянно предоставляет нам эти примеры, иногда внутри одного временного отрезка и одной культуры. Но, конечно же, всегда можно вычленить определяющий тип, ибо он оказывается результирующим. Если второй тип насилия все же более характерен для западно-европейского пути, то третий относится, скорее, к нашей истории. Начиная с Московской Руси, он — с не-

---

<sup>16</sup> Хомяков А.С. «Семирамида» // Хомяков А.С. Соч. в 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 111.

<sup>17</sup> Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 390.

большими перерывами и противонаправленными тенденциями — особенно ярко проявился в большевистски-советский период, но был также характерен и для других обществ (напомню хотя бы Византию, Османскую империю, фашистскую Италию, нацистскую Германию и т.п.).

*в) Перипетии русского пути.  
Московский тип отношений*

Нашу взаимосвязь с Московским царством мы и сегодня ощущаем почти что на физиологическом уровне, что далеко не случайно. По справедливому замечанию Г.П.Федотова, и Петровскую империю, и сталинскую диктатуру строил именно московский тип русского человека, именно он с его психологией *служивого и бесправного существа* мог стать кирпичиком, из которого складывались фундаменты великих империй.

Московская Русь была традиционным обществом, которое при сохранении многих родовых черт — медленными изменениями в сфере производства, консервацией культурных и духовных традиций, воспроизведением на протяжении многих столетий сложившихся социальных структур и образа жизни, — все же имело свою специфику, как ее имели и азиатские, и западно-европейские общества традиционного типа.

В Западной Европе начало распада традиционных обществ приходится на XII-XIII вв. Эти общества возникли в результате варварского нашествия на Рим (т.е. насилия первого типа), на развалинах античной цивилизации. Надо заметить, что складывались западноевропейские государства в борьбе почти равных сил — короля и крупных феодалов, а также результирующего эту борьбу влияния городов, то есть зарождавшегося третьего сословия, бюргеров, буржуа. А потому не только графы, бароны, князья, входя в состав большого государства, сохраняли многие свои права и независимости, но эти права приобретали и входившие в историческую жизнь неродовитые горожане. Равновесие сил требовало регуляции отношений. К XIV в. в Англии действует уже парламент, а во Франции — Гене-

ральные штаты, послужившие далее опорой буржуазной перекройки страны и сравнительно мягким способом окончательного разрушения традиционного общества, не приведшего к возникновению на его руинах тоталитарного государства.

Нельзя забывать и о том, что религиозный центр (католическая церковь) был *вне* новых государственных образований и структур. Церковь выступила здесь самостоятельной политической силой, осуществляя не только идеологическое принуждение, но предьявляя всем западноевропейским государственным образованиям свои собственные экономические и властные интересы. Все это безусловно способствовало поиску конвенции между церковью и государствами, папами и королями, папами и городами и т.п. В этой борьбе структурировались права государства и церкви, не желавшей становиться на сторону какого-либо одного государства, пытавшейся держать в руках весь европейский мир. В Европе, как замечал К.Д.Кавелин, «гражданский и политический быт, сверху донизу, был построен на договорах, на системе взаимного уравнивания прав. Европа долго боролась, прошла через ряд глубоких потрясений, прежде чем ей наконец удалось справиться с разрозненностью и замкнутостью враждебных друг другу союзов, ввести их в некоторые границы и подчинить условиям правильно организованного государства. Пока государственный принцип не выработался, связующим звеном служили римско-католическое вероучение и церковь, представитель влияния и власти христианства среди разрозненного европейского мира»<sup>18</sup>. А потом, в результате утверждения договорного принципа, даже, скажем, в Англии, после освобождения от влияния пап, став главой англиканской церкви, король имел уже правовую альтернативу своей власти — укрепившийся, укорененный в народной жизни парламент, сильную буржуазию, развитые города и хартию вольностей, основу английского права. Короче сказать, в той части Европы, которую можно назвать ядром Запада, в итальянских городах-

---

<sup>18</sup> Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 311.

государствах, непрочно, недолго, затем в Голландии, Англии, и, постепенно расширяясь на другие страны Западной Европы, устанавливается форма отношений, базирующаяся на договорно-правовых основах, что означает в конечном счете восстановление цивилизационных принципов жизни, некогда разрушенных варварами. Таким образом, возникала европейская цивилизация из войны всех против всех посредством второго типа насилия, т.е. насилия, способствовавшего развитию ловкости, предприимчивости, интеллекта, науки, знания и права, когда выгодной оказывалась личностная инициатива и стимуляция производства, ибо в правовом пространстве более сильным оказывается более развитой, образованный и способный.

В столкновениях эпохи переселения народов славяне, оттесненные германскими племенами на северо-восток, на девственные, нецивилизованные земли, с помощью хазар входят поначалу в процесс мировой торговли, а затем, уже при участии варягов, ассимилировавшихся на славяно-финской почве, устанавливают с Византией, этим единственным на тот момент цивилизованным государством политические, дипломатические, культурные и религиозные взаимоотношения. Ориентируясь на Византию, но включившись в мировой колорит, имея династические и прочие связи со всей Западной Европой, Русь начинает быстро и активно догонять своих соседей. Мы наблюдаем здесь *тот же тип насилия, как и в раннефеодальной Европе*, который не сразу, но приводил к начаткам правовых отношений — заключению «рядов» как с западными соседями, так и внутри русских городов-государств или, как их иногда называют, «полугосударств», и т.п. В Киевской Руси враждовали княжества примерно равновеликие по силе, по сути дела шел процесс, похожий на тот, что пережила когда-то Древняя Греция, разделенная на независимые города-государства, затем Возрожденческая Италия да, строго говоря, и вся Европа, то распадавшаяся на небольшие государства, то вновь собиравшаяся в большие структуры. Иными словами, на наш взгляд, Древняя Русь развивалась в парадигме европейской цивилизации.

К несчастью, Киевская Русь получила удар, типологически однородный с ударом варваров по Римской империи. Она была захвачена, разграблена, а ее органическое развитие прервано татаро-монгольским нашествием в середине XIII в. С этого момента ствол ее судьбы, хотя и не сломался вовсе, но растет вкривь. По другим законам, ибо под другим влиянием. Если варвары, расселившись по бывшей Римской империи, приняли религию империи — христианство, старались подражать покоренным ромеям, волей-неволей живя внутри городов, пользуясь водопроводом, дорогами, построенными Римом, то татары соприкасались с покоренной Русью через своих баскаков, собиравших дань, да в моменты новых грабительских набегов или карательных походов-расправ; жили *в стороне*, принимая у себя русских князей, из рук завоевателей получавших право владеть тем или иным княжеством, причем этот ярлык был получаем *не на основании договора*: хан мог его дать, а мог тут же отобрать *по прихоти* и передать другому князю. В результате «в самой московской земле, — писал замечательный русский философ Георгий Федотов, — вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом»<sup>19</sup>.

Иными словами, новое образование страны под именем Московская Русь проходило в условиях отнюдь не способствовавших созданию правовых отношений — *под активным воздействием насилия первого типа* — т.е. неисторического, варварского. А потому сложилось на Руси традиционное общество, отличное во многом от традиционных обществ Европы, несмотря на общий генезис и общую парадигму исходного развития (христианство). Таким образом, и феномен на-

---

<sup>19</sup> Федотов Г.П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. СПб., 1992. Т. 2. С. 282.



силія, свойственный всем человеческим сообществам, в Московской Руси приобрел особые формы, характерные для *третьего типа насилия*, удерживающего общество в статичном состоянии.

У нас иногда, говоря о Московской Руси, воспринимают ее как символ стабильного, благополучного, истинно русского, хорошего и, главное, ненасильственного, нежестокого. Забывают, что Москва «строилась не сразу», что создавалась она, как и западные государства, жестокостью, вероломством, предательством: «Ломая кость, вытягивая жилы, // Московский строился престол» (М.Волошин. Китеж, 1919). Именно в период Московской Руси устанавливается повсеместно «монгольское право на землю», упразднявшее земельную частную собственность, а также возникает специфически *московский тип отношений*, требующий от государственного подданного исполнения обязанностей и не дающий никаких прав, о чем писали историки от С.М.Соловьева и В.О.Ключевского до Г.П.Федотова и Л.Н.Гумилева.

## 2. ПРОВОКАЦИОННО-ОХРАНИТЕЛЬНОЕ НАСИЛИЕ: УСПЕХИ И КАТАСТРОФЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Новый тип отношений и породил специфическое отношение к насилию как основному, если не единственному средству, взаимоотношений внутри и вовне государства — для его охраны, расширения и укрепления. Точнее сказать, государство ощущало постоянную, некоторым образом культурно-физиологическую потребность в том, чтобы народ жил в состоянии *перманентного страха перед внешним и внутренним врагом, готовности пострадать и отдать свою жизнь во имя не личных, а общих целей*. Отсюда так восхищающая европейцев идея Достоевского о необходимости страдания во имя нравственности. Отсюда и пренебрежение к ценности жизни как таковой. «Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, — писал в частном письме историк Грановский, — но жить здесь никто не

умеет»<sup>20</sup>. Жизнь под постоянной угрозой насилия — судьба российских подданных, и этот принцип был выгоден государству, стал своего рода нормой и продержался — с некоторыми историческими перерывами — до наших дней. Сошлюсь опять на современную писательницу Светлану Алексиевич: «Мы, конечно, общество абсолютно военное. По мышлению, по представлениям о мучениках и героях, о добре и зле, по всему. Мы все время или воевали, или готовились к войне, или вспоминали о ней... Лучшей литературой мы считали военную литературу. Она была нужна, поскольку жили в режиме чрезвычайки. И даже Чернобыль... — подарок этому режиму. Режим здесь находит продолжение, возможность выживания. Опять распределение нищих благ, опять зона, опять экстремальная ситуация»<sup>21</sup>. Однако этот принцип сложился не сегодня, складывался постепенно, да и культурно-историческая природа его более сложна, чем он кажется нынешним писателям и публицистам. Дело не в войне, воевали и римляне, но *в отношении* к применяемому насилию и к целям его применения.

### а) Становление принципа

Пожалуй, впервые этот «московский тип отношений» проявился в распре Москвы и Новгорода при Иване III. В 1477 г., когда московский князь с войском подступил под Новгород, разорив по дороге новгородские земли, жители последнего вольного русского города согласились подчиниться Москве, но — **на основе договора**, на основе известных условий. Ответ Ивана III показал, что старые договорные принципы Новгородско-Киевской Руси уже не работают, что устанавливается в стране отныне *новый порядок*: «Сказано вам, что хотим государства в Великом Новгороде такого же, какое у нас государство в Низовой земле на Москве; а вы теперь сами мне указываете, как нашему государству у вас быть: какое же после этого будет мое

---

<sup>20</sup> Т.Н.Грановский и его переписка. В 2-х т. М., 1897. Т. 2. С. 448.

<sup>21</sup> Алексиевич С. Моя единственная жизнь // Вопросы литературы. 1996. Январь — февраль. С. 206.

государство?»<sup>22</sup> Что это означало? А то, что любое государственное принуждение становилось теперь **неправовым, но легитимным насилием**. Человек оказывался беззащитным перед всякого рода насилием, ибо даже бытовая уголовщина не смирялась твердыми законами (появлялись лишь время от времени указы, имевшие характер показной, не действенный), и реальная борьба с ней велась лишь в той мере, в какой сплотившиеся в большие группы разбойники начинали угрожать самому государству, функционированию его служб. *Частная жизнь и собственность имели ценность только относительно государственных потребностей*. Зато правитель обладал неограниченной властью в стране.

Это сообщало известную крепость молодому государству, хотя и превращало его по сути в военный лагерь. На Руси *не было отдельного, самостоятельного военного сословия* как на Западе с его наемным войском. «Образно говоря, — констатировал народник С.М.Степняк-Кравчинский, — Московское государство было армией, огромной дружиной, превратившейся в военную касту и рассеянной по всем обширным землям империи... Неисчислимы людские силы государства были, таким образом, громадным полчищем, зависящим — каждый в отдельности и все вместе — непосредственно от царя и существующим только его милостями, причем низшие чины всегда были готовы по первому знаку государя сокрушить малейшую видимость сопротивления со стороны своих начальников»<sup>23</sup>. Стоит отметить, однако, что военная сила была обращена прежде всего *не на защиту от внешних врагов* (до Петра I состязаться с Западной Европой Русь не могла), а *против так называемой «внутренней крамолы»*. Уточним также, что создававшаяся официальной пропагандой легенда о «неисчислимых людских силах» годилась лишь для сравнения с каждой отдельно взятой европейской страной, но если принять методу славя-

---

<sup>22</sup> Цит. по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Соч., кн. III. М., 1989. С. 29.

<sup>23</sup> Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1964. С. 54-55.

нофилов и противопоставить Россию Западной Европе в целом, то несмотря на поэтическое утверждение Блока («Милыоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы»), людских ресурсов на европейском Западе в 3 раза больше, нежели в России. Это соотношение сохраняется и до сих пор. Высказывание Карамзина о сложившемся в период татарского ига истреблении народа вне и помимо воинских битв имеет, на мой взгляд, характер архетипический, который можно отнести ко всем последующим периодам русской истории: «Видим много убийств, но гораздо менее ратных подвигов»<sup>24</sup>. К этому стоит добавить высказывание знаменитого древнерусского писателя XVII в. Юрия Крижанича: «Крутое правление — причина того, что Русь редко населена и малолюдна. Могло бы на Руси жить вдвое больше людей, чем их живет сейчас, если бы правление было помягче»<sup>25</sup>. Принятый путь развития — *за счет собственного народа* — сулил утверждение неправовой, криминальной по сути психологии в национальном масштабе, а, стало быть, и национальные катастрофы.

Происходило нравственно-религиозное развращение народа. Он привыкал терпеть лютое насилие от собственного, а не иноземного правительства, причем *полагая* такое насилие над собой нормой социально-государственных отношений, ибо и высшие слои были точно в таком же бесправном положении по отношению к самодержцу. Немецкий дипломат XVI в. Сигизмунд Герберштейн, бывший в Москве при Василии III, отце Ивана Грозного, писал о власти Московского князя: «Свою власть он применяет к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом каждого... Они (москвиты, — *В.К.*) прямо заявляют, что воля государя есть воля Божья и чтобы ни сделал государь, он делает это по воле Божьей... Трудно понять, то ли народ по своей

---

<sup>24</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V-VIII. Калуга, 1993. С. 157.

<sup>25</sup> Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального характера. М., 1994. С. 409.

грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким»<sup>26</sup>.

Пожалуй, ярчайшим проявлением этого жизнеповедения стало правление Ивана Грозного, своего рода *акмэ системы*. Бердяев, замечая, что великий князь московский соединял в своих руках и политическую, и идеологическую власть, утверждал: «Московское православное царство было *тоталитарным государством* (курсив мой. — В.К.). Иоанн Грозный, который был замечательным теоретиком самодержавной монархии, учил, что царь должен не только управлять государством, но и спасать души»<sup>27</sup>. Быть может, слишком резко называть Московскую Русь тоталитарной страной, хотя она, как всякое традиционное общество, держала в полном подчинении своих подданных, но уже *прото-тоталитарной* она безусловно являлась. В недавних философских дискуссиях, посвященных тоталитаризму, не раз звучали высказывания, что в *традиционном обществе* каждый индивид, вовлеченный в это общество, переживает свою тотальность как естественное состояние. Но уже в Московском царстве были люди, воспринимавшие свое положение внутри этого царства как неестественное. Современные историки отмечают, что политическая централизация вокруг Москвы XVI в. была осуществлена в рамках единодержавия. Но расширение контактов с Литвой и Польшей, завязавшиеся торговые сношения с Англией давали русским возможность ближе познакомиться с принципами государственного устройства, отличными от их собственных. Это знакомство, по-видимому, сыграло свою роль в развитии внутреннего политического конфликта в России. При Грозном немало бояр и дворян пытались отъехать в Литву, и во многих случаях попытки увенчались успехом... Русь, утверждал Курбский, «сиречь свободное естество человеческое», затворена «аки во адовой твердыне», тогда как Польско-Литовское госу-

---

<sup>26</sup> Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С.74.

<sup>27</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 10.

дарство пребывает «издавна под свободами христианских королей»<sup>28</sup>. Иными словами, здесь явствен первый конфликт между личностью, стремящейся к независимости, и убивающим ее государством — конфликт, который типичен именно для тоталитарного общества.

Со времени становления независимости Московского государства за Россией укрепляется название **полуварварского государства**. Этот термин под перьями как западных наблюдателей, так и русских мыслителей продержался до наших дней. Но ведь далеко не случайно, что именно тоталитарные государства современники определяли как сызнова проснувшееся варварство. И именно царствование Ивана Грозного, а далее Смуты наиболее ярко в русской истории выявили две основные модификации **провокационно-охранительного типа насилия**, направленного на стагнацию общества и приближающегося по степени бесперспективности для исторического развития к **насилию варварскому**.

### *1. Насилие, идущее сверху, от государства*

После реформ Ивана IV в начале царствования, созыва едва ли не первого Земского собора, упорядочения Уложения, создания прототипов земских структур, а также Домостроя, пытавшегося регламентировать и образить обыденную жизнь, именно само государство в лице царя сорвало весь цивилизационный эффект своих новаций. В печально-знаменитом декабре 1564 г. Иван IV отъехал из Москвы в Александровскую слободу, обратившись к народу через голову бояр с двумя грамотами. В первой он писал об измене бояр и духовенства, а во второй сообщал, что против простого народа зла не держит. Вскоре после этого царь получил своего рода *разрешение от народа* на истребление боярства, или, как замечал Ключевский, «выпросил... полицейскую диктатуру»<sup>29</sup>. Таким образом, *провокационный отъезд царя* позволил ему в результате организовать

---

<sup>28</sup> См.: Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 523.

<sup>29</sup> Ключевский В.О. Соч. В 9-ти т. М., 1988. Т. 2. С. 165.

*опричинну*, которая то в форме 3-го отделения, то в форме ЧК вновь и вновь потом являлась в России. «Победа опричнины, — замечал Г.П.Федотов, — нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало *варваризацию* (курсив мой — В.К.) правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление эксплуатации трудового населения»<sup>30</sup>.

Что же произошло? В результате реформ стало понятно, что именно боярство может получить некие права и быть допущенным к реальному управлению государством. Власть царя, только устанавливавшаяся, оказывалась поколебленной, начатые реформы под угрозой, что проявилось в период царской болезни, когда бояре задумались о другом царе. Но не более, чем задумались. Наказание, однако, *за это размышление, за намерение, за мысль* во много раз превысило кары, налагавшиеся западноевропейскими государями на своих вассалов *за их действия*. «Против чего же собственно в боярстве боролся Иоанн? — задавал вопрос Хомяков. — Мы знаем борьбу королей на Западе против великих вассалов; но мы знаем также, против чего и за что боролись они. Мы знаем не только постоянные слушания вассалов и постоянные их притязания на самостоятельность, но еще и опеки, налагаемые вооруженною рукою на королей, и союзы для общего блага (*du bien public*), и осады столиц, и бегство, и плены королевские. Что же подобного в России? Нет ни следа восстания, ни следа заговора, ни следа даже слушания. Где же права, где силы, против которых вооружался Иоанн не мечом, которым он никогда не умел и не смел владеть, а колами, кострами и котлами?»<sup>31</sup>

Сходство со сталинской тоталитарной тиранией кричащее, ибо большевики, обещая всем европеизировать Россию, *по своим методам* вернулись даже не в допетровскую, а в доромановскую Русь. Это не мешало им клясться именем *западноевропейца Маркса*, как не мешало и Ивану IV *называть себя немцем* и поддер-

---

<sup>30</sup> Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 282.

<sup>31</sup> Хомяков А.С. Ук. соч. Т. I. С. 530.

живать переписку с английской королевой Елизаветой. Но тяжкий путь установления правовых отношений, через который прошла, скажем, та же Англия, пугал московского самодержца. Интересно, что славянофилы были влюблены в Англию, считая ее лучшим государством современности, как Россию лучшим государством будущего. Им чрезвычайно мешал Иван Грозный, нарушавший легенду о гармонии жизни Московской Руси: отсюда ненависть к нему, доходящая до страсти и рождавшая замечательную зоркость анализа. И Хомяков следующим образом отвечал на свой вопрос: «Эта бойня шла от двух весьма простых побуждений — от вражды Иоанна против свободы мнений в высшем сословии и от *рассчитанного грабительства*»<sup>32</sup> (курсив мой. — В.К.). Поэтому, отвергая класс, имевший хотя бы воспоминание о своих былых правах, царь заключает союз с народом, чуждым европейским понятиям о праве, собственности и свободе. Таким образом постепенно устанавливался определенный стиль жизни, влиявший и на народную ментальность.

## 2. Низовое насилие

Сам Иван Грозный (по свидетельству Якова Рейтенфельса, посла Рима в Московии) заявлял, что западные государи «повелевают людям, а он — скотам»<sup>33</sup>. Но такой подход определял и отношение народа к самому себе. Образовывался порочный круг народной несамостоятельности. С перерывом династии, иронизировал Ключевский, некому стало повиноваться — стало быть, надо бунтовать. Московские подданные, лишенные действующих законов, оказывались как бы предоставленными сами себе, и преобладающее влияние получают силы, живущие в привычной неправовой, полууголовной, «скотской» системе взаимоотношений: воровские шайки и казацкие отряды («внутренняя Степь», по формулировке С.М.Соловьева) переполнили в начале XVII в. Русь. Русские историки объясняли

---

<sup>32</sup> Там же. С. 531.

<sup>33</sup> Размышления о России и русских. С. 369.



«ужасные явления смутного времени... выступлением в наружу испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху Ивановых мучительств»<sup>34</sup>. Попросту сказать, проявилась тяжкая болезнь национального организма, скрывавшаяся до тех пор от посторонних глаз, но в результате действий московских государей только усиливавшаяся.

К этому стоит добавить, что, вводя некоторые европейские новшества, которые должны были ту же завязать Московскую Русь на отношения с Западной Европой, Борис Годунов пытался действовать в духе позднего Грозного, без опоры на боярство, зажимая его, отстраняя от реформ. Но бояре не прощали выходцу из своей среды ту жестокость, которую они прощали природному царю Ивану. По наблюдению Ключевского, именно боярство затеяло смуту, а «первый самозванец был их произведением». Как точно писал Г.П.Федотов: «Все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоеет молодую свободу волной народного гнева?»<sup>35</sup>

Восставшие низы, с одной стороны, не возражали против европейской свободы (поэтому поддержали проводника западного влияния — Лжедмитрия), понимая ее, однако, как произвол, как возможность анархически-беззаконной жизни. С другой, они не могли не чувствовать, что европеизация сопряжена с ухудшением их жизни. Усвоение азов европеизма стало условием выживания российского государства, вышедшего на встречу с Европой из-за железного занавеса монгольского ига. Понятно, однако, что создание европеизированного, цивилизованного слоя общества немыслимо без высокой степени национального богатства. Но создание богатства, необходимого для цивилизованной жизни, происходило в бедной стране за счет закрепощения народа. XVII век — это окончательное становление крепостного права: от указов Бориса Годунова

---

<sup>34</sup> Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 3. С. 565.

<sup>35</sup> Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 296.

до Уложения 1649 г. Алексея Михайловича. Ситуация, обреченная на рождение глубочайших противоречий. Конечно, «псковский оброк, — как писал Герцен, — дал возможность воспитать Пушкина»<sup>36</sup>. Но и пугачевщина — закономерный ответ на появление дворянских гнезд.

*Бунты — это ответ на европеизацию государства, которая оборачивалась усилением народных тягот. Модель русской культуры сложна. Скажем, по Лотману, она определяется «расстоянием между уже нет и еще нет»<sup>37</sup>. В отношении к нашей проблеме можно сказать, что третий тип насилия уже не был варварским, но еще не приводил к созданию структур, защищающих людей. Здесь отсутствовало самое важное для установления цивилизованных отношений — представление о ценности личности, о ценности другого, о возможности с ним договориться. Но это только потому, что и представления о собственной личности не было. «Ты еси» отсутствовало, поскольку отсутствовало «я есмь».*

### *б) Общественная нестабильность как результат государственной провокации*

*В выступлениях сегодняшних так называемых патристических публицистов (неоевразийцев, неославянофилов, неопочвенников, даже неосталинистов), как и полтора столетия назад у ранних славянофилов, первоодвигателем насильственного развития России (напомню мимоходом, что другого развития история не знает), приводившего, де, к невероятным жестокостям по отношению к народу и как бы породившего модель большевистского тоталитаризма, называется Петр Великий. Надо сказать, Петр подал к этому повод, обронивши однажды, что считает себя последователем Ивана Грозного. Отметим, однако, сразу, что насилие Петра I, «палкой» загонявшего Россию в европейскую цивилизацию, было другим, хотя и опиралось, разумеется, на приемы его предшественников — московских царей. Но, во-первых, исторически его насилие было*

<sup>36</sup> Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1955. Т. 6. С.56.

<sup>37</sup> Лотман Ю.М. Тезисы к семиотике русской культуры // Ю.М.Лотман и тартуско-московская школа. М., 1994. С. 408.

ответом на восстание стрельцов 1682 г., пытавшихся свергнуть законного царя и разрушить начатки европеизации. Во-вторых, поскольку деятельность Петра была одной из самых решительных попыток сломать традиционное общество и вернуть Россию назад в Европу, он старался изменить и самый тип насилия.

Как мы знаем, эффект его деятельности был вероятно позитивен. Он создал регулярное войско по европейскому образцу, и, как следствие началась демилитаризация страны, не в идеальном, а конкретном, европейском смысле. Рекрутский набор и долголетняя служба в армии, несмотря на все справедливые упреки, создавали хоть и не наемное войско, но все же военное сословие, отделенное от народа. Страна переставала быть только военным лагерем, а изменение типа насилия раскрепощало человека, поскольку отныне он мог говорить и действовать, не опасаясь за судьбу своих близких, как бывало прежде в протототалитарном Московском государстве. Приведу свидетельство современника, «петровского токаря» А.К.Нартова: «К большой достопамятности и к отличному правосудию Петра Великого служит доказательством отмененное им жестокое азиатское обыкновение лишать имущества тех наследников, коих отцы учинили измену или иную вину против государя и тем заслуживали одно только праведное наказание, но вместо того жены, дети их, родственники, ничем невинные, за преступлением родителей обще погибали или в вечную ссылку ссылаемы были. Но Петр Великий, по правосудию и великодушию своему, отменив сие варварское узаконение, рассуждал: «Государю зазорно обогащаться стяжанием подданного и невинное семейство его лишать имущества и пропитания. Невинность возопиет к Богу»<sup>38</sup> (курсив мой — В.К.). Разительный контраст с практикой как Ивана Грозного, так и Иосифа Сталина! После Петра государство часто являлось, по словам Пушкина, единственным европейцем в России. Однако, помимо сло-

---

<sup>38</sup> Нартов А.К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. М., 1993. С. 325.

ев, недовольных европеизацией и выступавших против нее, само государство порой ощущало свою *полуварварскую природу*, испытывая нежелательное для своей власти влияние Западной Европы.

Интересно, что, после того как отгремели крестьянские войны (Разин, Пугачев), российское государство стало опасаться *европейских революций*, которые могли бы спровоцировать на антиправительственные выступления слой образованного дворянства, искавшего свои идеалы на Западе более интенсивно, нежели государство, и в котором начали складываться личностные отношения и представления о праве. Поэтому реакция Екатерины II на французскую революцию, а Николая I на события в Европе 1848 г. — зажим, репрессии и антиевропейские, антицивилизационные повороты.

Вместе с тем контакт «образованного» (*протогражданского*) общества с государством мог привести и впоследствии привел к великим революционным реформам Александра Второго, давшего заряд почти петровской силы в сторону европеизации. Не случайно, понимая эту двойственность, эту амбивалентность российского развития, Чаадаев полагал выступление декабристов своего рода *провокацией*, отбросившей Россию почти на полвека назад, прервавшей европеизацию страны и ужесточившей правление Николая I, чьи приемы удивительно напоминали современникам известные из истории повадки московских царей.

Как замечал Герцен, Николай I *не хотел быть императором, он хотел быть царем*. Все его правление было направлено против наднациональной, имперской идеи Петра, сущность деятельности которого заключалась, по мысли Герцена, в секуляризации царской власти и в смягчении крайнего национализма европейской цивилизацией. Николай *сызнова попытался обратить весь народ в войско*, а страну в казарму, опираясь на крайнюю националистическую идеологию «православия, самодержавия и народности». Современники отмечали у него «казарменное отращивание» от наук. Погром университетов и литературы, произведенный им в последнее семилетие своего правления, вызвал неприятие образованного общества, почувствовавшего мос-

ковский пафос его деяний. С.М.Соловьев так характеризовал ситуацию: «Воцарилось невежество, произвол, грабительство... Это был *стрелецкий бунт* своего рода; *грубое солдатство упивалось своим торжеством* и не щадило противников, слабых, безоружных»<sup>39</sup> (курсив мой. — В.К.). Как и Иван Грозный, он ставил своей целью не государственные нужды, а *укрепление власти как таковой*, считая именно *самодержавную власть целью и смыслом развития России*. Герцен резюмировал его правление словами: «Он ничего не сделал, ничего не создал, *кроме самодержавия для самодержавия*»<sup>40</sup>.

Вместе с тем, действовали установления, введенные еще Петром. Так семейства декабристов не были лишены имущества, жены поехали как свободные люди к осужденным мужьям. Дворянские вольности, экономическая независимость этого сословия тоже не были отменены. Но зато усиливается до необычайности полицейский сыск, перлюстрация писем, включая частную переписку, а также — и это *главное открытие николаевского режима* — *создание определенного типа провокаторов*, не выявляющих заговоры, а создающих, иницилирующих, превращающих обычные литературно-философские кружки в антиправительственные организации. Мысль подталкивалась к революционному рассуждению, а дальше включались применявшиеся уже при Грозном механизмы наказания *за мысль, за намерение, за литературный текст*. Показательно дело кружка петрашевцев, состоявшего из литераторов и философов, занимавшихся изучением фурьеризма. Но «за кружком Петрашевского... следили давно уже, и на вечера к нему введен был от министерства внутренних дел один молодой человек, который <...> аккуратно бывал на сходках, *сам подстрекал других на радикальные разговоры* и потом записывал все, что говорилось на вечерах и передавал куда следует»<sup>41</sup> (курсив мой. — В.К.), — вспоминал позднее член кружка литератор

<sup>39</sup> Соловьев С.М. Сочинения. М., 1995. Т. XVIII. С. 619, 620.

<sup>40</sup> Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1957. Т. 12. С. 130 (курсив А.И.Герцена).

<sup>41</sup> Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1990. Т. 1. С. 266.

А.П.Милюков. Этот молодой человек был некто П.Д.Антонелли, сын российского академика живописи. Он даже знакомил петрашевцев со «свирепыми черкесами», якобы готовыми «на переворот», а на самом деле бывшими дворцовой стражей Николая. Петрашевцы были арестованы, судимы, революционный заговор, однако, не был обнаружен. И все же они были осуждены. За что? Как пример стоит процитировать приговор великому русскому писателю Достоевскому, тоже участнику этого кружка. Этот текст вполне может показаться предвестием и сталинских, и гитлеровских «судебных решений»: «Военный суд приговорил его, оставшего инженер-поручика Достоевского, за *недонесение о распространении преступного... письма литератора Белинского...* — лишить на основании Свода военных постановлений... чинов, всех прав состояния и *подвергнуть смертной казни расстрелянием*»<sup>42</sup> (курсив мой — В.К.).

Раз литератора судит военный суд, значит, страна находится на военном положении, снова старается отгородиться от остального мира, чтобы сохранить общественно-социальную недвижность. Иными словами, внутри петербургской империи усиливаются и прорастают черты Московского царства. Причем *тенденции эти определяли и жизнь оппозиции*, которая, как получилось, сменила русское самодержавие. Стоит напомнить странное пророчество Герцена, вполне осуществившееся: «Коммунизм — это русское самодержавие наоборот»<sup>43</sup>. Именно после николаевского царствования, несмотря на дальнейший порыв общества к европеизации, окончательно сформировался механизм, препятствующий реформации традиционного московского общества, существовавшего под одеждой, за фасадом петровской империи.

Этот процесс замечательно описал Ключевский. В апреле 1906 г., т.е. в период первой русской революции, подытоживая историческое развитие и пытаясь угадать будущее, он заносит в свой дневник: «В продолжение *всего* XIX в. с 1801 г., со вступлением на

<sup>42</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1978. Т. 18. С. 189.

<sup>43</sup> Герцен А.И. Ук. соч., т. VII. С. 253.

престол Александра I, русское правительство вело чисто *провокационную деятельность* (курсив мой — В.К.): оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. ...Если нахальная аракчеевщина, сменившая стыдливую, совестливую сперанщину, стремилась заговор вытолкнуть на вооруженное восстание, то Николай I своей предательской бенкендорфщиной старался вогнать общественное недовольство в заговор»<sup>44</sup>. В результате народившееся общество было вытолкнуто правительством, превращавшим любое проявление свободной мысли в преступление, в оппозицию. Началась борьба общества с государством за Россию. Причем если раньше государство воспринималось как стержень России, эти два понятия почти что отождествлялись, то к 70-м годам XIX в. они стали полностью противоположны. Появилась задача — спасти Россию от государства. Но средства использовались радикалами именно те, которые подбрасывались правительством. Вытолкнутую в революционность общественную оппозицию легко было карать. И, разумеется, правительственная *провокация насилия*, в конце концов, совпала с вандейским началом народа, готового к бунтам и смутам антиевропейского характера, видящего в цивилизации только ухудшение жизни, только зло.

*в) Тоталитарные структуры как возврат к легитимизации неправового насилия.*

*Большевизм и фашизм*

Именно в этой атмосфере происходит странное сращивание охранки и революционеров. Дегаев и Судейкин, Азеф, Малиновский, возможно, Сталин. Постоянная провокация насилия выступала, по сути дела, как *провокация нигилизма в общественном сознании*. Надо отметить, что, поскольку в этот момент не была еще завершена и «европеизация Европы», или, точнее, «вестернизация Запада», Запад тоже пережил и по-сво-

---

<sup>44</sup> Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 9. С. 341.

ему освоил идеи нигилизма: философский в Германии, эстетический во Франции и Австрии (В.Краус). Это нигилистическое движение против цивилизации приобрело мировой размах в Европе на рубеже веков как, возможно, последняя попытка варварских сил остановить цивилизационный процесс. Во главе движения встала наиболее архаизированная страна — Россия. Далее к ней присоединились европейские маргиналы — Италия, Германия, Испания. Но Россия была первой в использовании насилия как радикального средства приостановки цивилизационных процессов.

Полицейские провокации инспирировали революционный террор, который был нужен самодержавным идеологам для усиления антиевропейских тенденций, для насильственной приостановки утверждавшейся уже в России европейской свободы и открытого общества. Скажем, знаменитый выстрел Каракозова в Александра II был от начала и до конца продирижирован тайной полицией (сообщено профессором русской истории Н.И.Цимбаевым). Этот выстрел способствовал свертыванию реформ; постоянное провоцирование неправового насилия рождало целую плеяду людей, психологически принявших и легитимизировавших для себя неправоное насилие. Как справедливо замечал Й.Хейзинга: «Если власть проповедует насилие, то следующее слово берут сами насильники... Они будут считать себя оправданными этим принципом и не останутся перед самыми крайними формами жестокости и бесчеловечия»<sup>45</sup>.

Власть и дворянство пытались вскормить и антитезу революционерам — на тех же принципах неправового насилия — Черную Сотню, которую Г.П.Федотов называл «русским изданием или первым вариантом национал-социализма»<sup>46</sup>. Но в Смуту, как правило, побеждает оппозиционная сила, руки которой не связаны добрым отношением с государством, но чья традиция тоже коренится в глубинах архетипа. Большевики ока-

---

<sup>45</sup> Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня // Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1991. С. 328.

<sup>46</sup> Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 297.



зались весьма успешными продолжателями варварских сторон политики самодержавия. Пренебрежение нормами цивилизации стало у них абсолютно откровенным. Ленин восклицал: «Как же можно совершить революцию без расстрелов?.. Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?»<sup>47</sup>

Но надо было еще найти людей, способных на такую незаконную жестокость. То есть *людей уголовно-варварской психологии, не имеющих понятия о ценности человеческой жизни*. И такие люди нашлись, причем было их немало. Их злодеяния выходили за пределы цивилизованного человеческого восприятия, напоминая поступки варваров давнопрошедших веков. Приведу лишь один эпизод из жизни Петербурга 1918 г., зафиксированный поэтессой Зинаидой Гиппиус. Тогда шли массовые расстрелы большевиками заложников — офицерства и интеллигенции. И вот — дневниковая запись: «Недавно расстреляли профессора Б.Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всеобуч» (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили».

Зверей Зоологического сада, еще не подошедших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, — это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше»<sup>48</sup>.

Откуда же брались эти люди? Были ли они «новыми людьми», сотворенными большевистским режимом, или появились еще каким-то образом? Но для сотворения — времени явно не хватило бы: режим еще и года не держался. Тогда — кто они и откуда?

А откуда брались русские революционеры-террористы, нечаевы, ткачевы, желябовы?.. Еще К.П.Победо-

---

<sup>47</sup> Троцкий Л.Д. О Ленине // Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 213.

<sup>48</sup> Гиппиус З.Н. Петербургский дневник. М., 1991. С. 54-55.

носцев как-то заметил, что после реформ 60-х гг. кустарь-одиночка «выжигается» фабрикой и идет в революцию; как правило, в террористы. Нечаев был — из кустарей. И тут существенно добавить, что начавшаяся капитализация выгалкивала из традиционного общества массы людей, пролетаризировала, пауперизировала, люмпенизировала вчерашних представителей традиционного общественного сознания. Сходный процесс шел и в более европеизированных Германии и Италии, что давало основание русским радикалам представлять свои революционные устремления как европейские. Невероятное влияние приобретали революционные теории антибуржуазного характера (анархизм, коммунизм и т.п.).

Ханна Арендт замечает: «Превращение классов в массы и упадок престижа и авторитета политических институтов создавали в западноевропейских странах условия, сходные с преобладавшими в России, так что отнюдь не случайно и местные революционеры начали перенимать типично русский революционный фанатизм, который предвкусал не перемену в социальных и политических условиях, а радикальное уничтожение всех существующих догматов, ценностей и институтов»<sup>49</sup>. Правда, Ханне Арендт казалось, что *призывы элитарных нигилистов* типа Бакунина, звавшего отказаться от «я» во имя «мы», *возвещали будущее*, звали к тоталитаризму, в который и вошел XX в. *На самом деле, здесь речь шла о восстановлении древних, архетипических ценностей и структур*, которые были разрушены постепенным движением Европы к идее свободной личности. Будущие фашисты, нацисты и коммунисты вышли из среды, потерявшей свою органику и целостность, когда старое разрушено, а новое не установилось, т.е. попали в ситуацию, определенную Лотманом, как *«уже нет и еще нет»*. А потому, даже думая строить нечто новое, эти деятельные мечтатели XX в., по сути дела, вкладывали в новые понятия дорогое и привычное им содержание. Именно они оказывались

---

<sup>49</sup> Арендт Х. Временный союз черни и элиты // Иностранная литература. 1990. № 4. С. 247.

жестокими ревнителями возрожденного ими статус-кво, всеми доступными им насильственными средствами, утверждая и консервируя неподвижность возникших общественных структур.

У нас часто воспринимают тоталитаризм как явление, принадлежащее собственно XX в. и не имеющее аналогов в мировой истории. Но невозможен такого масштаба исторический феномен без корней, без прошлого. Разумеется, у тоталитаризма были свои идейные предшественники и структурные прототипы. Карл Поппер не случайно первым врагом «открытого общества», то есть читай тоталитаристом, назвал Платона. Немецко-американский ученый Карл Виттфогель в опубликованной в Нью-Йорке книге «Восточная деспотия» высказал предположение, что основоположники тоталитарных государств XX в. (от Ленина и Сталина до Муссолини и Гитлера, сюда, кстати, можно включить и Мао Цзэдуна и Пол Пота) сознательно или бессознательно опирались в своем политическом творчестве на политические структуры древних восточных деспотий — Древнего Египта, Шумера, Ассирии, Индии, Китая. Но нельзя забывать, что в каждой стране, *в каждой культуре есть свой Шумер* — традиционное общество, идеалы которого и определяют пафос строителей «нового мира», «нового порядка». Так *немецкие наци* апеллировали к «крови и почве», к общинным традициям древних германцев. *Русские большевики*, во многом стихийно строя коммунизм (как в «Чевенгуре» Андрея Платонова), отвечавший их пониманию, по сути восстанавливали доцивилизационные архаические структуры общежития, помножив их на многовековой опыт жизни в навязанной государством общине. Рассуждая о типе героев Андрея Платонова, современный исследователь спрашивает: «Что же значат эти речи платоновских героев, о чем они нам говорят, какой тип сознания в них отражается?» И отвечает: «Это сознание в основе своей полуархаическое, сознание людей, совершенно не привыкших к правильному логическому мышлению (фразы, аналогичные платоновским, можно услышать у детей, в леген-

дах и мифах, записанных этнографами). <...> Эти люди жили не в двадцатом веке, они жили даже не в средневековье, культурно они жили в какой-то глубочайшей архаике, и с мыслью двадцатого века они сталкиваются лишь в форме марксизма, термины которого так причудливо вплетаются в ткань их «дологического» мышления»<sup>50</sup>.

Но возникшие в результате их деятельности новые структуры отличаются, однако, от традиционных тем, что, *во-первых*, возникают в условиях уже довольно большого числа людей с развитым индивидуальным сознанием, которое надо искоренять столь же массово, а не допотопными средствами; *во-вторых*, на фоне и в условиях технического прогресса, все достижения которого используются, чтобы прекратить его поступательное движение. То есть *тоталитаризм есть реакция традиционного общества на техногенную цивилизацию с использованием всех приобретений этой цивилизации для воскрешения прошлого*. Важно заметить еще вот что: *традиционное общество — это первый слой цивилизации, вырастающий над варварством*. Испытывая слишком сильное давление новых структур, этот слой разрывается, и вылезает наружу пещерный медведь варварства. Он выступает на защиту традиционного общества, традиционных ценностей, опираясь на характерный для первобытного сознания страх перед *чужим*, на племенную и национальную рознь, *уничтожая независимую личность как сущностного врага, способного противостоять коллективному безумию*. Но все это средства. Главной целью остается осуществляемый с помощью войны *самый обыкновенный грабеж*. Как фашисты присвоили богатство уничтоженных евреев, а потом и оккупированных стран, так большевики захватили сначала имущество эмигрировавших дворян, буржуа и интеллигенции, награждая затем доносчиков квартирами и скарбом репрессированных. Внешне тоталитарное варварство не похоже на варварство эпохи переселения народов, но типологическое сходство очевидно.

---

<sup>50</sup> Фурман Д.Е. Сотворение новой земли и нового неба // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 35.

Не случайно Томас Манн видел в фашизме возврат к варварству, опирающемуся на идеалы племенного язычества. Характерна в этой связи и ненависть тоталитаризма к христианству, ибо Христос по-прежнему остается *великой задачей человечества, зовет в будущее, вперед, к личности, от «мы» к «я»*.

Тоталитаризм усиливает третий тип насилия, консервирующего общественно-историческое развитие. Цивилизация, воплощающаяся в облике «агрессивного» и одновременно «загнивающего Запада», воспринимается традиционными и тоталитарными обществами как нечто чуждое, идущее извне, грозящее национально-почвенным идеалам, а потому и как губительная сила. Стало быть, против носителей этой цивилизации и ее принципов следует применить насилие, спровоцировав взрыв стихийных сил, способных прервать течение цивилизационного процесса. И поэтому насилие во всех традиционных, а также тоталитарных и фундаменталистских (инварианте тоталитарных) обществах всегда было *идеологически оправданным*. Стоит ли вспоминать о бесчисленных политических процессах в большевистской России, фашистской Германии, фундаменталистском Иране! Человек, воплощающий насилие, — в этом мире герой. Его основная заслуга, что он *вне норм цивилизованного права*. Вот отрывок из воспоминаний бывшего защитника на судебных процессах первых лет советской диктатуры: «...Стояли группами и обсуждали возможный исход. К одной из групп подошел Петерс и сказал: «К чему эти волнения, и ваши, и обвинителя, все это лишнее. Не так надо поступать». На наш недоуменный вопрос, что же нужно, по его мнению, делать, он ответил: «Что делать? Привезти сюда пулемет. Вот и все. А результат будет один и тот же». Итак, и представитель советской юстиции (Крыленко. — В.К.), и представитель всероссийской чрезвычайки в разных выражениях выразили одну и ту же кровавую мысль: «Суда не надо». Если ты не коммунист, то с тебя достаточно и одной пулеметной расправы»<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Кобяков С. Красный суд. Впечатления защитника в революционных трибуналах // Заря советского правосудия. London, 1991. С. 27-28.

Впрочем, как показало дальнейшее течение событий, одной принадлежности к правящей партии было недостаточно. Чтобы уцелеть, *следовало полностью принимать этот криминальный стиль поведения*, мафиозность (как образ жизни), требующую уничтожения любого противника «семьи», уничтожения любого иначе думающего и чувствующего, а стало быть, не разделяющего преступной установки. Но далее начались «разборки» внутри захватившей власть партии, которые закончились массовым отстрелом проигравших, а заодно сотен тысяч людей, которые так или иначе были связаны с проигравшей группировкой, или могли быть связаны, или подозревались в подобной связи. Для бандита ведь даже подозрения достаточно, чтобы убить человека. Но общественная жизнь не выносит подобной сверхперегрузки **неправового насилия, которое властвующей группой объявлено легитимным. Происходит цивилизационный срыв.** Страна или самоуничтожается, как это однажды случилось с Россией после террора Ивана Грозного, впадая в смуту, либо ищет пути модификации типа насилия.

В середине прошлого века русский консерватор Михаил Катков в статье «Русская сельская община» довольно-таки пророчески замечал о *коммунистических утопиях русских радикалов*: «Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в действительность, то совершилось бы нечто совершенно противоположное ожиданию; возвратилось бы мгновенно то состояние, из которого таким медленным, таким тягостным трудом вырабатывалось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только то, что чувствует его, исчез бы самый организм, *который ищет здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не вполне замиренное присутствие в современном обществе составляет всю силу его недуга. Насильственный передел собственности возобновил бы все варварство завоевания, воскресил бы эпоху переселения народов, и человечеству предстоял бы старый путь...*»<sup>52</sup> (курсив мой. — В.К.).

---

<sup>52</sup> Русский вестник. М., 1858. Т. 17. Сентябрь, кн. первая. С. 233-234.

Под «старым путем» Катков понимает путь цивилизации. Но способно ли наше общество сегодня снова вступить на него?

### 3. ОТ СОВЕТСКОГО К ПОСТСОВЕТСКОМУ НАСИЛИЮ

Со времени, когда у нас была объявлена «перестройка», пожалуй, больше всего звучали слова о возвращении в «европейский дом», в «цивилизованное пространство», о необходимости «цивилизованно решать все вопросы» и т.п. И как одно из препятствий подобному движению называлось отсутствие в национальной ментальности самой идеи правосознания как принципа общественной жизни. Принцип этот, конечно, как понимали и говорившие, вырабатывается веками, создать его за несколько лет невозможно. Тем не менее казалось возможным (как это случилось когда-то в Западной Европе) создать усилием «прогрессивных» и «просвещенных» государственных мужей предпосылки к такому состоянию дел. Для чего прежде всего необходимо озаботиться построением *правового государства*, которое гарантировало бы не только обязанности (как оно всегда в России было), но и, так сказать, «неотъемлемые права личности».

О правовом государстве теперь молчат, а ощущение у добропорядочного обывателя таково, что государство поделилось своими всегдашними правами с «новыми русскими», зато все обязанности подданных по отношению к государству, а еще более государства по отношению к подданным исчезли вовсе. Возникло то состояние, которое публицисты именуют «криминальным беспределом», а люди посдержаннее и не столь апокалиптически настроенные — «тотальным воровством», охватившем страну: от низов до самой верхушки.

Стало жить хуже или лучше? Не пытаясь даже дать однозначный ответ, чтобы не встать в позицию всевидящего и всепонимающего судьи, можно сказать одно: произошли существенные социоструктурные изменения, которые, как и положено изменениям такого ро-

да, создали новую конфигурацию действительности. Как показывают современные социологические исследования (см., к примеру, работы К.Каарияйнена и Д.Е.Фурмана) из нашей жизни ушла *идеологическая тотальность*. То есть ни недавно господствовавшие партийно-коммунистические идеи, ни православие, которое государственная элита попыталась было сызнова превратить в «идеологию всего русского народа», не определяют отныне самой сути жизнеповедения российских жителей. В результате изменился отчасти, пока только отчасти, и типологический характер российского насилия. Чтобы увидеть это новообразование (злокачественное или доброкачественное — станет понятно значительно позже), надо еще раз взглянуться в недавнее наше прошлое, которое, по историческим меркам, было буквально вчера. Тогда яснее станет суть отличия сегодняшнего состояния общества от эпохи и тоталитаризма, и хрущевско-брежневского «потепления».

#### а) *Тайна тоталитаризма*

История развития человеческой цивилизации есть история борьбы и постоянного преодоления уголовно-варварской стихии — в самом человеке, в обществе, во взаимоотношении между странами. Вступление в историческую жизнь новых социальных слоев каждый раз оборачивается увеличением неправового, уголовного насилия, особенно если сопровождается общественным переворотом. С.М.Соловьев считал, что такого рода перевороты — плод неразвитости сознания, детскости. А детство любой культуры есть варварство. Так что возврат к детскости означает подъем наверх «нижних», «диких» слоев социума и одичание уже окультуренных слоев. После чего, как и предполагал русский консервативный публицист М.Н.Катков, общество сызнова начинает искать путей ослабления и канализации насилия, путей правового его преодоления. Но для этого *насилие прежде всего должно стать открытым для общественного сознания. К сожалению, эта открытость кажется усилением криминалитета.*



Сегодня часто говорят (особенно ярко и часто Станислав Говорухин), что у нас произошла в постперестроечный период «криминальная революция», в результате чего сложилось «уголовно-мафиозное государство». Понимая, что его могут спросить (в контексте такого рассуждения), какова же была природа сталинизма, Говорухин пытается теоретически разграничить напрашивающееся сопоставление: «Кое-кто скажет: а сталинское государство разве не было уголовно-мафиозным? Нет! Преступное государство и уголовно-мафиозное — не одно и то же. Власть Гитлера, безусловно, была преступной, но она не была уголовно-мафиозной»<sup>53</sup>. Можно было бы пренебречь этой, не очень корректной манипуляцией с понятиями (или уголовно-мафиозное не есть также и преступное?..), если бы из подобного умозаключения не вытекало логически оправдание тоталитаризма. Ибо получается, что при тоталитарных режимах преступления совершались, но *не ради наживы, а во имя идеи*.

Что касается Гитлера, то здесь, пожалуй, достаточно свидетельства Бертольда Брехта. В пьесе «Карьера Артура Уи» он представил гитлеризм как победу уголовно-мафиозной шайки, а весь нацизм как криминальную систему, возведенную на государственный уровень. Стоит привести также и соображения одного из крупнейших русских философов XX в. — С.Л.Франка, пришедшего в результате наблюдения за советской и фашистской системами к мысли, что крушение гуманизма «привело мир к господству умонастроения и практики жизни разбойничьей шайки, потопило на наших глазах мир в море крови и слез»<sup>54</sup>.

Использование идеи для достижения своих вполне практических, без идейного оформления, уголовно наказуемых целей и есть **тайна тоталитаризма**. Тоталитаризм, прикрываясь идеей, скрывает свою уголовную сущность, более того, приобретает как бы законные черты, социально-политическую легитимность. Этот

---

<sup>53</sup> Говорухин С. Великая криминальная революция. С. 45.

<sup>54</sup> Франк С. Свет во тьме. С. 59 (разрядка С.Франка).

новый тоталитарный мир ужаса и безумия начался с захвата власти в России большевиками.

Пожалуй, одна из самых страшных книг о российской судьбе (не менее страшная, чем «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицина или «Колымские рассказы» В.Т.Шаламова) — это «Красный террор в России. 1918-1923» С.П.Мельгунова, русского социалиста и историка. Он собрал строго документальные свидетельства о зверствах, совершенных большевиками за первые пять лет их правления. Точнее было бы назвать их «преступлениями против человечности», как определил злодеяния немецких нацистов Нюрнбергский суд, *первый в истории суд победившей цивилизации над криминально-агрессивным варварством*. Как показал Мельгунов, суть большевизма была *не в провозглашенных идеях, а в практике*. Читать эту книгу невозможно, как невозможно читать об Освенциме и Дахау: после такого чтения не хочется ни жить, ни любить — страшно.

Началось с *массовых* расстрелов — незаконных, без суда и следствия — так называемых заложников, многих тысяч абсолютно неповинных мужчин, женщин, подростков, стариков и детей, начиная с 6-ти — 8-и летнего возраста. Институт заложничества древний: но возник он во время войн, за спиной заложников родная страна, требующая и ждущая их освобождения. Большевики делают заложниками *соотечественников*, дух которых абсолютно сломлен тем обстоятельством, что они захвачены своими. Никогда до этого не было и массовых убийств заложников, если не считать гекатомб из рабов и пленных у варварских завоевателей — Аттилы, Тамерлана и т.п. Покушение на Ленина превратило террор в массовый. Большевики объясняли это сложной исторической ситуацией, гражданским противостоянием. Ленин не был убит, был только ранен. Американский президент Авраам Линкольн был застрелен во время гражданской войны, но американцы-северяне не расстреливали сотнями и тысячами неповинных людей, они искали реального преступника.

В первые три года своего правления большевики создали «лагеря смерти» (скажем, холмогорский), они

так и назывались. Случайно уцелевшие в этих лагерях заключенные «были настоящие мертвецы, еле двигавшиеся и смотревшие на вас неподвижным, непонижающим взором»<sup>55</sup>. В книге описаны многометровые желоба, наполненные кровью казненных; скальпирование; сдирание перчаток из кожи с кистей рук; сажание священников на кол; распятие на крестах; медленное поджаривание по частям в хлебных печах; выжигание на теле пятиугольных звезд; опускание в котлы с кипятком; обручи, при сдавливании дробившие черепа; обливание на морозе холодной водой или мочой, что превращало заключенных в ледяные статуи; отрубание или отрывание ушей, ноздрей, губ, половых органов; запираение в ящике с разлагающимися трупами; убийства среди идущих в колоннах заключенных больных и ослабевших; насилия над женщинами, на глазах которых расстреливали мужей, заставляя обезумевших жен отмывать камеру от крови и мозгов убитых мужчин, а затем вынуждали сожительство с убийцами; сажание на раскаленную печь или сковороду; закапывание живых в землю (при раскопке врачи обнаруживали, что дыхательное горло жертв было забито землей — несчастные пытались дышать); разрывание тела колесами лебедек и т.п. и т.д.

Во имя чего это творилось? Каким словом назвать происходившее? Великий писатель Бунин это слово нашел: «С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос»<sup>56</sup> (выделено мной. — В.К.). И уже яснее ответ — кто делал и во имя чего. Социалист Мельгунов отводит обвинение от идеи, показывая *материальный интерес* сотрудников ВЧК. От вроде бы «мелочей»: палачам доставалась «одежда расстрелянных и те золотые и пр. вещи, которые оставались у заключенных; они «выламывают у своих жертв золотые зубы», собирают «золотые кресты» и пр.»<sup>57</sup> До очень крупного

---

<sup>55</sup> Мельгунов С.П. Красный террор в России. 1918-1923. М., 1990. С. 127.

<sup>56</sup> Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 162.

<sup>57</sup> Мельгунов С.П. Красный террор в России. С. 141.

и важного: образовался слой населения, который получил право не только на кровь, но и на сытную, вольготную жизнь. «В.Ч.К. в Москве, — пишет Мельгунов, — это своего рода государство в государстве. У нее целые кварталы реквизированных домов — несколько десятков. Есть своя портняжная, прачечная, столовая, парикмахерская, сапожная, слесарная и пр. и пр. В подвалах и складах огромные запасы съестных продуктов, вин и других реквизированных вещей, идущих на потребу служащих и часто не подвергающихся даже простому учету... В голодные дни каждый чекист имел привилегированный паек — сахар, масло, белая мука и пр. Каждый театр обязан присылать в В.Ч.К. даровые билеты и т.д.»<sup>58</sup> Нечто подобное мы читали о гестаповских бонзах, пировавших, когда простые немцы голодали. Хотя просматривается и национальное сходство: с опричниной Ивана Грозного, тоже бывшей государством в государстве.

Но самое любопытное и культурологически показательное было то, что новые руководители страны, чтобы сохранить свою власть и оправдать массовые убийства своих подданных, прибегли к *провокации*. «Начиная с дела английского консула в Москве Локкарта, который был приглашен по инициативе Петерса на заседание фиктивного «комитета белогвардейцев» (как то впоследствии признала сама «Правда»), *вся деятельность чекистского «аппарата» строилась на самой грубой провокации, которой давалась санкция свыше»*<sup>59</sup> (курсив мой. — В.К.). Здесь явно сработал механизм культуры, воспроизводя еще дореволюционный *провокационно-охранительный принцип отношения государства к обществу*, принцип, укорененный в российской — татаро-московской и опричной — традиции.

### *б) Идея как камуфляж уголовного террора*

Как это ни парадоксально, в конечном счете спасла народ от самоистребления та самая западная привив-

---

<sup>58</sup> Там же. С. 177.

<sup>59</sup> Там же. С. 180. Стоит в этот перечень добавить и провокационное убийство Кирова.

ка, которая поначалу спустила курок Смуты, позволив стихийным, доцивилизационным структурам возобладать над цивилизующими оболочками социума. Речь в данном случае может идти как о сохранении в общественно-исторической памяти петровско-пушкинского периода в развитии страны, так и о марксизме. Слишком *большой запас западноевропейских цивилизационных смыслов* содержался в этом учении. Оно требовало хотя бы внешнего соответствия европейским нормам охранения личности. Режим вынужден был умерить свои аппетиты и играть в законность. И постепенно фразы, произносимые ритуально, остановили маховик бессудного, откровенно уголовного террора. Но провокации продолжались. Поскольку в них нуждался и восстановленный большевиками тоталитарный инвариант самодержавной России.

Провокация, однако, приобрела несколько иной характер. При царизме *провокация структурировала реальную оппозицию*, чтобы выявить и изолировать склонных к политическому недовольству от общества. Большевистские же власти стремились угадать *как бы саму возможность независимой мысли* с тем, чтобы уничтожить ее потенциальных носителей *физически*.

Независимость мысли страшила новых хозяев России сильнее всего, ибо она предполагала, что человек способен увидеть *несоответствие между провозглашенной идеей и практическими действиями*. Идеологических оппонентов ленинцы не боялись. Те выступали *против идеи*, идея же была признана и апробирована мыслителями Европы. Поэтому «великие практики» большевизма смело бросались на защиту теории, ибо дымовая завеса идейных споров скрывала их цели и их социально-культурную природу. Не случайна устойчивая нелюбовь вождей партии к писателю Достоевскому, ибо он выявил этот принцип несоответствия как суть грядущего бесовства.

Уже в «Преступлении и наказании» он показал, как высокие идейные запросы обернулись элементарной уголовщиной. Идея служила Раскольникову как самообман, чтоб скрыть от него самого низость его преступления. В «Бесах» эта тема развернута шире. Револю-

ционер Петр Верховенский, толкающий соучастников вроде бы на политическое деяние — на политическое убийство, превращает их тем самым в обыкновенных уголовных преступников, в носителей зла, в бесов. А сам о себе он со смешком говорит: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» И тут же поясняет, кого он вербует в российское «социалистическое» движение: «Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши»<sup>60</sup>. Критерий подбора очевиден: уголовщина как приоритет. Эти речи его так откровенно провокационны, что беседующий с ним Ставрогин не выдерживает: «Слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?»<sup>61</sup> Угадано все, вплоть до связей верхушки революционеров и с полицейской провокацией, и с уголовными элементами. И, наконец, в «Братьях Карамазовых» тема идеологии и преступления — центральная. Достоевский показывает, что идея для убийцы не более, чем камуфляж: Смердяков *использует идею Ивана как прикрытие и оправдание своего реального уголовного преступления.*

В начале этого века российский социум пытался перестроиться, в связи с этим шло разрушение устоявшихся моделей взаимоотношений и на поверхность выползали архетипы культуры, приглушенные было христианством, но еще не переработанные, не преобразованные в цивилизацию. Эстетический нигилизм (как предвестие тоталитаризма) проявился в России не в меньшей степени, чем на модернизирующемся и вестернизирующемся далее Западе. Все гуманистические ценности были поставлены под сомнение. Цивилизация подверглась мощной атаке первобытных смыслов культур. И русские художники, «символисты» и «модернисты», начинают не только искать красоту в пороке и носителях зла, но и объявлять зло добром. Это был своеобразный бунт против нравственных норм и классических традиций. Любопытно, что при этом они клялись именем Достоевского, этот бунт уга-

---

<sup>60</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1974. Т. 10. С. 324.

<sup>61</sup> Там же. С. 300.

давшего и проклявшего. Наиболее развернутое воплощение эта тенденция получила в романе «властителя дум» Леонида Андреева «Сашка Жегулев» (1911). Там революционер, сошедшийся с уголовниками и разбойниками, изображен вполне иконописно, как ангел Божий. И «христианской» печалью овеяны слова писателя о своем герое, напоминающем ему Христа: «Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был <...> он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил»<sup>62</sup>. После этой профанации подвига Христа уже понятно блоковское приятие и оправдание «двенадцати» — разгулявшихся солдат-бандитов, простодушно понимающих социальный протест и революционную деятельность, как месть и убийство. Застрелив несчастную гулящую Катю («Что, Катюшка, рада? — Ни гу-гу... // Лежи ты, падаль, на снегу!...»), провозглашают: «Революционный держите шаг! // Неугомонный не дремлет враг!» Символ русского грабежа — пожар — грозит распространиться на весь земной шар. Причем сами убийцы и разбойники вполне искренне призывают на свое дело Божью благодать:

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови —  
Господи, благослови!

Блок побаивается своих героев, и все же именно они под пером поэта оказываются двенадцатью апостолами, созидателями нового мира.

Этот мир и состоялся за семьдесят лет советской власти. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын показал, что по существу вся страна стала большим концентрационным лагерем, где правили преступники: уголовники бытовые и прикрытые политической идеологией. Говорят часто, что большевизм породила война. Возможно. Хотя это произошло и не везде. Нельзя, однако, не согласиться с Мельгуновым, что, начиная с Октябрьской революции, в человечество пришло *«нечто худшее, чем война —*

---

<sup>62</sup> Андреев Л. Собр. соч. В 6-ти т. М., 1994. Т. 4. С. 73.

*варварство, позорящее самое имя человека»*<sup>63</sup> (курсив мой. — В.К.). Но перед Западом надо было выглядеть прилично. Открывая бойня первых лет революции прекращается, она приобретает характерную черту тоталитаризма — тайну. На поверхности — вроде бы правовой подход, суды, хорошо инсценированные процессы, которым верили европейские гуманисты вроде Л.Фейхтвангера. Сталин, так сказать, формализовал и запротоколировал террор, как и подобало канцеляристу партии, ее генеральному секретарю. В этом он был близок своему двойнику Гитлеру, создавшему с немецкой тщательностью чудовищную «бухгалтерию смерти».

Существенно, однако, отметить, что все процессы строились по уголовному сценарию. Политические противники обвинялись во вполне уголовных преступлениях: поджогах, убийствах, диверсиях. Привыкшая к уголовщине власть просто не понимала, что политический протест и духовное противостояние имеют иную сущность. Как замечал Варлам Шаламов, «верх юридического совершенства сталинского времени — ... заключался в амальгамах, в склеивании двух преступлений — уголовного и политического... Найти и приписать уголовщину чистому политику — и было сутью «амальгамы»<sup>64</sup>.

Очень важно для нашей темы подчеркнуть, что политические оппоненты власти, именуемые «врагами народа», содержались в тюрьмах *вместе* с настоящими уголовниками, которые официально были объявлены «социально-близкими» власти элементами. Уголовники верховодили в местах заключения, помыкая и заставляя себе прислуживать всех остальных, не входивших в криминальные структуры. Эта тенденция была определяющей, продержавшись до перестройки. Об этом свидетельствует академик Российской академии медицинских наук А.И.Воробьев: «На протяжении десятилетий в советской тюрьме шло хорошо организованное противопоставление уголовных и политических заклю-

---

<sup>63</sup> Мельгунов С.П. Красный террор в России. С. 14.

<sup>64</sup> Шаламов В. Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996. С. 289.



ченных, смешение этических норм, попрание здравого смысла. Власть держала сторону уголовных, превращаемых в своеобразную аристократию лагерей и тюрем. *Сотрудничество с уголовниками* разлагало охрану, администрацию и *неотвратимо вело к сращиванию системы правления с уголовным миром*<sup>65</sup> (курсив мой. — В.К.).

Большинство научных открытий и технических разработок в бывшем Советском Союзе достигались либо *воровством из-за рубежа* — западных идей и технологий, а также людей (Петр Капица), либо *грабежом идей у соотечественников, под страхом смерти или пыток в «шарашках» вынужденных отдавать свое «ноу-хау» режиму, не получая взамен ничего*. Так шел научно-технический прогресс при Сталине.

### в) Начало перемен и сегодняшние тревоги

Однако возраставшая потребность в контактах с Западом (тоже продолжавшим цивилизоваться и потому все большее внимание уделявшим правовой стороне жизни) обуславливала введение уголовно-варварской стихии в известные рамки. Сотрудничая с политиками и промышленной элитой западноевропейских стран, коммунистам необходимо было соблюдать нормы вежливости и права. Вместо уничтоженного слоя цивилизованных русских (гуманитарной и научно-технической интеллигенции, верхушки рабочего класса, трудоспособного, самостоятельного слоя крестьянства) *режим назначал имитаторов цивилизации*. Вторая мировая война потребовала, однако, реального восстановления по крайней мере научно-технической интеллигенции. Работавшие поначалу в «шарашках» впоследствии получили в свое распоряжение целые НИИ и элемент свободомыслия, по-прежнему не допускавшийся для рядового советского обывателя.

Сталин способствовал возвышению «антизападника» Гитлера, грозившего и попытавшегося потом разрушить «либерально-буржуазную» цивилизацию Европы. Эволюция советской идеологии уже в середине 30-

---

<sup>65</sup> Воробьев А.И. По обе стороны колючей проволоки // Воля. Журнал узников тоталитарных систем. 1993. № 1. С. 28.

х гг., как показал Г.П.Федотов, привела к «национализации революции»<sup>66</sup>, т.е. совпала с германским вариантом социализма. Не случайно, Гитлер, по воспоминаниям Германа Раушнинга, говорил, что национал-социализм — это то, чем мог бы стать марксизм, если бы «освободился от своей абсурдной искусственной связи с демократическим устройством». Сталинизм к этому «освобождению» пришел, что удивительно глубоко показал Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба». Но, как и водится в уголовном мире, сила и сходство позиции не мирят фюреров и шайки, но служат причиной беспощадных конфликтов за первенство. Вторая мировая война привела через два года к столкновению две тоталитарные системы.

Но парадокс этой войны был в том, что российский народ, как вспоминали бывшие фронтовики, распрямылся, почувствовал себя в это страшное время духовно свободным. Тотальная, ибо вынужденная войной, критика практики и идеологии фашизма содействовала снятию шор и запретов, позволяла сравнить системы правления. Причем офицерами этой войны были молодые люди, *верившие в идеалы коммунизма, но не успевшие вкусить его страшной практики, не боявшиеся своих*. После войны Сталин попытался вновь запугать общество, загнав миллионы прошедших войну людей в концентрационные лагеря, чтобы вернуть столь важное системе *чувство страха*. Но война прошла через каждый дом, *фронтовиками по сути были все*. Все вкусили дозу смелости, самостоятельности, самодеятельности. Возник намек на возможность слоя сравнительно независимой интеллигенции. Хрущевская оттепель была поддержана обществом, ибо оно состояло в большинстве своем именно из этих прошедших войну «образованных лейтенантов». Они же, кстати, были и среди сторонников горбачевской перестройки.

Ведь *не бояться своих* хотела и номенклатура. Наворочанное предыдущими поколениями партийцев добро позволяло жить более или менее спокойно. Хозяева страны

---

<sup>66</sup> Федотов Г.П. Тяжба о России. УМКА-PRESS, 1982. С. 322.

уже были в возрасте, устали от тотального страха и постоянного ожидания гибели: думаю, фактор геронтократии в помягчении режима сбрасывать со счетов не стоит. Убийства сотоварищей по партмафии становятся редкими, а главное, тайными. Обществу больше не сообщается о расправах правящей верхушки. Даже выброшенные из Политбюро не расстреливаются, а отправляются на пенсию. Облик коммунистической партии становится внешне более респектабельным (объятия и поцелуи с западными политическими деятелями). Ее верхушка хочет спокойно пользоваться присвоенным богатством.

Партноменклатура вывела себя из зоны обстрела, из зоны охоты на людей, а следом, волей-неволей из этой зоны было выведено и остальное общество. Ибо *партия теперь пронизывала все члены общественного тела как кровеносные сосуды*. Массовый террор перестал быть необходимостью. Его заменило идеологическое принуждение. Это был следующий этап в принятии цивилизованных форм существования. Возникла и более сложная структурированность социума. Всеобщее образование — европейское по своим ценностям — способствовало появлению гигантского слоя советской интеллигенции, желавший принять *цивилизацию как норму жизни*. Как и прежняя российская интеллигенция, этот слой европеизировался, *духовно преодолевая* эмпирию российско-советского быта. Он-то и дал первых реальных критиков режима — правозащитников, *диссидентов*. Соблюдая приличие перед цивилизованным миром, их уже не расстреливали. Хотя большинство арестовывали и «сажали», но наиболее заметных либо после нескольких лет увещаний и газетной травли, либо после нескольких лет заключения высылали на Запад (А.Солженицын, И.Бродский, В.Буковский, А.Зиновьев и др.). Более того, очень долго они могли существовать внутри страны и говорить (появились Самиздат и Тамиздат), а их все не решались тронуть. В помягчении режима сыграли роль два фактора: очевидная зависимость от Запада и уже тогда проявившееся у парт-верхушки презрительное отношение к силе слова.

Но в тех случаях, когда возникала реальная угроза благополучию, власть была по-прежнему беспощадна,

безжалостно нанося удары вовне и внутри. Угроза все та же: появление независимых структур и личностей. Берлин, Будапешт, Новочеркасск, Прага... Очевидное поражение в глобальной «холодной войне» и в локальной афганской, истощение разрываемых национальных богатств, технологический провал поставил перед партмафией очередную задачу: *перевести общепартийную собственность в частную*. Но естественно, что в ходе этого процесса началась борьба «первых секретарей республиканских ЦК с руководством союзного ЦК»<sup>67</sup>. А поскольку КПСС была костяком государства, то дезинтеграционные последствия, включившие механизм распада СССР, очевидны. Для центральной власти это оказалось неожиданным.

Начиная с хрущевско-брежневского периода, в воздухе носилась идея о «социализме с человеческим лицом». Горбачев вроде бы осуществил ее, объявив о «перестройке». Похоже, что *имитация свободы* входила в замысел «перестройщиков», чтобы развязать себе руки для юридического оправдания раздела общегосударственной собственности, распределения ее между членами верхнего звена партийного клана. Хитроумный замысел партаппарата не учитывал, однако, весьма важного обстоятельства — загнанных до того времени в подполье национально-освободительных движений, заглушенной, но не замиренной борьбы провинций с центром. *Провинции пренебрегли сложившимся ритуалом произнесения фраз без их реального воплощения и потребовали действительной свободы*. На какой-то исторически важный момент их требования совпали с желанием республиканских партийных элит осуществить и «приватизацию власти», стать независимыми ханами в распадающемся большом советском улусе. И тогда центральная партноменклатура перестроечного режима (Политбюро ЦК КПСС) прибегла к способу, классическому и не один раз испытанному в российской культуре — *гигантской провокации насилия*, чтобы, подавляя его сверхнасилием, подавить и возникший элемент свободы. Эти провокации прошли по всем равным к самостоятельности республикам. Начиная с Сумгаита, по

---

<sup>67</sup> Шафрай С. Время распада прошло. Возродится ли Советский Союз? // Независимая газета. 19.09.96. С. 5.

стране прокатились неслыханно жестокие бандитские погромы, жестокость которых акцентировалась в центральных газетах, словно бы взывая к отмщению, к наведению порядка. И вот в Ереван входят танки. «Затикал механизм удушения народов... — так описывает события конца 80-х правозащитник Валерий Сендеров. — Перестройщики сочтут удачным ереванский эксперимент, *единый почерк провокации* (курсив мой. — В.К.) будет проступать все ясней — от Тбилиси до Вильнюса, от Риги до Баку... Потом будут появляться команды карателей из «Центра» — в свой черед (позже узнаем мы, что и команды посылались одни и те же)»<sup>68</sup>. И все же Союз распался, поскольку не в интересах партноменклатуры было удерживать его целостность. Жестокости ей хватало, но идея целостности мешала идее частнособственнического присвоения. Страна, построенная по принципу войска, потерпела поражение, и партийные «военачальники», бросив ее, спасались кто как мог, набивая *свои собственные карманы* еще уцелевшим добром.

В этой ситуации неожиданную для аппарата силу проявила интеллигенция, широко выступившая с требованием демократически-правовых отношений. На гребне этого духовного противостояния потерявшему равновесие режиму явились так называемые реформаторы. После того, как был сломлен августовский путч романтиков большевистского централизма (ГКЧП), новая власть объявила себя демократической, ориентированной на западноевропейские ценности. Такое поведение бывших партаппаратчиков могло бы вызвать только иронию, если бы история не подбрасывала бесконечных примеров смены идеологических масок правителей в угоду духу времени.

Если, однако, учесть, что в креслах «демократов» сидят прежние партийные чиновники, то, понятно, что изменение фразеологии и приемов руководства не изменило ничуть цели их жизнеповедения. Суть его все та же — уголовная. Но вот идейное прикрытие ими осуществляется весьма слабо. Беззастенчивый грабеж страны, осуществляемый, как говорят школьники, *внаглую*, бесит, ибо выгалкивает большинство населения за черту бедности. Никто не вспоминает — и это нормально — годы колле-

---

<sup>68</sup> Сендеров В. Это — наша война. М., 1993. С. 17.

китивизации и индустриализации, когда жили на полупещерном уровне. Уже в послевоенный период появились представления о возможностях цивилизованной жизни. Бывшая партноменклатура существовала за высокими заборами, нынешняя элита нуворишей, новых русских (как правило, связанных с властными структурами) выставляет свое богатство напоказ. Опять, как и в период после «смутного времени», создание класса собственников (необходимого для цивилизованного развития страны) проводится государством *за счет народа*. И опять нагнетается народное недовольство. Правда, в отличие от прошлого опыта, нынешняя попытка формирования частной собственности скорее напоминает периоды западноевропейского буржуазного накопления капитала со всеми их воровскими особенностями (вспомним Фильдинга или Бальзака). Западная Европа преодолела во многом этот свой негативный опыт. Может, и мы преодолеем. Во всяком случае тут к месту знаменитая формула Иосифа Бродского: «Но воруга мне милей, чем кровопийца».

Кроме того, надо сказать, что нынешняя имитация демократических институтов в стране чревата неожиданными последствиями. Пусть лучше бывший чиновник-партократ корчит из себя демократа, чем непреклонного большевика, готового перешагнуть через горы трупов. Ведь *имитация предполагает определенный тип поведения, определенные поступки*, которые в свою очередь формируют духовное состояние общества, его ценности, его устремления.

Россия уже несколько столетий пытается вернуться в европейскую цивилизацию как через имитацию внешних форм жизни, уподобление своих социальных структур европейским (скажем, самодержавие, начиная с XVIII в., изображало из себя просвещенный абсолютизм), так и через заимствование теорий (даже крайне националистических, включая евразийство, суть порождения Европы, а не Азии). Наиболее перспективны, однако, всегда были ориентации не на идеи (ибо идеями можно оправдать любую собственную дикость: во имя, мол, идеи!), а на конкретно-жизненную практику Запада (Петр I, Екатерина II, Александр II, Столыпин). Именно в эти периоды Россия совершала *цивилизационные рывки*, самостоя-

тельно создавая художественные и научные ценности, порой опережая Западную Европу (таков весь XIX век вплоть до 1917 г.).

Сейчас Россия опять находится в этом состоянии *цивилизационного рывка*. И существенно, что она не может не учитывать чудовищный исторический опыт тоталитаризма. Слишком он недавний. Поэтому очевидна происходящая ныне *делегитимизация* насилия в посткоммунистической России. Бандитские отряды, хоть и недоступны бессильным правоохранительным органам, но *внезаконны*. Они не являются частью официальной государственной машины. Насилие, по удачному выражению Карла Шлёгеля, *приватизировано*<sup>69</sup>. Государственное насилие, когда каждый без вины мог оказаться арестованным, замученным, расстрелянным «органами правопорядка», нынче представляется обывателю ушедшим в прошлое. Это ощущение начало просыпаться уже со времен Брежнева, хотя дракон тоталитаризма сохранял тогда все старинные повадки. Сегодня он шевелит хвостом и лапами, в состоянии провоцировать насилие и пытаться управлять общественным сознанием, но даже крайне правые и крайне левые (национал-патриоты и коммунисты), ностальгически вздыхающие о могучем драконе прошлого, вынуждены публично выступать против насилия.

Это, разумеется, не означает, что общество излечилось, что к прошлому нет возврата. Пример Чечни говорит о другом. По справедливому соображению о. Георгия Чистякова чеченская катастрофа объясняется прежде всего тем, что «наше государство в течение семидесяти с лишним лет безнаказанно убивало людей тысячами и миллионами. В результате беспредел со стороны государства стал восприниматься нами как нечто естественное. Затем людям дали нечто вроде свободы. И тут обнаружилось самое страшное. Оказалось, что мы считаем, будто в насильственном лишении жизни нет ничего страшного»<sup>70</sup> И вместе с тем протв войны в Афганистане

---

<sup>69</sup> См.: Шлёгель Карл. Новый порядок и насилие. // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 15.

<sup>70</sup> Свящ. Георгий Чистяков. Это не теракт, а что-то во много раз более страшное // Русская мысль. 26 декабря 1996 — 1 января 1997. № 4155. С. 3.

выступил один академик Сахаров. Его публично шельмовали, травили, сослали в Горький. Против чеченской бойни, называя ее преступной войной, криминальной войной, выступил С.А.Ковалев, посещавший свободно чеченских бойцов, выступали газетчики, журналисты, теле и радио комментаторы, даже некоторые военные и политики. Причем публично. И слабые попытки государственной пропаганды заткнуть им рот, успеха не имели. Не только о концлагерях, но по большей части даже об увольнении с работы не было и речи. И это безусловно говорит том, что насилие не только *делегитимизировано*, но и *деидеологизировано*.

Конечно, идет борьба за приоритеты, преобладание той или иной группки, за захват рынка (литературного или нефтяного — все равно), но за этими частными поползновениями мелких мерзавцев уже не углядишь большой идеологии, которая оправдывала бы *большой террор* тоталитаризма, о котором писали Гроссман, Шаламов, Солженицын. Общество такой идеологии не принимает. И это говорит о принципиально новом отношении к насилию, переходу к насилию другого типа — европейскому. Конечно, радости мало, насилие всегда насилие. Но, став делегитимизированным и деидеологизированным, оно рано или поздно перестанет быть препятствием на пути к созданию более цивилизованных и человеческих отношений. Если же таящийся в глубине новой, так сказать, демократической власти дракон прошлого, напуганный растущим недовольством масс, пусть ценой собственной гибели, как некогда русский царизм, сумеет втянуть народ в новую опустошительную гражданскую войну, то в таком случае не исключено через некоторое время возникновение нового тоталитаризма в усталом и не умеющем справиться с собой обществе.



## VI. О НЕОБХОДИМОСТИ У НАС БЮРОКРАТИИ

В сегодняшних постперестроечных спорах, проходящих в России, бесконечных и почти безнадежных, о возможности демократического устройства страны все время слышится апелляция к принципам жизни Западной Европы и США. Все устали от хаоса, беспредела и безначалия, а потому начинаются вздохи о том, что потеряли мы бюрократию, которая обеспечивала порядок, и не надо бояться этого слова, потому что и в демократической Европе именно бюрократия выполняет функцию структурирования и взаимосвязи большого государственного организма. Но можно ли понять себя, глядя в Европу, как в зеркало, показывающее если и не наше настоящее, то хотя бы наше будущее? И не опасна ли сегодня ностальгия и поиск искомого централизма то в русском самодержавии, то в большевистской диктатуре, то в брежневском государстве развитого социализма, будто бы давших аналог европейской бюрократии?

Что ж, еще в прошлом веке русский юрист, историк и философ Б.Н.Чичерин настаивал на органической связи централизации, бюрократии и демократического общежития. Разумеется, рассуждая о западных государствах, он, как и нынешние наши теоретики, примерял их устройство к российскому. Отечественные демократы (Н.Г.Чернышевский) с ним спорили, что нельзя отождествлять российское самодержавие с европейским абсолютизмом, тем более с Северо-Амери-

канскими Штатами. Демократы при этом ссылались на исторические работы самого Чичерина, показавшего беспредельный произвол наместников и воевод Московской Руси, не встречавший ни малейшего сопротивления со стороны низового люда, не имевшего никаких прав, напоминали о гоголевских чиновниках, сохранивших все обычаи своих предшественников.

Как сегодняшние наши публицисты в рассуждениях о благотворности бюрократии опираются на Макса Вебера, так Чичерин исходил из «Философии права» Гегеля. Немецкий мыслитель XIX века говорил о важности чиновничества для правильного функционирования централизованного государства. Но, по Гегелю, чиновничество и бюрократия составляет основную часть среднего сословия, которое характеризует развитый интеллект и правовое сознание, а чтобы избежать злоупотреблений, произвола и господства этого сословия, оно контролируется сверху государством и правами общин и корпораций снизу. Стоит заметить, что сам Гегель считал, что его конструкция неприменима к России, где нет среднего сословия, а налицо лишь крепостная масса и ее правители. Добавлю, что в России не было и независимых общин и корпораций со своими правами. Все общины и союзы создавались государством в интересах фиска, что, разумеется, исключало наличие каких-либо прав, предполагая только повинности. А контролировать произвол чиновников лишь сверху очевидно что невозможно.

Так была ли в России и в бывшем СССР бюрократия, есть ли она сейчас? Та самая бюрократия, о которой как о благотворном и необходимом для развитого и индустриального общества явлении писал Макс Вебер? Или хотя бы та, о которой как о кошмаре, безличной силе, не принимающей в расчет живого человека, писал Франц Кафка? Казалось бы, нелепый вопрос. Мы привычно считаем, что Россия, быть может, наиболее страдающая от бюрократии страна, что наше общество в плену у бумажной волокиты. У нас в широком ходу пословица: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек».

Впрочем, сомнение в тотальной бюрократизации России уже высказывались, и как раз западными наблюдателями. Скажем, гарвардский профессор Р.Пайпс считает, что российское государство имело слишком много противопоказаний, чтобы суметь бюрократизировать жизнь своих поданных: «Развитие бюрократизации сдерживали такие внушительные препятствия, как обширность страны, сильная рассредоточенность населения, затруднительность сообщения и (что, может быть, наиболее важно) недостаток средств. <...> Российская бюрократия представляла незначительной не только в бюджете страны; она также была невелика в процентном отношении к населению государства. В середине XIX века в России было 12-13 чиновников на 10 тыс. человек населения, т.е. пропорционально раза в три-четыре меньше, чем в странах Западной Европы того же периода»<sup>1</sup>. При сравнительно точной фиксации факта американский профессор совсем не ставит вопроса о *специфике русского чиновничества*. Более того, речь должна идти *не о количестве, а о роли, которую сыграли чиновники в истории русского жизнеустройства*. Здесь уж лучше нам опереться на свидетельство отечественных мыслителей. «Россию сколотили, сбили и выкрасили чиновники, — писал Василий Розанов. — Россия вся есть произведение чиновника, творчество его: это есть «дом, им построенный», по его разуму, по его вкусу, по его вдохновению, или, вернее, по его безвдохновенности»<sup>2</sup>. И эти чиновники отнюдь не были бюрократами. Последнее понятие относится к западноевропейскому образу жизни, хотя и употреблялось — в XIX в. не без некоторых оснований — по отношению к России.

Ведь, если на клетке слона написано «тигр», не верь глазам своим. В конце 30-х годов XIX века маркиз де Кюстин утверждал, что в России «есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки — у них

---

<sup>1</sup> Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 367.

<sup>2</sup> Розанов В. М.П.Соловьев и К.П.Победоносцев о бюрократии // Начала. 1991. № 1. С. 44.

есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей»<sup>3</sup>. Перепуганный нашей действительностью французский маркиз за отсутствием врачей не сумел увидеть русской литературы и искусства, да и науки тоже, не разглядел и скрыто идущей, но тем не менее идущей европеизации общества, но проблему все-таки поставил правильно. Иначе сказать, по его мысли, за европейскими понятиями, которые мы употребляем, не существует соответствующего им объекта.

Приговор суровый, с тех пор не раз тиражированный. Точен ли он? Ведь надо учесть, что за использованием таких европейских понятий, как прогресс, цивилизация, коммунизм, бюрократия, очевидна тяга России к Европе, наше желание вместить свою жизнь в рамки выработанных на Западе мыслительных конструкций и с их помощью описывать нашу действительность. Если не принимать в расчет эту тягу, то на всех цивилизационных попытках России можно поставить крест. Но как тогда быть с великим русским искусством и великой наукой, возникшей на рубеже XIX и XX веков?.. Конечно, если не учитывать расхождения у нас термина, понятия и объекта, то можно фантазмагорическим образом описывать нечто не существующее в реальности и получать в результате такого описания страшноватые фантомы, загораживающие от нас нашу жизнь. Скажем, был ли у нас развитой социализм? Сегодня, глядя на развал всех структур нашего общества, иные готовы воскликнуть, что был! Было, однако, нечто другое, требующее собственного наименования. Вместе с тем, нельзя забывать, что многие понятия переносились и переносятся к нам из Европы вместе с объектами, так или иначе влияющими на нашу жизнь (религия, литература, индустриализм, наука вплоть до сегодняшних ее областей — кибернетики, электроники и т.п.).

Начало нашего решительного и, несмотря на откаты, безостановочного движения к европейскому мате-

---

<sup>3</sup> *Кюстин Астальф де*. Николаевская Россия. М., 1990. С. 94.

рику можно датировать XVII веком. В известном смысле это был возврат или попытка возврата к европейскому прологу нашей истории — к Новгородско-Киевской Руси. Существует, однако, промежуток в пять столетий, период, который не вычеркнуть и в который сформировалась органика нашей культуры, весьма медленно поддающаяся изменению. Поэтому явления инокультурные, пересаженные на нашу почву, давали в результате какое-то другое образование. Наименование оставалось европейским, но под ним жила и живет, движется, шевелится, существует совсем иная субстанция. И задача культуролога как раз в том и состоит, чтобы выяснить ту реальность, которая скрывается за европейским термином. А стало быть, оценить возможность ее реального изменения, возможность приближения объекта к своему наименованию. Говорят же, что Петр Первый начал свое преобразование с крыши, не подведя под нее фундамент. Нечто все же у него получилось. Характерна и российская шутка, что сначала мы пишем некое слово, а потом к нему пристраиваем забор.

Что же произошло в эти пять столетий до XVII века? В нескольких словах: разгром войсками Чингисхана Киевской Руси, возникший симбиоз и совместное проживание и взаимовлияние завоевателей и завоеванных, а затем образование «под сенью ханской власти» (А.И.Герцен) Московской Руси. Географические контуры империи Чингисхана очень напоминают контуры бывшей Российской империи и уже бывшего СССР? Случайно ли это? Думаю, что геополитически евразийцы были не так уж неправы, полагая Российскую империю, а затем СССР наследниками чингисхановской державы. Как известно, монгольский завоеватель пришел из-за Байкала, и, сбросив иго, Россия совершила свою реконкисту в отличие от Испании не против арабов, принесших в Европу алгебру и Аристотеля, а с Запада на Восток, в места достаточно дикие, лишенные цивилизованной почвы. Сосредоточенная в пределах Московского царства Россия, быть может, имела бы больше шансов на цивилизационный прорыв, но за-

воевание Сибири, по соображению А.Тойнби, стоило ей цивилизации — в европейском смысле этого слова. Взаимовлияние Золотой Орды и Руси было невероятно сильным. Если многие татары переходили на службу к русским князьям, положив начало российским родам, славным в отечественной истории (назову хотя бы Чаадаева, Карамзина, Тургенева), то татарское влияние на социальную и политическую жизнь завоеванного народа, привело, как замечал Г.П.Федотов, к превращению Москвы в «православное ханство».

Теперь вспомним, какого рода чиновники управляли из Золотой Орды Русью. Существовала форма так называемого баскачества. Баскаки руководили военными отрядами, которые состояли, кстати, прежде всего из туземного населения и следили за выплатой дани и правильным исполнением повинностей. Иными словами, осуществляли организованный грабеж покоренной страны. В течение столетий Русь платила так называемый «ордынский выход». И народ, и правители привыкли смотреть на подать как на побор, во многом служащий к обогащению совершающих этот побор чиновников-баскаков. Подобная же военная организация управления сохранилась и в Московской, и в Петровской Руси. (Характерны сами наименования управителей — воеводы, генерал-губернаторы и т.п.). К примеру, вплоть до XVII века включительно наместники отправлялись во вверенные их попечению местности на «кормление». Это было вполне официальным термином.

Конечно, «кормились» и европейские чиновники, но их поборы не были легализованы, как в России, где государство, не имея независимые низовые общины и корпорации, не в состоянии было контролировать свою администрацию. А традиции и привычки, тем более бывшие когда-то фактом официальной государственной жизни, преодолеваются много хуже, чем личные злоупотребления. Да и что иное могло быть в стране, доминантой которой, по выражению П.Я.Чаадаева, было «хаотическое брожение». О хаосе, неупорядоченности российской жизни писал и Ф.М.Достоевский, в начале нынешнего столетия подтвердил этот

диагноз Д.С.Мережковский, назвав беспочвенность одной из глубочайших особенностей русского духа. Преодолевалось это состояние суперцентрализацией, самодержавием, превращением страны в военно-полицейское государство, что не позволяло, в свою очередь, развиваться независимым союзам и общинам — со своими правами, препятствующими лихоимству чиновников. Все это результат постоянного военного состояния страны, где каждый чиновник чувствовал себя предводителем боевого отряда в завоеванной местности. Не случайно, один из русских мыслителей сказал, что в России нет чиновничества, а есть только «корпорации воров и грабителей».

Кого изобразил Гоголь в «Ревизоре»? Конечно, чиновников. Но чиновники эти отнюдь не бюрократы, тупо следящие за исполнением законности, не обращающая внимания на нужды человека. Это были люди, воспринимающие свои должности как инструмент «кормления». Кажется, Николай I сказал, что в России не ворует один только император. И сколько раз с тех пор восклицали русские прогрессисты, что беда России в отсутствии настоящей, честной бюрократии, то есть тех людей, говоря словами Грибоедова, «кто служит делу, а не лицам». Именно такого служения у нас почти никогда и не было. Каковы же причины и истоки такого состояния дел? По убедительному наблюдению Б.Н.Чичерина, в Московском государстве все совершалось не на основе общих соображений, а частными мерами: оно управлялось не законами, а распоряжениями. И потому личное усмотрение имело гораздо более значения, нежели законное правило, а каждая должность носила более характер поручения, но не постоянного государственного учреждения. Эти принципы, модифицируясь, сохранились и по сегодня.

Петр Первый попытался переделать систему управления на европейский лад, бюрократизировать ее. Однако «птенцы гнезда Петрова» были кто угодно, но никак не бюрократы. Система личных распоряжений и указов осталась в силе. Только при Александре I М.М.Сперанский пытается хоть как-то упорядочить

российское законодательство, при этом дав пример честного бюрократического служения. Но этого «русского реформатора» решительно и быстро вытесняет граф А.А.Аракчеев, «фрунтовый солдат», по слову Пушкина. В гербе своем носил он девиз — «без лести предан». В этой фразе полное отрицание какой-либо законности. Бюрократизация в очередной раз сорвалась, вместо нее установилась аракеевичина. Из нее выросли щедринские помпадуры и градоначальники, жившие по принципу личных связей, беспрекословного подчинения вышестоящему лицу и отношения к обывателям, как у татарского баскака к жестоко покоренным, а потому и не смеющим пикнуть русичам.

И все же медленно шедшая европеизация русского общества тем не менее шла, сказывалось это и на проблеме чиновничества. В России долго не было (да и доселе нет) среднего сословия как носителя образования и просвещения. Но эту роль, эту функцию взяло на себя сложившееся к началу XIX столетия в независимое сословие русское дворянство. И вот, скажем, декабристы, еще до того как они решились на военный бунт, ставили себе задачу проникновения в мир чиновничества и создание прецедента, который должен был перерасти в принцип, честного бюрократического служения. Так, бывший лицеист, друг Пушкина, будущий декабрист И.И.Пущин «уходит в надворные судьи и вторгается в мир московского правосудия, куда доселе не ступала нога человека...»<sup>4</sup>. Попытка декабристов оборвалась в 1825 году. Но после реформ 1861 года, когда «все переверотилось», когда в очередной раз зашевелился русский хаос (выплеснувшийся потом в 1917 г.), тогда криво и косо, но все же складывавшиеся буржуазные отношения способствовали появлению целого слоя русских бюрократов европейской складки. Таков, например, Каренин у Льва Толстого, сухарь, не способный на личные отношения, но и на злоупотребления тоже.

Нельзя, однако, забывать, что реформы Александра II подготавливались как раз укрепившейся к тому време-

---

<sup>4</sup> Эйдельман Н.Я. Обреченный отряд. М., 1987. С. 49.



ни (укрепившейся по сравнению со Сперанским) европейски ориентированной так называемой «либеральной бюрократией». Именно этот тип правления господствовал в России на протяжении XIX века в периоды реформ и перестроек. Сошлюсь на прекрасный анализ данного явления у Н.И.Цимбаева: «Либеральная бюрократия» первоначально означала круг высших сановников Российской империи, озабоченных модернизацией страны и взявших на себя ответственность за проведение Великих реформ середины прошлого века. Именно тогда реформаторы, в той или иной мере близкие к великому князю Константину Николаевичу, стали именоваться «либеральными бюрократами». Термин, надо признать, на редкость точный. «Либеральные бюрократы» эпохи Великих реформ — братья Милютины, Головнин, Рейтерн, Д.Толстой и другие — были умелыми, опытными и преданными идее преобразования России деятелями, чьи усилия увенчались блестящим успехом. Великие реформы изменили ход русской жизни»<sup>5</sup>. Бюрократия укрепилась на верхних этажах власти. В дальнейшем среди ее представителей были как либералы, так и консерваторы — Д.Н.Лорис-Меликов, К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, П.А.Столыпин и др.

Чиновничество начинает перерабатываться в бюрократию, ибо само самодержавие пытается (хоть и малоудачно, как мы знаем) перестроиться в нормальную монархию абсолютистского типа, а потом и в конституционную, т.е. опирающуюся не на произвол, а на закон. Именно эту тенденцию в развитии чиновничества отмечал К.П.Победоносцев: «Чиновничество все-таки связано долгом и службою: и его все-таки можно потянуть за эту нитку, или связать этой ниткой, смотря по тому направлению, какое оно примет. Но кого же поставить на его место? Частное лицо, ряд частных лиц? Что такое частный, гуляющий, праздный человек? Чем вы его удержите?... Для чиновника фантазия не

---

<sup>5</sup> Цимбаев Н.И. Российский феномен «либеральной бюрократии» // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 32.

есть закон: ибо он весь в дисциплине, завязан и связан. Вы эту-то дисциплину и отрицаете, отрицая бюрократию»<sup>6</sup>. Конечно, бюрократия — это не европейская демократия, прошедшая школу либерализма. Но тем не менее ее бесспорный предвестник (хотя и противоположна полной демократической свободе, осуществленной в XIX в. только в США). Не случайно, русские правые радикалы столь неприязненно относились к русской бюрократии как к порождению европейских (начиная с эпохи абсолютизма) политических структур, а потому чуждой, враждебной «живой жизни» России. «Бюрократизм, — писал Лев Тихомиров, сначала крайний нигилист, а затем сверхрадикальный монархист, — есть идея *не собственно монархическая, а абсолютистская*. Но монархия... легко впадает в эту болезнь, от которой избавляется *только непосредственным общением с нацией*. <...> Вредное действие бюрократии <...> состоит в том, что она всю жизнь нации подводит под однообразные, обязательные нормы»<sup>7</sup> (курсив мой. — В.К.). Последняя попытка самодержавия вернуться к самому себе (несмотря на Думу, на выборы, на свободу печати!) выразилась в «непосредственном общении с нацией», помимо закона, через представителя народа — Распутина. Так что императорская фамилия со всей своей распутинщиной была наиболее активной силой, противостоящей европеизации и законности.

Но не самодержавие, а Октябрьская революция смела эту европеизацию. Отказавшись от типа бюрократа, сложившегося в XIX в. (хотя отчасти потерявшего свое влияние на рубеже веков), большевики создали институт комиссарства, инвариант баскачества. Комиссары руководствовались идеей «революционной законности», выполняя личные распоряжения посылавших их наводить порядок и отбирать хлеб, зерно, драгоценности руководителей победившей революционной партии. И тогда эти

---

<sup>6</sup> Розанов В. М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюрократии. С. 49-50.

<sup>7</sup> Тихомиров Л. А. Единоличная власть как принцип государственного строения. М., 1993. С. 140.

комиссары отнюдь не выглядели бюрократами. Таковыми они показались революционным романтикам по окончании гражданской войны, когда уселись в традиционные кресла бывшей царской администрации. Однако были они более похожи на воевод и «кормленщиков» допетровской Руси, чем на сухих и чопорных, пыгавшихся всю жизнь расчислить законами бюрократов предреволюционной России, толстовского Каренина или Ап.Аблеухова, героя романа А.Белого «Петербург». Уж кто больше Маяковского боролся с бюрократией, совбюрократией, как тогда говорилось! Но вспомним его Победоносикова (кстати, шаржированная переделка фамилии Победоносцева): он ведь ощущает себя военачальником на коне, таким и рисует его художник-подхалим Бельведонский. И он отчасти прав, ибо этот особый слой, управлявший страной, руководствовался в управлении не законами, а партийным уставом и распоряжениями партийного руководства, построенного по военному принципу «ордена меченосцев», как говорил Сталин. Устав партии, устав полувоенной по сути своей организации стал законом для мирных обывателей, которые естественно чувствовали страх и трепет, чувствовали себя покоренными новым воинством. Даже легитимизировавшись в постсталинский период советская администрация не превратилась в европейскую бюрократию, а создала особый тип чиновничества — номенклатуру, где все строилось не на деловых качествах, а на личных связях, личной преданности и энергии, с которой нижестоящий выполнял распоряжения вышестоящего. И поскольку партия стояла над государством, была его костяком о законности в строгом смысле слова не могло быть и речи.

К сожалению, все эти антибюрократические, антизаконные принципы не изжиты и сейчас. Мы даже говорить перестали о создании правового государства, о чем так шумно дебатировали еще совсем недавно. Мы запутаны в ворохе разнообразных указов и распоряжений, как самых больших начальников, так и начальников поменьше. И каждый из них чувствует себя правителем, вершителем, хозяином твоей судьбы, относясь к тебе как бандит к попавшему в его власть случайному, позднему

прохожему. И где же, спрашивается, наша бюрократия, которая, по Гегелю и по Веберу, состоит из высококвалифицированных специалистов духовного труда, с сильно развитой сословной честью, гарантирующей безупречность их деятельности, без чего всегда есть опасность коррупции. Похоже, что коррупция есть, а вот бюрократии нет. Да и возможна ли она? — повторяю я свой вопрос, когда нет независимых общин, корпораций, сословий. Бюрократия осуществляет профессиональную связь между четко очерченными и структурированными частями общественного организма. В ситуации перманентного хаоса и возвращения колоссальных масс населения к бродячей, номадической жизни вступают в дело простейшие принципы организации общественных групп: атаман (или военный вождь, или партайфюрер), подчиненные ему воины (или члены партии) и все остальные, которых можно и дозволительно убивать и грабить почти на легальных основаниях. Примерно это сейчас уже начинает происходить в не столь отдаленных регионах бывшей Российской (и советской) империи.

Да и в России можно ли все то, что у нас сегодня твориться, назвать властью бюрократов? Вряд ли. Из такого состояния анархии и хаоса возможно лишь появление очередного российского правителя «с твердой рукой». И, быть может, единственная нынче надежда на влияние мировой экономической и бюрократической системы, которая втянет Россию в свою орбиту и поможет нашему чиновничеству преобразоваться в бюрократию параллельно с преобразованием, усложнением и структурированием нашей однородной, хаотической жизни. Ибо, пожалуй, впервые Россия переживает свой кризис, не находясь в конфронтации с европейским миром. Если сегодняшняя смута разрешится благополучно и в России возникнет, наконец, среднее сословие, тогда, возможно, возникнет и бюрократия в цивилизованном смысле этого слова. Если же этого не произойдет, мы вновь окажемся во власти комиссаров, воевод — назовите, как угодно, и будем не законопослушными гражданами цивилизованного государства, а в который уже раз завоеванными данниками и крепостными нового «ханства».

## VII. ДЕМОКРАТИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ

### ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ ТИПОЛОГИИ

Одна из коренных особенностей общественно-политического и государственного устройства России, сказывающаяся в ее истории на протяжении столетий, основана на своеобразном парадоксе. В стране, где в течение практически всего ее существования народ был иллотизирован, шла постоянная апелляция верховной власти к народу (реальная, а не только демагогическая). Власть опиралась на народ и на народное мнение, при этом жестоко и нещадно эксплуатируя свой народ (временами почти до уничтожения). Она ориентировалась на народные ценности, уничтожая инакомыслие от имени и с помощью народа. Но вместе с тем абсолютно не считалась с ним при проведении крупномасштабных реформ,строек и перестроек. Более того, идеологемы монархической России — «православие, самодержавие, народность» — и России советской — «единство партии и народа» — в известном смысле, пусть слегка шаржированно, отражали историко-политическую реальность. Не поддержанная народным мнением, власть в России, как правило, не держалась, а когда она падала, народ устанавливал новую власть, подчиняясь наиболее деспотической силе:

особенно ярко это сказалось в большевистской диктатуре. Впрочем, еще Д.Юм замечал, что «так как сила всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мнения. Поэтому правление основывается только на мнении; и это правило распространяется как на самые деспотические и диктаторские системы правления, так и на самые свободные и демократические»<sup>1</sup>. Социокультурное наблюдение Юма имеет, на мой взгляд, достаточно общезначимый характер и применимо к разным социально-историческим структурам. Как же получилось, что «мнение народное» (А.С.Пушкин) поддерживало в России то тиранов, то самозванцев? Каковы на то причины?

Понять их существенно для выяснения возможности или невозможности в России демократии европейско-американского типа, опирающейся на неотъемлемые права и свободы личности, когда в основе развития общества и государства — интересы индивида, а не традиционно-коллективистская установка. А ведь какова установка народного сознания, такова и демократия. Говоря о судьбе демократии в России, И.К.Пантин совершенно справедливо отмечает: «Демократия как образ жизни традиционных коллективов не только не переросла в демократию как строй мыслей и образ правления, но, наоборот, стала основой невиданного тоталитаризма, террористического по своей природе, враждебного всякой свободе выражения взглядов, мнений, интересов»<sup>2</sup>.

Платон говорил, что из демократии почти неизбежно вырастает деспотия: у него перед глазами тоже был опыт еще не избавившихся от традиционного сознания древнегреческих полисов. Демократия традиционных обществ чревата тиранией: XX век доказал это и на судьбе России, и на судьбе не до конца пронизанных личностным принципом стран Европы (Испании,

---

<sup>1</sup> Юм Д. О первоначальных принципах правления // Юм Д. Соч. В 2-х т. М., 1966. Т. 2. С. 588.

<sup>2</sup> Пантин И.К. Драма противостояния демократия/либерализм в старой и новой России // Полис. 1994. № 3. С. 76.

Италии, Португалии и наиболее явно Германии). Народ отдавал свою власть учрежденному или демократически избранному им правительству, чтобы государственным усилием решить не только внешние, но и внутренние проблемы (экономического благосостояния, защиты граждан от общественных неурядиц и т.п.). Но, по резонному соображению Ф.Хайека, если «демократия решает свои задачи при помощи власти, не ограниченной твердо установленными правилами, она неизбежно вырождается в деспотию»<sup>3</sup>.

Любопытно, однако, что даже наиболее тиранические структуры типа сталинизма предпочитали себя именовать демократией. После 1917 года мы пережили тоталитарную «сталинскую демократию», относительно либеральную «советскую демократию» (брежневский вариант), а последние годы пока безуспешно пытаемся построить парламентскую демократию. Кажется, что в замысле большевиков все-таки была европейская идея реального народоправия, во всяком случае, эта идея воодушевляла российских революционеров. Поэтому даже в самые лютые годы сохранялась демократическая фразеология. Но и оппоненты власти, т.е. диссиденты, называли себя демократическим движением, искали причины перерождения чаемой революционерами демократии в тоталитаризм. Диссиденты пытались превратить провозглашенные властью лозунги и терминологию в реальность. В конечном счете эта попытка оказалась одной из составляющих перестройки (на ее первом, энтузиастическом этапе). Видимо, дело в том, что в революциях семнадцатого года — и Февральской, и Октябрьской — идеалы, намерения и терминология были вполне европейскими, ориентированными на европейские тенденции, а реальность, на которую все эти построения и теории накладывались, была иной, определявшейся совсем иным историческим и культурным опытом. Эта реальность игнорировалась революционным нетерпением увидеть свою

---

<sup>3</sup> Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 151.

страну во главе исторического прогресса. А между тем уже на заре российского философствования П.Я. Чаадаев, пожалуй самый суровый и трезвый аналитик, посвятивший свою мысль разгадке положения России «в общем порядке мира», писал об отношениях русского народа к власти: «В русском народе есть что-то неотвратно неподвижное, безнадежно ненарушимое, а именно — его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет. ...Идея законности, идея права для русского народа бессмыслица...»<sup>4</sup>. Все восстания и бунты стремились не к смене типа правления, а к установлению *своей*, как правило, *неправовой* (самозванцы, большевики, разогнавшие Учредительное собрание) власти.

Чаадаев указал верно: любое ослабление государственного правления не принималось в России именно народом, бросавшим весь свой авторитет, свою силу на укрепление твердой и жесткой централизованной власти. А сила и авторитет — у народа, поэтому желающие не ограниченной ничем системы правления льстят народу и получают в итоге над ним же верховенство: народ мучается, но принимает это как должное, как свой выбор. С этой антиномией столкнулись русские мыслители в начале нынешнего века, после первой русской революции. Стоит напомнить высказывание князя Е.Н.Трубецкого, констатирующее эту историко-идеологическую российскую ситуацию: «Есть два типа демократизма, два противоположных понимания демократии. Из них одно утверждает народовластие на праве силы; с этой точки зрения народ не ограничен в своем властвовании никакими нравственными началами: беспредельная власть должна принадлежать народу потому, что народ — сила. Такое понимание демократии несовместимо со свободой... Если сила народа является высшим источником всех действующих в общежитии норм, то это значит, что сам народ не связан никакими нормами: жизнь, свобода, имущество личности зависят всецело от усмотрения

---

<sup>4</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 200-201.



или, точнее говоря, от прихоти большинства. Таким образом понятая демократия вырождается в массовый деспотизм... Другое понимание демократии кладет в основу народовластия незыблемые нравственные начала, и прежде всего — признание человеческого достоинства, безусловной ценности человеческой личности как таковой. Только при таком понимании демократии дело свободы стоит на твердом основании»<sup>5</sup>. Как мы знаем, в результате трех русских революций победило первое понимание демократии. Использував всю свою мощь, народ отбросил обветшавшую самодержавную структуру и надел на себя ярмо новой деспотии. Причем, что весьма важно, воспитанная в идеях народолюбия российская интеллигенция в массе своей приняла большевистскую систему: такова-де воля народа.

Весь XIX век русская мысль на разные лады доказывала тезис, что «глас народа — это глас Божий». В наиболее энергичной форме это выразил Достоевский — в своем последнем, предсмертном выпуске «Дневника писателя», своего рода завещании властителя дум: «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»<sup>6</sup>. После гражданской войны писатель Михаил Булгаков уже мог вложить в уста своего героя горько-иронически звучащие слова о собравшихся в петлюровские банды мужиках: «Местные мужички-богоносцы достоевские! У-у... вашу мать!»<sup>7</sup> Но это был уже поздний опыт, к тому же усвоенный не всеми: вера во всегдашнюю и безусловную правоту народа преобладала. Более того, многие русские эмигранты, полагая, что большевики изнасиловали народ, навязали чуждые ему государственные стеснения, попытались увидеть в прошлом России ненасильственную, гармоничную связь народа и власти. Но недавняя Россия Николая II еще была свежа в памяти как

---

<sup>5</sup> Трубецкой Е.Н. Два зверя // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 302-303.

<sup>6</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти тт. М., 1984. Т. 27. С. 21.

<sup>7</sup> Булгаков М.А. Собр. соч. В 5-ти тт. М., 1989. Т. 1. С. 192.

структура враждебная народу, угнетавшая, унижавшая и уродовавшая жизнь простолюдинов. Тогда-то и воскрес заново славянофильский миф о Московской Руси, под перьями многих изгнанников, начиная с евразийцев, приобретший почти идиллические черты. Наконец, этот миф получил свое завершение в фундаментальной работе И.Л.Солоневича «Народная монархия», опубликованной в середине этого века в Буэнос-Айресе. «Московская монархия, — по его словам, — была по самому глубокому своему существу выборной монархией. С той только разницей, что люди выбирали не на четыре года и не на одно поколение, а выбирали навсегда. Или пытались избрать навсегда. В самом основании Московской Руси — Суздальского княжества — лежит факт избрания: суздальцы «приняли» князя Андрея, помимо его братьев. В 1613 году Русь «избрала» Михаила Федоровича»<sup>8</sup>.

На первый взгляд, эти определения — «народная», «выборная» — по отношению к монархии кажутся несуразными. Однако стоит рядом с этой вроде бы терминологической невнятицей поставить слова П.Н.Милюкова, что в XVI веке публицист Ивашка Пересветов, выступив как яркий сторонник политики Ивана IV, идеологически оправдывавший его действия, предложил нечто вроде «теории демократического самодержавия»<sup>9</sup>. Считая, что нормальной жизни России мешают бояре, он предлагал «устранить этих подозрительных посредников между царем и народом. Действовать мимо них, обратиться прямо к самому народу с лобного места — таков прием Ивана IV; такова же и теория его защитника»<sup>10</sup>. Значит, в эти определения имеет смысл вдуматься.

Теория взаимоотношений власти и народа тесно связана с историей, ею определяются задачи исследования. Исторические периоды сравнительно четко фиксируют, к примеру, разные этапы политического

---

<sup>8</sup> Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 1991. С. 106.

<sup>9</sup> Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. М., 1995. Т. 3. С. 473.

<sup>10</sup> Там же. С. 65.

опыта России. Необходимо вычленить эту историко-политическую структуру, чтобы понять сам *тип* исторического процесса, способствующего появлению порой непохожих друг на друга результатов: распад Киевской Руси на уделы, становление Московской Руси, Петровской империи или Советского Союза. Построение такой *типологии* позволит понять роль народа в учреждении российской власти и принцип его участия или неучастия в управлении страной. Наша задача — показать работу социокультурного механизма, способствующего превращению фактора исторической случайности в фактор необходимости.

### *Князь — народ — дружина: договор и право*

Первые сведения о взаимоотношении народа и власти доходят до нас из времен Киевской Руси. Самое раннее русское государственное образование возникает после утверждения среди славяно-финских племен варяжских дружин со своими князьями, «руси». Если верить «Повести временных лет», то варяги были приглашены. Даже допустив, что известие это легендарно, можно понять причину его появления. Между князем и горожанами существовали «ряды», т.е. некоторый вид договора: от поддержки князя народом зависело, какой князь будет править в данном городе. Дело в том, что ни один князь не владел полновластно Киевской Русью, владел род, и князья по принципу старшинства переезжали из одного города в другой, нигде не закрепляясь навсегда. А поскольку из-за этой очередности между ними постоянно возникали конфликты и междоусобицы, то роль народа в поддержке того или иного князя постепенно стала весьма значительной. Именно поэтому среди отечественных историков господствует мнение, что в Киевской Руси «народ составлял главную силу князей. Народ, а не дружина. <...> Князь — народная власть, а не внешний и случайный придаток в волости. Он необходимый орган древней государственности для удовлетворения насущных общественных потребностей населения — внеш-

ней защиты и внутреннего «наряда»<sup>11</sup>. Разумеется, под народом здесь понимаются не рабы-холопы, не «закупы», т.е. полусвободные жители, не челядь, а свободные горожане и земледельцы. Как и античная Греция, Древняя Русь держалась на рабовладении, а в политической жизни участвовали только свободные. Второй опорой князя была дружина — ядро княжеских воинов-телохранителей, постоянные спутники и советники князя, которые в случае нужды выступали вождями народного ополчения.

Могли ли эти договорные отношения перерасти в некий протопарламент, некую политическую хартию, определяющую политическую жизнь страны на столетия вперед? В этом процессе важную роль должны были бы сыграть дружинники и младшие неродовитые князья, ставшие боярами-вотчинниками, а также купечество и богатые горожане-ремесленники, так называемые «лепшие» люди, нуждавшиеся в укреплении правовых отношений, перерастании их в политическое право для большей надежности своего бытия. Однако все это предположения, не более того. Военно-географическая ситуация страны вела к совсем иному раскладу сил и иному роду взаимоотношений. Постоянные нападения степняков, которые Русь сдерживала с огромным напряжением, охраняя дальний фланг Европы от кочевого нашествия, тем не менее заставляли славян отступать из степной в лесную полосу, на северо-восток.

### *Удельная Русь: зародыш противоположных отношений*

Массовый отток населения с юга, колонизация странств возле Оки и Волги ослабляли Киевскую Русь, усиливали центробежные тенденции княжеств, страна шла к удельному периоду. «Старая Русь умирала, — писал А.Е.Пресняков, — потому что умерло единство интересов, поддерживавших объединительную политику Киева: интересов южной торговли и национальной

---

<sup>11</sup> Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 405.

обороны против степи»<sup>12</sup>. Северная, Суздальская Русь ушла с торговых путей и надеялась отсидеться в своем углу от набегов степняков.

Это, казалось бы, чисто географическое передвижение привело к необратимым последствиям, резко обособив северо-восточную Русь от мировых центров культуры и цивилизации. Но именно здесь закладывалась определенная модель государства, получившая под дальнейшим татарским воздействием решающее значение и приведшая к возникновению московского типа социально-политических отношений, давших в своем зрелом виде то, что культур-философы именуют «народной монархией» или «демократическим самодержавием». Начало удельной Руси, окончательно сложившейся к XIII веку, Ключевский видел в деятельности сына Юрия Долгорукого Андрея Боголюбского. Именно он разрушил структуру Киевской Руси. Став великим князем, он остался в своей Суздальской Руси, обратив ее в наследственный удел. Он же первым в русской истории выступил против служилой (боярства) и промышленной аристократии городов — *с опорой на низшие слои общества*. Желая быть «самовластцем» в своей земле, он прогнал и своих племянников и братьев, а также старшую дружину, «больших отцовских бояр». По малейшему подозрению он подвергал аристократию опалам и казням, предвосхищая своего дальнего потомка Ивана Грозного. Его смерть в результате заговора в 1174 году привела к одной из ранних русских смут. Возможно, принцип социально-политической жизни, установленный Боголюбским, и не удержался бы, соотношение социальных сил и интересов в тот период постоянно менялось, удельная Русь еще искала себя, когда была сокрушена степным нашествием — татаро-монголами.

Переход в нецивилизованные области, обособленные от западно-христианского и восточного торгово-промышленного мира ослабляли потребность в тех классах общества, функции которых определялись

---

<sup>12</sup> Там же. С. 470.

именно межкультурными контактами. Приведем соображения на этот счет Ключевского: 1. Внешняя торговля поддерживала общественное значение торгово-промышленной знати. 2. Постоянная оборона восточного угла Европы от Степи укрепляла политическое положение знати военно-служилой, княжеской дружины. 3. На севере иссякали источники, питавшие силу того и другого класса. 4. Переселенческая передвижка разрывала предание, освобождала социально-психологически от привычек и связей, составлявших общественные отношения на старых, насиженных местах. 5. Таким образом политическое преобладание верхних классов в Ростовской земле теряло свои материальные и нравственные опоры и при усиленном притоке мужицкой колонизации, изменившей прежние отношения и условия местной жизни, должно было вызвать антагонизм и столкновение между низом и верхом здешнего общества. 6. «Низшие классы местного общества, только что начавшие складываться путем слияния русских колонистов с финскими туземцами, вызванные к действию княжеской распрей, восстали против высших, против давнишних и привычных руководителей этого общества и доставили торжество князьям, за которых стояли... Этот внутренний переворот в Суздальской земле, уронившей обе местные аристократии, <...> тесно связан с той же колонизацией»<sup>13</sup>.

Если, скажем, колонизация Северной Америки создала строй представительной демократии, укреплявшийся на базе полифонической протестантской независимости и вдалеке от феодалов и королевской власти, то процесс колонизации северо-восточной Руси привел простой народ в борьбе с верхами общества (боярством и «лепшими мужами» города) к полной поддержке княжеской власти. К этому надо добавить, что поставленная князьями как орудие централизации и единения Руси православная церковь всегда оставалась в руках верховных руководителей страны. Она не сумела создать (как, скажем, католическая в Западной

---

<sup>13</sup> Ключевский В. О. Соч. В 9-ти тт. М., 1987. Т. 1. С. 329.

Европе) необходимую для духовной независимости в организации общественной жизни народа полюсную напряженность. На Западе Европы противостояние церкви и государства конституировало независимость общественной жизни. По словам современного австрийского культуролога В.Крауса, «с самого начала у западных христианских императоров были напряженные отношения с церковью и ее могущественным предстоятелем в Риме — *дуализм западной истории* всегда мешал становлению одной монолитной центральной власти, но постоянное напряжение между полюсами заставляло думать и действовать самостоятельно и нестандартно»<sup>14</sup>. Не то в России. Раздробленность удельного периода не привела по целому ряду причин — *прежде всего внешних* — к благодетельному, как полагал С.М.Соловьев, «взаимодействию личности и общности»<sup>15</sup> в социально-политическом развитии народов.

Боярство хранило в своих привычках нормы социальной жизни Киевской Руси. Так, обладая *правом ухода* к другому князю, боярин как бы подчеркивал политическое единство Киевской Руси. В ситуации, когда уделы превратились, по сути, в обособленные вотчинные хозяйства, это право ухода стало потихоньку отмирать. К тому же с падением реальной социально-политической роли бояр, бывших теперь не сподвижниками, а в лучшем случае советниками князя, чинимые боярством властные притеснения не имели отныне оправдания в глазах простолюдинов. По мысли Ключевского, мелкие удельные князья и бояре-землевладельцы, сидя по своим углам, опускались и дичали, не имея ни ве-

---

<sup>14</sup> Краус В. Европа будущего. СПб., 1995. С. 68.

<sup>15</sup> Соловьев С.М. Шлецер и антиисторическое направление // Соловьев С.М. Сочинения. В 18-ти книгах. М., 1995. Кн. XVI. С. 339. «Любопытно, — писал историк, — что в древнем языческом мире высшей образованности, до какой только могло достигнуть языческое общество, достигла Греция, и почему? Потому что формы ее политической жизни представляют что-то похожее на формы политической жизни новой христианской Европы. Греция была разделена на множество отдельных государств, которые, при особенности своего внутреннего управления, были соединены, однако, одним общим началом, сознанием своего еллиназма, учреждениями, которые поддерживали это сознание» (там же).

са, ни значения. И с XIII века, замечает он, общество северо-восточной Суздальской Руси, слагавшееся под влиянием колонизации, стало беднее и проще по составу.

*Татарское нашествие:  
бесправие как принцип жизни*

Бедность и простота социальной жизни порождали и духовно бедную волю народа, желавшего *не свободу для* — для реализации своей социальной активности, а *свободу от* — от возможных внешних и внутренних притеснений. На эту бедность и простоту социума наложило свою печать и ордынское иго.

Разъединенные удельные княжества не смогли противостоять татаро-монгольскому нашествию. Степь теперь уже окончательно поглотила крайний восточный угол Европы. Если раньше она лишь мешала его нормальному европейскому развитию, то с середины XIII века она навязала разрозненному русскому обществу свой единый порядок. Основа этого порядка покоилась на полном и абсолютном бесправии, на равенстве рабства. По отношению к хану были равно беспомощны и неправы и князь, и боярин, и крестьянин, и холоп. Строго говоря, холопами стали все, завися не от прав и законов, а от прихоти и произвола хана и его баскаков.

Психологическое состояние народа под монгольским игом, по точному размышлению писателя Ю. Трифонова, ломало национальную ментальность. «Жизнь при монголах, — замечал он, — непредставима. Все было, может быть, не так ужасно, как кажется. И все было, может быть, много ужасней, чем можно себе представить... Ведь самое ужасное было то, что иго вышло — долгое. Люди вырастали, старели, умирали, дети старели, умирали, дети детей тоже старели, умирали, а все длилось — тамга, денга, ярлык, аркан. Конца было не видать, и люди понемногу начали дичать в лютом терпении — привыкали жить без надежды, огрубели их сердца, остудилась кровь»<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Трифонов Ю. Тризна через шесть веков // Трифонов Ю. Как слово наше отзовется... М., 1985. С. 53-54.



Земля по «монгольскому праву» перестала быть частной собственностью, перейдя во владение хана, а всякая иная собственность могла быть в любой момент отобрана. Русь утратила не только политические, но и гражданские права.

Известный отечественный историк Н.Я.Эйдельман напоминает, что уже в 1211 году князь Всеволод Большое Гнездо созывает во Владимире собрание разных сословий. Очевидно, негативный опыт Андрея Боголюбского, пытавшегося установить самодержавно-неправовой режим, не прошел даром для его наследников. Интересно, что параллельно — в Англии — в 1215 году принимается Великая хартия вольностей, обеспечивавшая права феодального сословия, которые далее получил — слой за слоем — весь английский народ. Так что Россия в этот период находилась в европейской системе исторического развития. «Еще немного, — замечал историк, — еще несколько поколений, одно-два столетия, и — легко вообразим — Древняя Русь дальше продвигается по европейскому пути. Растут города; княжеская власть усиливается одновременно с вече, «парламентами»... Монгольское нашествие, думаем, определило во многом то «азиатское начало», которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым самодержавием». И добавлял: «Монголы сломали одну российскую историческую судьбу и стимулировали другую»<sup>17</sup>.

Дальнейший процесс состоял из медленного соби- рания русских земель вокруг Москвы и в высвобожде- нии из-под ордынского ига. Но поскольку процесс со- бираяния происходил под эгидой хана, отчасти с его помощью, московская власть усвоила и основное пра- вило ордынцев — полное бесправие подчиненных: от князя до смерда все стали холопами великого князя московского. Таков был результат «московизации Ру- си», как назвал этот процесс Г.П.Федотов. Но мало то- го: поскольку это холопство казалось обществу истори- чески вынужденным и необходимым, оно принима-

---

<sup>17</sup> Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989. С. 31, 33.

лось почти добровольно, без особого сопротивления. Весьма удачно обрисовал утвердившуюся в Московской Руси систему революционер-народник С.М.Степняк-Кравчинский: «Политические условия на Руси и ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть с чуждыми, враждебными племенами и враждебной религией, борьба, продолжавшаяся четыре столетия, превратили главу государства в постоянного военного диктатора, столь преданно поддерживаемого народом, что противиться ему считалось преступлением»<sup>18</sup>.

### *Бояре и великий князь*

Без высшего управляющего слоя московский самодержец при этом существовать, конечно же, не мог. Но его задача была удержать этот слой в бесправном, бесприкословном подчинении: долгая изоляция Московского княжества от цивилизующихся, утверждающихся постепенно на правовой основе западноевропейских соседей много способствовала этим его устремлениям. Одичавшее от своей приниженной, заугольной, затворнической жизни русское боярство, хранившее лишь память о былых вольностях, и не могло даже претендовать на роль связующего звена между западноевропейскими странами и выбитой степным игмом из сообщества европейских стран Русью. Во всяком случае, как показал исторический опыт, все шедшие сверху реформаторские попытки вестернизации России наталкивались на упорное сопротивление именно этого сословия, естественно наувившегося опасаться всяких новшеств.

Боярство рассчитывало на возврат договорных отношений, существовавших в Киевской Руси. Но к концу XV века московский государь обладал практически неограниченной властью. Уже с Ивана III «право государевой опалы фактически уничтожило договорные основы взаимоотношений между монархом и его знатью»<sup>19</sup>. К несчастью, позитивный, европеизирую-

---

<sup>18</sup> *Степняк-Кравчинский С.М.* Россия под властью царей. М., 1964. С. 54.

<sup>19</sup> *Скрынников Р.Г.* Государство и церковь на Руси XIV-XVII вв. Новосибирск, 1991. С. 206.

щий смысл борьбы бояр за свои права, выродившийся со временем в пресловутое *местничество*, был мало внятен их сознанию, тем более смысл этой борьбы был чужд сознанию народному. Поэтому, воюя с боярством, московский государь смело мог полагаться на поддержку народа.

Существенно и то, что принцип княжеского владения землей в каком-то смысле был равнозначен принципу крестьянского землепользования, и оба они радикально отличались от боярского. Если боярское землевладение было вотчинным, т.е. частным, европейским по своему типу, то княжеское и крестьянское владения, по наблюдению Ключевского, «считались не частной, а государственной собственностью»<sup>20</sup>. Вот чисто социально и культурно-психологическая причина близости князя и народа, а также народного отчуждения от боярства, притеснения со стороны которого воспринимались более остро и болезненно, нежели со стороны князя.

Московское самодержавие, писал А.Е.Пресняков, один из интереснейших наших историков с философическим складом рассуждений, «встретило на своем историческом пути охранительную инерцию боярства, и его тяга к самовластию пришла в столкновение с общественным воззрением на ценные правовые гарантии «старины и пошрины», соблюдаемой во всех областях суда и управления. На этой почве, на вопросе о связанности власти обычно-правовой традицией или ее самодержавной неограниченной свободе разыгрываются все наиболее яркие конфликты между московскими государями и боярством»<sup>21</sup>. Уже не помышляя о политических правах, боярство пыталось отстоять хотя бы гарантии личной и имущественной неприкосновенности для своего сословия. Но московские великие князья оказались много сильнее. «Упразднение самостоятельных местных политических властей, — писал Пресняков, — приняло при Иване III характер завоевания.

---

<sup>20</sup> Ключевский В.О. Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней Руси. М., 1994. С. 77.

<sup>21</sup> Пресняков А.Е. Московское царство. Пг., 1918. С. 60-61.

Даже в тех случаях, где не было при этом военных действий, новый властитель действует, как в завоеванной стране. Права населения, их гарантии и удостоверение в актах и грамотах прежнего времени подвергаются ломке и пересмотру под предлогом, что то грамоты «не самих великих князей», а выданы местной, второстепенной правительственной властью»<sup>22</sup>. Лишившись ощущения жизни в правовом пространстве (скажем, вспоминаясь иногда *право отъезда* теперь выглядело лишь как *предательство* — отношение Ивана IV к отъезду Андрея Курбского), боярство само стало, быть может, одной из самых активных сил народного угнетения.

Вернемся к уже упоминавшемуся публицисту XVI века Ивашке Пересветову. Этот западнорусский «воинник» приехал на Русь в конце 30-х годов XVI века (пожив до этого в Польше, Венгрии, Молдавии). Его приезд пришелся на детство Ивана IV и соответственно боярское правление. Из его писаний, посвященных в основном обличению «самоуправства» бояр, можно вполне представить себе степень одичания этого верхнего служилого сословия, потерявшего по большей части интерес и понимание государственных задач, стоявших перед страной. Государственные интересы подчинялись интересам частным, которые, по словам Пересветова, не шли дальше разбоя, а то и примитивного грабежа и смертоубийства соотечественников. Боярство уже стало бояться открытого проявления своей самостоятельности, являясь лишь функцией государя-правителя, исполнителем его приказов.

И иначе и быть не могло. Как замечал русский историк и юрист Б.Н.Чичерин, «в Московском государстве почти все совершалось не на основании общих соображений, а частными мерами; оно управлялось не законами, а распоряжениями»<sup>23</sup>. Увы, слишком и нам знакомое положение дел! Естественно, что со стороны боярства не исходило ни культурной, ни религиозной,

---

<sup>22</sup> Там же. С. 78.

<sup>23</sup> Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856. С. 577.

ни политической, ни административной инициативы, направленной на общую пользу. Но установившееся бесправие служилой аристократии возмещалось своеобразными льготами — «кормлением» за счет населения, когда судебная и административная власть давалась боярину для получения личной выгоды и наживы. Что это значит? «Кормления, — пишет Б.Н.Чичерин, — образовались из понятия о суде, как о частной собственности, о доходной статье, которая по воле владельца могла... идти на жалованье слугам... Давалось в кормление несколько городов или волостей, обыкновенно в виде временного жалованья... Разумеется, здесь не было речи о суде, как об исполнении общественной обязанности... Кормленщик распоряжался судом, как пожалованной ему арендой»<sup>24</sup>.

Так и использовал боярин службу для собственного «кормления». «Пошлют» его куда, — замечает Пересветов, — собирать в царскую казну, и где бы взять в пользу царя десять рублей, возьмет десять рублей в пользу царя, а сто рублей в свою пользу... А царские вельможи благодаря своему коварству и дьявольскому соблазну додумывались до того, что выкапывали только что захороненных покойников из могил, пустые могилы засыпали, а покойника, исколов рогатиной или изрубив саблей и измазав кровью, подбрасывали в дом богача. Потом выставят истца-клеветника, который Бога не боится, и, осудив несправедливым судом, разграбят двор его и все богатство. Нечисто богатели они дьявольским прельщением, а царской грозы к ним не было»<sup>25</sup>. Поэтому и советует он малолетнему царю, будущему Грозному, напустить на бояр «грозу»: «Таких надо в огне сжигать и другим лютым смертям предавать, чтобы не умножались беды»<sup>26</sup>.

Казалось, что против этого торжества исторически сложившейся и почти официально узаконенной уго-

---

<sup>24</sup> Чичерин Б.Н. Опыт по истории русского права. М., 1858. С. 378.

<sup>25</sup> Сочинения Ивана Семеновича Пересветова // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 617.

<sup>26</sup> Сочинения Ивана Семеновича Пересветова. С. 615.

ловщины защита для мирных обитателей только в жесткой централизованной власти. Но среди боярства были и исключения: люди, уже напитавшиеся европейски-христианской культурой, задумавшиеся о возможности *подзаконной жизни* на Руси, правово, юридически оформленной. Таким был, скажем, русский дипломат начала XVI века Федор Карпов. Как известно, одной из добродетелей российского народа, приобретенной за столетия бесправной жизни, считалась склонность к *терпению*, даже к *долготерпению*. Именно эту склонность определил и последний русский тиран Сталин как одно из основных свойств русского народа. А ведь уже в XVI веке лучшие люди России грустили по поводу этого российского качества, мечтая о *законности*. «Если мы скажем, — писал митрополиту Даниилу Федор Карпов, — что терпение важнее для сохранения власти или царства, тогда напрасно составлены законы. <...> Ведь если ты установишь, чтобы с терпением жили, тогда не нужны для царства или власти правители и князья; итак, упразднится начальство, власть и господство, и будет жизнь беспорядочной; в буйстве сильный будет угнетать бессильного, пусть он терпит. И не нужны будут судьи в царстве, которые правду блюдут, потому что все разрешит терпение там, где в терпении жить будут. <...> Дело народное в городах и царствах погибнет из-за излишнего терпения, долготерпение среди людей без правды и закона общество достойное разрушает и дело народное сводит на нет»<sup>27</sup>. Иными словами, антитезу произволу он искал не в суровом властителе, а законах, которые помогут русским людям избавиться от бесконечного терпения переносить несчастья.

### *Национально-исторический выбор типа правления*

Взойдя на престол, Иван IV начал с реформ, создав вокруг себя Избранную раду. Царя, однако, скоро ис-

---

<sup>27</sup> Сочинения Федора Ивановича Карпова // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. С. 509, 511.

пугало уменьшение его самовластия, да и масса боярства, как и всякий класс слуг, привыкший подчиняться кнуту и силе, а в спокойных ситуациях злоумышлявший на своего господина и продолжающий промышлять разбоем, доверия у царя не вызывала. И Иван становится еще большим разбойником и татем, чем бояре, чтобы держать их в повиновении. Через голову бояр он обращается к народу и получает у него санкцию на истребление своих недругов.

Почему же народ поддержал царскую грозу против верховных служилых людей?

Для пояснения исторической ситуации надо заметить, что к моменту правления Ивана IV поистине национальным бедствием стало *разбойничество*. Уголовный элемент пронизывал всю страну. В 1555 году был принят специальный закон против разбойников «Приговор о разбойном деле», из которого ясно, что люди, должны искоренять преступность, всячески увиливали от своих обязанностей. Конечно, положение всеобщего бесправия и беззакония, возникшее в результате трехвекового ига, было главной причиной криминализации российской жизни. «До половины XVII века, — писал Чернышевский, — вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своей громадностью на целые армии, — все это постоянно дотла разоряло русские области»<sup>28</sup>. Разбойники вербовались из всех общественных сословий. Но у боярства было больше возможностей применять насилие, а сознание их, как и сознание «черного люда», было точно так же воспитано *помимо и вне* идей законности. Да и существовали эти идеи лишь в умах немногих представителей высшего сословия, соприкоснувшихся с европейской жизнью, — вроде Ф.Карпова. Более того, само социальное угнетение боярством простого люда воспринималось на-

---

<sup>28</sup> Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 5. С. 690.

родом в общей ситуации той эпохи как разбой. Только в этом контексте можно увидеть резон концепции «народной монархии», предложенной И.Солоневичем. «Русская монархия, — по его словам, — исторически возникла в результате восстания низов против боярства, и — пока она существовала — она *всегда* стояла на защите именно низов»<sup>29</sup>.

За одним исправлением: русская монархия *не стояла на защите* низов, она опиралась на низы, поддерживалась низами, а это все же совсем иное дело. Века бесправия не могли дать народу даже отдаленное представление о возможности преодоления своих бед и зол на основании закона. Было два пути перед Россией в борьбе с бедами и неурядицами, «безнарядьем» социально-политической жизни: 1. Путь реформ и медленного внедрения законности в сознание всех классов общества. 2. Жесткой, тиранической организации страны, когда *никто из подданных* не имел никаких прав. Второй путь казался народу привычнее и естественнее. Освобождение от татарского ига устранило грозу **внешнего** централизованного правления, но к другому варианту жизни народ не привык, общество стало неуправляемым, саморазрушающимся. «Структурные реформы, — по мысли современного отечественного историка, — которые проводило правительство Избранной рады, как и всякие структурные реформы, шли медленно, их плоды созревали не сразу. Нетерпеливому человеку (а царь Иван был нетерпелив) в таких обстоятельствах обычно кажется, что и результатов-то никаких нет, что ничего и не сделано. Ускоренный путь централизации в условиях России XVI века был возможен только при использовании террора»<sup>30</sup>.

Зачем же нужна была такая ускоренная централизация? В желании самовластного и самодержавного правления сошлись две силы: народ и царь. *Народ* опасался возникавших в результате реформ боярских прав, по печальному опыту зная, что ничего, кроме

---

<sup>29</sup> Солоневич И.Л. Народная монархия, с. 127.

<sup>30</sup> Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1993. С. 58.



распада и «воровства», боярское правление ему не приносило. «Московские цари <...> привязали к себе народные массы. Стоит беспристрастно прочесть кровавую летопись царствования Грозного, — писал знаменитый русский историк, юрист, философ К.Д.Кавелин, — стоит прислушаться к народным преданиям из того времени, чтоб убедиться, с чьей стороны, даже в эту ужасную эпоху, были симпатии народного большинства»<sup>31</sup>. Вера, что закон встанет на защиту слабого человека, не сложилась. Да и смешно искать эту веру в те далекие времена, если и теперь законопослушный гражданин Российского государства ощущает себя абсолютно беззащитным и одиноким, когда на его стороне нет «сильной руки» из властных структур. Писанный закон, по общему самочувствию, человека защитить не может.

*Царь* тем более боялся боярских прав, которые могли не только ограничить его власть (как оно было в Англии, и Иван это знал), но и сменить династию. Наши историки спорят, зачем была введена опричнина. Шла ли речь об уничтожении боярства как класса? Или дело в том, что поднималось новое сословие — дворянство? А может, и в самом деле так решились проблемы централизации страны?.. Но сами себе с удивлением отвечают, что боярство сохраняло свои властные прерогативы аж до реформ Петра, что дворянство конституировалось в играющее государственную роль сословие в постпетровской России в результате реформ преобразователя, что централизация России произошла при Иване III за столетие до опричной грозы Ивана IV. Ответ между тем, на мой взгляд, достаточно прост. Речь шла о выборе, *национальном выборе типа правления*. Строго говоря, вся опричнина была направлена не на решение идеи централизации или борьбы с боярством, а *против идеи закона и права*. И это важно понять, поскольку **социальные институты** (боярство, дворянство и т.п.) более скоротечны, нежели

---

<sup>31</sup> Кавелин К.Д. Дворянство и освобождение крестьян // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 137.

идея, определяющая сам тип общественного устройства. Я бы назвал тип управления, установившийся в России Ивана Грозного и неоднократно демонстрировавший свою силу в последующие эпохи нашей истории, демократически-беззаконным, т.е. тот тип деспотического правления, который базируется на абсолютной народной поддержке. К чему приводит подобный тип правления, прекрасно показало Смутное время.

### *Торжество неправовой стихии*

Смута — один из самых загадочных, но вместе с тем и ключевых моментов российской истории, важных для понимания роли и значения народа в судьбах государственного правления. Правление Грозного, а затем Смута в каком-то смысле единый период, кульминация послеордынской истории Московии. Опричнина превратила беззаконность и преступность в государственный принцип, в стиль отношений сословий и частных лиц. Смуту уже можно назвать эпохой *тотальной уголовщины*, когда в противоправные и противозаконные отношения, сопровождаемые исканием только *личной выгоды*, а отнюдь не высшей религиозной идеей (как в протестантизме или даже в расколе), а также и не идеей лучшего устройства общества (как в эпоху Великой французской революции и грандиозной общенародной революции в России 1917 года), вступили *все сословия* Московского государства — от бояр до крестьян и холопов.

Как период торжества преступности понимали это время русские историки. Самого царя Бориса называл Карамзин «державным преступником»<sup>32</sup>. А Россию эпохи Смутного времени сравнивал с периодом татарского нашествия, когда были мечами и саблями завоевателей уничтожены все права русских княжеств: «Россия бывала пустынею; но в сие время, не Батыевы, а собственные варвары свирепствовали в ее недрах, изумляя и самых неистовых иноплеменников:

---

<sup>32</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX-XII. Калуга, 1993. С. 382.

Россия могла тогда завидывать временам Батыевым, будучи жертвою величайшего из бедствий, *разврата государственного* (курсив мой — В.К.), который мертвит и надежду на умиловливание небесное!»<sup>33</sup>

Разумеется, у боярства по-прежнему оставался свой классовый интерес — боярский царь, служивший бы *не всей земле*: а лишь *своему сословию*. Таким царем Борис Годунов не стал и не хотел быть, продолжая самовластную, не ограниченную чужой волей политику Грозного. К тому же он был избран на царство Земским Собором 1598 года, что по тем временам казалось все-народным избранием. Как отмечали современники (даже недоброжелательные к Борису), страна, истощенная и разоренная нравственно и материально при Иване IV, вздохнула и начала благоустраиваться при Борисе. Пользуясь своей неограниченной властью, он попытался — почти за сто лет до Петра — направить Россию в русло европейских преобразований, открыть ворота европейскому влиянию. Карамзин, однако, не случайно назвал нового царя «державным преступником». Не говоря даже о проблематичном убийстве царевича Дмитрия якобы по приказу Годунова, уже будучи у власти царь Борис был вынужден опираться на уголовно-неправовые элементы общества. «Чуя глухой ропот бояр, — писал Ключевский, — Борис принял меры, чтобы оградить себя от их козней: была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам, подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово»<sup>34</sup>

Пока дела нового царя шли благополучно, боярство могло лишь строить безуспешные интриги и заговоры. Трехлетний великий голод, потрясший Россию в начале XVII века, привел к росту народного недовольства, обнищанию как крестьян-земледельцев, так и мелких

---

<sup>33</sup> Там же. С. 506.

<sup>34</sup> Ключевский В.О. Соч. В 9-ти тт. Т. 3. С. 29.

землевладельцев. «Страдания народа, — замечает С.Ф.Платонов, крупнейший специалист по истории Смуты, — становились еще тяжелее от бесстыдной спекуляции хлебом, которою занимались не только мелкие рыночные скупщики, но и лица с положением — даже архимандриты и игумены монастырей, управители архиерейских вотчин и сами именитые люди Строгановы. По официальному заявлению, сделанному в конце 1601 года, все эти почтенные и богатые люди искусственно поднимали цену хлеба, захватывая в свои руки обращение его на рынках и устраивая «вязку». Много приносили вреда, сверх того, и злоупотребления администрации, которая заведывала раздачею царской милости и продажею хлеба из царских житниц: ухитрялись красть и недобросовестно раздавали деньги и муку, наживаясь насчет голодающих ближних»<sup>35</sup>

Крестьяне массами бежали с пустующих неурожайных земель, Борис был вынужден подтвердить поначалу отмененное прикрепление земледельцев к земле. Начались повсеместные разбои и бунты.

«Урожай 1604 г. прекратил голод, но продолжалось другое зло, — пишет исследователь. — В голодные годы толпы народа для спасения себя от смерти составляли шайки и добывали себе пропитание разбоем. <...> Ни одна область Руси не была свободна от разбойников. Они бродили даже около Москвы, и против одной такой шайки Хлопка Борису пришлось выставить крупную военную силу, и то с трудом удалось одолеть эту толпу разбойников»<sup>36</sup>. Только в такой ситуации сработала затеянная боярами интрига с Самозванцем. Боярство для решения своей корысти было вынуждено апеллировать к народу, как раньше апеллировал к нему Грозный, взывая к самым темным, антиправовым инстинктам народной души. Борис был избран на царство законно, этому законному избранию был противопоставлен миф, побуждавший нару-

---

<sup>35</sup> Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М., 1994. С. 166.

<sup>36</sup> Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 269.

шить закон. «С Борисом-царем нельзя было открыто бороться боярству потому, что он был сильнее боярства: сильнее же и выше Бориса для народа была лишь династия Калиты. Свергнуть Бориса можно было только во имя ее»<sup>37</sup>.

После победы Самозванца боярство вскоре, всего через год, убивает его и ставит своего, боярского, царя — Василия Шуйского. Но, оказавшись один на один с разбуженным им же народом, боярство начало *терять страну*, которая стала неуправляемой. Поляки, казаки и разбойники («воры», по тогдашней терминологии) рвали страну на куски, грабя все и всех. Апелляция к *народному бунту* обернулась катастрофой. Второй Самозванец, по прозвищу Вор, появляется в порубежном городке Пропойске (характерное название!), а затем проходит по всей России, раскидывает свой лагерь в Тушине, под Москвой. Жена первого Лжедмитрия признает второго, рождает от него ребенка, московские люди ездят к Вору на поклон, а митрополит Филарет, отец будущего царя Михаила Романова, получает сан патриарха из рук Тушинского Вора. Как замечает С.Ф.Платонов, для казачества, для польских выходцев и прочих «гулящих людей» самозванцы были простым предлогом для прикрытия их личных видов на незаконную поживу, «на воровство», никаких политических или династических целей они не имели, просто их манила к себе Русь своей политической слабостью и шаткостью русского общества<sup>38</sup>.

Неправовая стихия народной жизни продолжала торжествовать и на Земском соборе 1613 года, где происходили выборы нового царя. Тон задавали казаки, т.е. та часть народа, которая была наиболее активна в противоправном, «воровском» движении Смуты. Казаки предложили на выбор две кандидатуры: либо сына Марины Мнишек и Тушинского Вора (к тому времени уже убитого), либо сына «тушинского» патриарха Филарета, иными словами, «своих», замешанных в «во-

---

<sup>37</sup> Там же. С. 270.

<sup>38</sup> Там же. С. 287.

ровстве» персонажей. Этот выбор скорее напоминал *требование* взбунтовавшихся людей, а не свободное волеизъявление всей земли, ибо, строго говоря, выбора практически не было — оба кандидата вполне устраивали не признававшее никаких законов казачье войско. Таким образом, династия Романовых была возведена на трон в результате хотя и народного, но «воровского», антизаконного, безвыборного выбора, как, кстати, и пала в результате новой Смуты, спустя три столетия, расстрелянная так же, «по-воровски», как и была коронована.

В Смуту народ показал себя как сила, способная созидать государей и государство, но как *сила противоправная*. Не случайно лучшие представители народа — нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, собравшие народное ополчение на спасение Москвы, победившие поляков, — были использованы, а в дальнейшем оттеснены представителями стихийного начала — казаками. Первые десятилетия правления новая династия еще зависит от народных возмущений, созывает соборы, отдает народу на растерзание ненавистные ему роды служилых людей: не увольняет ненавистных чиновников, а убивает руками народа и по требованию народа. Другого способа выражения своих пожеланий, нежели как через бунт, народ не знал. XVII век историки называют «бунташным веком»: это все продолжение Смутного времени, когда бунты приводили к победе народных инстинктов и даже к определению государственно-политического устройства страны.

Но собиравшиеся царями в XVII веке Земские соборы уже абсолютно дирижировались правительством, как в нашем столетии партийные съезды. Мнение народное отныне становилось не востребуемым, поскольку получать его посредством бунтов грозило катастрофой для самого существования страны. А юридической формы выработано не было.

## *Создание дворянства — граждански-правовой силы в неправовом государстве*

Начиная с Петра Земские соборы уходят в прошлое. Романовы пытаются обуздать бунтарские инстинкты народа, все более и более стесняя его свободу и формируя новый служилый класс — дворянство, в котором растворилось обмельчавшее боярство и в который был открыт доступ полезным государству выходцам из низов. С этим классом у государства нет конфронтаций, как с боярством, более того, дворяне — реальная опора династии Романовых, они осуществляют хозяйственное и политическое управление, служат проводниками необходимых государству европейских связей. Закон 1682 года отменил местничество, уравнив в правах бояр с дворянами, усилив слияние этих двух служилых сословий. Петровский «табель о рангах» 1722 года открыл людям «разных чинов» путь в дворянство. Указ Петра III о «вольности дворянской» в 1762 году и «Жалованная грамота» Екатерины II в 1785-м окончательно конституируют дворянство, которое, по словам Ключевского, получило «личные и общественные права, каких не имело старое родовитое боярство»<sup>39</sup>. Вместе с сословными приобретениями росла и политическая сила этого слоя: дворяне имели свое корпоративное самоуправление, право «делать представления и жалобы» верховной власти, при Николае I это преимущество было расширено правом дворянских собраний представлять нужды всех других классов местного общества.

Царь обособляется от народа, государство пытается хотя бы на уровне одного дворянского сословия усвоить принцип правовой жизни, подзаконного состояния общества. Но народ остается целиком и полностью по-прежнему вне возникающего в России правового пространства. Пугачевская война — это последняя надежда народа в начале дворянской эпохи уже не договориться с царем, а, как в прежние времена, полтора столетия назад, *поставить своего царя*, искоренив при этом

---

<sup>39</sup> Ключевский В. О. Соч. В 9-ти тт. Т. 3. С. 9.

совершенно непривычное новое образование — дворянство. Но если раньше царь вместе с народом выступал против функционально бесполезного боярства, то теперь вместе с необходимым ему дворянством царь оказался против народа. Пугачевская война, как раньше Смута, покачнула государство, но неимоверным усилием дворянство сломало хребет бунту, тем самым подтвердив свою полезность как опоры трона. Никаким демократизмом — ни законным, ни незаконным — государство отныне не прельщается. В XIX веке, замечает Ключевский, «Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией»<sup>40</sup>.

### *Новые апелляции к народу*

И все-таки мифологема народоправства, единства царя и народа оставалась. Но использовалась она лишь идеологически. Царское правительство не звало и не собиралось звать в управление народных представителей, но вот для *неправового поступка* оно, как правило, прибегало к демагогии, выступая как бы от имени народа. Бюрократическое самодержавное государство хотело использовать и использовало идею народной власти и народной воли для легитимации своего правления и незаконной расправы над появившимися в стране оппонентами самодержавного строя.

К середине прошлого века в России возник довольно обширный так называемый «образованный слой», связанный в основном с дворянской средой. Слой этот требовал уже не только гражданских прав, но и политических, попутно выступая за предоставление гражданских прав народу, т.е. за отмену крепостничества. Рано или поздно многие оппоненты самодержавия выталкивались его неправовыми действиями в революцию. И тогда они тоже апеллировали к народной воле, желая необузданной и насильственной вспышкой народного гнева уничтожить самодержавное царское правление. Но вместо него предлагали уже даже не бюрократические, а тоталитарные формы правления,

---

<sup>40</sup> Там же.



возвращаясь к принципам допетровской, татаро-московской Руси. «Все рабы и в рабстве равны», — декларировал этот принцип герой «Бесов» Шигалев. А над рабами, разумеется, деспот.

Этим двум типам демагогического обращения к народу, обращения, отказывающего народу в способности к правосознанию, противостояла твердо и четко выраженная концепция демократии — с ориентацией на единственную в то время демократическую страну, на Соединенные Штаты Америки. Эта концепция была высказана одним из самых трагических мыслителей России, не понятым ни сторонниками, ни противниками, искаженным последователями. Я говорю о Николае Чернышевском. Отказываясь считать бюрократический строй царской России выразителем демократических идей, Чернышевский писал: «По существенному своему характеру демократия противоположна бюрократии; она требует того, чтобы каждый гражданин был независим в делах, касающихся только до него одного; каждое село и каждый город независимы в делах, касающихся его одного; каждая область — в своих делах. Демократия требует полного подчинения администратора жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы администратор был только поверенным той части общества, которая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него отчета о ведении каждого дела. Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации. Демократическое государство есть союз республик, или, лучше сказать, образуется из нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно значительный союз состоит, в свою очередь, из союза нескольких округов, — таково устройство Соединенных Штатов. ... Неужели это сколько-нибудь похоже на бюрократию — <...> Откуда же взялось ... мнение о бюрократии как форме демократического устройства?»<sup>41</sup>

К уравнивательным идеям народа Чернышевский относился скептически, понимая, что в грядущей народ-

---

<sup>41</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1951. Т. 5. С. 652-653.

ной революции будет и «грязь, и пьяные мужики с дубьем», что образованный класс может трагически погибнуть под ударами народной стихии. Поэтому он призывал к «юридическим формам» как единственному шансу выбраться из внеисторической трясины российского произвола и немного цивилизовать человеческие отношения. Более всего он протестовал против *обожествления народа*, который, как иронизировал мыслитель, отнюдь не «собрание римских пап, существ непогрешительных»<sup>42</sup>. К несчастью, эта тенденция, направленная на преодоление народопоклонства при всем уважении к его будущей самостоятельности, когда в народе разовьется и юридически закрепится независимая свободная личность, была насильственно вычеркнута самодержавием из общественного процесса. Не обожествление, не спекуляция на народном мнении, а стоическое принятие своего народа, трезвое понимание, что только свобода способна через все катаклизмы превратить беззаконный российский демократизм в подлинно правовой и законный, — такова была установка этого, одного из самых влиятельных людей своего времени. **Сила личности не раз оказывалась решающим фактором исторического развития.** С арестом Чернышевского Россия потеряла свой шанс на попытку подлинной демократизации. Чернышевский понимал возможность использования старых общественных форм (к примеру, общины), чтобы народ легче воспринял новое содержание. Как мы знаем, получилось наоборот: были вроде бы созданы новые формы общежития, но в них были заключены в эпоху сталинской диктатуры все те же бесправие и беззаконность.

В обществе господствовала идея «позвать серые зипуны» как для обуздания революционных тенденций, так и для расширения революционного процесса. И поскольку шла апелляция к народу *как противоправной силе* не только революционеров, но и защитников правительства, народ, естественно, выступил на стороне абсолютно незаконных организаций — нелегалов, из

---

<sup>42</sup> Чернышевский Н.Г. Указ. соч. Т. 10. С. 506.

этих нелегалов выбрав самых противоправных — эсеров и большевиков, обещавших незаконный отъем и передел земли. И в результате победоносной, бунтовщицкой по духу революции, изгнав из страны *несколько миллионов человек*, — обладавшее гражданскими и отчасти уже политическими правами дворянское сословие, истребив почти весь «образованный слой», народ установил свою незаконную демократическую власть: диктатуру партии большевиков. Характерно, что все неправовые деяния новых правителей России оправдывались «волей народа», а противников режима называли «врагами народа».

*Политические попытки ограничения самовластия:  
от крестоцеловальной записи Василия Шуйского  
до Государственной Думы начала XX столетия*

Однако наша история знает попытки не только теоретического, но и практического усилия выйти на правовой путь развития. Их было не так много, но были они весьма ощутимы и заметны, став к концу прошлого века влиятельным фактором общественной жизни России. Именно эти неоднократные усилия предшествовавших нам поколений, несмотря на их неудачи, порой чудовищные, позволяют сегодня говорить о накоплении в российской истории своеобразного правового «строительного материала», который как некий коралловый риф прорастает из пучин самодержавно-народной стихии, казалось бы, лишенной самого сознания законности, представления о возможности жить не по произволу, а в жестких рамках закона, внутри правового пространства.

Уже к Смуте стало понятно многим, что неограниченное самодержавие есть угроза для самого существования Великорусского государства, не имеющего никаких договорных отношений ни с одним слоем общества. Скажем, гибель династии в ситуации «вотчинного самодержавия», каковым было Московское царство, поневоле ставило под угрозу его функционирование. Так и случилось после смерти Димитрия и Федора Ио-

анновичей. И трудно не согласиться с историком, что «кризис правительственной власти — основной политический мотив Смуты»<sup>43</sup>. Выборы Бориса Годунова не ликвидировали кризиса, ибо не было выработано нового принципа взаимоотношения власти и населения, а также слишком сильно было противоречие самодержца с его ближайшим боярским окружением, более всех желавшего получить хотя бы элементарные права. При этом надо учесть, что не одни бояре страдали от царского произвола: на их примере только яснее видны все безудержные проявления господствовавшего в стране беззакония.

Поэтому, хотя Шуйский и был «боярский царь», в час своего венчания на царство он «видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, ... дал присягу, дотоле неслыханную: 1) не казнить смертью никого без суда боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имущества, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо»<sup>44</sup>. Здесь едва ли не впервые до Петра I и Екатерины II формулируются гражданские права, которых было абсолютно лишено русское общество и которые по сути дела должны были перестроить саму установку национального менталитета. Ни о каких боярских **специфических привилегиях** здесь речи не было. Что же касается боярского суда, то опора на наиболее грамотное сословие была вполне естественной. Но в огне народной войны понятия о правах сгорают как ненужные бумажки, ибо все решается силой оружия, принуждения и произвола.

Династия Романовых ищет новые пути государственного устройства через союз с новым служилым сословием — дворянством и создание нового типа государства — империи, где перерыв династии (со смертью Петра II или даже Елизаветы Петровны) отнюдь не приводил к потрясению основ: у дворянства появились

---

<sup>43</sup> Пресняков А.Е. Московское царство. С. 117.

<sup>44</sup> Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX-XII. С. 457.

сверхличные — имперские и сословные — цели, позволявшие ему производить смену монархов, не нарушая течения государственных дел. Но сам принцип самодержавия дворянство до поры до времени устраивает. По точному наблюдению А.Е.Преснякова, «служилые землевладельцы и тяглые посадские торговцы добиваются закрепления за собой добытых устоев своего социального положения, обеспечения своих классовых интересов, как приобретенных прав. *Не участие в верховной власти их манит, а утверждение сложившегося социального строя, как правового, сословного* (курсив мой — В.К.). Их стремления направлены прежде всего на то, чтобы отстоять свои интересы от конкурирующих интересов общественных верхов — носителей крупного землевладения, и низов — крестьянской массы, закрепляя за собой перевес социальной силы, но также от произвола правящей власти»<sup>45</sup>. Конечно, существовали и конституционные монархии, что не мешало им быть империями, например, Англия. И русское дворянство этот пример знало. Но инстинктивные опасения дворянства лишиться опоры самодержавия в борьбе на два фронта — против влиятельных остатков родовитых боярских семейств и крестьянских бунтов — имели реальную основу.

Что касается крестьянских бунтов, то нужно было напряжение всего дворянства, чтобы противостоять взрывам народной стихийной силы в течение полутора столетий: от восстаний Кондратия Булавина и Степана Разина до крестьянской войны Емельяна Пугачева. В «Истории Пугачева» Пушкин описал этот последний мятеж, «поколебавший государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов»<sup>46</sup>, заметив при этом, что «Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей»<sup>47</sup> и в результате «дворянство обречено было погибели»<sup>48</sup>. Спасало единство интересов с самодержавным государ-

---

<sup>45</sup> Пресняков А.Е. Московское царство. С. 120.

<sup>46</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.-Л., 1949. Т. 7. С. 268.

<sup>47</sup> Там же. С. 247.

<sup>48</sup> Там же. С. 256-257.

ством. Разумеется, в такой социально-исторической ситуации вставать в политическую конфронтацию с самодержавием и требовать себе политических прав было бы для дворянства самоубийственным актом.

Но не менее существенным фактором оставалось в XVIII столетии и оппозиция дворянства («шляхетства», по тогдашнему наименованию) и остатков боярских родов, традиционно рвавшихся к управлению страной. Быть может, наиболее ярко и в последний раз проявилось это противоречие уже сливавшихся двух служилых сословий — в попытке «верховников» после смерти Петра II в 1730 г., пригласив на царство Анну Иоанновну, ограничить, однако, ее власть определенными условиями — «кондициями». И тут выяснилось, что если, с одной стороны, «Верховный совет», состоявший из знатнейших фамилий России, требовал «у шляхетства живота и имения без суда не отымать»<sup>49</sup>, что совпадало и с интересами самого шляхетства, то с другой — дворянство практически лишалось влияния на властные структуры. Это был внеконституционный путь ограничения самодержавия, олигархический. Между тем, у дворянства уже созрели вполне ясные конституционные амбиции. Во главе конституционной партии оказался один из первых русских историков — В.Н.Татищев, составивший своего рода конституционный проект. По справедливому соображению П.Н.Милюкова, подробно разобравшего этот исторический сюжет, можно было «удержать сделанные Анной уступки ... единственным путем — путем соглашения с конституционной партией шляхетства»<sup>50</sup>. Но верховники на компромиссы не шли, вынудив дворянских конституционалистов примкнуть к сторонникам неограниченного самодержавия, выбирая из двух зол меньшее для их сословия.

Однако после правления Екатерины II оба обстоятельства, сдерживавшие политические устремления дворянства, ушли в прошлое (боярство окончательно

---

<sup>49</sup> Цит. по: Милюков П.Н. Верховники и шляхетство // Милюков П.Н. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1903. С. 10.

<sup>50</sup> Там же. С. 43.

стало органической частью дворянства, а крестьянские бунты, казалось, были подавлены навсегда). Снова встает вопрос об ограничении самодержавия законами, чтобы не законы подчинялись императору, а император — законам. Печальный опыт Павла I показал эту необходимость и русскому самодержцу. К трону Александра I оказывается приближен Михаил Сперанский, первый русский реформатор, полагавший, что монархия отличается от деспотии тем, что в монархии законы определяет жизнь, а Россия несмотря на множество указов, остается страной по существу беззаконной. И путь у деспотии к монархии только один: когда правительство подотчетно населению через выборных законодателей. Похоже, Сперанский исходил из того, что гражданские права дворянством и высшими слоями купечества уже получены. Во всяком случае, «понятию политической свободы, — замечает исследователь, — он придает больший объем по содержанию и ставит понятие гражданской свободы в зависимость от него»<sup>51</sup>. Стоит привести слова самого Сперанского: «Никакая сила не может родить в государстве свободы гражданской, не установив свободы политической... <...> Права гражданские должны быть основаны на правах политических, точно так же, как и закон гражданский не может быть тверд без закона политического»<sup>52</sup>. И только после утверждения политической свободы, гражданское рабство уменьшится само собой.

Но завязанность России на европейские страны, много дальше продвинувшихся в решении социально-политических проблем, торопила исторический ход внутри страны. Срыв реформ Сперанского и провал восстания декабристов, помимо чисто политических, дворцово-интриганских и военных причин, можно объяснить еще и тем, что перед государством встал колоссальнейшей сложности социальный вопрос: освобождение крепостных крестьян. Освобожденные в условиях конституционного государства, крестьяне, не привыкшие даже к гражданским правам, казалось, мо-

---

<sup>51</sup> Чибирьев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М.Сперанского. М., 1993. С. 54.

<sup>52</sup> Цит. по: Чибирьев С.А. Указ. соч. С. 54.

гут дезорганизовать всю законодательно-политическую жизнь в стране. Не давать крестьянам политических прав? Это усложнение вопроса встало в 60-е годы после Освобождения, когда вновь проснулись надежды дворян на конституцию. Разумеется, крестьянство по-прежнему не готово к представительному правлению, писал К.Д.Кавелин, ему бы освоить новые для него гражданские права. А дворянство? «В наше время, — осторожно замечал историк, — трудно себе представить исключительно дворянскую конституцию. Слава Богу, мы живем не в средние века, не в варварские времена, когда она была возможна. Политические права одного сословия и отсутствие политических прав для всех других — это теперь что-то немыслимое, такое, что встретило бы единодушное противодействие не только со стороны правительства, но и со стороны масс народа и всего просвещенного, либерального в России»<sup>53</sup>. Но в письме к Герцену он пояснял свою позицию страхом нового бунта народа, который возмущившись, что лишен влияния на власть, просто-напросто снесет головы дворянству.

Вместе с тем с конца 60-х возрастает революционный террор, апеллировавший к народу и проводившийся вроде бы во имя народа. Желая хоть как-то противостоять революционному напору, к концу 70-х правительство задумывается о возможности представительных учреждений. Проект Д.Н.Лорис-Меликова, который обер-прокурор Синода Победоносцев называл первым шагом к конституции, был одобрен и подписан Александром II. Спустя несколько часов после этого одобрения — 1-го марта 1881 г. — император был убит народовольцами. Верх берет точка зрения Победоносцева, утверждавшего, что конституционный порядок противоположен подлинной свободе: «Политическая свобода, — писал он, — становится фикцией, поддерживаемую на бумаге, параграфами и фразами конституции; начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе, вме-

---

<sup>53</sup> *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй, с. 155.



сте с началами безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство — там, где нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество спасается одной лишь диктатурой, т.е. восстановлением единой воли и единой власти в правлении»<sup>54</sup>. Возможный опыт хотя бы части народа в политически-законодательной работе государства не состоялся. Дворянство не прошло конституционной школы, как прошли ее высшие классы в Западной Европе. Сказался этот недостаток политического опыта у российского населения в эпоху первых Государственных Дум, где практически каждая партия думала не о государственной пользе, а о том, как потрафить народу, выступить перед общественным мнением единственным выразителем народных интересов.

В результате идея законности, правопорядка, строгого выполнения существующих норм права, разработка конституционных правил и гарантий собственности, личной независимости и неприкосновенности и т.п. кардинальные проблемы отошли на задний план. Имеет смысл привести воспоминания политического деятеля начала нашего века В.А.Маклакова: «Все неконституционные поступки и заявления, как отдельных членов, так и целой Думы, вытекали из того понимания, которое они имели о себе и своей роли. Они считали ее одну выразительницей «воли народа», которая выше конституционных «формальностей» <...> Что такое понимание было переоценкой своей фактической силы и недооценкой силы противника — ясно. Но оно кроме того было и отрывкой идеологии главной язвы России — Самодержавия — при котором утверждение, что «закон» должен быть выше «воли» Монарха, считалось признаком «неблагонадежности». Для первой Госуд. Думы аналогичное утверждение относительно ее самой казалось «отсталостью»; «воля» народа, которую она выражает, выше законов <...> Они считали ее обязательной для правительства. Но ведь то же самое было и при Самодержавии; и оно от других требовало, чтобы закон соблюдался; привилегия

---

<sup>54</sup> *Победоносцев К.П.* Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 53.

его нарушать принадлежала ему **одному**. Идеология Думы в этом совпадала с Самодержавием»<sup>55</sup>. Мемуарист, как видим, констатирует довольно тягостный для нашей ментальности факт. Оказывается, даже в период, который сегодня воспринимается как расцвет российского конституционализма, не выработалось в общественном сознании представления о первенстве закона над волей — будь то воля самодержца или воля народа. Последствия, как было уже сказано выше, не заставили себя ждать. Власть оказалась в руках наиболее бескомпромиссных и решительных противников всяких юридических и конституционных форм жизни.

### *Нынешние шансы*

Может показаться, что Победоносцев вроде бы угадал: конституционные устремления привели к анархии, а затем к диктатуре. Но дело здесь, видимо, не в неспособности России жить конституционно, а в том катастрофическом обвале, который пережила вся Европа в Первую мировую войну и который развалил начинавшие, пожалуй, впервые в нашей стране укрепляться ростки подзаконного существования. Сошлюсь на того же Маклакова, который, говоря, что «3-ье-июньская Дума» поводов для справедливого негодования давала не раз, все же утверждает, что именно с этой как бы угодливой, но подзаконной Думой «начался подъем России во всех отношениях. «Конституционный строй» показал этим свою пригодность для России, несмотря на ее политическую неопытность и на проистекшую из нее массу ошибок. Но период конституционного обучения уже через 6 лет (1914) был приостановлен европейской войной, а потом приконтчен подлинной Революцией»<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Маклаков В.А. Вторая Государственная Дума. London. 1991. С. 7 (выделено В.А.Маклаковым).

<sup>56</sup> Маклаков В.А. Вторая Государственная Дума. С. 5. Стоит сопоставить это высказывание политика с мемуарным свидетельством философа: «Не случись войны, Россия могла бы избежать революции; пробужденная в 1905 году революционная энергия начала в эпоху Третьей Думы быстро сливаться с созидательным процессом жизни» (Стетун Ф. Бывшее и несбывшееся. В 2-х т. Т. I. London, 1990. С. 196).

Однако последующее утверждение слишком резко и, как показывает исторический опыт, не совсем справедливо, к счастью. Об этом говорит нынешняя ситуация, новые попытки устройства общества на конституционных началах. Так что процесс этот не был «прикончен», а скорее приобрел причудливые формы, был загнан внутрь социально-общественного организма. Постреволюционные 70 лет не были простым перерывом в движении страны к европейскому, парламентарному типу правления. Игнорировать сам принцип конституционности самая деспотическая российская власть оказалась уже не в состоянии.

Начнем с того, что долго жить в состоянии перманентного бунта и непрекращающейся разрухи большевики, как некогда Романовы, не могли, ибо понятно, что государственное устройство требует совсем иных действий, нежели разрушительный бунт. Бунт требовалось обуздать, придать изнасилованной народной воле цивилизованные законные нормы. Когда-то сама идея конституции и всеобщего избирательного права, а также гражданских прав отдельно взятой личности высказывалась русскими дворянами и российским «образованным обществом» как невероятная крамола. «За великого князя Константина и его жену Конституцию», — учили декабристы выкрикивать своих неграмотных солдат, выведя их на Сенатскую площадь. *Но история пошутила свою всегдашнюю шутку.* Поскольку именно идеи европейского учения — марксизма — и идеи русских гуманистов прошлого века оказались в официальной божнице сталинского режима, диктатор вводит и Конституцию, и всеобщее избирательное право, самоуверенно полагая, что привыкший к бесправию народ, к тому же не имеющий реального выбора (как давным-давно и на Земских соборах), будет голосовать (именно «голосовать», а не «выбирать»!) за указанных ему людей. Но тем самым **впервые в своей истории** народ попал в школу — причем весь! — формального волеизъявления. Воспитанный на русской классике и европейской науке, вырос новый «образованный слой». И вот уже новые оппозиционеры (диссиденты) апел-

лируют не к воле народа, а к закону и называют себя правозащитниками. С 1937 по 1987 год (пятьдесят лет!) длилась учеба в этой школе. И когда представилась хоть и весьма относительная свобода выбора, народ, к удивлению партийных вождей, отверг партийный диктат и принцип беззаконной власти.

Если во все прошлые века, избрав, а точнее, незаконно утвердив на властном Олимпе, своих правителей, народ лишался возможности высказывать в дальнейшем свое мнение, попадая, естественно, у противоправного правительства в бесправное положение, а на высказывание своей позиции посредством бунтов не всегда и энергии хватало, не говоря уж о бессудной силе государства, то теперь Россия, кажется, получила шанс на иной тип развития. Не более, чем шанс. Но в исторической перспективе это совсем не мало.

## VIII. МЕНЯЕТСЯ ЛИ РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ?

Сегодняшние газеты читать жутковато, слушать речи политиков и журналистов тоже. Все о том же: Россия потеряла себя, России навязывают чуждую систему ценностей, Россия находится на пороге смуты, Россию злые силы хотят превратить в Запад, а между тем русский народ хочет жить свойственным ему образом. Прямо апокалипсис какой-то.

Постоянно задается риторический вопрос: кто мы такие и кем должны быть, чтобы оставаться самими собой, иными словами, речь идет о нашей самоидентификации, о том, какова наша ментальность, или, употребляя более старинное и точное выражение, каков «умственный и духовный строй народа». Разумеется, на протяжении тысячелетия, которое существует Россия как государственно оформленное целое, этот строй менялся, как менялись общественно-политические структуры. Но все же какие-то коренные особенности оставались, в зависимости от ситуации играя то положительную, то отрицательную роль. Если верить отечественным романтикам (славянофилам и пр.), то такими особенностями являются *общинность, соборность и крепкая православная вера*. В 30-е годы прошлого века, когда европеизм уже слишком сильно «заразил» русское общество, этот романтический взгляд обрел каноническую официальную формулу: *православие, самодержавие и народность*. Три кита, на которых, казалось, вечно стояла и будет стоять Россия, стоять

неколебимо. Так мы тогда попытались отделиться от Запада. В эпоху недавнюю, эпоху более плотного железного занавеса, триада превратилась вроде бы в диадду: *партийность и народность*. Но суть была та же: *роевое, общинно-государственное начало* в противовес «гнилому индивидуализму Запада».

Если же обратиться к тем, кто выражал самокритику культуры (Чаадаев и др.), не отрицая ее специфики и самобытности, мы увидим картину более мрачную, но тоже опирающуюся на конкретные факты, а именно: склонность к отречению народа от своих прав, полное подчинение личности государству, а в моменты народных возмущений — дикий произвол, побеждаемый еще более лютым государственным произволом, сызнова приводящим народ в рабское состояние. Из недавних исторических вариаций на эту тему можно напомнить Октябрьскую революцию и гражданскую войну с их лозунгом (по свидетельству Питирима Сорокина) «все дозволено», на смену которым пришла большевистская тирания, невиданная даже в российской истории, нагладевшейся тиранов.

Разумеется, каждая по отдельности, эти точки зрения вполне односторонни, но они, в общем-то, прекрасно взаимодополняются. К примеру, в ситуации сегодняшней «свободы» больше всего жалоб на распад общинных, коллективистских связей, войну всех против всех, как оно было и в Европе в период первоначального накопления капитала. Человек отделился от государства, и выяснилось, что никакой он не общинник, если не считать общиной мафиозные структуры. Рухнул общественный порядок, а апологеты «неособорности» способны только проливать слезы да мечтать о «крепкой власти», наподобие сталинской, которая живо бы всех вновь *вернула в коллектив*, или, если исходить из нынешних идеологических реалий, в «православно-коммунистическую общину».

Так что же, заколдованный круг?... Из «мучительства рождается вольность, из вольности рабство»?.. (Радищев). Или еще хлеще у героя «Бесов» Шигалева: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безгра-

ничным деспотизмом». Или вообще принадлежащая нашей стране одна шестая часть суши является своего рода «заколдованным местом» (Гоголь), из которого как ни пытайся уйти, все равно останешься там, где был?.. И ничто не меняется?.. Стоит, однако, обратить внимание на историко-культурные причины, породившие такое состояние дел. По мнению большинства русских историков, культурологов, философов истории (как романтиков, так и реалистов) тип государства, тип социокультурных отношений, который в той или иной степени продолжается доселе, сложился на рубеже XV-XVI вв. То есть тогда, когда с помощью татар произошла «московизация» Руси (Г.Федотов), затем татарская власть слабела, была отброшена и образовалось не похожее на западноевропейские (хотя примерно в то же время) централизованное государство. Поколебленное реформами Петра и последующей европеизацией, оно было реанимировано большевиками. Его называли «государством правды» (М.Шахматов), «тоталитарным государством» (Н.Бердяев), «народной монархией» (И.Солоневич), суть же его в следующем.

Все права были у верховной власти, подданные имели только обязанности, но они мирились с этим, поскольку их вынуждали к тому два обстоятельства социально-психологического характера, роль которых в истории много больше, чем мы традиционно считаем. **Во-первых**, преобладающим моментом была *психология осажденной крепости*: кругом враги (так оно и было), природных преград никаких, крепость можно построить *не из камней* (еще С.Соловьев подчеркивал, что в отличие от Европы Россия — страна деревянная, а дерево, как известно, плохая защита, оно горит), *а из тел жителей* этой крепости (Ф.Нестеров). Поэтому личность не ставилась ни во что, надо всем преобладали интересы государства. Именно этот архетипический фактор народной психологии столь удачно использовали большевики, объявив страну в кольцо буржуазной осады. **Во-вторых**, *изолированность* и связанный с ней *мессианизм*. Менялись цари, менялись социальные структуры, но чувство изолированности и мессианизма оставалось.

Возникло оно, возможно, как результат византийского наследия, которое через Балканы (Сербию и Болгарию, неудачно претендовавшую на роль Третьего Рима) утвердилось в России, единственной политически независимой стране с православной верой. Отрезанные татарами от Европы, идеологи российского православия охотно принимали восхваления униженных и разгромленных греков, болгар и сербов, уверявших московитов, что они одни являются спасителями подлинного христианского благочестия. В момент освобождения от многовекового ига это падало на весьма восприимчивую почву и льстило национальному самолюбию. В дальнейшем этот мессианизм претерпел всевозможные модификации и метаморфозы, но пафос остался: мы потому одиноки (но могущественны), что несем свет вечной истины, ибо одиночество — родовое свойство пророков. Не случайно те же большевики так легко отвергли западноевропейский опыт пролетарского движения, наконец-то вроде бы с полным основанием призывая Запад учиться у страны «победившего социализма». Это мессианистическое безумие, начиная с Достоевского, приобрело адептов в широком кругу русской интеллигенции, пусть даже не принимавшей православия или революционаризма, но все равно верившей, что нечто пророческое сейчас совершается именно в России. Например:

И ты, огневая стихия,  
Безумствуй, сжигая меня,  
Россия, Россия, Россия —  
Мессия грядущего дня!

Это из стихотворения Андрея Белого «Родине», написанного в августе 1917 г. Из этих факторов вырастал российский утопизм, т.е. склонность к *футуризму, бюджетлянству*: от Чаадаева и Герцена до Федорова, Хлебникова и Маяковского. Что это значит? Это значит неприятие жизни сегодняшней и даже завтрашней во имя жизни послезавтрашней. Таков был один полюс — высокой мечты и жажды всемирной гармонии. Но был и другой полюс этого футуристического мессианизма — в реальности пафос будущего вел к идее социальной



жертвенности: можно жертвовать собой, своими детьми во имя даже не внуков, а правнуков — в надежде на посмертное (по Федорову) «воскрешение отцов». Дело в том, что «сегодняшняя» жизнь была настолько безысходной, что нормальное «завтра» из этой безысходности никак не вытекало<sup>1</sup>, зато, как звезды из темного и глубокого провала, виделось отчетливо, почти до галлюцинаций, «послезавтра», идущее «через горы времени» (Маяковский) и воспринимавшееся как чудесное преобразование.

В VI-м выпуске «Голосов из России» Герцен напечатал «Письмо к издателю «Колокола» (автор до сих пор не известен). Хочу привести оттуда слова, по-чаадаевски сурово и жестко характеризующие нашу ментальность: «Забота об будущем не в нашем духе; на словах готовы мы взвалить на свои плечи хоть все человечество, будем социалисты, демократы, будем говорить об высокой честности с глазами в крови; на деле — боимся всякого труда, всякой мысли, живем настоящей минутой; наш чиновник ворует для того, чтоб покутить, купец мошенничает, чтоб сыну чин доставить, мужик работает, чтоб пьяну напиться. Даже материальной заботы об будущем нет; на того, кто об этом думает, в России показывают пальцами, он предмет насмешек и неприязни»<sup>2</sup>. Иными словами, мы видим невероятный, не свойственный, пожалуй, ни одной другой культуре разрыв между мечтой и реальностью, ибо «мечта о будущем» не есть «забота о будущем».

Ради мечты можно страдать и сражаться, быть винтиком и кирпичиком, утешая себя мыслями об «общем деле», что «ради всех». Забота требует самостоятельной деятельности, муравьиной хлопотливости в построении *собственного дома*, труда на себя, что предполагает в культуре *независимую личность*, которая так и не

---

<sup>1</sup> «Завтра» на языке государственно-административном (который был усвоен всеми российскими жителями) означало — «никогда». Ср. у графа де Местра: «Сделав все зависящее от меня, погрузился я в бесплодное ожидание. *Zafstra* (завтра) — вот страшный пароль сей страны» (*Местр Жозеф де*. Петербургские письма. 1803-1817. СПб., 1995. С. 45).

<sup>2</sup> Голоса из России. London, 1859. Кн. 4. С. 122-123.

смогла выработаться в общей массе российского народа, всегда трудившегося на «чужого»: на татар, на казну, на царя, на бар, на партократию. Неумение, непривычка строить сегодняшнюю жизнь приводит к желанию жить «настоящей минутой» (пока «не отобрали» заработанное), не думать о перетекании сегодняшнего дела в завтрашнее (новый хозяин — новые приказы: а сам себе не хозяин), т.е. в *реальное будущее*, а потому возникают мечты об утопическом прыжке через время, через века, где получают оправдание и сегодняшние бессмысленные страдания и нелепица жизни. Такова российская «неевклидова математика», преодоление мира, где «все противоречия вместе живут» (Достоевский), идея «единого мига» (так подробно прослеженная у своих героев тем же Достоевским), предполагающая добиться всего не постепенным многолетним трудом, многовековым развитием, а *разом* — прыгнув через столетия. Только такой мечтой о будущей всеобщей счастливой и равной жизни можно утешить рабов, к тому же и не знающих иного состояния, кроме принудительной общинной уравниловки. Поэтому и вроде бы осуществленная мечта оборачивалась новой модификацией рабства (как у Шигалева: «все рабы и в рабстве равны»), оставаясь жить в народном сознании в качестве мифической реальности («как хорошо было при Сталине!»), воображенной духовной соборности, «подлинного равенства» и коллективизма.

Так можем ли мы зажить по-другому? Теперешние процессы — говорят они об изменении ментальности или просто разыгрывается очередной вариант сказки про белого бычка, повтор реформ Александра II, расслоение, а потом новый взрыв?.. Да и вообще — может ли меняться ментальность?.. Ответить однозначно на этот вопрос нельзя. Попробуем порассуждать. Скажем, в XV в. трудно было даже отдаленно предположить, что в этой стране проявится гений такого гуманного и всеотзывчивого, всеевропейского поэта, «славянского Моцарта» (Томас Манн), как Пушкин!.. А ведь появился! И появился целый слой, сословие, которое стало жить интересами культуры, причем откры-

той всем европейским влияниям, воспитывая своих детей на поэзии Пушкина. А в каком-то смысле это важнее многих социальных реформ. Ибо реформы, т.е. сознательное влияние на жизнь, — результат появления рефлектирующего слоя: так полагали, к примеру, русские просветители. Русская поэзия стала второй церковью, по сути заместив сервильное, государственное православие с его казенной верой. Как христианство влияло на человечество, создавая из варваров цивилизованных людей, так и русская литература, выросшая на христианстве, оказалась фактором гуманистического просветления русской ментальности. Однако великий самообман российской интеллигенции, попытка перехитрить историческую закономерность, перескочить из российского настоящего в гипотетическое европейское будущее, привели к катастрофе: гуманистические черты были стерты и восстановились, восторжествовали архаические, агрессивные и изоляционистские особенности ментальности, нашедшие на новом историческом витке свое выражение в сталинизме.

Что же происходит в последние годы? Тирания принудительного единомыслия ушла, но многие жалуются: стало легче дышать, но труднее жить. Исчезает духовность, творческое начало. Принуждение политическое сменилось экономико-социальным. Люди не думают о высоком, стали прагматиками, стараются жить на западный манер, «продавая свое духовное первородство за чечевичную европейскую похлебку». Можно, конечно, ответить банальностью, что тому, кто хочет жить духовно, помех нет, бочка Диогена и служба ночным сторожем всегда возможна, а вообще-то за свободу надо платить, и что ни дай — ничего не жалко. И если культура не сумеет противостоять натиску денежного мешка (хотя противоборствовала государству), то очень обидно, но тогда такую духовность не жалко: во всяком случае западные интеллектуалы, писатели и художники постоянно показывают, что они способны на независимость. Но лучше не говорить банальностей, а посмотреть на конкретные идейно-смысловые сдвиги в нашей культуре за последние тридцать лет.

После колоссального выброса энергии, длившегося с 1917 до середины 50-х, русский народ не выдвинул ни одной мессианистической доктрины и не воспринял таковой. Основная идея, начиная с Хрущева, — жить не хуже, чем в Европе и Америке («догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока и масла!»). Пропал страх перед государством, а также любовь к нему. Уже в 70-е годы в передовых слоях интеллигенции развивается *апология частной жизни* в противовес коллективно-государственной. А интеллигенция в России задает направленность социально-общественного движения. Октябрьская революция явилась, как полагают весьма многие, результатом усилий русской интеллигенции и русской литературы. Именно поэтому, так говорят теперь, революция семнадцатого года была великим порывом и прорывом к светлому будущему, пусть даже не состоявшемуся. А в наши дни торжествует мещанин и спекулянт безо всяких идейных запросов. Но, надо сказать, что и нынешний перелом связан с полувековым (если не больше) стремлением русской интеллигенции (диссидентство и вся потаенная, тамиздатовская и самиздатовская литература) вернуться на тот путь европеизации, с которого она сама помогла сойти России в 1917 г. Именно это и происходит. Причем с невероятной активностью. И характерно, что нынешние радикалы — националисты и неоккоммунисты — мечтают не о новых победах, а пытаются сохранить хоть что-либо из старого. Речь идет не только о территориальных потерях и приобретениях, но и об идейно-духовном наследии, которое, как им кажется, полностью отвергнуто.

На мой взгляд, это совсем не так. «Чистый» национализм в России никогда не работал, но всегда облекался в идеи всемирности. Только в этом случае можно было ощущать себя носителями высшей истины (будь она идеей Третьего Рима или пролетарского интернационализма — все равно) и испытывать превосходство над непоследовательными, а потому и враждебными иноземцами. И этот основной архетипический механизм культуры, определявший ее менталь-

ность, остался прежним. Его можно назвать склонностью к заимствованию или тягой к всечеловечности, понимавшейся Достоевским как способность к целостному восприятию всей европейской культуры. Только нынче всемирные идеи другие, ибо изменилась ценностная ориентация и геополитическая структура мира, — идеи открытого общества, рыночной экономики, — которые, хоть и в диковатом российском исполнении, уже не ведут к изоляционизму, ибо разрушают жупел «вражеского окружения».

Что же дала эта новая мировая идея? Государственность в коллапсе, а гражданское общество еще не состоялось. Зато слышатся песни бардов: «Теперь толкуют о деньгах!» И правда толкуют. Пропагандируют впервые в истории не верную службу, а умение работать на себя. Забыв о «светлом будущем», все хотят быть уверенными не в послезавтрашнем, а завтрашнем дне. Но пока по-прежнему живут «настоящей минутой». Слишком укоренен страх перед непредсказуемыми действиями государства, на первый взгляд, бессильного, но при том вполне замещающего собой гражданское общество. Точнее сказать, оно бессильно в области защиты человеческой личности, а также потеряло власть и желание принуждать граждан к труду, но как прежде всеильно в своих помехах развитию независимой от него экономики.

Государственные структуры хотят все так же контролировать экономику, чтобы собирать с нее жатву удушающих налогов и взяток. От этой неопределенности в нашей жизни царит по-прежнему беспредел, не регулируемый даже идеологией. Избавленное от коммунистических и партийных обязательств и прикрытий, российское троюковское хамство стало откровенным. Население растерянно, как больной после гипнотического сна. К работе больше не принуждают, а по-другому еще надо научиться. Поэтому в глазах агрессивность, безумие и тоска по палке, заставлявшей что-то делать. Личность другого все так же ничто. Бытовой пример: машины, почувствовав себя без надзора ГАИ, несутся не обращая внимания на светофоры и

травят пешеходов, как озверелые охотники несчастных зайцев. Без палки кажется, что «все дозволено». От реализма западных людей мы еще весьма далеки.

И вместе с тем растет поколение (после двух «небитых» поколений — с середины 50-х), которое не связывает свои надежды на устройство жизни с государством, полагаясь прежде всего на личные усилия, ум, талант, умение и ловкость. Оно жаждет независимости, но что из него получится, выйдет ли оно из стихии спекуляции к организации производства отечественных товаров — бог весть! Научиться работать самостоятельно, без государственного принуждения — задача исторической важности и невероятной сложности. Разрешима ли она? Ясно, что открывшийся путь — это путь не в райскую жизнь, не в светлое будущее, а в очень непростой, не менее жестокий, чем прежний (хотя по-другому), но все же свободный мир. Выдержит ли эту свободу привыкшая существовать по закону военного времени — закону «палки», закону принуждения — российская ментальность?.. Можно ли тут предсказывать? Во всяком случае очевидно, что многие черты, характеризовавшие до сих пор нашу ментальность, бледнеют, стираются, уходят в прошлое. Исчезает постепенно психология окруженной данайцами Трои, а соответственно проходят и чувства изолированности и «законной гордости», мессианизма и хилиастического будетлянства. Становятся предметом рефлексии национальные мифы — о соборности<sup>3</sup>; об

---

<sup>3</sup> По глубокому соображению С.С.Хоружего, понятие соборности, оформившееся в трудах А.С.Хомякова, никогда не отождествлялось им с общинностью и другими сходными понятиями, ибо соборность — дело не мирское, а Богочеловеческое и благодатное. «Однако же, — замечает он, — в скором будущем эту грань с пугающей легкостью разучились видеть — а потом научились отрицать. Соборность неуклонно, все сильнее и откровеннее заземлялась, лишалась благодатного содержания и низводилась до простого социального и органического принципа: в известном смысле, этот процесс — сама суть идейной эволюции славянофильства... В этом процессе вырождения пути соборности перекрещивались с путями социалистической идеи... Поэтому в той же нисходящей линии оказываются, в конце концов, и все коммуноидные вариации на темы коллективизма, совпатриотизма или нацбольшевизма» (*Хоружий С. Хомяков и принцип соборности // Здесь и теперь.* 1992. № 2. С. 80-81).

особом пути (после снятия железного занавеса можно было убедиться, что путь каждого народа — особый, и все народы по-своему выходили и продолжают выходить из варварских структур безличного коллективизма); о государственности, якобы присущей русскому народу по самой его сути; об общинности, которая, как подтвердил опыт нынешнего столетия, есть не что иное, как фискально-государственный способ держать народ в беспрекословном подчинении (один отвечает за всех, а все за одного — из этой формулы не вывернешься): колхозы, заводские коллективы, бесчисленные партячейки с их принудительным подчинением личности так называемому коллективному решению, а на самом деле — решению начальства...

Один из отечественных современных писателей-эмигрантов где-то заметил, что нынешняя Россия становится и станет столь же скучной, как Бельгия и Голландия. Пока не заметно. Да и то сказать: такой скучной жизни Россия еще не испытывала, она для нее в диковинку, а потому на ближайшую сотню лет и не скучна. Трезвость и благоразумие — это пока для нас нечто новое и необычное. Да уже и хватит, пожалуй, интересоваться мир своими бедами и трагедиями, гордись ими как знаком отличия от других. Во всяком случае, мечты о «красивых и возвышенных» трагедиях — удел людей сытых и жестокосердных, желающих любоваться пожаром извне горящего дома: что-то от психологии Нерона, сжегшего Рим. Россия, конечно же, остается Россией, а российская ментальность — российской ментальностью. И российские проблемы, трудности и особенности никуда по взмаху волшебной палочки не денутся. Но, возможно, завершается, наконец, затянувшийся период детства культуры, уходит инфантильность, «подростковость», наступает зрелость, «взрослость»... Быть взрослым нелегко, больше ответственности, но это и некоторая гарантия от самоубийственных и жестоких поступков, свойственных молодости.

## IX. «ЛИШЕННЫЕ НАСЛЕДСТВА» (К проблеме смены поколений в России)

### БЫЛИ ЛИ У НАС СТАБИЛЬНЫЕ ЭПОХИ?

Существует устойчивая легенда, точнее даже, мифоподобное убеждение, почти на уровне подсознания, что именно «наше время» — переходное, а вот «прежде» Россия бывала «всегда» стабильной, нашедшей себя, целостной и гармоничной. Однако стоит поинтересоваться: когда же так оно было?

Может, 10 лет назад, в начале горбачевской перестройки? Или 20 лет назад, в брежневский застой, который оказался по сути разложением и распадом, перерождением и переходом системы из одного состояния в другое? А 40 лет назад, в хрущевский период, период целины, космоса, разоблачения сталинских репрессий, возвращения из концлагерей миллионов, попыток «вернуться» к идеализированным «ленинским нормам партийной жизни», а заодно обогнать США «по производству мяса, масла и молока на душу населения»? Уж иным словом как «переходное» это время не назовешь. Точно так же просится это слово и к сталинской эпохе коллективизации и индустриализации, перетряхнувшей всю Россию. Стоит ли говорить о пореволюционных годах с продрозверсткой и НЭПом, швырявших народ из огня да в полымя?

Но, может, раньше, между двух революций? На рубеже веков?.. Однако капитализация России, конечно, страну перестраивала, да и современники иначе как



переломными эти годы и не называли. Что уж говорить о пореформенной России, когда «все перевернулось» (Л.Н.Толстой) и никак не могло уложиться!.. Но таковыми были и время Екатерины II, и Петра I, и время раскола при Алексее Михайловиче, и «смутное время», и период от Ивана III до Ивана IV (избавление от татарского ига и первое вхождение в европейские сношения), даже 250 лет татарского владычества — это время накопления сил и растущего перевеса Москвы. А удельная раздробленность, а Крещение Руси, а становление русской государственности (862 г.) — все указывает на постоянные изменения и переход из одного качественного состояния в другое.

В конечном счете, само культурно-географическое положение России между цивилизующейся Европой (кстати, цивилизация — это тоже процесс, постоянное преодоление собственной варварской природы) и пребывающей в равном себе состоянии варварской Степью предполагало постоянный поиск своей самоидентичности, т.е. существование в ситуации некоторого культурного неустойчивого равновесия. Поэтому, на мой взгляд, *переходность является константой российской истории*. Быть может, это одна из причин, почему проблема поколений вообще существует в России. Как своей переходностью, так и конфликтом поколений она отличается от недвижных азиатско-восточных деспотий и приближается культурно-исторически и типологически к Западной Европе.

## «У ТЕХ ГАМЛЕТЫ, А У НАС ЕЩЕ ПОКА КАРАМАЗОВЫ»

Но долгое соприкосновение, даже долгое совместное проживание с кочевой, нецивилизованной степью (столетия татарского господства!) родило своеобразный симбиоз, который предопределил весьма серьезное различие в российском варианте взаимоотношения «отцов и детей» от варианта западноевропейского. *Различие это — в невероятной остроте конфликта поколений в России*, намного превышающего конфликтность

западноевропейскую. Это различие прекрасно видно из сравнения двух классических произведений западноевропейской и русской литератур, давно уже признанных вершинными в мировой культуре — «Гамлета» Шекспира и «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Сравнение это не надуманное, уже в самом романе русского писателя не раз звучит сопоставление двух типов отношения к жизни — гамлетовского и карамазовского. Все они даны в репликах персонажей, но значит это, что сам Достоевский предлагает нам *меру и тип* для сравнения. Приведем одну из этих реплик (из обвинительной речи прокурора): «Может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет (т.е. в загробной жизни — В.К.)? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

В чем же разница?

*Начнем с отцов.* Отец Гамлета, король, о нем Горацио: «Его я помню; истый был король». Отец братьев Карамазовых, старик Карамазов, при первом же своем появлении на страницах романа, замечает о себе, что «точность есть вежливость королей». На реплику своего родственника: «Но ведь вы по крайней мере не король», — тут же шутовски отвечает: «Да, это так, не король. И представьте, ... ведь это я и сам знал, ей-Богу!» То есть перед нами два отца — король и шут, даже не претендующий быть королем, хотя и намекающий (для читателя) на возможность подобного сближения.

*Отношение детей.* Гамлет об отце: «Он человек был, человек во всем; // Ему подобных мне уже не встретить». Он не может расстаться с отцом, хотя тот мертв: «Отец!.. Мне кажется его я вижу... В очах моей души». Сам облик отца говорит Гамлету о божественной сотворенности человека: «Поистине такое сочетанье, // Где каждый бог вдавил свою печать, // Чтоб дать вселенной образ человека». Смерть отца — для него почти космическая катастрофа: сюжет трагедии — месть за отца. Дмитрий Карамазов отца иначе, чем «псом» и «Езопом» не называет. Езоп в его словоупотреблении значит шут и «урод». Про отца он восклицает: «Зачем живет такой человек!.. Скажите мне, можно ли еще позволять ему бесчестить собой землю». То есть уро-

вень тоже вполне космический, хотя и с другим знаком, поэтому кричит он отцу: «Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем...» Это прямое отличие от Гамлета, чувствующего себя продолжением отца. Сам облик отца Карамазова вызывает у его сына негативно-уничтожающие чувства: «Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую». Не отстаёт от него и брат Иван в своих «родственных» чувствах, замечая об отце и брате Дмитриии: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!» В конце концов, незаконный сын старика Карамазова Смердяков убивает отца. Но весь роман — о степени вины каждого из братьев в этом отцеубийстве.

Пожалуй, более других русских Любомудров задумывавшийся об этой проблеме Николай Федоров писал: «Нигде антагонизм молодого с старым не дошел до такой крайности, как у нас»<sup>1</sup>. Отчего так?

### *Отцы и дяди*

Посмотрим прежде как русская классика оценивала старшее поколение, т.е. отцов, *еще до Достоевского*. Тогда, быть может, мы угадаем причину конфликта.

Вот Грибоедовский Чацкий:

Где? укажите нам, отчества отцы,  
Которых мы должны принять за образцы?

Итак, *отцы показывают отсутствие образца и примера*, лишая потомков возможности наследовать некий достойный, уважавшийся бы ими образ жизни.

А вот отец пушкинского Онегина:

Долгами жил его отец,  
Давал три бала ежегодно  
И промотался наконец.

А у Лермонтова? Чем богаты дети? «Ошибками отцов и поздним их умом» («Дума»). И в чем предчувствует

---

<sup>1</sup> Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982. С. 77.

свою вину перед следующим поколением, «детьми», лирический герой стихотворения, будущий «отец»?..

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,  
Потомок оскорбит презрительным стихом,  
Насмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом.

Мысль одна — отцы промотались и *не оставили наследства*, потому и не испытывают дети к отцам уважения. Ведь ошибками на самом деле богат не будешь. Скажем, дядя Евгения Онегина наследство имел, а потому и «уважать себя заставил». Кажется, однако, что его отец к такому уважению относился вполне равнодушно; во всяком случае сына он понять «не мог // И земли отдавал в залог». Ответное равнодушие и неуважение вполне объяснимо. Ведь давно уже сказано, что дерево узнается по плодам его.

Впрочем, ситуация не столь безнадежна, как это может показаться из вышеизложенного. Именно потому, что сам Пушкин чувствовал «любовь к отеческим гробам», он оказался способен увидеть отсутствие этой любви в жизни современного ему общества. Надо учесть, что наследство определяется ценностными характеристиками. А как полагал Норберт Винер, простое накопительство, без создания ценностей, означает потерю стоимости наследства — в пределе до его полного обесценения. Сохранение наследства требует его приумножения, которое возможно в том случае, когда существует личность, способная воспринять наследство как стимул к творчеству. Когда, скажем, К.Аксаков в 1848 г. («О Карамзине») объявлял всю отечественную современную ему словесность явлением отвлеченным, «ложным по своей сфере» и «нисколько не народным и не живым», он выступал по сути дела как самый завзятый, все отрицающий нигилист. Ведь существовали уже и Пушкин, и Гоголь, и Жуковский, и Лермонтов, и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский — и они не были единичными исключениями, а представляли вершины складывавшегося массива русской литературы, некоего целостного явления — нашего сегодняшнего наследства. Как раз создание новых смыслов и ценно-

стей — философских и художественных — определило вопрошающий взгляд российской словесности на общество, которое еще не усвоило «идею наследования».

Создавать капитал наследства, а потом не транжирить его, работать с ним, постоянно пополнять — может только личность, свободная и самодеятельная. Но таковые лишь начали возникать после реформ Екатерины II, утвердившей (хотя бы среди дворянства) *права частного лица*. Обществу, однако, требуется время, чтобы научиться пользоваться этими правами. Сама Екатерина подчас нарушала их. Сохранялись привычки беспорядка, которые, то ослабевая, то усиливаясь, досуществовали до сегодняшнего дня. *В плане экономическом* это означало — промотать, прогулять доставшееся состояние, чтоб не успело отобрать государство, которое и доселе воспринимается как единственный хозяин всей и всяческой собственности. *В плане духовном* — самодержавный официоз и консервативный национализм требовал ограничить общественные потребности идеалами Московского царства, что заведомо истощало, по сути проматывало богатейшее наследие Древней Руси, бравшее свое начало в общеевропейском антично-христианском прошлом.

Самодеятельная личность вырабатывается трудно, это новый этап антропогенеза. Жить стаяй, общиной привычнее, зверинее, *проще*, ибо нет нужды тогда у особи в собственных духовных усилиях. Появление Жуковского, Пушкина и им подобных значило много, но отнюдь не вело к автоматическому преобразованию нации в сообщество самодеятельных индивидов. Даже в «средне-высшем» (определение Достоевского) слое русского дворянства, уже знакомого с правами собственности и наследства, господствовало «гусарское» или «хлебосольное» проматывание состояния (отец Николеньки Иртеньева из «Детства», граф Ростов из «Войны и мира»), определяя тип жизни разоряющихся «дворянских гнезд».

Такое положение дел создает весьма специфическую социально-психологическую и культурную ситуацию.

«Проматывающийся отец» не думает о своих детях, не дает им возможность повзрослеть, подойти к своим отношениям с миром ответственно. Не распоряжаясь наследством, хотя постоянно ожидая его, надеясь на него, дети находятся на положении вечных приживалов, как, к примеру, будущий император Павел при Екатерине II, которая, несмотря на его совершеннолетие, не уступила ему корону. Тем самым он вынужден был оставаться ребенком, *недорослем*, который мог «жениться», но не имел ни права, ни возможности на действие. Результат — социальное безумие, неадекватность Павла I. Такой же большой, нелепый и неуклюжий недоросль — Пьер (в «Войне и мире»), который не располагает при жизни отца даже правом носить его фамилию, не говоря уж о возможности самостоятельно строить свою жизнь. И только смерть отца, его предсмертное раскаяние превращают просто Пьера в Пьера Безухова, в Петра Кирилловича Безухова, наследника миллионного состояния. Впрочем, раскаявшийся незаконный отец — это тоже вариант «дяди». Случайность усыновления равна бесконечному ожиданию смерти бездетного дяди, который еще неизвестно кому оставит свое имущество.

Итак, *наследство приходит сбоку, «от дяди»*. В том числе и наследство духовное. Ведь отцы, по словам Лермонтова, прошли над миром, «не бросивши векам ни мысли плодovитой, // Ни гением начатого труда». Каждый раз это наследство дети получают не по прямой линии, а сбоку, *не от России, а от Запада*. «Не поразительно ли, — писал в «Вехах» историк русской мысли М.О.Гершензон, — что история нашей общественной мысли делится не на этапы внутреннего развития, а на периоды господства той или другой иноземной доктрины? Шеллингизм, гегелианство, сен-симонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантианство, Мах, Авенариус, анархизм, — что ни этап, то иностранное имя»<sup>2</sup>.

Гершензон ставит здесь весьма важную культурологическую проблему, имеющую самое прямое отноше-

---

<sup>2</sup> Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 83.

ние к нашей теме. И истоки этой проблемы — на самой заре превращения языческой Руси в Русь христианскую. Дело в том, что христианство мы получили из Византии, *но не на древнегреческом, а «с помощью дяди», через язык-посредник, через древнеболгарский.* А стало быть, в отличие от Западной Европы, получивший на латыни практически все античное наследие, включая и труды первых Отцов Церкви, Русь, находившаяся вроде бы близко к стране Античности и «чистого» Христианства, — к Греции, была лишена возможности непосредственного наследования — только через переводы. Но и этот источник скоро иссяк: удельные войны и татары извели русскую книжность, лишь монастыри с трудом хранили «бледные искры византийской образованности» (Пушкин). Но тоже на языке-посреднике. После освобождения от татарского ига первыми о византийском наследстве вспомнили московские цари (Иван III), но и они далее знаков царской власти не шли. Подданные царей жили в блаженном внеисторическом времени и пространстве.

Наконец, раскол и реформы Петра заставили наиболее активную часть общества *отнестись к идее наследования осознанно.* Но только на рубеже XVIII и XIX вв., усвоив живые европейские языки — главным образом, немецкий и французский, Россия сумела вернуть себе вроде бы давно ей положенное античное наследство (лицейский период Пушкина, его анакреонтика и т.п., переводы Гомера Гнедичем и Жуковским). В России, наконец, зазвучал «умолкнувший звук божественной эллинской речи» (Пушкин). В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь замечал, что благодаря Жуковскому Россия приняла Гомера «как родного». И возлагал надежды на преображение страны под воздействием гомеровской поэмы. Но интересно, что *перевод Гомера Жуковский делал по немецкому подстрочнику*, т.е. прибегнув к содействию уже «другого дяди», чтобы Россия приобщилась к античному наследству. Отмечу только, что похвалявшиеся чистотой полученного из Византии христианского образования забывали: школа у ромеев основывалась на подробном

чтении и изучении гомеровских поэм. И лишь спустя тысячу лет после первых контактов с великой империей Русь получила азы ее школьной программы. Западная же Европа уже много столетий разрабатывала это античное наследие, внося новые смыслы, обогащая его. Поэтому постоянный интерес русских людей к западноевропейским теориям вполне понятен: это и ученичество, и поиски себя: своего утерянного наследства.

На этом пути возникали, разумеется, сложности и взаимонепонимания русских учеников. В «Отцах и детях» Тургенева это показано с поразительной ясностью. Хотя вся критика без устали (начиная с Писарева) твердит, что именно в этом романе впервые зафиксирован надрывный российский конфликт поколений, Тургенев глубже и ироничнее. Его герои, и дети, и родители, только лишь *воображают*, что находятся друг с другом в конфликте. Аркадий близок и к своему отцу, и даже дяде, роман (в его линии) заканчивается семейным альянсом Кирсановых. Что же касается Базарова, то и этого неукротимого нигилиста обожают его родители, да, похоже, и он их любит. *В чем же конфликт? Да в разных установках — социальной и идеологической.* Базаров крут с Кирсановыми, ибо он из другой среды: «Мой дед землю пахал», — надменно произносит Евгений Базаров. А идеологическая разность объясняется тем, что в Россию пришли новые немецкие авторитеты, вместо Шеллинга и Гегеля — Бюхнер и другие. Устами героев борются не смыслы разных поколений, а смыслы двух заимствованных идейных концепций. Как замечает Павел Петрович: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Впрочем, Тургенев не угадал, что разность заимствованных идеологических концепций помножится и на биологический конфликт поколений. И это столкновение будет тем острее, чем крепче *вера в новый западноевропейский идеологический концепт, которому придается абсолютный смысл.*

### *Взыскующие наследства и нигилисты*

Идеи брали на Западе, но переиначивали, переосмысливали их вполне в российском духе. Павел Петрович Кирсанов, дядя, хочет, чтобы наследство пере-



няли от него. Он им обладает, у него есть идеи, которые он сам уже принял у «европейского дяди». Но родной дядя по сравнению с европейским оказывается как бы отцом, наследство которого не то чтобы проблематично или не нужно, но оно заемно, а следовательно, лучше уж и далее заимствовать там, где эти идеи производятся. Так и шло из десятилетия в десятилетие — два по крайней мере века: восемнадцатый и девятнадцатый. В XIX в., правда, *наследство появилось*, но это было так непривычно, что *от него отказывались*.

Что же было следствием? С каждой очередной западной концепцией российская духовная жизнь словно бы начиналась заново, почти с нуля. Об этом тяжкие размышления Чаадаева: «Мы же, явившись на свет, как незаконнорожденные дети, *лишенные наследства*, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существования. Каждому из нас приходится самому искать путей для возобновления связи с нитью, оборванной в родной семье»<sup>3</sup> (курсив мой. — В.К.). Похоже, именно западник Чаадаев выразил умонастроение тех русских мыслителей и поэтов, что тосковали по отеческому наследству. Такая критическая, болезненная, взыскующая тоска, заметил как-то Достоевский есть показатель высокого духа. Но почему отеческого наследства взыскует — западник? Да потому, что Запад для русских явился образцом цивилизации, развивающейся преемственно, от отцов к детям. Этой-то последовательности и не хватало Чаадаеву в России. Замечу, что его духовный воспитанник великий русский поэт Пушкин («наше — все») нашел и обозначил российскую преемственность: от Петра Великого, «кем наша двинулась земля». Явление Петра осветило историческим светом не только будущее — до Пушкина, но и прошлое. Петр стал точкой отсчета в обе стороны по временной оси координат. С ним пришло в Россию два понятия — «до» и «после», т.е. история.

*После Петра самодержавие приобретает характерные черты европейского абсолютизма*, что так раздражало русских консерваторов. Как они полагали, «монар-

---

<sup>3</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 21.

хия усваивает себе идею абсолютизма только в виде прямого искажения собственного принципа»<sup>4</sup>. Усвоившие себе эту идею европейские монархии были ограничены в своих возможностях «благородным сословием». Это произошло в Западной Европе примерно к эпохе Ивана IV, воплотившего в России с невероятной силой идею неограниченного самодержавия. Но именно такой, неограниченной, и должна быть монархическая власть, чтобы быть верховной, — считал Л.А.Тихомиров, в прошлом член ЦК «Народной воли». Очень, кстати, характерно это перерождение бывшего террориста в яростного монархиста, ждавшего и от монархии абсолютного владычества над человеческими судьбами. Не случайно, его любимым героем в русской истории был Иван Грозный.

На Западе дворянство, поставившее над собой и монархом идею закона и блага страны, приобрело независимость и личное достоинство, которые защищались преодолевавшим бывший феодальный произвол *законом*, а стало быть, могли наследоваться. Аналогичный процесс начинался и в России. Скажем в послепетровский период ушедшее угрюмое и бесправное боярское местничество превратилось в элемент дворянской родословной, стало поводом к развитию дворянской чести, аргументом в пользу сословной и частной независимости. Во всяком случае Пушкин с гордостью говорил о себе: «Бояр старинных я потомок». Относясь иронически к «дряхлеющим родам», выше ставя свое личное, «мещанское», достоинство, он тем не менее принял это «боярское» наследство. Влияние западной идеи преемственности сказалось в России к концу XVIII в. в поисках собственного культурного прошлого: собрание летописей, былин, народных песен и т.п.

Но была в России непривычка к наследству. К его хранению, передаче, получению. Факт, как было показано выше, зафиксированный русской поэзией. Поэтому пришедший с Запада вульгарный материализм оборотился в России нигилизмом, ибо именно *нигилизм*

---

<sup>4</sup> Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. М., 1993. С. 126.

*отвечал у нас мощной многосотлетней почвенной традиции. Традиции жизни без наследства.*

Иные русские мыслители видели в таком положении дел преимущество России, показывающее ее молодость, *ее предназначение начать новую страницу истории. Нету прошлого, нету наследства — и не надо!* Причем многое из прошлого хотелось бы и самим вычеркнуть, чтоб его как бы и не было. На такой позиции вырастал и стояло русское революционерство леворадикального толка, начало которого я вижу в Бакунине и Герцене, писавшем в своем трактате «О развитии революционных идей в России»: «Нелегко Европе... разделаться со своим прошлым; она держится за него наперекор собственным интересам, ибо <...> в настоящем ее положении есть многое, что ей дорого и что трудно возместить... Мы же более свободны от прошлого, это великое преимущество... *Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно, ограничено.* Такие вещи, как *московский царизм или петербургское императорство, любить невозможно.* Их можно объяснить, можно найти в них зачатки иного будущего, но *нужно стремиться избавиться от них как от пеленок...* У нас больше надежд, ибо мы только еще начинаем ...»<sup>5</sup> (курсив мой. — В.К.). В эти же годы Бакунин объявил «страсть к разрушению» — *творчеством*, выразив тем самым крайний нигилизм и «проматывающих отцов» и «детей-отрицателей».

Эти идеи были подхвачены «молодой эмиграцией» конца 60-х — начала 70-х (Ткачев, Нечаев), уже прямо заявившей, что цивилизация, школа, книги, достижения духа — только помеха для революции, *но поскольку Россия молода и отстала, она сможет обогнать омещанившийся, обуржуазившийся Запад.* Напрасно западный революционер Энгельс иронизировал над этой точкой зрения, заявляя: «Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени развития общественных производительных сил, становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не

---

<sup>5</sup> Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1956. Т. 7. С. 242, 243.

повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства... Человек, способный утверждать, что эту революцию легче провести в такой стране, где *хотя* нет пролетариата, но *зато* нет и буржуазии, доказывает лишь то, что ему нужно учиться еще азбуке социализма»<sup>6</sup>. Напрасно Герцен в предсмертных письмах «К старому товарищу» выступил против молодых радикалов, согласившись со своим старым оппонентом Чернышевским, что *вне цивилизации право личности утвердить не удастся*. А ведь даже в самый революционный свой период он исходил из того, что «нет ничего устойчивого без свободы личности»<sup>7</sup>. Только искал эту свободу в *развалинах* «старого мира».

Но молодым нигилистам было наплевать на личность и ее свободу, поэтому разрушения они не боялись. Тем более, что к концу столетия среди революционеров появился человек, «усвоивший» западные уроки марксизма, и сказавший, что в России *уже есть* и пролетариат, и буржуазия, более того, за короткий промежуток времени — за каких-нибудь двадцать пять лет — Россия достигла высшей точки капитализма — империализма. Хотя ироники твердили, что у нас *нет ни труда, ни капитала, но есть зато борьба между ними*, нигилистическое слово оказалось сильнее, совпав, как я уже говорил, с мощной почвенной традицией. Так и возникло *вполне победоносное* тоталитарное движение XX века. Как констатировал Федор Степун, «следы бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»<sup>8</sup>. Победив, нигилисты-большевики вернулись по сути в допетровское прошлое, скрыв, по словам Бунина,

пучиной окаянной  
Великий и священный Град,  
Петром и Пушкиным созданный  
(«День памяти Пётра»)

Большевики воображали себя и убеждали других, что они наследники и продолжатели петровских пре-

<sup>6</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 537-538.

<sup>7</sup> Герцен А.И. Указ. соч. Т. 7. С. 242.

<sup>8</sup> Степун Ф. Встречи и размышления. London, 1992. С. 112.

образований. Но Бунин, один из самых зорких и про-  
ницательных людей России, показал, как в «окаянные  
дни», когда пришла «ужасная пора», предсказанная  
Пушкиным в «Медном всаднике», *град русской цивили-  
зации* был затоплен разбушевавшейся стихией отечест-  
венного нигилизма.

### *Традиция нигилизма, или вечная детскость*

Петр и Пушкин стали символами возникшей рус-  
ской цивилизации. Их усилием Россия сызнова приоб-  
щалась к *европейской традиции наследования*. Но ведь  
была у нас и другая — нигилистическая — традиция.  
Откуда она взялась? И что она такое есть?

Дело в том, что прошлое никогда не бывает листом  
чистой бумаги. «Были, — замечал Чернышевский, —  
уже написаны на этом листе слова... Эти слова не «За-  
пад» и не «Европа» <...>, звуки их совершенно не та-  
ковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда  
французу или англичанину и вообще какому бы то ни  
было немцу произнести наши Щ и Ы. Это звуки вос-  
точных народов, живущих среди широких степей и не-  
обозримых тундр»<sup>9</sup>. Но надо сказать, что эти звуки,  
эти слова — «степь» и «иго» — были написаны поверх  
вполне европейских слов, прозвучавших когда-то в  
Новгородско-Киевской Руси. Почему они стерлись?

Каждая культура проходит природно-языческую  
стадию общинного хозяйствования, где время циклич-  
но, имущество принадлежит роду-племени, а потому  
не возникает даже вопроса о наследовании и преемст-  
венности. А цикличность времени предполагает и от-  
сутствие истории. *Только с появлением частной собст-  
венности*, когда из общинно-коллективистского без-  
личного сообщества выделяется индивид, *начинается*  
*цивилизационный этап культуры*, появляется разделение  
труда и общественное производство. Происходит не  
только родовая трансляция социально-биологических  
навыков, но и трансляция от предков к потомкам лич-  
ностных смыслов, воплощенных как в материальном,

---

<sup>9</sup> Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 610.

так и в духовном наследстве. Но *укорененный в далеком прошлом родовой механизм культуры* отвергает новое состояние дел, *блокирует возникшее историческое развитие*. Этот культурно-родовой механизм способствует влияниям, препятствующим цивилизации.

В России частная собственность как цивилизующий элемент жизни продержалась не более четырех столетий и была сметена татарским нашествием. По «монгольскому праву на землю» *прежде всего была уничтожена земельная частная собственность*: вся завоеванная земля принадлежала хану и жаловалась в пользование специальными ярлыками. Это низвело народ в социально-экономическом плане до родо-племенного уровня. Монгольские принципы власти переняла «татарофильская» (Г.П.Федотов) Москва. Борьба боярства, сохранявшего прежний принцип владения землей, оказалась безуспешной: победил московский князь. И вотчины были заменены поместьями, жалуемыми только за службу. Этот *победивший принцип жизни кочевого племени утвердился на много столетий, совпав с родо-племенным отрицанием наследства*. Боярское «местничество» казалось народу смешным, ибо, как писал Пушкин, «кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства»<sup>10</sup>. Это и была та традиция нигилизма, которую Россия пыталась преодолеть в постпетровский период, когда дворянские и купеческие семьи обрели неотчуждаемую и неотбираемую государством частную собственность, которую стало возможным передавать по наследству.

Реакция этой нигилистической традиции на цивилизационные попытки России обустроится (Великие реформы Александра II и т.п.) была огромной, причем нигилизм распространялся не только на отрицание частной собственности, но на духовные достижения. Отказ от культурного наследства стал весьма важной темой конца века. Все 90-е годы Лев Толстой пишет свой трактат «Что такое искусство?», приходя к отрицанию всего западноевропейского и русского (включая

---

<sup>10</sup> Пушкин А.С. Собр. соч. В 10-ти т. М.-Л., 1951. Т. 7. С. 225.

и свое творчество) искусства, как порождения «богатых классов». В 1891 г. В.В.Розанов публикует статью «Почему мы отказываемся от «наследства 60—70-х годов»?», в которой высказывает соображение, что «люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена»<sup>11</sup>, выбрав на самом деле не зерно, а плевелы. Поэтому из созревшей жатвы пища не питательна, и дети *вынуждены* отказаться от наследства отцов. В 1892 г. Д.С.Мережковский публикует программную работу «О причинах упадка и о новейших течениях современной русской литературы», где принимает *часть* отцовского опыта, а от другой части отказывается. Эта статья стала программой русского модернизма. Русским модернистам казалось, что новые откровения западной мысли предполагали отрицание предыдущих откровений. Дело было, однако, не в новых западных заимствованиях, а в продолжающейся работе механизма отечественного нигилизма. Именно в этой — модернистской — тональности написана в 1897 г. знаменитая работа В.И.Ленина «От какого наследства мы отказываемся?»

Ленину казалось, что культурное наследие можно разделить на плохое и хорошее. Плохое — отринуть, а хорошее — принять. Именно ему удалось проверить это модернистское утверждение исторической практикой. Оказалось, что отбросить *часть* духовного наследия — невозможно. В таком случае оно отвергается целиком, а люди, рожденные эпохой революции, торжественно провозглашают «новое» *смертью* «старого», как это сделал Хлебников в «Октябре на Неве»: «Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти»<sup>12</sup>. Но как отвергается целиком, так целиком и возвращается. Дальнейшая судьба страны показала, что наследуемый тип культуры нерасчленим — и в плохом, и в хорошем. В меняющемся

---

<sup>11</sup> Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. С. 123.

<sup>12</sup> Хлебников В. Проза. М., 1990. С. 65. Характерно, что в своей автобиографии Хлебников подчеркивал свое «антицивилизационное», антипушкинское происхождение: «Родился 28 октября 1885 в стане монгольских... кочевников» (Там же. С. 3).

обличье, в превращенном виде все явления и архетипы культуры продолжают жить, перетекая из прошлого в настоящее. От духовного наследия, как и от культурных традиций нельзя отказаться: *их можно гуманизировать и цивилизовать*. Но эта задача не решается революционным путем. На нашем опыте мы убедились в этом сполна.

Герцен в свое время возмущался, что западные революционеры ведут борьбу «лишь для того», *чтобы жить не хуже богатых классов*, а вовсе не с целью построить «новое» общество. *Строить наново оказалось участием русских радикалов*. Совсем наново. «Почему не атакован Пушкин?» — спрашивал первый поэт революции. Так разрушать могут только дети и подростки, не имеющие даже понятия (исторически не выработалось!), что такое «наследство», дети, у которых вся жизнь впереди. *Отменив частную собственность, большевики отменили принцип цивилизационного, последовательного, преемственного развития*. Паллиативы вроде борьбы Ленина с Пролеткультом, сохранения Большого театра, введения в школьную программу Пушкина и Толстого (должным образом препарированных и откомментированных) только высвечивали картину всеобщего одичания, когда произошел тотальный отказ — и от «никому не нужных» отцов и от «устарелых» западных дядей, смерть которых казалась неизбежной с сегодня на завтра. Поэтому если Петр и Пушкин усвоили России Запад как наше общее с Европой прошлое, то после Октябрьской революции воскресла традиционно-варварская, нигилистическая идея *о нашем безусловном превосходстве над Западом, благодаря отсутствию у нас исторических традиций, благодаря нашей детскости*. Маяковский писал:

Другим  
    странам  
        по сто.  
История —  
        пастью гроба.  
А моя страна —  
        подросток, —



твори,  
выдумывай,  
пробуй!

Итак, спустя тысячу лет развития Россия — по-прежнему «подросток». Об этом в 1918 году и Василий Розанов, но с удивлением и тоской: «Страшно, дико: но, проживя тысячу лет — мы все еще считаем себя «молодыми», «молодую нацию»<sup>13</sup> (курсив В.Розанова. — В.К.). Однако ощущение это, что нам еще все только *предстоит начать*, как я уже говорил, коренится в глубокой традиции культуры без наследства. *Недоверие к собственному прошлому рождает веру в великое будущее*. Но где гарантии этого величия? Константин Леонтьев звучит здесь скептичнее и желчнее любого западника: «Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды»<sup>14</sup> (курсив К.Леонтьева. — В.К.). Аналогично в середине прошлого века отношение славянофила Хомякова к рассуждениям о «детской восприимчивости» России: «Утешительный вывод: девятисотлетний рост будущей обезьяны»<sup>15</sup>. Эти lamentации — реакция на бесконечные попытки каждый раз начать все заново.

Вряд ли такое состояние общества говорит об устойчивости цивилизационных завоеваний. Склонность к постоянным перерывам в развитии свидетельствует скорее *не о молодости, а о духовной невзрелости*, об определенной, многократно опробованной культурой *защитной реакции против усложнения социума*. Разговоры о нашей исторической юности возникали в результате нежелания знать *свое реальное прошлое*, пусть скверное, не красящее, но действительно бывшее. Гораздо легче и спокойнее, как это и делает подросток, придумать себе красивую биографию, создать руками официозных борзописцев историко-олеографическую родословную России. Но это псевдоистория. Так надо, потому что нечто похожее есть у заграничных деточек. Отрекаясь от реального прошлого, не выросли.

---

<sup>13</sup> Розанов В.В. Сочинения. С. 462.

<sup>14</sup> Леонтьев К. Избранное. М., 1993. С. 115.

<sup>15</sup> Хомяков А.С. Соч. В 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 529.

Лет до ста  
расти  
нам без старости  
(В.Маяковский).

Но история возникает там, где есть развитие и взросление, то есть реальное знание о себе и преодоление себя. Вопрос о нашей детскости, нашей невзростости остается актуальным и сегодня.

Нынешние отечественные культур-философы продолжают твердить о *детскости* национальной ментальности, о *незрелости*, *сиротстве* русских людей. Разумеется, интонации этих рассуждений различны. Тон *умильный*: «Не о «вечно бабьем» или «неотмирном» в русской душе надобно говорить, а о «детском». Символ детства должен стоять на самом видном месте, а не в ряду случайных, необязательных символических обозначений, ибо «детское» помогает понять главное в душе народа»<sup>16</sup>. Ведь именно «детская вера русского народа в возможность обретения земного Царства сделала коммунизм по-настоящему действенной силой и подпитывала ее несколько десятилетий»<sup>17</sup>. Теперь *тон саркастический*, отчасти даже самоедский: «Отцеубийство» — это взгляд детей на отцов как на прошлое, от которого должно избавиться вследствие его ложности, — извечная для русских ситуация»<sup>18</sup>. И далее мысль поясняется, что в России «опыт отцов только потому заметен, что от него надо скорее избавиться, разрушить как можно глубже»<sup>19</sup>.

## ДЕТИ ИЛИ ... РАБЫ?

На мой взгляд, в этих, вышеприведенных высказываниях представлена некая *феноменологическая констатация явления*, не более того. Хуже, что не всегда точ-

---

<sup>16</sup> Карасев Л.В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 92.

<sup>17</sup> Там же. С. 96.

<sup>18</sup> Мильдон В.И. «Отцеубийство» как русский вопрос // Вопросы философии. 1994. № 12. С. 51.

<sup>19</sup> Там же. С. 54.

ная. Начну с утверждения о «необходимости избавиться от опыта отцов». Беда, и большая, как я уже старался показать, что само накопление опыта, *опыт* как таковой, передаваемый следующему поколению, — *отсутствует*. Промотан. Даже негативный. Ибо опыт — это научение, даже «ошибки отцов» должны бы учить детей преодолевать прошлое, все время для этого помня его. А *передаются* только социобиологические *рефлекс*ы защиты от мира. Словно бы культура не рефлектирует по поводу себя, остается на уровне природного механизма. Как писал Чаадаев: «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для самих себя. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно»<sup>20</sup>. Детям не от чего избавляться, все пропадает само собой.

«Детскость» потому определяет культуру, что отцы — те же дети, а дети, как показал в «Думе» Лермонтов, ничуть не лучше отцов. Человек биологически становится отцом, оставаясь по сути ребенком. Говоря об отцах, мы на самом деле описываем детей, и наоборот. Отцы не могут — в плане духовно-нравственном — считаться отцами. Приведу несколько шаржированное высказывание защитника на суде из «Братьев Карамазовых»: «Такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и недостоин называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность». Кто же отцы? Ведь ведут они себя, как распущенные, развращенные подростки, не знающие удержу и нормы. Об этом программное стихотворение Н.А. Некрасова «Родина»:

И вот они опять, знакомые места,  
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,  
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,  
Разврата грязного и мелкого тиранства;  
Где рой подавленных и трепетных рабов...

Ключевые слова здесь — «жизнь... бесплодна и пуста», а также слово «рабы». *Отцы проматываются* «сре-

---

<sup>20</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 21.

ди пиров и разврата». Они бесплодны. *Раб*, однако, тоже *бесплоден*, он не творит произведений культуры и цивилизации, выполняя лишь указания хозяина, по сути он *проматывает свою жизнь*. Но хозяева здесь — те же рабы. «Взгляните только на свободного человека в России, — замечал Чаадаев, — и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом»<sup>21</sup>. Потомство рабов столь же бесплодно, ибо точно так же существует не самодостаточно, а прихотью очередного хозяина. Вот вам «дети» в лермонтовской «Думе»... Чем они отличаются от отцов?

Толпой утрюмою и скоро позабытой  
Над миром мы пройдем без шума и следа,  
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,  
Ни гением начатого труда.

Запоминаются — свободные люди, совершающие деяния. Рабы позабываются скоро, им не дано совершить поступков, они объекты, а не субъекты. Но ведь дети, которые у Лермонтова чувствуют себя будущими отцами, прямо сообщают о себе: «перед властью — презренные рабы». Итак, квадратура рабского круга, которая порождает у детей «равнодушную ненависть» к отцам — по произволу ли природного господина, потому ли что отцы ощущаются не отцами, а посторонними, ибо *не оставляют в наследство смысла жизни*, а смысл этот дети черпают со стороны. Поэтому все отцовские приказания и призывы кажутся детям *абсолютно ложными, не относящимися к реальности*. По справедливому наблюдению Чаадаева, прежние идеи у нас с такой легкостью выметаются новыми, потому что последние тоже явились к нам извне.

Из века в век *ребенок воспитывается в архетипе рабства*. В блоковском предреволюционном «Коршуне»:

В избушке мать над сыном тужит:  
«На хлеба, на, на грудь соси,  
Расти, *покорствуй*, крест неси».  
Идут века, шумит война,  
Встает мятеж, горят деревни,

---

<sup>21</sup> Там же. С. 270.

А ты все та ж, моя страна...

(курсив мой. — В.К.).

Что же мешало России, несмотря на явную одаренность народа, на принадлежность к христианской культуре (которая вывела Западную Европу из хаоса Темных веков), обрести внутреннее развитие, естественную взаимосвязь поколений, осуществляя органическую преемственность духовных ценностей? Почему и сегодня отцы равнодушно посылают детей на убой то в Афганистан, то в Чечню, рождая у тех отчуждение и презрение к миру взрослых? Ибо отцы словно недоразвитые дети продолжают играть в солдатиков, не испытывая чувство ответственности за будущее страны. У нас существует «Комитет солдатских матерей»: матери пытаются спасти жизнь своих сыновей. Отцы же безмолвствуют.

## РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ, ИЛИ ПРОБЛЕМА ПОВЕРХНОСТНОЙ ХРИСТИАНИЗАЦИИ СТРАНЫ

В начале прошлого века католический мыслитель, дипломат, много лет проживший в Петербурге, Жозеф де Местр так объяснял культурно-возрастную ситуацию России: «То нравственное возрастание, которое постепенно ведет народы от варварства к цивилизации, было остановлено у вас, и, так сказать, *перерезано* двумя великими событиями: расколом десятого века и нашествием татар»<sup>22</sup> (курсив Жозефа де Местра, выделено мною. — В.К.).

В *десятом веке* Схизма, однако, еще не оформилась окончательно, официальный раскол христианской церкви произошел в 1054 г. А к этому времени Киевская Русь стала законной частью европейского мира. «Киевщину, — писал русский историк А.Е.Пресняков, — знали на Западе, считали богатой и культурной страной и отнюдь не смотрели на нее свысока, как на

---

<sup>22</sup> Местр Жозеф де. Петербургские письма. 1803-1817. СПб., 1995. С. 140.

варварскую окраину. В те времена молодое русское государство было хоть отдаленной и обособленной, но частью европейского мира, а Киев — существенным для него оплотом»<sup>23</sup>. Уже после Схизмы на Русь приезжает вполне дружески от императора Генриха IV послом епископ трирский Бурхардт, в XI и XII вв. продолжают династические браки с королевскими домами Западной Европы: скажем, Владимир Мономах женат на дочери англосаксонского короля Харальда, а Мстислав Великий на дочери шведского короля. Да и церковь вполне свободна, она «не смешивалась с государством и стояла высоко над ним»<sup>24</sup>.

Ситуация меняется в столетия татарского ига, отрезавшего Русь от Западной Европы, тем самым укрепившего Схизму. Русское, экуменическое по духу и пафосу православие, связывавшее Западную Европу и Константинополь, превращается в националистическое, а с укреплением Москвы, с «московизацией Руси», церковь получает статус автокефальной, но при этом полностью оказывается подчиненной верховной власти. Русское православное христианство отныне освящает все нужды и потребности государства, а потому, скажем, не препятствует становлению в XVII в. крепостного права. Православие, само перестав быть свободным, не могло отстаивать и свободу паствы. Все человеческие проблемы рассматривались только с точки зрения государственно-церковной пользы.

В том числе и нашедшие в христианстве свое решение отношения *отцов и детей* (Отца и Сына) православием по сути дела игнорировались. В статье «Русская Церковь» (1905) Василий Розанов, быть может, наиболее глубоко размышлявший о метафизике брака и семьи русский мыслитель, писал: «У русских и православных вообще плотская сторона в идее вовсе отрицается, а на деле имеет скотское, свинское, абсолютно бессветное выражение... Свет младенца, радости родительские, теплота своего угла, поэзия родного

---

<sup>23</sup> Пресняков А.Е. Княжное право в Древней Руси. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 380.

<sup>24</sup> Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х т. СПб., 1992. Т. 2. С. 279.

крова — все это непонятные русскому (кроме образованных, атеистических классов) слова, все это недопустимые с церковной точки зрения понятия. Церковь допускает, что если супруги вступают в соединение, то <...> русская чета должна думать не о себе, а о том, что через рожденных от нее детей, обязательно крестимых в Православие, возрастет численность православного населения и мощь веры... Самим родителям, самой семье не уделяется Церковью никакого внимания»<sup>25</sup>.

Такое состояние православия приводило складывавшееся русское общество вполне закономерно к *религиозному безразличию*. Как замечал тот же де Местр, в России, «где служители религии суть пустое место, пустым местом является и сама религия»<sup>26</sup>. Это чувствовали и сами русские: мыслители и поэты. Довольно отчетливо прослеживается взаимосвязь между горестным атеизмом Белинского и трагическим православием Достоевского. И тому, и другому не хватало в России *цивилизующей силы* христианства. Неимоверное усилие *по христианизации России*, предпринятое Достоевским, было бы вполне бессмысленным, *если бы православие само действовало*. Но получилось так, что не религия была опорой писателей и художников, а воспитанные на западноевропейской культуре писатели попытались собственную духовную энергию сообщить православной церкви. Именно перед русским искусством, а не перед православием стояла, по мысли В.С.Соловьева задача «вдохновенного *пророчества*» (курсив В.С.Соловьева. — В.К.), ибо оно — не более и не менее — «должно *одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь*»<sup>27</sup> (курсив мой. — В.К.). То есть искусство, а также философия призывались к выполнению вполне религиозной задачи. Этот труд взяла на себя плеяда русских писателей и мыслителей так называемого «неорелигиозного ренессанса» на рубеже веков. Но необходимость такой задачи лучше прочего рассказывает нам о реальном положении дел в России.

---

<sup>25</sup> Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 301.

<sup>26</sup> Местр Жозеф де. Петербургские письма. С. 161.

<sup>27</sup> Соловьев В.С. Собр. соч. В 10-ти т. СПб., б.г. Т. 6. С. 84, 90.

С одной стороны, всю вину за «русский атеизм» списывая на образованное общество, с другой стороны, Достоевский писал о «нигилистах в народе»<sup>28</sup> (курсив Ф.М.Достоевского. — В.К.), показывал «народные черты «карамазовщины»<sup>29</sup>. А С.Н.Булгаков, говоривший о том, что русский народ в начале XX века находится по своим духовным запросам на уровне X-го века, века Крещения Руси, в сущности тревожился о том же: что свою *социально-воспитательную роль православие не сыграло*. Спустя десять веков после Крещения в России установилась своеобразная *смесь христианства с язычеством*, как это констатировали в 1909 г. крупнейшие российские богословы: «Русский крестьянин, наиболее полно и искренно исповедующий сейчас православие, верит в Бога, Церковь и таинства, но одновременно с этим он не менее твердо верит в лешего, шишигу, сарайника, заговоры и т.п., и это последнее — такой же неперемный элемент его веры, его поведения и мировоззрения, как и первое»<sup>30</sup>.

Но именно в обществе, не прошедшем подлинной христианизации, проблема отцов и детей обретает особую остроту. Именно христианство по самой сути своей преодолевало конфликтность поколений, ибо Христос, на заре европейской цивилизации предвещая Гамлета, явился символом послушного сына: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6,38). Но при этом он сознавал свою силу и великую значимость своей миссии: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мат. 10,32). И само это исповедание мыслилось как превращение человечества в единую семью: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и мать» (Мат. 12,50). Христианство оказалось первой мировой религией, задавшей всему миру

---

<sup>28</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 191.

<sup>29</sup> Миллер О. Русские писатели после Гоголя. СПб.-М., 1900. Т. I. С. 242.

<sup>30</sup> Ельчанинов А., Флоренский П. Православие // История религии. М., 1909. С. 171.



парадигму исторического развития, объявившей, что развитие это, имеющее начало и конец, осуществляется через преемственность поколений, одушевленных идеей совершенствования человеческого рода и его жизни. Но совершенствовать себя и мир может только зрелый человек, сознающий свою ответственность, а стало быть, обладающий и свободой. Раб — безответствен, за него отвечает хозяин. «Делая человека ответственным, — писал Достоевский, — христианство тем самым признает и свободу его»<sup>31</sup>.

## ВЫПАДЕНИЕ ИЗ ЭВОЛЮЦИИ

Победила однако языческая и нигилистическая «карамазовщина»<sup>32</sup>. Большевики *вполне по-карамазовски* строили свою деятельность на отрицании, на уничтожении «отцов», звавших к цивилизации страны. Скажем, был отвергнут Лениным еще в начале века даже «отец русского марксизма» Г.В.Плеханов, по воспоминаниям всех очевидцев подлинный «русский европеец». А после победы Октябрьской революции Плеханов был подвергнут таким унижениям, которые оказались равнозначны убийству. 21 мая 1918 г. Зинаида Гиппиус заносит в свой дневник: «...Умер Плеханов. Его съела родина... Он умирал в Финляндии. Звал друзей, чтобы проститься, но их большевики не пропустили. После Октября, когда «революционные» банды 15 раз (sic!) вламывались к нему, обыскивали, стаскивали с постели, издеваясь и глумясь, — после этого ужаса, внешнего и внутреннего, — он уже не поднимал головы с подушки. У него тогда же пошла кровь горлом, его увезли в больницу, потом в Финляндию... Его убили те, кому он, в меру силы, служил сорок лет»<sup>33</sup>.

На первый взгляд, большевики тем не менее вроде бы поклонялись «отцам-основателям» — Марксу и Эн-

<sup>31</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 16.

<sup>32</sup> См. трактовку понятия «карамазовщина» в кн.: Кантор В. «Братья Карамазовы» Ф.Достоевского. М., 1983. С. 64-92.

<sup>33</sup> Гиппиус З.Н. Современная записка. 1914-1919 гг. // Мережковский Д. Большая Россия. Л., 1991. С. 230-231.

гельсу. Ревизия Лениным марксизма, опора в создании партии на нечаевско-ткачевские принципы не сразу были осознаны. Отметим это русские философы-эмигранты спустя несколько лет после победы большевистской революции. Но этот тайный отказ от марксизма стал явным в деятельности Сталина. Георгий Федотов писал в 1936 г.: «Сталин и вся его группа никогда, быть может, не была настоящими марксистами. Читал ли Сталин Маркса, в высшей степени сомнительно. Вообще же он учился социализму по Ленину... Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций... Но создать заново идеологию, соответствующую новому строю, задача, очевидно, непосильная для нынешних правителей России. Марксизм для них вещь слишком мудреная, в сущности почти неизвестная. Но открытая критика его представляется вредной... Сталин не первый из марксистов, предпочитающий «ревизию» Маркса прямой борьбе с ним»<sup>34</sup>. Сталинская империя имитировала исполнение воли и замысла «отца-основателя», но по существу шло отрицание и выхолащивание всех смыслов Марковского учения. Убийство было потаенным. *Сталинизм стал высшим типом российского нигилизма. А нигилист лишь использует слова и понятия, на их содержание ему наплевать. Как показал исторический опыт, нигилист не способен принять ценности культуры, мораль, духовное наследство, ибо он признает только свою выгоду, лишь она его интересует.*

Поэтому почитание отцов в этом случае осуществляется, *если оно приносит выгоду*, на деле же отцы отвергаются и по возможности уничтожаются сыновьями-нигилистами. Но один из русских поэтов революционной эпохи, поэт-«будетлянин», о котором я уже поминал, *выговорил* скрываемое большевиками, людьми будущего «нового мира», отношение к отцам.

Разумеется, сам поэт не причастен к творившемуся тогда злу. Он просто выразил господствовавшее во

---

<sup>34</sup> Федотов Г.П. Тяжба о России. Paris, 1982. С. 267, 270.

взбаламученной стране умонастроение. А оно было вполне антиисторическим и антихристианским. Для сравнения: Христос слышал неслышимый другими голос своего Отца и повиновался ему. Хлебников задает себе и своим словам «божественный» уровень: «Мы верим в себя, — пишет он в «Трубе марсиан» (1916), — *и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого... Ведь мы боги. Но мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому*»<sup>35</sup> (курсив мой, разрядка В.Хлебникова. — В.К.). Он восклицает: «Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печати и убедились, что груз — могильные плиты»<sup>36</sup>. Можно сказать, что в этих словах звучит плохо усвоенный Ницше, провозгласивший в своем «Заратустре» приход человека будущего — сверхчеловека. Но, как и многие другие последователи немецкого мыслителя, русский поэт задается *практическим* вопросом, пытается понять, «как освободиться от засилья людей прошлого»<sup>37</sup>. На этот вопрос с успехом ответили и большевики, и нацисты. Нет человека — нет проблемы. Образ Павлика Морозова, *сына, жертвующего жизнью, чтобы погубить родного отца*, навсегда останется хрестоматийным.

Взаимная неприязнь отцов и детей — знак дурной и опасный. Он говорит об обезбоженности общества, об отсутствии в обществе духовной свободы и ответственности, о его незрелости. А в силу этого о неполной включенности страны в историю, а порой и о внеисторическом прозябании культуры. Даже восточные, неевропейские и нехристианские страны, знающие эту преемственность поколений (Китай), способны не только к созданию высокой цивилизации, но и к выходу из изолированного, самодостаточного исторического процесса в мировую историю. Тоталитарные режимы, лишавшие свои народы свободы, ответственности и истории, культивировали противопоставление

---

<sup>35</sup> Хлебников В. Проза. С. 52.

<sup>36</sup> Хлебников В. Проза. С. 55.

<sup>37</sup> Там же. С. 54.

детей отцам, как отжившему, требующему уничтожения. Как показал Карл Манхейм, человек при нацизме *«ведет себя как ребенок, который потерял дорогу или любимого человека и, чувствуя себя неуверенно, готов пойти с первым встречным»*<sup>38</sup> (курсив мой. — В.К.).

Именно это происходило в коммунистической России, где молодежь была объявлена «барометром партии», чтобы руками этой самой молодежи уничтожить «партийных бояр», т.е. тех, кто совершил революцию и мог претендовать на оппозицию диктатору. Это одна из тем знаменитого романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма» — о том, как ломали и убрали с дороги «старых» революционеров. Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отгородилась от истории. «Клячу истории загоним», — писал Маяковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из «царства необходимости в царство свободы». На самом деле, историю и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что казалось: *уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс*. Напомню трагические строки Мандельштама 1932 года:

Если все живое лишь помарка  
За короткий выморочный день,  
На подвижной лестнице Ламарка  
Я займу последнюю ступень.  
К кольцецам спущусь и к усоногим,  
Прошуршав среди ящериц и змей,  
По упругим сходням, по излогам  
Сокращусь, исчезну, как Протей.  
Роговую мантию надену,  
От горячей крови откажусь,  
Обрасту присосками и в пену  
Океана завитком вопьюсь.

.....  
Он сказал: довольно полнозвучья, —  
Ты напрасно Моцарта любил:  
Наступает глухота паучья,  
Здесь провал сильнее наших сил.  
И от нас природа отступила —  
Так, как будто мы ей не нужны...

---

<sup>38</sup> Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 500.

Надо сказать, что такое катастрофическое мироощущение поэта вполне объяснимо и не является слишком уж преувеличенным. Выход за пределы истории для человека и в самом деле равнозначен концу эволюции. Ведь эволюция человеческого рода, его антропогенез осуществляется через историю, через исторический процесс. Не случайно же считают (Ст. Говорухин и др.), что сталинская тирания породила в России «новый антропологический тип», ориентированный на *понижение* интеллектуальных и духовных способностей, на отказ от самодеятельности.

### ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД, ИЛИ РУССКАЯ КЛАССИКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ «ПОВЗРОСЛЕНИЯ» КУЛЬТУРЫ

При большевиках произошла нигилистическая варваризация страны. А варвары, как обычно говорят, — это «*сущие дети*». И в самом деле, варварство есть детство культуры, цивилизация — зрелость, взрослость. Подростковый нигилизм (после изгнания из России нескольких миллионов *взрослых*, обладавших чувством *ответственности*) легко был усвоен всеми слоями народа. Словно исполнилось трагико-саркастическое преувеличение Достоевского: «Нигилизм явился у нас потому, что мы *все нигилисты*»<sup>39</sup> (курсив Достоевского — В.К.). Способны ли мы взростеть или обречены на вечную детскость? — это самый сокровенный вопрос отечественной культуры. Способны ли мы выбраться из «провала», который «сильнее наших сил»?

Если избежать здесь политологических сюжетов, а постараться подойти к проблеме, насколько это возможно, объективно и метафизически, то ответ должен быть скорее положительным.

Другое, *не нигилистическое*, могло быть, ибо оно было, осталось в национальной памяти, создав, пока еще нестойкую, раньше не существовавшую традицию — традицию преемственности, семейного *наследования*

---

<sup>39</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 54.

материальных и духовных ценностей. Прежде всего надо вспомнить, что с петровских преобразований уже не отрицаются верховной властью, а становятся, так сказать, материально-духовной силой, способствующей цивилизации страны, — *дворянские, промышленно-купеческие, разночинские роды*, своеобразные династии, пронизавшие тело культуры, скреплявшие ее: Пушкины, Вяземские, Аксаковы, Самарины, Толстые, Строгановы, Шереметевы, Кавелины, Чичерины, Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Щукины, Бунины, Менделеевы, Пастернаки, Цветаевы и т.д. *Только с появлением таких родов и была осознана и отрефлексирована литературой и общественной мыслью проблема поколений как проблема, требующая разрешения.* Ситуация к началу XX века была двойственной.

С одной стороны, не утихала тема революционного, по карамазовски понятого отцеубийства (на этом строится сюжет «Петербурга» Андрея Белого: сын-революционер готовит покушение на отца — высокопоставленного царского чиновника). С другой стороны, естественные противоречия между поколениями, обусловленные разными временными эпохами, уже не всегда оборачивались нигилизмом, переходя в образованном слое (который и *задает направленность общественного движения*) в некое новое качество. По словам Блока (из поэмы «Возмездие»),

«Сыны отражены в отцах:  
Коротенький обрывок рода -  
Два-три звена, — и уж ясны  
Заветы темной старины:  
Созрела новая порода, -  
Угль превращается в алмаз

(курсив мой — В.К.).

Угль нигилизма становится алмазом цивилизации.

В этой поэме сын, несмотря на сложные отношения с отцом, *наследство получает от отца, а не от дяди*: сюжет приезда героя к умершему отцу зеркально отражает приезд Евгения Онегина к дяде.

Это соображение об укоренении среди интеллигенции *чувства наследства*, которое принесла России ев-

ропейско-христианская цивилизация, можно показать на чеховском рассказе «Студент», который сам писатель называл, по свидетельству Бунина, *своей самой любимой вещью*... Для начала напомним только, что обычно *студент* воспринимался как выразитель, даже как символ *нигилизма*. Причем как с положительным, так и с отрицательным знаком. Быть может, острее всего это проявилось у Достоевского (роман «Бесы») в пародийном переосмыслении огаревского стихотворения «Студент». В романе стихотворение читает «бес» Петенька Верховенский:

А народ, восстать готовый  
Из-под участи суровой,  
От Смоленска до Ташкента  
С нетерпеньем ждал студента.

Ждал, чтобы

Порешить вконец боярство,  
Порешить совсем и царство,  
Сделать общими именья  
И предать навеки мщенью  
Церкви, браки и семейство —  
Мира старого злодейство!

Итак, народ под руководством «студента» идет к разрушению святынь и преданий, разрушению семьи, собственности, наследства. В рассказе Чехова, напротив, студент рассказывает «народу», двум крестьянским женщинам, евангельскую историю об отречении Петра и чувствует, как его слово помогло этим двум простым женщинам-работницам ощутить неразрушимую связь времен, стать сопричастными далекому евангельскому прошлому. И студент «подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему... *Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого.* И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой» (курсив мой. — В.К.). Рассказ написан в 1894 г., спустя два десятилетия после «Бесов». А Че-

хов был не из тех писателей, что *выдумывает желаемое*, во всех своих построениях он всегда опирался на реальность. Значит, поменялось нечто в развитии русской общественности и что петровско-пушкинская традиция расширяющегося европейского образования проросла в русской жизни. К несчастью она не стала определяющей. Ее преодолела традиция нигилизма. То, чему противостояла русская классика, победило.

Из истории мы были выбиты, конфликт отцов и детей стал определять советскую жизнь. Многим русским писателям-эмигрантам чудилось, что Россия *навсегда* заключена в этом заколдованном кругу. Теперь кажется, что не навсегда. В событии так называемой перестройки сошлись вместе старшие и младшие поколения в попытке преодолеть традицию нигилизма. Надолго ли? Как известно, исторический путь крут и чреват срывами. Однако, и это показал семидесятилетний опыт, мы не безнадежны.

Все русские деспоты не любили и боялись литературы, ибо ее влияние действительно *не только в пространстве, но и во времени*. И пусть не покажется этот фактор, фактор литературы, малозначащим. Как ни парадоксально, уверенность в конечном благоприятном исходе нашей исторической судьбы дает нам именно факт существования великой русской литературы. Когда-то Чаадаев сказал, что каждый из русских людей собственным усилием связывает настоящее с прошедшим. Разумеется, таких связывающих — единицы. Но этими «единицами» оказались великие писатели. И они *свое открытие русской истории сделали достоянием общественного сознания*. Русская литература стала русской Библией, творцом нравственно-исторических смыслов для своего народа.

Поэт и писатель Карамзин создает самое значительное свое произведение — «Историю государства Российского». Пушкин заявляет, что гордится своим шестисотлетним дворянством, пишет «Арапа Петра Великого», «Капитанскую дочку», «Историю пугачевского бунта», «Историю Петра», «Мою родословную», где говорит о себе в контексте российской истории. Не за-



будем и того, что «Война и мир» не просто великий, а великий *исторический* роман, наполненный историко-софскими рассуждениями. Весь XIX век русская литература ведет *летопись* русской общественной жизни (Тургенев, Достоевский, Лесков, Чехов), параллельно создаются грандиозные «Истории» — С.М.Соловьева, В.О.Ключевского. В XX веке (сначала пока было возможно это делать честно, открыто, а потом — потаенно) продолжалась эта летопись: периода революционных смут, гражданской войны и дальнейших потрясений России — И.Бунин, М.Булгаков, И.Бабель, М.Шолохов, А.Платонов, В.Гроссман, В.Шаламов...

Реально перестройка принесла прежде всего возрождение и возвращение русской классики прошлого и нынешнего столетия. Да и началась она с публикации ранее запретных литературных произведений. Тогда-то и стало внятно до конца нашему сознанию, что свободную мысль мы привыкли искать за последние два столетия не только на Западе, но и в нашей отечественной литературе. Внесенные Карамзиным и Пушкиным *европеизм, европейское чувство свободы и историзма* были усвоены и переработаны русской классикой, *превратившись в наше национальное достояние и наследство*. С известной долей уверенности можно сказать, что освобождением от тоталитарного гнета мы не в последнюю очередь обязаны нашей классике, сохранившей для нас историческую память. И донесшую до нас, разъяснившую нам весьма существенную русскую проблему — проблему отцов и детей.

Русская литература сказала жестокую правду о нашей жизни, о нашем прошлом, осмысляя его. Но это те наработанные смыслы, то наследство, которое мы должны принять, чтобы жить дальше, *развиваясь*. И это возможно, ибо *в самой нестабильности русской истории*, о которой я говорил в самом начале, *есть залог изменения и прогресса*. Именно эту задачу поставил перед русской культурой великий отечественный мыслитель Владимир Соловьев. В 1897 г., под самый закат эпохи отечественной классики, он писал в статье «Тайна прогресса»: «Современный человек в охоте за

беглыми минутными благами и летучими фантазиями потерял правый путь жизни. Перед ним темный и неудержимый поток жизни. <...> Но за ним стоит священная старина предания — о! в каких непривлекательных формах — но что же из этого? <...> Вместо того, чтобы празднично высматривать призрачных фей за облаками, пусть он потрудится перенести это священное бремя прошедшего через действительный поток истории. Ведь это единственный для него исход из его блужданий... <...> Дело одно: идти вперед взяв на себя всю тяжесть старины. <...> Вот тайна прогресса, — другой нет и не будет»<sup>40</sup> (курсив мой. — В.К.).

Разумеется, от проявления «взрослости» культуры, обозначившейся в ее словесности, шаг к «взрослости» общества и народа — не простой и не элементарный. В истории не существует прямых и механических взаимосвязей. Русская классика указывает лишь на возможность такого повзросления, что, однако, в сочетании с явной изменчивостью российского исторического процесса делает эту возможность весьма вероятной. Ибо в культуре есть четко указанный ориентир исторического прогресса (русская классика!), который предполагает рано или поздно и решение проблемы отцов и детей — в эволюционной смене поколений, умеющих с достоинством принимать *все свое* культурное наследство, гуманизируя и приумножая его.

---

<sup>40</sup> Саловьев В.С. Собр. соч. В 10-ти т. СПб., б.г. Т. 9. С. 85-86.



Раздел второй

ЛИТЕРАТУРА  
И ИСТОРИОСОФИЯ



## Х. КНИЖНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОСВЕЩЕНИЯ И СВОБОДЫ В РОССИИ

Понятен испуг многих современных критиков перед очевидным массовым падением интереса к книге. И это после тех лет «перестройки», когда книга миллионам наших соотечественников казалась спасением, выходом из пространства тоталитарного владычества в «сияющую даль свободы». Казалось, что вот напечатают еще одну, желательнее ранее запрещенную книгу, в которой-то вся правда о нашей жизни и содержится, как мы заживем свободно, счастливо и обеспеченно — «по книжке». Этого не произошло — и от книги отхлынули, в ней перестали искать «последнего слова», на лотках осталась массовая литература — детективы, фантастика, эрос (а то и просто порнография), — которая поначалу, кстати, воспринималась в том же регистре освобождающей силы — от догм и моралей идеологических наставников. Но ведь когда-то книжной макулатуры, сочиненной литературными проходцами, начальниками Союза писателей, генеральными секретарями КПСС было отнюдь не меньше, да и о том, качество какой макулатуры выше — сегодняшней или вчерашней — можно еще и поспорить. Детектив *на том фоне* казался настоящей литературой. Поэтому, если говорить о социологии чтения, мы вполне сегодня на уровне карамзинской эпохи — на новом историческом витке, разумеется. И дело тут, ви-

димо, не только и не столько в соперничестве аудиовизуальной культуры: она отбирает то, что и не должно входить во внутренний состав книги, что не определяет *специфику* ее воздействия на читателя. Даже бульварная беллетристика служит делу просвещения человека — способности владения своим умом, воспитанию независимости и самостоятельности. Говоря словами Карамзина, «и романы самые посредственные, — даже без всякого таланта писанные, способствуют некоторым образом просвещению. <...> В самых дурных романах есть уже некоторая логика и риторика: кто их читает, будет говорить лучше и связнее совершенного невежды, который в жизнь свою не раскрывал книги»<sup>1</sup>. Наши сегодняшние призывы и панегирики пользе чтения очень напоминают эти старинные карамзинские слова.

Но так ли уж наивны эти призывы? Стоит, видимо, еще более отчетливо артикулировать роль книги и книжности в нашей истории. Начиная с первых моментов ее появления, на Руси книга имела более важное значение, нежели в Западной Европе. Складывавшаяся на землях, культурно бесплодных, — в отличие от германских племен, попавших на почву, структурированную античной цивилизацией и христианством, — Древняя Русь прокладывала свой путь к цивилизации, опираясь прежде всего на книгу. Если на Западе *книга была дополнением* к роскошной, развитой художественной, образовательной, социально-бытовой, градостроительной инфраструктуре Античности, пусть и огрубленной варварским нашествием, то на Руси оказывалась порой единственным строителем духовной жизни древних русичей. Но она не могла перестроить и облагородить быт: обращаясь к книге, отворачивались от бытовых проблем. Отсюда, кстати сказать, и тянется укоренившееся в нашей психике пренебрежение к нормальному домоустройству, характерное для всех слоев. Лучше было этого не видеть, приятнее было читать. Чтение — улада людей образованных, возведших народное неумение в области материальной жизни и

---

<sup>1</sup> Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма М., 1982. С. 99, 100.

внешних удобств в духовно-национальную доблесть. «Ей рано нравились романы; Они ей заменяли все...» — эти слова Пушкина о Татьяне относятся к любому мало-мальски развитому русскому человеку. Но есть и более важное обстоятельство. Когда первые князья принесли христианство на Русь, их союзником стала книга. Отсылка к письменному слову казалась главным аргументом в стране, где не было пророков и апостолов христианства, учивших бы народ живым примером. Книга воспитала таких, все они вышли из среды древнерусских книжников. Через книгу знакомилась русские люди с жизнью и преданиями западных стран, включенные в рукописные свитки западные и византийские сочинения становились органической частью свода древнерусской литературы.

Все это создавало «книжным людям» высокий авторитет: их уважали, их боялись, их ненавидели. Книжники оформляли государственную политику. Да и сам, скажем, Иван Грозный был незаурядный книжник и писатель. Но книжником же был и главный его оппонент — Андрей Курбский. Именно поэтому их полемика была услышана потомками. Но, между прочим, именно в этой полемике вырисовывается новая роль книги, которая станет основной на всем протяжении дальнейшей русской истории. Хотя раньше грамотеи и позволяли себе порицать князей, исходя из христианских заповедей и высших интересов Руси, князья еще не видели в них врагов. Была как бы «единая книжность». Но постепенно сквозь различные ереси, окончательно оформляясь к эпизоду с Курбским и расколу, книга становится орудием, средством, опорой в сопротивлении власти.

В этом смысле роль книги в России прямо переключается с ролью Библии, Книги книг. Как когда-то Ветхий, а затем Новый завет собирал вокруг сторонников, формировал религию и церковь, противостоя старым и официальным верованиям, так обожженная в среде темных людей книга — неважно какая (пусть дониконианская церковная или ложно понятые Гегель, Бюхнер, Маркс) — приобретала характер сакральный, оказывалась противостоящей официальной церкви и государ-



ству. Больше опереться было не на что: в отличие от западноевропейских государств в России отсутствовали определенные социальные институты (право, парламент и т.п.) и всевозможные корпоративные устройства (цехи, городские и сельские коммуны, религиозные общины, политические партии), в которых человек мог бы искать защиту от власти. Опорой личности стала книга. «Бойся человека одной книги», — любили повторять древнюю поговорку русские консерваторы. Но именно эти «люди одной книги» оказывались теми людьми, что хоть какое-то движение придавали русской жизни. У них была воля, сила, страсть. Начиная с раскольников, это особенно четко видно.

И в среду интеллигенции, сложившейся окончательно к 40-м годам прошлого века, именно книга внесла, как считал Герцен, фермент личностного начала, тем самым наделив этот слой революционной силой, сделав его чуждым и опасным для структуры общинно-государственного сознания большинства российского народонаселения. Кстати, не через официальную церковь, а через книгу христианство из внешней силы начинает превращаться во внутреннее дело верующего — сначала у раскольников, а потом в «неохристианском ренессансе», порожденном усилиями русских писателей от Гоголя до Достоевского. Наиболее существенные религиозные трактаты в России созданы литераторами — А.С.Хомяковым, В.С.Соловьевым, Л.Н.Толстым (нашим несостоявшимся Лютером), П.А.Флоренским и т.д. Пошло движение от литературы в церковь, чему пример судьба, скажем, П.Флоренского и С.Булгакова.

Через западноевропейскую книгу, к которой после Петра относились с почтением как к носительнице высшей истины, в Россию, в русскую культуру пришла идея свободы личности, об этом писал и Г.П.Федотов, подтверждая соображение Герцена. Напомню также Пушкина:

Сокровищем родного слова,  
Заметят важные умы,  
Для лепетания чужого  
Безумно пренебрегли мы.

Мы любим муз чужих игрушки,  
Чужих наречий погрешки,  
А не читаем книг своих.  
Да где ж они? — давайте их...

.....

А где мы первые познанья  
И мысли первые нашли,  
Где проверяем испытанья,  
Где узнаем судьбу земли?  
Не в переводах одичалых,  
Не в сочиненьях запоздалых,  
Где русский ум и русский дух  
Зады твердит и лжет за двух.

Усвоенные послепетровской Россией новые цивилизационные смыслы, инициированные христианской, западноевропейской идеей свободы, пробудили в русской литературе критическое отношение к почвенной действительности, которая стала восприниматься как сверху донизу пронизанная рабским крепостническим началом. Отсюда — непримиримый критический реализм отечественной классики. Именно русскую литературу называл Розанов причиной русской революции, погубившей царскую Россию. Ибо именно литература изобразила отрицательно все русские сословия — от дворянства и купечества до крестьянства, не говоря уж о государственных чиновниках. При этом надо добавить, что в общественном сознании при полном падении уважения к церкви — литература окончательно становится своего рода церковью, носительницей высших идеалов, советчиком во всех житейских нуждах, а писатели — святыми и пророками этой церкви.

На этом последнем тезисе стоит задержаться. Замечая церковь, русская литература переняла у нее и культуростроительные функции. Сошлюсь в данном случае на М.К.Мамардашвили, понимавшего «русскую литературу XIX в. как словесный миф России, как социально-нравственную утопию», как «попытку родить целую страну... — из слова, из смыслов, правды»<sup>2</sup>. И возражая Розанову, надо сказать об *исторической неудаче русской литературы*, так и не сумевшей до конца

---

<sup>2</sup> Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 187.

заместить христианство и построить цивилизованное общество, о недостаточном глубинном ее воздействии на сознание народа, остававшегося на уровне «двоеверной культуры». Русская литература, расштатив старое, не достроила новое общественное здание, быть может, именно потому, что подобная задача и не может входить в сущностный, родовой смысл литературы. Она не сумела преодолеть архетип рабского сознания, регенерировавший в постреволюционной России<sup>3</sup>. Русская литература взяла на себя не свойственную литературе функцию, слишком тяжелую ношу и не была, не могла быть поддержана другими областями человеческой деятельности, малоразвитыми и малосамостоятельными в России — экономической, юридической, религиозной деятельностью народа.

Сегодняшняя ситуация масс медиа навязывает себя нашему сознанию как безусловная истина, как своего рода итог человеческого развития. Это сомнительно. Мне кажется, что *столкновение «высокобой» духовности и культуры низов, духовного производства для масс* является некоей константой исторического развития. Для такого столкновения вовсе не обязательно возникновение новых аудио и видеосредств.

Стоит вспомнить еще раз об одной действительно великой книге, которую можно было и самому читать, и слушать в церкви, и смотреть — витражи и иконы, и обращалась она ко всем, внедрялась в каждый дом, но вместе с тем не становилась явлением масскульты. В той степени, конечно, в какой ее пытались воспринимать душой, сердцем и умом, а не просто как элемент обряда.

Немецкие романтики — Новалис, Фридрих Шлегель — полагали, что если писатель взыскует истины, решает «предвечные» и «проклятые» вопросы о сути мироустройства, то он в конечном счете продолжает писать Библию, и в этом смысле Библия — отнюдь не законченная книга. «Если только дух свят, то всякая настоящая книга — Библия!..»<sup>4</sup> — восклицал Новалис.

---

<sup>3</sup> Об этом подробнее см.: Кантор В. В поисках личности: опыт русской классики. М., 1994. С. 3-6; 114-134.

<sup>4</sup> Цит. по: Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. М., 1983. Т. 2. С. 432.

Иными словами, та литература, которую мы называем *подлинной*, по сути своей есть продолжение этой *вечной книги*, книги книг, т.е. всякая подлинная книга — *сакральна*. Более того, именно такого типа литература определяла русскую культуру прошлого столетия, она и есть *действительная книжность* противостоящая остальным типам печатной продукции. И в этом смысле она неотменяема как сила, духовно структурирующая и созидаящая человека.

Кстати сказать, после грандиозного поражения русской литературной утопии о грядущем светлом русском царстве литература, книжность заняла позицию (точнее, была в нее вытолкнута историческими обстоятельствами), более отвечающую литературной специфике. *Она стала хранительницей высших смыслов отечественной культуры*, хранительницей идеи свободы и личностной независимости. Тоталитарное государство прекрасно понимало это значение словесности в России, а если не понимало, то чувствовало. Поэтому подлинную литературу запрещало, свободно написанная книга была приравнена почти что к шпионажу, объявлялась подрывом государства, да, строго говоря, таковой и была. Созданная и вскормленная государством *эрзацлитература*, должна заместить в национальном сознании литературу подлинную, несмотря на все успехи, все же провалилась, потому что *оставался критерий* — русская классика прошлого века, которая, несмотря на все интерпретации, продолжала осуществлять свою освободительную функцию, оживляя в нашем сознании такие вечные понятия, как Добро и Зло, идеи Греха, Покаяния, Рока, Бога и Свободы. Она просвещала свой народ, не давая ему духовно умереть. Эту же роль играла переводная литература — от Данте и Шекспира до Хемингуэя и Томаса Манна, которую мы учились читать, исходя не из сопроводительных статей, а из нашего духовного опыта, возникшего в результате более чем столетнего воздействия русской классики. Русская литература, и классическая и запрещенная современная (и Мандельштам, и Платонов, и Булгаков, и Солженицын), подготовила лю-

дей к поддержке перестроечных лозунгов, воспринятых интеллигенцией поначалу как пролог новой, теперь уже воистину освободительной революции.

Таковой эта революция не стала. Вина ли в этом литературы? Русская словесность снова проиграла, но теперь ситуация все же иная... Литература теперь знает свои пределы, знает свою историко-культурную нишу, сознает свою сверхзадачу — быть самой собой, не принимая на себя задач информатора о событиях, описательницы «общественных язв», разнообразных социальных слоев и т.п. *Ее дело — духовное собрание человека, попытка разгадать тайну человека, загадку его судьбы* — опираясь на вечные критерии Свободы, Истины, Добра и Красоты. Наедине с книгой человек становится свободной личностью, независимой от воздействия масс-медиа и прочих атрибутов «восстания масс», каким бы это восстание ни было — социалистическим или криминально-буржуазным. В конце концов, личность на нашей Земле — явление достаточно редкое, но пока все же существующее, а стало быть, и книга всегда найдет своих благодарных читателей.

## ХІ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЖЕЛАНИЕ И БОЯЗНЬ КАПИТАЛИЗМА (Пушкин и Гоголь)

Русская классическая литература, уже по мнению самих писателей XIX века, явилась следствием петровских реформ. «Петр не успел довершить многое, начатое им», — писал Пушкин. — Но «семена были посеяны... Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться»<sup>1</sup>. На реформы Петра I Россия ответила явлением Пушкина, заметил Герцен. Иными словами российское самосознание, открытие Россией самой себя и, как следствие, открытие миром России — в качестве страны со своим голосом, а не только этнографического материала — стало возможным после преобразований конца XVII — начала XVIII столетия. Русь перестала быть только предметом любопытства и сообщений европейских путешественников, вроде какой-то дикой африканской страны, но и сама о себе теперь рассказывала миру. Это, однако, не означает, что ее обычаи и стиль жизни, указанные в описаниях первых европейских путешественников по Московии, изменились или вообще исчезли. Просто в послепетровскую эпоху московско-русское отношение к жизни из всеми русскими принимаемого обычая превратилось в проблему.

Петровские реформы и в самом деле провели резкую границу между Русью, выброшенной трехсотлетним степным игом из европейского сообщества народов, и Русью,

---

<sup>1</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-т. М.-Л., 1951. Т. 7. С. 308.

пытавшейся с помощью европейских влияний вернуться на свой прежний, европейский путь. Пушкин не случайно называл Петра «революционной головой»<sup>2</sup>, а С.Соловьев и Герцен сравнивали с парижским Конвентом, говоря о русском царе как о революционере на троне. Но ведь и раньше московские цари не раз заимствовали многое из Европы, призывали умельцев, мастеров, строителей (напомню хотя бы, что Московский Кремль построен итальянцем Аристотелем Фиорованти еще при Иване III). Задача Петра, как замечал В.Ключевский, была иной: не брать «готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники... Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы»<sup>3</sup>.

В отличие от московских царей, отождествлявших свой интерес с интересами государства, Петр, строя могучую империю, поставил себя и свою деятельность в услужение государству. Ему нужны были независимые от него деятели, сподвижники, а не просто слуги, то есть люди, понимавшие задачи государства. При Петре, говоря словами Пушкина, «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек»<sup>4</sup>, заявив о себе как о мощной военной державе. Но для силы государства, его развития необходимы были и те, кто увеличивает богатство нации, — купцы, торговцы, промышленники. И Петр всячески искал таких людей. Даже постройка Петербурга ориентировала Россию на самую развитую на тот момент буржуазную страну Европы — Голландию. «Если Бог продлит жизнь и здравие, — говорил царь-преобразователь, — Петербург будет другой Амстердам»<sup>5</sup>. Однако независимой от государства и произвола чиновников буржуазии, то есть третьего сословия, постпетровская Россия так и не получила по крайней ме-

---

<sup>2</sup> Там же. С. 519.

<sup>3</sup> Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти томах. М., 1990. Т. 8. С. 399.

<sup>4</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. VII. С. 307.

<sup>5</sup> Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб.—Париж—Москва—Нью-Йорк. 1993. С. 280.

ре до конца XIX века. И это не случайно. Ибо на создание такого слоя требуется определенное историческое воспитание и развитие, целый — и, может быть, не один — исторический период. Историческое же воспитание России после разгрома и падения Киевско-Новгородской Руси отнюдь не способствовало созданию и укреплению самостоятельной личности, в том числе личности, сильной своим богатством.

Европейцы и сейчас порой говорят — во всяком случае, мне доводилось это слышать, — что русские люди по «своей природе» склонны к аскетизму, враждебны богатству, потому-де и не развивались в России буржуазно-капиталистические отношения. Но если говорить о генетическом ядре культуры, то достаточно напомнить, что само слово «богатый» означает одаренный Богом, получивший дары от Бога, «хранимый богами»<sup>6</sup>. И в русских пословицах, собранных В.Далем, обличается скорее не богатство, а, как и в европейских пословицах, — жадность, скупость, дурное распоряжение своим богатством, скверное воспитание своих детей, а также **неправедно** нажитое богатство (скажем, «Богатому черт деньги кует»), страх потерять деньги («Богатому не спится, богатый вора боится»), этот страх можно даже назвать у русских людей определяющим в нежелании иметь богатство (но об этом чуть позже). В принципе же для русского человека так же нормально, как и для любого европейца, стараться благоустроить свой дом, обеспечить свою семью, для чего и нужно богатство («В кошле густо, так и дома не пусто», «Денег наживешь — без нужды проживешь», даже: «Есть родные — то есть денежки, — так и по-божески идет»). И в отличие от интеллигентской этимологии, кажется, пошедшей от В.Розанова, слово «убогий» означает не «убогий», то есть рядом с Богом<sup>7</sup>, а просто «небогатый», «лишенный милости Бога». Достаточно привести еще две-три народные пословицы: «Богатый ума купит; убогий и свой бы продал, да не купят», «Бог не убог», «милостив Бог, а я по его милости не убог».

---

<sup>6</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. М., 1986. Т. I. С. 182.

<sup>7</sup> Крюков В.М. Вокруг России: Синтаксис Василия Розанова. // Вопросы философии. 1994. № 11. С. 66.



Но в Московской Руси, как следствие татарского владычества, упразднившего согласно «монгольскому праву» частную собственность, прежде всего на землю, заменившего **право** «ханским ярлыком», то есть «царской милостью», идеей произвола, приучившего покоренных русичей к бесконечным неправовым поборам и грабежам, к страху перед обладанием богатством (богатый скорее мог подвергнуться татарскому налету), практически единственным собственником на землю, спекулянтom, торговцем, промышленником стало государство, перенявшее от бывших завоевателей принципы жизнеустройства и управления. Богатеть простым русским людям было просто опасно, отсюда развивалось неумение и нежелание производительной работы, ибо все наработанное отбиралось царем и его слугами. Сошлюсь на наблюдения дипломата конца XVI века англичанина Дж.Флетчера: «...что касается земель, движимого имущества и другой собственности простого народа, то все это принадлежит ему только на словах и на самом деле нисколько не ограждено от хищничества и грабежа как высших властей, так и простых дворян, чиновников и солдат <...> Чрезвычайные притеснения, которым подвержены бедные простолюдины, лишают их вовсе желания заниматься своими промыслами, ибо тот, кто зажиточнее, тот в большей находится опасности не только лишиться своего имущества, но и самой жизни. Если же у кого и есть какая собственность, то старается он скрыть ее, сколько может, иногда отдавая в монастырь, а иногда зарывая в землю и в лесу, как обыкновенно делают при нашествии неприятельском». И Флетчер резюмирует: «Народ, стесненный и лишаемый всего, что приобретает, теряет всякую охоту к работе»<sup>8</sup>.

Разумеется, было бы нелепым утверждать, что в Московской Руси не было вовсе богатых людей — бояр и купцов, но все они не имели самостоятельного, самодостаточного положения, были приложением к нуждам государя. Английский купец Джером Горсей, наблюдая взаимоотношения русских купцов с Иваном IV, так описывал

---

<sup>8</sup> Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии (Россия XVI-XVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С. 69-70, 70, 71.

их: царь «обирал своих купцов, выменивая их товары у иностранцев на затканные золотом одежды, талеры, жемчуг, драгоценности и т.д., которые постоянно забирал в свою казну, платя мало или совсем ничего; занимал также большие суммы у городов, посадов и монастырей, истощал их богатства большими налогами и податями для увеличения своих собственных доходов»<sup>9</sup>. Надо добавить, что приобретенное лишь малой частью шло на нужды государства, служа источником для развлечения царя, а главное, для возможного бегства в Англию, — план, вынашиваемый Грозным много лет. Последнее, кстати, характерно для любого тиранического правления, не только русского: подавляя и истребляя своих подданных, сами такого рода правители всегда имеют денежный запас для эмиграции в более демократические страны. Для московского государя, как единодушно отмечают иностранные путешественники, все его подданные являлись холопами, то есть рабами. Состояние, не способствовавшее возникновению независимых классов общества. Поэтому даже в середине XIX века эта тенденция казалась определяющей. Как писал К.Кавелин, в России «были бояре и не было никогда боярства; были, есть и будут духовные, купцы, мещане, ремесленники, крестьяне, но никогда не было и по-видимому не будет духовенства, купечества, мещанства, крестьянства в смысле действительный со-словий. Все наши разряды, не исключая дворянства, означали род занятий, общую повинность, тягло или службу, но никогда не имели они значения общественного организма, общественной формации, с задатками политической или общественной связной жизни»<sup>10</sup>.

Когда-то Киевско-Новгородскую Русь называли иноземцы страной городов. Начиная с Московской Руси село преобладает над городом, русские города становятся, по замечанию Чернышевского, пародией на города: в них нет ни внутреннего самоуправления, ни особой городской жизни, практически отсутствует торгово-промышленное население, преобладают солдаты (войско) и пахущие землю мещане (строго говоря, крестьяне). Но,

---

<sup>9</sup> Горсей Д. Сокращенный рассказ, или Мемориал путешествий // Россия XV-XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 162.

<sup>10</sup> Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1898. Стлб. 881.

как писали все русские историки, именно город способствует развитию и обогащению страны. Западная Европа богатели через города, Восточная — с редкими и зависимыми городами беднела. Ключевский точно зафиксировал принцип возникновения городов Московской Руси: «...большая часть новых городов и городков Московского государства возникла не вследствие экономических потребностей страны, но вследствие государственных соображений, по распоряжениям правительства. Эти причины и производили то любопытное явление, что даже в XVII в. в описях многих городов перечисляются дворы служилых людей, пашенных людей, но о посадских, торговых и ремесленных людях говорится, что их нет»<sup>11</sup>. Не случайно к середине XIX века в одном Лондоне с пригородами было три с половиной миллиона человек. А во всех городах Российской империи насчитывалось не более пяти миллионов, что, разумеется, плохо способствовало развитию внутреннего рынка и товарно-денежных отношений. А бедная, пусть и обильная природными ресурсами страна рано или поздно оказывается слабее богатых соседей с высокоразвитой промышленностью. И встает проблема — догнать и перегнать Запад. Задача, поставленная еще Петром Великим. А начиная с эпохи Екатерины II в обсуждение этой проблемы включаются русские литераторы, полагая свою задачу не только в анализе и описании общества, но в непосредственных рекомендациях правительству и в воспитании образованных классов.

Один из наиболее крупных писателей екатерининского времени — Н.Новиков, опираясь на работы западноевропейских экономистов и ссылаясь на примеры из мировой истории, публикует в 1783 году сочинение «О торговле вообще», стараясь «побудить начальников земных обратить внимание на торговлю»<sup>12</sup>, сделать фактом сознания российского общества то обстоятельство, что свободная торговля способствует благосостоянию государства, развитию промышленности, городов, что опора на

---

<sup>11</sup> Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. С.191.

<sup>12</sup> Новиков Н.И. Избранные сочинения. М.-Л., 1951. С. 507.

торгово-промышленных людей ведет нацию к процветанию, более того, содействует обнаружению и укреплению индивидуальных способностей ее граждан. «В торгующей нации, — писал он, — всякий тот гражданин не получает успеха, который не старается рачительно пользоваться своими способностями; в такой нации бывает всеобщее *соревнование*, при котором самый прилежнейший, остроумнейший, бережливейший гражданин в каждом состоянии получает награду»<sup>13</sup>. Иными словами, человек должен заботиться о своем благосостоянии, а не искать государственной милости, только от верховной власти ожидая вознаграждения за свои заслуги. Это и облегчение государству, которое не может вознаградить всех соответственно их заслугам. Позже в «Повести о капитане Копейкине» Гоголь покажет эту некредитоспособность государства, которое не может вознаградить достойную и нормальную жизнь даже заслуженным воинам, отстаившим его независимость и целостность на полях сражений.

Но пока что российское самодержавие присматривалось к Западу и хотело учесть некоторые принципы европейской жизни для улучшения и большего удобства управления. Либеральные начинания Екатерины II были замечены просветителями. Увлекающийся Дидро, выдавая желаемое за действительное, писал российской самодержице и «казанской помещице», многохитрой «Фелице»: «...вы, ваше императорское величество, тайне стремитесь к образованию в России третьего сословия»<sup>14</sup>. Но образовать третье сословие там, где, строго говоря, и класс феодалов, — то есть дворянство, — находился в полном рабстве (холопстве) у царя и не имел частной собственности, чем радикально отличался от своих собратьев в Западной Европе, было, разумеется, невозможно. И реалистка Екатерина прекрасно это понимала, подшучивая над Дидро, что легко строить прекрасные проекты на все терпящей бумаге, ей же, императрице, приходится иметь дело с чувствительной шкурой живых людей, не говоря уж о веками выработанных принципах жизни. Поэтому первый и основной шаг, сделанный

---

<sup>13</sup> Там же. С. 547.

<sup>14</sup> Дидро Д. Собр. соч. В 10-ти томах. М., 1947. Т. 10. С. 239.

Екатериной, — это наделение правами и неотъемлемой частной собственностью дворянства, от которого начала зависеть и в котором теперь нуждалась как в самостоятельной силе императорская власть. Отныне имения приобрели статус вотчин, то есть стали не жалованьем, как были до того, а собственностью, передающейся по наследству, к тому же дворянство было освобождено от обязательной службы. Жалованною грамотою 1785 года оно получило «разные права и преимущества»<sup>15</sup>. По мысли Б.Чичерина, таким образом началось постепенное раскрепощение сословий, ибо, полагал он, раньше все сословия были «крепки государству», имея только обязанности и никаких прав.

Екатерина в своем знаменитом Наказе уже в первых статьях постаралась внушить своим подданным, что «Россия есть европейская держава». Отнесшись несколько иронически к этому утверждению, Дидро в своих замечаниях на Наказ писал, что не важно, европейская или азиатская держава перед нами. Речь идет о ее цивилизации. «Попытка цивилизовать сразу столь огромную страну представляется мне проектом, — добавлял он, — превышающим человеческие силы»<sup>16</sup>. Европе на построение цивилизации и выход из варварства потребовались столетия и опора на христианство, римское право и иные достижения античности, что унавозили почву, на которой произрастала нынешняя европейская система. В XIII веке была принята Великая хартия вольностей, послужившая началом парламента в Англии, давшая независимость дворянско-феодальному сословию. В том же столетии принимается Магдебургское право, распространившееся на всю Европу; оно регулировало права и свободы городских жителей. Эти права и свободы укоренялись на многие века в жизни и сознании людей Запада, пока, по выражению Чаадаева, не стали физиологией европейцев. Но и сейчас видел Дидро в европейской жизни тысячи стеснений и недостатков свободы, без которой, как он считал, немислима подлинная цивилизация. Возможно ли приказом и сразу ввести цивилизацию в страну, не знавшую никогда свободы, где свирепое владычество та-

---

<sup>15</sup> Чичерин Б. Опыт по истории русского права. М., 1858. С. 231.

<sup>16</sup> Дидро Д. Собр. соч. Т. 10. С. 424.

тар сменилось не менее деспотической властью московских царей? История, однако, ставила перед Россией задачу цивилизоваться «сразу», «волевым усилием», «царским приказом». Да еще при этом оставляя большинство населения страны в полном рабстве. И в заключение своих комментариев на Наказ Дидро констатирует: «Я не вижу здесь ни одного постановления, которое было бы направлено на освобождение массы народа; а без освобождения, без свободы не будет и собственности, без собственности не будет земледелия, без земледелия не будет ни силы, ни величия, ни богатства, ни процветания»<sup>17</sup>. Казалось бы, ни о каком третьем сословии, за которое столь ратовал философ, не могло идти и речи.

Но, как это было дальше, Россия пыталась догнать западноевропейские страны, исходя из своих условий, подстраивая их под развитие европейской цивилизации, используя свои социокультурные особенности и возможности. Скажем, лишенный правой руки человек научается писать левой; говорят, что слепые так развивают способность осязания, что на ощупь различают цвета, и т.п. Буржуазные отношения, класс капиталистов создаются веками и при определенных условиях, он не образуется по приказу: не случайно, к примеру, всю промышленность, все горнодобывающее дело государство принуждено было держать в своих руках, — не возникло еще сословия, способного осилить эту сферу деятельности. Но были такие общественные потребности, существенные для духовного развития культуры, которые падали в Европе на плечи третьего сословия и которые не в состоянии решить государство. И тут роль, сыгранную в Европе буржуазией, сыграло в России дворянство. Как уже отмечалось исследователями, именно русское дворянство состоялось в духовном пространстве нации как «специфически русское, ни на что в мире не похожее третье сословие»<sup>18</sup>. Не случайно гордившийся своей шестисотлетней родословной Пушкин называл себя «мещанином».

Родов дряхлеющий обломок  
(И по несчастью, не один),

---

<sup>17</sup> Там же. С. 511.

<sup>18</sup> *Аникин А.В.* Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина. М., 1989. С. 199.

Бояр старинных я потомок;  
Я, братцы, мелкий мещанин, —

писал поэт в «Моей родословной».

Разумеется, в России не могло в тот период произойти классического сращения торгующего дворянства (выросшего из класса феодалов, коего на Руси, по мысли Пушкина, не существовало) и владеющей землей буржуазией, как это было в Англии, что привело в итоге к «славной революции» и промышленно-экономическому взлету и расцвету страны. Русскому дворянству категорически было запрещено торговать, а купечеству приобретать земли указами Екатерины II, вместе с тем много сделавшей для утверждения принципа частной собственности в стране, столетия лишенной такого права. Уже невероятной революцией стал тот факт, что целое сословие вдруг почувствовало себя владельцем собственности, которую трудно было потерять (ибо торгующее сословие не могло ее перекупить). Трагедия заключалась в том, что в эту собственность входили живые люди, ибо образованный слой, необходимый государству и культуре, создавался за счет народа, путем превращения крестьянства во **внутреннюю колонию**, как не раз потом случалось и в дальнейшем при недостатке у страны экономических ресурсов. Трагическую противоречивость возникшей ситуации почувствовали и выразили как раз лучшие люди дворянства, создав тип «кающегося дворянина» или — позднее — «кающегося интеллигента», чувствующего вину за свою социокультурную чуждость. Эта ситуация продержалась до Великих реформ Александра II, ее психологические последствия явны и в наши дни. Буржуазия же до этих реформ не имела вообще никакой опоры для развития: отсутствие права на землю, отсутствие свободной рабочей силы и т.п. Между тем равнявшаяся с Европой страна, только вышедшая на мировую арену как могучая военная держава, нуждалась в просвещении, которое позволило бы на равных общаться с европейскими соседями.

Эта проблема обсуждалась всеми мыслящими людьми начала прошлого века. «Идея, что общественный прогресс связан с третьим сословием, — пишет современный исследователь, — была несомненно близка

Пушкину. Важно, что французское третье сословие ассоциировалось у него с *просвещением*, а это было его любимое понятие и слово. Из третьего сословия вышли Вольтер и Руссо, Дидро и Даламбер, Кенэ и Неккер...»<sup>19</sup> И, пожалуй, именно Пушкину принадлежит соображение, что роль просветителя выполняет у нас не буржуазия, а «старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного»<sup>20</sup>. Строго говоря, для культуры в России дворянство стало субстратом, почвой, на которой выросли у нас ренессансно-просветительские идеи XIX века, подхваченные затем разночинцами, но рожденные дворянством.

«Пушкин и его соратники, — писал В.Кожин, — закончив и доведя до высшего художественного совершенства великое литературное развитие, начавшееся в эпоху Петра, окончательно решили те самые задачи, которые на Западе решила ренессансная литература: утверждение национального самосознания, освоение конкретного существа национального бытия и стихии народа, художественное «закрепление» суверенной личности, создание литературного языка и классического национального стиля и т.п. Роль Пушкина, Гоголя и их современников в русской культуре была тождественна той роли, которую сыграли Спенсер и Шекспир, Рабле и Ронсар, Сервантес и Лопе де Вега и другие их современники для своих культур»<sup>21</sup>. Но европейский Ренессанс предполагает прежде всего не чувство национального самосознания, — оно придет много позже, с романтиками, с образованием в Европе этнонациональных государств, — а **чувство своего Я, своей личности**, как независимой от мира внешних обстоятельств субстанции. «Я телом в прахе истлеваю, // Умом громам повелеваю...» — напишет прямой предшественник Пушкина Державин. Поэты и художники Ренессанса жили, как правило, в государствах либо с имперским, то есть наднациональным, пафосом (Испания, Англия, Франция), либо охваченных стремлением связи

---

<sup>19</sup> Там же. С. 197.

<sup>20</sup> *Пушкин А.С.* Указ. соч. Т. 7. С. 207.

<sup>21</sup> *Кожин В.* Размышления о русской литературе. М., 1991. С. 425.



со всем миром (Италия). Характерно, кстати, что Г.П.Федотов называл Пушкина «певцом империи и свободы». Это чувство свободы личности и есть основной пафос пушкинской поэзии.

В поэме «Русские женщины» Некрасов приводит шутку графа Ростопчина по поводу декабристов: «В Европе сапожник, чтоб барином стать, // Бунтует, — понятное дело! // У нас революцию сделала знать: // В сапожники, что ль, захотела?..» По фразе Н.Эйдельмана, два поколения небитых дворян родили Пушкина и декабристов. Не просто небитых, добавлю я, а дворян, обладавших собственностью, которую власть не могла отнять. Любой дворянин рисковал отныне лишь своей жизнью, но не честью (избавлен от телесных наказаний) и не благополучием своих близких (пока имение было жалованьем, со смертью или отдачей под суд служилого дворянина его семья лишалась всяких средств к существованию, ибо арестанту и покойнику жалованья не платят). Декабристов арестовали, пятерых казнили, остальных отправили на каторгу, но родственники их, их семьи не лишились своего достатка. Именно с дворянством поэтому связано пробуждение независимого человека, отвечающего только за себя, рискующего только собой, лишенного рабского страха **поступка**. А свободный человек — это уже персонаж ренессансной литературы. И вся русская классическая литература до конца 70-х годов прошлого века не только создавалась прежде всего дворянами, но дворянство было и основным предметом изображения: от Онегина, Чацкого, персонажей «Мертвых душ» до Обломова, Левина, семейки Карамазовых. Поразительно, но первоначально именно дворянские писатели и их герои поднимали проблемы буржуазного переустройства страны.

Конечно же, было бы нелепо сводить Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского к таким социологическим и политическим писателям, сочинявшим в лицах трактаты о «развитии капитализма в России». Но они были первые русские свободные художники, которые пытались оценить перспективы развития России, о ее судьбе думая непрестанно. Стало быть, и о возможности в ней капитализма.

С Пушкина и Гоголя начинается самобытное развитие русского искусства, а литература становится выразительницей духовных чаяний России. Писатель выступает в роли аналитика и духовного пастыря, оценивающего положение страны «в общем порядке мира» (Чаадаев). С тех пор, как петровская европеизация дала России самосознание и, стало быть, голос, ее «немотство» кончается, она отныне слышна всему миру. Как не раз указывалось в научной литературе, именно Пушкин и Гоголь подводили итоги духовных исканий XVIII столетия и одновременно определили последующее художественное движение, темы и проблемы. Поэтому как раз их творчество является своеобразной моделью отношения русской литературы и культуры к возможности у нас капитализма и просвещения. Попробуем посмотреть на их произведения в этом, несколько необычном аспекте.

\* \* \*

Хотя почему необычном? В уже цитировавшейся книге А.Аникина «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина» достаточно подробно анализируются все экономические высказывания Пушкина — и в поэзии, и в статьях. «В своей публицистике 30-х годов, — замечает исследователь, — Пушкин писал о первых шагах русского капитализма, о росте промышленности в Москве, о строительстве железных дорог. Он отводил экономическим вопросам важное место в своем журнале «Современник» (1836). Помимо имени Смита мы встречаем в его сочинениях имена других видных западных экономистов и социологов XVIII-XIX веков — Сея, Сисмонди, Неккера, Бентама»<sup>22</sup>. Но Пушкин не только теоретизировал по поводу проблем капитализации России. Сама сфера его деятельности была такова, что втягивала его в складывавшиеся промышленно-торговые отношения. Спустя полвека после указа Екатерины II дворяне, не делая торговлю своим ремеслом, тем не менее уже могли продавать друг другу или получившим дворянство недавним разночинцам «души» и земли. Но к этому моменту и ли-

---

<sup>22</sup> Аникин А. В. Муза и мамона. С. 5.

тература выходила из сферы обслуживания государства, обретая свободу и своемыслие, ибо ее творцы в значительной степени были независимы от государственной службы. К тому же литература теперь имела возможность распространяться не только в рукописях и без помощи государственных дотаций, ибо книга стала реальным **товаром**, а издание книг — отраслью возникавшей буржуазной промышленности. Именно поэтому Пушкин в большей степени, чем другие дворяне, ощутил в своей судьбе специфику новых зарождавшихся отношений. Он являлся **производителем товара**, который можно было продать. Его первый биограф П. Анненков писал: «Книжная торговля была важным делом для Пушкина: он никогда не упускал ее из вида и с нее начинал даже многие литературные свои предприятия. Кто несколько ближе мог вникнуть в характер Пушкина, того не удивит мнение, которое с особенною настойчивостью долго старался он укоренить в друзьях и знакомых, что он пишет и печатает *единственно для денег*»<sup>23</sup>. Разумеется, эти высказывания были прежде всего эпатажирующей **фразой**, но фразой, пытавшейся скрыть всю серьезность его отношения к книготорговле, не очень-то **приличествовавшей дворянину**.

Но позиция его была единственно возможной для решения осязательно стоявшей перед ним миссии, — не просто написания стихов и поэм, а **созидания** русской культуры, русского языка, а стало быть, и всех основных понятий — Добра и Зла, Правды и Греха, Достоинства и Низости, Стыда и Бесстыдства, Чести и Рабства, что требовало как переосмысления и возведения в новую степень всех духовных запасов Древней Руси, так и внесения новых смыслов. «Все должно творить в этой России и в этом русском языке»<sup>24</sup>, — писал Пушкин.

Что же совершил он, чтобы выполнить свою миссию? Послушаем современника поэта. «Так как его назначение, — утверждал Белинский, — было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство, так, чтоб русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созер-

---

<sup>23</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 187. Курсив П. В. Анненкова.

<sup>24</sup> Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 7. С. 519.

цания, не боясь перестать быть поэзией и перейти в рифмованную прозу, — то естественно, что Пушкин должен был явиться исключительно художником»<sup>25</sup>. Можно, разумеется, возразить, что этим не исчерпывается творчество Пушкина, что оно — исток и средоточие новой русской культуры, камертон ее, что в его творчестве заложены основные темы и содержательные тенденции дальнейшего развития русского искусства и т.п. Однако в соображение Белинского стоит вдуматься. И тогда, быть может, мы поймем, что «усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство» означало по существу совершить культурный переворот.

Чтобы постичь его смысл, надо понять, почему поэзия до Пушкина не была в России искусством. Стоит опять прислушаться к словам Белинского: «До него (то есть до Пушкина. — В.К.) у нас не было даже предчувствия того, что такое искусство, художество, которое составляет собою одну из абсолютных сторон духа человеческого. До него поэзия была только красноречивым изложением прекрасных чувств и высоких мыслей, которые не составляли ее души, но к которым она относилась как удобное средство для доброй цели, как белила и румяна для бедного лица старушки-истины. Это мертвое понятие о пользе поэтической формы для выражения моральных и других идей породило так называемую *дидактическую поэзию*...»<sup>26</sup> Дидактическая же установка говорит прежде всего о задачах искусства применительно к нуждам государства, о воспитании человека, **полезного** конкретным нуждам правительства, о создании такого человека, которого можно было бы **использовать**. Искусство же освобождает и раскрепощает человеческую личность, человек становится для себя самоцелью благодаря силе подлинного искусства. Но оно способно освобождать человека, когда само свободно.

XVIII и начало XIX века — это эпоха правительственного меценатства и литературного дилетантства. Поэт мог существовать либо прямой поддержкой царя и двора в том случае, если он казался полезным, либо (при собст-

---

<sup>25</sup> Белинский В.Г. Указ. соч. Т. 7. М., 1955. С. 320.

<sup>26</sup> Там же. С. 319. Курсив Белинского.

венной материальной обеспеченности) быть эстетствующим дилетантом. Поэзия в обоих случаях была побочным занятием, но никак не профессионально независимой областью деятельности. Чтобы выполнить свою высшую функцию по освобождению человека, литература и поэзия должны были выйти из-под опеки самодержавия и приобрести как духовную, так и материальную независимость от государства, перестать «питаться на казенный счет»: одно дело — свободный выбор своей общественной позиции (критической, сатирической, «чистого искусства»), другое — отсутствие всякого выбора, жизнь «по указке». Но искусство оказывается способным к своезаконному существованию, когда на него возникает общественный спрос, реализуемый через рынок. Динамику этого противоречивейшего положения подлинного искусства хорошо понимал и формулировал Пушкин.

В 1825 году вышла первая глава «Евгения Онегина», в качестве предисловия к которой был напечатан «Разговор книгопродавца с поэтом». Вчитаемся в заключительные строки «Разговора»:

«Книгопродавец

.....  
Теперь, оставя шумный свет,  
И муз, и ветренную моду,  
Что ж изберете вы?

Поэт  
Свободу.

Книгопродавец  
Прекрасно. Вот же вам совет;  
Внемлите истине полезной:  
Наш век — торгош; в сей век железный  
Без денег и свободы нет.  
Что слава? — Яркая заплата  
На ветхом рубище певца.  
Нам нужно злата, злата, злата:  
Копите злато до конца!  
Предвижу ваше возраженье;  
Но вас я знаю, господа:  
Вам ваше дорого творенье,  
Пока на пламени труда  
Кипит, бурлит воображенье;  
Оно застынет, и тогда

Постыло вам и сочиненье.  
Позвольте просто вам сказать:  
Не продается вдохновенье,  
Но можно рукопись продать...

П о э т

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись.  
Условимся».

Далее следовала первая глава «Онегина». А в 1830 году в своем «Опровержении на критики» Пушкин писал: «Между прочими литературными обвинениями, укоряли меня слишком дорогою ценою «Евгения Онегина» и видели в ней ужасное корыстолюбие. Это хорошо говорить тому, кто отроду сочинений своих не продавал... Цена устанавливается не писателем, а книгопродавцами. В отношении стихотворений число требователей ограничено. Оно состоит из тех же лиц, которые платят по 5 рублей за место в театре. Книгопродавцы, купив, положим, целое издание по рублю экземпляр, все-таки продавали б по 5 рублей. Правда, в таком случае автор мог бы приступить ко второму дешевому изданию, но и книгопродавец мог бы тогда сам понизить свою цену и таким образом уронить новое издание. Эти торговые обороты нам, мещанам-писателям, очень известны»<sup>27</sup>. Какой, однако, подробный разбор торговой механики! Это безусловно пишет знаток, разбирающийся в тонкостях книжного рынка. Причем предпочитающий книгопродавца меценату, ибо книгопродавец не требует от поэта продажи вдохновенья: лишь бы был у публики спрос на творчество данного поэта. Меценат же, тем более меценатствующее государство требовало от поэта приспособления его вдохновения к нуждам и потребностям текущего политического момента, выступало с социальным заказом, заказывая не только тему, но и ее решение, порой и чисто художественное. Купец же мог лишь купить или не купить рукопись. При экономической независимости дворянского писателя, возможности не писать из-за нужды эта ситуация была весьма благотворна для развития литературы. Книгопродавец зависел от спроса, то есть от мнения публики. «С некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, — писал Пушкин, — и публика в состоянии

<sup>27</sup> Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 7. С. 183-184.

дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то»<sup>28</sup>. А публика, нарождавшееся гражданское общество ждало от поэта слова свободы и не прощало никакого слова, если это слово казалось раболепным по отношению к государству. «В России, — замечал Герцен, — все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе...»<sup>29</sup>

Конечно же, Пушкин прекрасно понимал все негативные стороны власти денег. В 1830 году он пишет драматический отрывок «Скупой рыцарь», где скупец-барон произносит над своими сокровищами такой монолог:

Что не подвластно мне? как некий демон  
Отселе править миром я могу;  
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;  
В великолепные мои сады  
Сбегутся нимфы резвою толпою;  
И музы дань свою мне принесут,  
И вольный гений мне поработится,  
И добродетель и бессонный труд  
Смирненно будут ждать моей награды.

Но это была ситуация европейская (сцены не случайно написаны на материале рыцарского европейского Средневековья), пока к России, задавленной государственным прессом, имевшая мало отношения. Это был лишь намек на возможную грядущую угрозу. Пока же, как и в начале зарождения буржуазных отношений в Европе, эти отношения играли освобождающую, раскрепощающую роль. Просто наступал век русского Возрождения, возврата России в Европу, восстановления утраченных за века татаро-монгольского порабощения антично-христианских ценностей. Как и Шекспир, как и Сервантес, как и Рабле, Пушкин знаменовал собой появление ренессансной личности, свободной и незамкнутой. Будучи независимы от правительства материально, писатели-дворяне становятся с возникновением «литературной промышленности» независимы и как литераторы. Таким образом, возникли необходимые социальные предпосылки для освобождения поэзии от самодержавного диктата, но необходим

---

<sup>28</sup> Там же. С. 287.

<sup>29</sup> Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти т. Т. VII. М., 1956. С. 220.

был **прорыв** гения, чтобы эти предпосылки обрели художественную реальность. Это совершил Пушкин, создав тем самым русскую литературу.

Вместе с тем отношение поэта к возможности развития капитализма в России достаточно **ироническое**, ибо все стремления к капитализации страны остаются на уровне **слов** в устах дворянских публицистов и экономистов, не переходя в измененную реальность. Кроме «литературной промышленности» он не видел живого становления других промышленных отраслей. Третьим сословием на Руси он считал дворянство, но считал также, что к подлинной капитализации страны это сословие неспособно. Напомню характеристику Евгения Онегина из первой главы романа:

...Зато читал Адама Смита  
И был глубокий эконо́м,  
То есть умел судить о том,  
Как государство богатеет,  
И чем живет, и почему  
Не нужно золота ему,  
Когда *простой продукт* имеет.  
Отец понять его не мог  
И земли отдавал в залог.

Ирония очевидная. Но ведь был же сам Онегин, который «читал Адама Смита» и, наконец, получил наследство, имение, где мог попытаться реализовать вычитанные из книг идеи. Он так и делает, вызывая резкое неодобрение соседей, почуввавших опасное влияние западных идей, на их взгляд, неприменимых к русской застойной жизни, и пушкинский герой получает от них кличку «фармазона», то есть франкмасона. Таких, как Онегин, — пока единицы, влияния на общественную жизнь они еще не имеют, не им заставить экономически мыслить основную массу дворян, справедливо опасавшихся подлинно частнособственнических, то есть буржуазных отношений, которые выводят из российской спячки и требуют постоянной активности, бодрости духа, умения хозяйствовать, а не только получать доходы. «Великие реформы» произойдут, когда число «Онегиных» увеличится и приобретут они общественную силу и влияние на власть. Пока же:



В своей глуши мудрец пустынный,  
Ярем он барщины старинной  
Оброком легким заменил;  
И раб судьбу благословил.  
Зато в углу своем надулся,  
Увидя в этом страшный вред,  
Его расчетливый сосед...

И расчетливый сосед был не так уж неправ. Отмена крепостничества, начатки капиталистических отношений в сельской жизни вели к разорению «дворянских гнезд». История — процесс жестокий. Дворянство было первой частью русского народа, получившей собственность, которой еще не умело прибыльно распорядиться, не умело вести «дела» в буржуазном смысле этого слова. Общественная роль дворянства была в другом — в усвоении и разлитии по России европейских идей, европейского просвещения, которые постепенно и другие слои перенимали. Но, как уже в конце века показал Чехов (в пьесе «Вишневый сад»), духовно и по возможности телесно живя в Европе («в Париже»), дворянство не сумело заняться буржуазным хозяйствованием и закономерно было вытеснено вчерашними крестьянами, потихоньку становившимися капиталистами. Чехов подхватывает пушкинскую иронию, показывая, что европейского образования недостаточно: когда появляется в жизни реальный делец, ему отдаются дворянские земли. Так что испуг онегинских соседей провиденциален.

Но Пушкин, как мы можем видеть теперь, был прозорливее и «расчетливого соседа», и Чехова, не веря в возможность быстрого укоренения в России европейских буржуазных начал и приобщения страны к цивилизованному образу жизни. Откуда это следует?

Первый признак и показатель установившейся цивилизации — это хорошие дороги, связывающие страну. Дороги безопасные и благоустроенные. Это важно и для торговли, и для промышленности, да и для нормального общения людей между собою, чтобы поездка в соседний город была не путешествием, не приключением, как она есть до сих пор, а частью нормальной домашней жизни, что уже в пушкинские времена являлось европейской нормой.

Что же у нас?

Теперь у нас дороги плохи,  
Мосты забытые гниют,  
На станциях клопы да блохи  
Заснуть минуты не дают...

(«Евгений Онегин»)

Каковы же сроки преодоления «дорожной отсталости»? Ведь нельзя забывать, что римские дороги, как символ, как знак развитой цивилизации, служили европейцам и в XIX веке, на римскую цивилизацию они и ориентировались. А Москва, по дерзостному самоназванию, — это «третий Рим». Когда же последний (по уверениям русских книжников) Рим достигнет цивилизованного уровня Рима первого?.. Пушкин отводил на этот процесс **исторические сроки**, что, разумеется, не укладывается ни в пятьдесят, ни даже в сто лет, как полагали торопливые русские радикалы и даже консерваторы.

Когда благому просвещенью  
Отдвинем более границ,  
Со временем (по расчисленью  
Философических таблиц,  
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,  
У нас изменятся безмерно:  
Шоссе Россию здесь и тут,  
Соединив, пересекут.

(«Евгений Онегин»)

Итак, **пятьсот лет...** То есть срок сложения определенной общественно-исторической формации. От европейских веков варварства до «каролингского возрождения» — примерно пять столетий. Далее еще пять столетий до становления эпохи Возрождения и Реформации, от которых отсчитывает начало современная цивилизация Европы. Темы, над которыми размышлял друг Пушкина — Чаадаев. Поэтому «философические таблицы» содержат, быть может, намек на писавшиеся параллельно с «Евгением Онегиным» «Философические письма». Именно Чаадаев первым сказал о трагической роли безмерных российских пространств в недостаточной цивилизованности страны. Ведь благоустроенные дороги можно прокладывать, когда повдоль их находятся цивилизованные зем-

ли, люди, способные содержать и ухаживать за дорогами. Какова же может быть русская дорога? А такова, какую ее описал Пушкин, но еще ярче и символичнее — Гоголь, в романе, посвященном путешествию по России. И вот его слова: «Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор». Вот эта «чушь и дичь по обеим сторонам дороги» и стала предметом изображения в «Мертвых душах», пожалуй, первом русском романе, где с непревзойденной силой и символической мощью решалась проблема денег, русского хозяйствования, накопительства и предпринимательства. Сегодняшняя злободневность великого романа очевидна. Не говоря уже о парафразе из песни Высоцкого («Вдоль дороги — лес густой // С бабами-ягами»), но и нынешние споры о благодетельности или губительности для России капиталистического развития легко обнаруживаются в творчестве Гоголя, давая реальную корректировку нашим сомнениям и надеждам.

\* \* \*

Не уделяя в этом анализе особого внимания собственно проблемам гоголевской поэтики, о которой написаны сотни работ (В.Розанова, Ю.Айхенвальда, Б.Эйхенбаума, В.Шкловского, Г.Гуковского, М.Бахтина, Ю.Лотмана, Ю.Манна, В.Мильдона и др.), сосредоточиваясь на проблемах историко-экономических, мы тем не менее опираемся на труды названных авторов, внутренне учитывая их. К сожалению, социологическое прочтение Гоголя сводилось до сих пор лишь к обличению помещичьего строя и самодержавия, без учета поэтической сверхзадачи писателя (оживить Россию, вывести ее из ада «мертвых душ»), и является делом будущего.

Как заметил еще С.Аксаков в своих воспоминаниях, многие современники Гоголя приняли за насмешку последние слова первого тома поэмы: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». И были, быть может, проникательнее спорившего с ними простодушного

автора «Детских годов Багрова-внука». Сам Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» следующим образом комментировал свое «лирическое отступление»: «Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, — тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтора ста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела, и до сих пор остаются так же пустыни, грустны и бесплодны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушием, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство?»<sup>30</sup>

Итак, пустыня, бездорожье, неприютность... Нет опоры для глаза просвещенного человека, особенно человека, много лет прожившего в Европе, где обжит и благоустроен каждый клочок земли. Но можно ли строить цивилизацию в пустыне и безлюдье?! Какие уж тут дороги!.. Торные тропы разве что... И впервые поставленные, надоевшие нам «проклятые российские вопросы»: кто виноват? мы или правительство? Но нет, упреки правительству в данном случае Гоголь отводит. Зато тяжкий, «виев» взгляд обращает на дворянство, представлявшееся Пушкину третьим сословием и проводником просвещения в «варварской России». И видит, что разбросанные по этой пустыне, где десятки верст от имения до имения, дворяне дичают и вырождаются в Маниловых, Собакевичей, Плюшкиных, Ноздревых и пр. Куда может нестись страна, где вдоль дороги, а точнее, среди бездорожья распо-

---

<sup>30</sup> Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1993. С. 98.

ложились списанные им персонажи, представляющие самый просвещенный класс России, долженствующий благоустроить ее?.. Или и впрямь прав Чаадаев и мы не более чем «географическое понятие»?.. И Гоголь восклицает: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека?.. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков (у Гоголя речь здесь о дворянстве. — В.К.) дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово».

Итак, дворянство не способно цивилизовать и благоустроить страну. Но почему? У Гоголя есть ответ, который составляет нерв его историсофско-экономического понимания России, представленного в поэме. Дело в том, что свою собственность, свое богатство дворянство добыло не трудом, не потом, не «складывая копейку к копейке», а — «разом», правительственным постановлением, жалованной грамотой императрицы. Но богатство, цивилизующее мир, считал Гоголь, достигается усердным трудом, медленным накоплением «копейки». Напомню слова его идеального героя помещика Костанжогло: «Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышколит <так>, что не дашь промаха ни в каком предприятии и не оборвешься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне сто тысяч, я сейчас разбогатею», — я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать!» Поэтому для Гоголя «копейка — знак... «правильного» накопления, — как справедливо отмечал Ю.Манн, — основанного на усердии и методичности, на постепенном наращивании суммы...»<sup>31</sup>

Гоголь через весь роман проводит принципиальную для него смысловую оппозицию: с одной стороны — копейка как символ труда и благоустройства, с другой —

<sup>31</sup> Манн Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 251.

«сто тысяч», полученные «вдруг», «разом», которые никогда не принесут пользы ни их владельцу, ни стране. Эта проблема весьма волновала Гоголя, она, казалось, перевешивала порой его духовные искания и художественные прозрения, во всяком случае приверженность писателя теме экономического благоустройства и буржуазного накопительства вызывала нарекания, скажем, русских эстетов серебряного века, полагавших, что они уже давно и навсегда живут в капитализировавшейся России. Так, Ю.Айхенвальд писал: «...чем дальше ездил Чичиков по своим делам и навещал родственников генерала Бетрищева, тем больше запутывался Гоголь в «хозяйственной паутине» и прикидал все ниже и ниже к земле, к поместью, к приобретательским интересам, и то хорошее, что он замыслил противопоставить дурному, явилось просто-напросто во образе «чудного хозяина». Вся художественная работа отрицания, все унижение человечества были совершены для того, чтобы нам, отчаявшимся и взалкавшим нравственного отдыха, был показан, точно якорь спасения, помещик Костанжолго, объясняющий, как безукоризненно и справедливо приобрел откупщик Муразов свои миллионы, перед которыми благоговееет и Чичиков, и сроднившийся с Чичиковым Гоголь»<sup>32</sup>.

Между тем оппозиция, впервые зафиксированная Гоголем, оказалась весьма важной для понимания именно духовной структуры России, той самой структуры, которая породила и террористов, и большевиков, и весь неожиданный для всего мира октябрьский рывок — одним разом разрубить узел российских противоречий и достичь всеобщего счастья. Именно эта оппозиция стояла перед Родионом Раскольниковым, героем «Преступления и наказания», героем, который оказался художественным предтечей и воплощением вполне реальных российских бунтарей. Припомним разговор с кухаркой Настасьей, где Раскольников пытается сам себе объяснить, почему он, бедный студент, отказывается «за копейки» давать уроки детям; ему кажется, что «копейки» не дают шанса на преобразование жизни, на решение «разом» всех проблем, вставших перед ним.

---

<sup>32</sup> Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 83.

«— За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

— Да, весь капитал, — твердо отвечал он помолчав».

Получить разом сто тысяч, то есть «весь капитал», — это и желание Чичикова, хотя отец наставлял его «копить копейку», и желание разоряющегося от неумения хозяйствовать помещика Хлобуева, у которого «все прожекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует». Но этак, полагает Гоголь, невозможно стать богачом и капиталистом, должно иначе, через копейку. Но беда в том, что само государство пренебрегает столь ничтожной денежной единицей, *капитаном Копейкиным* (этаким инвариантом лермонтовского Максима Максимыча или толстовского капитана Тушина), героем войны 1812 года. Капитан Копейкин — ратник, воин, но хотел бы и в мирное время работать и получать свою трудовую «копейку». Не позволяет инвалидность. Поэтому он просит свою законную пенсионную «копейку», как человек, сберегший государство, ведь известно, что «копейка рубль бережет». Но копейки не замечают. Высокопоставленные чиновники прогоняют его, предлагая самому искать себе пропитание. Как я уже замечал, государство оказывается несостоятельным должником, к тому же и не имеет никаких сфер деятельности, где мог бы приложить свои силы еще нестарый и крепкий человек. Очевидное презрение к труду, в том числе самому важному для государства — ратному труду, вынуждает капитана Копейкина заняться разбоем, то есть взять «разом весь капитал». Не случайно Гоголь так дорожил этой повестью: в контексте нашей проблемы она есть важнейший элемент для понимания структуры романа и структуры, определяющей российскую ментальность.

И мы уже не удивимся, что, чувствуя отношение государства и высшего сословия к копейке, так же относится к ней и народ. В рассуждении Чичикова о приобретенных «мертвых душах» всплывает имя сапожника Максима Телятникова, и устами Чичикова

писатель дает сравнительную характеристику отношения к труду и к копейке европейца и русского, причем оба из одного и того же слоя, из простонародья:

«Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: «А вот теперь я заведу свой домиком, — сказал ты, — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею» (подчеркнуто мной. — В.К.).

И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбрали тебя подлешим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет жилья русскому человеку, все немцы мешают».

Вот такая вот впечатляющая художественно-социологическая зарисовка. Но точно такой же подход к жизни и у главного героя поэмы — Чичикова. Отсюда и все беды, и прежде всего — отсутствие экономического и духовного роста. Ю.Лотман полагал, что «Чичиков — приобретатель, образ совершенно новый в русской литературе тех лет»<sup>33</sup>. Но Чичиков *не приобретатель*, он, по выражению писателя, «подлец». И подлец вовсе не потому, что приобретатель. В приобретательстве, в «честном богатстве» Гоголь не видел ничего плохого. Чичиков — *мошенник*, не желающий трудиться. Не случайно Лотман указывает в той же статье на внутренние переключки образа Чичикова и с капитаном Копейкиным, и с благородным **разбойником**, и с антихристом, и с Наполеоном, то есть героем, на которого пытались равняться и пушкинский мечтавший «вдруг разбогатеть» Германн, и Раскольников Достоевского. То есть человек, умеющий «вдруг» «черту преступить», нарушить все законы человеческого общежития, как понимали образ Наполеона русские писатели про-

<sup>33</sup> Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Галлин, 1993. Т. 3. С. 45.



шлого века. Но когда все общественные сословия «глядят в Наполеоны», желая насилуем или обманом «разом» решить все общественные проблемы, то перспективы капитализации страны, ее благоустройства и цивилизации более чем сомнительны. Гоголь понимал необходимость появления капиталистов в России, рисовал их идеальные образы, но тот реальный российский делец, которого он угадал и нарисовал, вызывал у него неприязнь и страх. Он боялся, что таким образом наживший свое богатство человек (сапожник мог оказаться удачливее, удача могла улыбнуться и Чичикову) никогда не станет подлинным благоустроителем страны.

Как видим, Гоголь весьма серьезно отнесся к проблеме российского капитализма, проблеме, поставленной перед Россией ее историческим развитием. Она стала одной из центральных тем его творчества. Начав с общеевропейского, романтически-негативного отношения к власти денег и золота над душой и искусством, утверждения их дьявольского происхождения («Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство?» — справедливо угадывают односельчане разбогатевшего Петруся, героя «Вечера накануне Ивана Купала»), он изобразил и специфически русское отношение к богатству, реальных купцов и дельцов, а также носившиеся перед его глазами идеальные образы хозяйственников, навеянные, очевидно, российским восприятием западноевропейского экономического быта. Причем реальных русских дельцов он не принимал и боялся их влияния на будущую жизнь страны, противопоставляя им свое желание — нарисовать идеальный тип русского капиталиста как образец для подражания. Можно выделить **три типа** изображенных Гоголем русских дельцов.

1. Первый тип он рассматривал через отношение к нему государственной администрации. Речь в данном случае о русском купечестве, из которого вроде бы мог развиваться класс отечественных капиталистов-промышленников. Но писатель не верит в его силу и самостоятельность, видя его невежество и полное бесправие перед государством в лице чиновников. Это сословие надеется только на государство, на «ревисора», которому уже несут купцы «дары», **дань**, как когда-то татарам, потом воево-

дам и градоначальникам. Государство же не способно защитить купечество от произвола своих же чиновников, которым дают купцы взятки «и на Антона, и на Онуфрия». Впоследствии А.Н.Островский подхватил эту гоголевскую тему, показав эту среду как «темное царство».

2. О втором типе мы уже писали: это делец-мошенник, который воспринимался Гоголем как **реальное настоящее** русского капитализма и вызывал у него неприязнь и **страх**. Этот человек (Чичиков) уже вымыт социальными сдвигами из своего сословия, он не то дворянин, не то разночинец («ни то, ни се», по определению Гоголя), но он образован и в принципе **знает**, что хорошо и честно, а что плохо и бесчестно. Но поступает все равно бесчестно, он преступник и не сможет никогда «послужить отечеству», хотя непрерывно об этом рассуждает («я всегда хотел... исполнить долг человека и гражданина»). У Достоевского, наиболее могучего продолжателя гоголевских тем и проблем, образы капиталистов стали просто воплощением едва ли не мирового Зла, губящего Россию (от старухи-процентщицы и Петра Петровича Лужина в «Преступлении и наказании» до старика Карамазова и Смердякова в «Братьях Карамазовых»).

3. Наконец, третий тип — это **идеализированный** образ миллионера-откупщика, промышленника, предпринимателя, при этом непременно богобоязненного и истинно православного, за все дела берущегося с молитвою (Муразов из «Мертвых душ»). От таких людей ждал он могучего слова для страны: «вперед!». Любопытно, что в рассуждениях Муразова слышатся отзвуки «протестантской этики», тесно связанной с эпохой становления капитализма в Европе и навеянной Гоголю, очевидно, его европейскими впечатлениями. Труд предпринимателя должен восприниматься как богоугодное дело, только тогда он будет плодотворен и полезен. «Если <бы> вы взялись за должность свою, — говорит Муразов разорившемуся помещику Хлобуеву, — таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах <был бы> охладить». В этом образе **ожидание** тех благ, которые может принести стране капитализм, **желание** капиталиста, но — непременно в облике нового **святого**.

Образ, ничего общего с реальными капиталистами ни Европы, ни тем более России не имевший. Но в нем сказалось типично российское мечтание о **вдруг** являющемся спасителе, мечтание, высмеянное самим Гоголем, но которому он и сам оказался привержен. Эта мечта о построении идеального общества и переделке всех людей на идеальный лад чуть позже привела к попытке немедленного построения социализма в одной отдельно взятой стране. Так реализовался российский хилиазм, российское «вдруг». Если же вернуться к литературе, то надо добавить, что от образа Муразова пошли образы идеальных, ожидаемых капиталистов — благоустроителей России: Штольц и Тушин у Гончарова, Соломин у Тургенева и т.д.

Это желание идеального капиталиста и страх перед реальным, действительно малосимпатичным и даже отвратительным типом капиталиста (кстати, критически воспринятого в европейских странах, достаточно вспомнить персонажей Бальзака) и бросили Россию в объятия социализма: от зла уже очевидного к злу проблематичному. Негативные стороны капиталистического накопительства, которое, пожалуй, в России и не могло идти иначе, чем оно шло (в силу исторически сложившегося характера общественно-государственных отношений, долгой жизни народа без всякого понятия о праве на частную собственность и т.п.), вселили неверие в возможность позитивного переустройства страны с **такими** капиталистами. Но других, как понятно, и быть не могло. Сегодняшняя очевидность зла реального социализма принудила нас снова к попытке капиталистического развития, которое опять хотят принимать только в идеальном обличье, как благодетельное снадобье, проглотив которое можно **вдруг** вылечиться. И видя омерзительный лик современных хапуг, начинают ностальгически вспоминать развитой социализм, забывая горы трупов и моря крови, пролитые ради его достижения. Историческая память у человечества коротка, порой хочется, чтоб мы наизусть заучили строчки И.Бродского: «но ворюга мне милей, чем кровопийца». Кажется, пора уже понять, что идеального развития не бывает.

## ХИ. АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН: ЗАПАД И РОССИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Явление Герцена — одно из самых проблемных событий русской культуры прошлого века. Уже не раз отмечалось, что трудно найти в русской культуре человека, «в жизни которого ярче, нагляднее, воплощалась бы связь России и Европы, связь мучительная, исполненная любви и ненависти, взаимопритяжения и отталкивания»<sup>1</sup>. Эта связь была присуща Герцену как бы органически, более того, именно европейское прочтение им России и российское прочтение им Запада определило и две центральных темы его жизни — революцию и литературу, которые сплелись в его душе столь же неразрывно как Россия и Европа.

Его позиция была, быть может, наиболее ярким воплощением коренного русского стремления — возврата в европейскую семью народов: со всеми характерными для этого стремления комплексами желания и боязни, притяжения и неприятия. «Депутат России, европеец, исповедовавший русский мессианиззм, Герцен как бы продолжал традицию, начатую еще «Письмами русского путешественника» (недаром он сочувственно цитирует Карамзина), — писал в начале нынешнего века Ю.Айхенвальд. — Только это поверхностное он далеко углубил, и больше, чем кто-либо имел право

---

<sup>1</sup> Орлова Р. Последний год жизни Герцена. New York, 1982. С. 3.

быть на чужбине представителем Родины. Ему к лицу была эта роль, он сливал два мира, он преодолевал межи и традиции, потому что с самых юных лет в жаждущее и плодоносящее русло его сознания обильными волнами вливалась культура»<sup>2</sup>. Добавлю: прежде всего западноевропейская.

И как стержень этой культуры, необходимый для становления человека в любой части света — **западно-европейская идея свободы**, глубоко и основательно усвоенная Герценом. Одним из первых он выразил основную боль русских писателей прошлого века — за крепостное рабство, пронизывавшее всю общественную, социальную и духовную жизнь России. «Это самая несчастная, самая поработанная из стран земного шара»<sup>3</sup>, — утверждал мыслитель. Поэтому главную свою задачу Герцен видел в том, чтобы найти причины этого рабства, а также пути его преодоления. Речь шла не о малом — о самом существовании России, **достойном существовании**. «Еще один век такого деспотизма, как теперь, — с апокалиптическим пафосом предвещал Герцен, — и все хорошие качества русского народа исчезнут» (VII, 240).

Кто способен разбудить народ? В Европе, как мы знаем, борьба за социальные права выливалась в формы религиозных войн (достаточно напомнить имена Оливера Кромвеля или Мартина Лютера). В России, полагал Герцен, православие, на которое так уповали славянофилы, выполнить эту функцию не в состоянии. «Византийская церковь, — писал он, — питала отвращение ко всякой светской культуре <...> Презирая всякую независимую живую мысль, она хотела только смиренной веры. В России не было проповедников. Единственный епископ, прославившийся в древности своими проповедями (Аввакум — *В.К.*), терпел гонения за эти самые проповеди <...> И эта-то церковь, начиная с X века, стояла во главе цивилизации России» (VII, 184). Разумеется, все с этим вопросом об-

---

<sup>2</sup> Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 513.

<sup>3</sup> Герцен А.И. Полн. собр. соч. В 30-ти т. М. 1956. Т. VII. С. 161 (далее все ссылки на это произведение даны прямо в тексте).

стояло не так просто, но к XIX веку бессилие православной церкви как жизнеспособной, творческой силы, несмотря на пробы религиозных мыслителей и писателей одухотворить ее, казалось очевидным. Во всяком случае Герценом православие воспринималось как исчерпавшая себя сила и дальнейшее развитие страны он видел только на пути усвоения европейских идей.

В борьбе славянофилов и западников, составившей эпоху в русской культуре, Герцен, как известно, выступил на стороне «русских европейцев». Мы должны, считал Н.Н.Страхов, «признать Герцена самую крупную звездою в этой первоначальной плеяде западников»<sup>4</sup>. Герцен полагал необходимым просветить самобытные формы русской культуры идеями, выработанными в Европе, внести в Россию «идею свободной личности», которую, по словам Герцена, славянофилы смешивали «с идеей узкого эгоизма» (VII, 241). За самобытные формы русской жизни, прежде всего за общину, выступали и славянофилы, но их вполне устраивала первобытная, патриархальная община. Общинник Герцен считал, что без фермента личности община не в состоянии освободить себя. «Община — это детище земли — усыпляет человека, — писал он, — присваивает его независимость, но она не в силах ни защитить себя от произвола, ни освободить своих людей; чтобы уцелеть, она должна пройти через революцию» (VII, 168). Причем революцию, понимаемую не только политически и социально, но и культурно: **как смену системы ценностей, утверждение прав свободной личности**: «Община не спасла крестьянина от закрепощения; далекие от мысли отрицать значение общины, мы дрожим за нее, ибо, по сути дела, нет ничего устойчивого без свободы личности» (VII, 242).

Тут и встает вопрос о роли литературы. Славянофилы боялись европеизации страны. Герцен видел в этом процессе высокую трагедию, которая должна разрешиться неким благотворным катарсисом. Пока же возникающая благодаря внедрению в Россию элементов ев-

---

<sup>4</sup> *Страхов Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 50-51.

ропейской цивилизации личность (= трагический герой), разумеется, страдает в этом «царстве мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту» (VI, 316). Рассуждая о становлении русского искусства и литературы, проблемы которых для него тесно связаны и даже вытекают из проблем культурного и социально-исторического развития России, Герцен находит новые аргументы в полемике со славянофилами: «А ведь вся эта екатерининская эпоха, о которой вспоминали, покачивая головой, деды наши, и все время Александра, о котором вспоминали, покачивая головой, наши отцы, принадлежит «к иностранному периоду», как говорят славянофилы, считающие все общечеловеческое иностранным, все образованное чужеземным. Они не понимают, что новая Русь — была Русь же, они не понимают, что с петровского разрыва на две Руси начинается наша настоящая история; при многом скорбном этого разъединения, отсюда все, что у нас есть, — смелое государственное развитие, выступление на сцену Руси как политической личности и выступление русских личностей в народе; русская мысль приучается высказываться, является литература, является разномыслие, тревожат вопросы, народная поэзия вырастает из песней Кириши Данилова в Пушкина... Наконец, самое сознание разрыва идет из той же возбужденности мысли; близость с Европой ободряет, развивает веру в нашу национальность, веру в то, что народ отставший, за которого мы отбываем теперь историческую тягу и которого миновали и наша скорбь и наше благо, — что он не только выступит из своего древнего быта, но встретится с нами, перешагнувши петровский период. История этого народа в будущем; он доказал свою способность тем меньшинством, которое истинно пошло по указаниям Петра, — он нами это доказал!..» (V, 24-25).

\* \* \*

В апреле 1848 года была написана на французском языке и подана императору Николаю I записка поэта Ф.И.Тютчева, которая в следующем, 1849 году была опубликована в Париже под заглавием «Россия и рево-

люция». В ней было сказано: «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой!»<sup>5</sup>. По свидетельству И.С.Аксакова, «напечатанная в Париже» эта статья Тютчева «произвела за границей сильное впечатление» и «в извлечениях была два раза перепечатана (с промежутком шести лет)»<sup>6</sup>. Публично высказанное кредо российского официозного консерватизма невольно подкрепляло точку зрения на Россию как на страну, противостоящую всему прогрессивному движению в мире, точку зрения, которую разделяли и многие европейские революционеры. И вот, в 1851 году, сначала по-немецки, в Бремене, а затем по-французски, в Париже, выходит книга Герцена «О развитии революционных идей в России». Нужно представить себе историческую ситуацию и отношение к России после событий 1848 года, чтобы в полной мере оценить пафос и задачу герценовского трактата. Он звучит как ответ Тютчеву, как ответ тем, кто не желает увидеть пробуждения, появления российских духовно независимых личностей, как оправдание России перед революционной Европой.

Россию в этой книге Герцен представлял как прямую наследницу мировой, точнее, европейской цивилизации, как страну, способную и призванную продолжить долгий путь мировой истории. В этом и заключался пафос, ядро сложившейся у него к этому времени концепции. «Он, — писал о Герцене Луначарский, — оглянулся на Европу, где торжествует буржуазия, и мечтой вернулся в Россию... Россия покажет путь всем, из России пойдет революция. Запад слишком заостенел, и единственная возможность, которая там была, — пролетарская революция, разбита. Запад будет спасен Россией»<sup>7</sup>. Спасен в лучших своих проявлениях: сохранением высших идейных завоеваний

---

<sup>5</sup> Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. СПб., 1913. С. 295.

<sup>6</sup> Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М., 1982. С. 316.

<sup>7</sup> А.И.Герцен в русской критике. М., 1949. С. 219.



Европы — социалистического идеала. В этом ему образцом служила схема Гегеля, который, говоря о христианстве как величайшем принципе развития человечества, возникшем в римской империи, замечал: «Однако к осуществлению этого призван другой народ или призваны другие народы, а именно германские. В самом древнем Риме христианство не может найти настоящей почвы для себя и сформировать государство»<sup>8</sup>. Герцен в свою очередь писал следующее: «Европа нас не знает; она знает наше правительство и больше ничего. <...> Пусть она узнает ближе народ<...>, который сохранил величавые черты, живой ум и разгул широкой, богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся; надобно им знать<...>, что наш естественный, полудикий быт встречается с их ожидаемым идеалом, — что последнее слово, до которого они выработывались, — первое слово, с которого мы начинаем, — что мы идем навстречу социализму, как германцы шли навстречу христианству» (VI, 322).

Но почему вдруг так получилось, что западник Герцен начал искать будущее мирового развития в отсталой России? Поневоле согласишься с не раз высказывавшимся соображением, что причиной тому стало разочарование русского мыслителя в Европе, по крайней мере, в ее возможности и способности осуществить свои же собственные идеи. Но что за этим разочарованием стоит, каков был путь к нему?.. Сергей Булгаков в своей статье «Душевная драма Герцена» справедливо отмечал, что русская «вера в Запад является вполне утопической и имеет все признаки религиозной веры. Запад как религиозная проблема — странное и дикое словосочетание, а между тем так дело действительно обстояло у нас весь XIX век. <...> Запад является настоящим Zukunftstaat'ом для русских»<sup>9</sup>. Но, продолжает он свою мысль, утопию, «которая помещается в известном пункте пространства,

---

<sup>8</sup> Гегель. *Философия истории* // Соч. М.-Л., 1935. Т. 8. С. 316.

<sup>9</sup> Булгаков С.Н. *Сочинения*. В 2-х т. Избранные статьи. М., 1993. Т. 2. С. 104.

проверить очень легко, — стоит туда только съездить. Для Герцена достаточно было поездки за границу, чтобы сразу разочароваться в Западе»<sup>10</sup>.

Из России Герцену казалось, что Европа уже осуществила, или, по меньшей мере, близка к осуществлению своих идеалов. Утопическое мышление ищет осуществленного будущего не во временном процессе, а в некоем фантастическом пространстве. Когда же искомое пространство отыскивается и оказывается заполненным реальным социально-историческим организмом — со своей весьма непростой жизнью, противоречиями и трудностями, а вовсе не «государством будущего», то склонный к утопизму мыслитель начинает искать другую точку на карте мира. А поскольку для Герцена, по точному наблюдению Г.В. Флоровского, именно *будущее* являлось «основной исторической категорией, основной категорией его мировоззрения»<sup>11</sup>, он, как почти всякий утопист, был человек действия, желавший немедленного осуществления рая на Земле, страстно желавший найти место, где он может немедленно приступить к строительству. Роскошь и изобилие культурно-исторического наследия, считал Герцен, помешали творческому рывку европейцев в будущее, ими самими угаданное. Чтобы осуществить прорыв в будущее (для Герцена это — социализм), необходимо отказаться от прошлого, и раз Европе «мешает... привычка к своему богатству» (XIV, 44), ей на смену должна придти новая, свежая культурно-историческая общность. Ход рассуждений вполне закономерный. Мысль любого утописта всегда тянулась к диким, девственным, неосвоенным землям — за океан, в Америку, к индейцам и т.п. Или просто в малоизвестные страны. Утопическая мысль европейцев, скажем, кроме Америки очень любила изображать, начиная с Ксенофонта и кончая энциклопедистами, такой идеальной страной Персию.

---

<sup>10</sup> Там же. С. 105.

<sup>11</sup> *Флоровский Г.В.* Герцен в сороковые годы // Вопросы философии. 1995. № 4. С. 83.

Но помимо общеродовых тенденций утопизма, Герцена в поисках нового утопического пространства подталкивало и общее — после поражения революции 1848 г. — европейское умонастроение. «Левое гегельянство, — писал Е.В. Аничков, — разочаровалось в высоких приобретениях германизма. 48-ой год не забыт. Он лег тяжелым бременем на романтически настроенные сердца и умы. Вторая империя во Франции, а в Германии — реакция. Где просвет? Откуда придет новое и светлое? Немецкие, французские и итальянские эмигранты рассеяны по всему свету. <...> И вот среди левых гегельянцев возникает какое-то довольно беспорядочное искание страны-спасительницы, которая доставила бы желанный с и н т е з, завершение, знаменующее собою согласно диалектическому методу выход из противоречия тезы и антитезы предшествующей эпохи»<sup>12</sup>. Россия же страна девственная, непочатая, в ней нет устоявшихся ценностей, которые жалко было бы потерять. Единственное, что в ней имеет долгую историю, так это самодержавие, которое не жалко разрушить.

Но где гарантии, что Россия в состоянии усвоить высокие духовные ценности, выработанные европейской цивилизацией на протяжении двух тысячелетий, точнее, ее последнее слово, и не только усвоить, но и выстроить на фундаменте этого Слова — Будущее. Эти гарантии, эти возможности Герцен отыскивает — в русском искусстве, прежде всего в литературе. Об этом, собственно, и рассказывает книга «О развитии революционных идей в России». В этой книге все историческое, философское и культурологическое идеи Герцена сошлись как в фокусе. Исходя из того, что Россия молодая страна, что крестьянин и до сих пор еще живет вне истории, Герцен замечает, что «подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, — только предисловие» (VII, 153). Поэтому он вкратце обозревает исто-

---

<sup>12</sup> Аничков Е.В. Две струи русской политической мысли. 1. Герцен и Чернышевский в 1862 году // Записки русского научного института в Белграде. Белград, 1930. С. 223-224.

рию до рубежа XVIII и XIX веков, ибо все это лишь подготовка к деятельности. Деятельность и начинается с усвоения в послепетровский период элементов цивилизации, философии и литературы, и собственно с возникновения русской литературы. Начало ее он связывает с Фонвизиным, который и задал русской литературе т и п отношения к действительности: «Он горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его потугами на цивилизованность. В произведениях этого писателя впервые появилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией» (VII, 189).

Возможность этого пафоса самокритики Герцен не устает подчеркивать, видя в нем залог силы молодого организма, который, строясь и обновляясь, не щадит себя, залог движения вперед, в историческое будущее. «После крестьянского коммунизма ничего так глубоко не характеризует Россию, ничего не предвещает ей столь великой будущности, как ее литературное движение» (VII, 329), — писал он Мишле. Существенно отметить, что быстро и вскользь пройдясь по векам, Герцен подробно и внимательно останавливается на каждом явлении литературы и культуры XIX века, благодаря чему эти литературные события, соотнесенные со всей историей страны, приобретают характер всемирно-исторический, к тому же и страна уже вышла на мировую арену. Любопытно, что заканчивает он свой труд главой о полемике «московских панславистов» и «русских европеистов», иными словами, славянофилов и западников, видя в этой полемике, в этом споре тоже факт мирового значения.

Что ж, об огромном значении литературы в русском обществе говорили все, проблема общественного назначения искусства была в центре внимания русской мысли; известны слова Белинского о том, что только в литературе есть у нас жизнь; примерно о том же говорили и славянофилы. Достаточно напомнить слова И. Киреевского из «Обзора русской литературы за 1831 год»: «Между тем как в других государствах литература есть одно из второстепенных выражений обра-

зованности, у нас она главнейшее, если не единственное<...>. Между тем как в других государствах (речь идет о Западной Европе. — В.К.) дела государственные, поглощая все умы, служат главным мерилем их просвещения, у нас неусыпные попечения прозорливого правительства избавляют частных людей от необходимости заниматься политикой, и, таким образом, единственным указателем нашего умственного развития остается литература»<sup>13</sup>. Но Герцен вносит в это замечательное, но расхожее рассуждение весьма резкую краску, и в его мысль следует вдуматься.

Говоря о литературе и искусстве, Герцен напрямую связывает литературное развитие с революционным, потому и боится российское «прозорливое правительство» отечественную словесность. Литературная деятельность, полагает мыслитель, как бы перетекает в революционную и наоборот. Вот о декабристах: «Время для тайного политического общества было выбрано прекрасно во всех отношениях. Литературная пропаганда велась очень деятельно. Душой ее был знаменитый Рылеев; он и его друзья придали русской литературе энергию и воодушевление» (VII, 198). Но еще более поразительно дальнейшее изложение, когда описывая ситуацию после поражения декабристов и показывая, что за малейший неверный шаг, за простые социальные споры, за чтение книжек, сочинение стихов и поэм, по малейшему подозрению в крамоле, люди шли на каторгу и в солдатчину, рассказывая о дальнейшем развитии литературных и философских споров, когда уже не было никаких революционных заговоров, тем паче партий, а единичные кружки, которые только н а м е р е в а л и с ь что-то делать, разгромлены (как петрашевцы), уделяя описанию этой ситуации примерно половину книги, Герцен по-прежнему уверен, что описывает не просто литературное, а революционное движение, развитие революционных идей. Иными словами, *литература и искусство становятся под его пером синонимами революционной деятельности* (по крайней мере для России). В этой мысли и заклю-

---

<sup>13</sup> Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 101, 102.

чается, на мой взгляд, зерно герценовской общественно-эстетической концепции.

Надо сказать, что Герцен был не только писателем, философом, революционером, историком и публицистом. Существенно тут отметить генетическую связь его как личности с русской литературой, он и сам был как бы проекцией в жизнь ее устремлений. Гончаров писал о Герцене: «Оставляя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого, этого с головы до ног русского человека, — вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого»<sup>14</sup>. Отметим, что Гончаров был достаточно консервативен, вспомним и то, что Герцен нелестно отозвался о нем в «Колоколе» («Необычайная история о ценсоре Гончаро из Ши-пан-ху»), и тем не менее Гончаров ведет творческую биографию Герцена от своего любимого героя (героя, а не писателя!) — Чацкого.

Чтобы понять мысль Герцена, отчего независимость, критический пафос русской литературы являются выражением революционности, вспомним его рассуждения о личности как высшей точке развития человечества и ее судьбы в России. Вся деспотия в России строится на отсутствии личностного начала, полагал Герцен. Но именно этот фермент, эту «закваску» деятельности, личностного начала, свободы и вносила в русскую жизнь русская литература. Иными словами, она совершила не политическую, а социально-культурную революцию.

Герцен, похоже, угадал, что пафос независимости от государства, пафос свободы, цивилизации и культуры входит в Россию с развитием литературы и искусства. Постоянное усилие, направленное на утверждение свободы и независимости, осуществляемое отечественной словесностью, заключалось не в том, что она однообразно и декларативно призывала к свободе, а в

---

<sup>14</sup> Гончаров И.А. Собр. соч. В 8-ми т. М., 1995. Т. 8. С. 33.

том, что она сама стала независимой и свободной. Независимость эта проявилась прежде всего в критической направленности русского искусства. Герцен увидел в русской литературе залог национального пробуждения, которое может совершиться только через самокритику. Если бы не было такой литературы, то не было бы надежды для России преодолеть самодержавный деспотизм, а следовательно, и мировая культура после ожидаемой гибели Европы «в тине мешанства» лишилась бы последнего шанса на дальнейшее развитие. Чтобы Россия могла осознать свое великое призвание — быть наследницей Европы, она должна очиститься от наносной грязи, найти в себе здоровые силы. «Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием прошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения» (VII, 229).

Это была почти инстинктивная реакция подлинного искусства на давление самодержавия. Причем, неприятие крепостнической действительности, ощущение губительности для личности российского деспотизма можно найти не только у Гоголя или в откровенно протестующей поэзии Лермонтова, но и в такой, казалось бы далекой по сюжету от российской действительности картине Карла Брюллова, как «Последний день Помпеи». Еще в своей статье 1842 года «Москва и Петербург» Герцен писал об этой картине: «Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящей людей в Помпее, — это вдохновение Петербурга!» (II, 40).

Если де Кюстин считал, что в России невозможно искусство из-за самодержавно-деспотического подавления личности<sup>15</sup>, то Герцен именно в искусстве видел

---

<sup>15</sup> «Самый воздух этой страны враждебен искусству, — писал приезжий маркиз. — Все, что в других странах возникает и развивается совершенно естественно, здесь удаётся только в теплице. Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком» (Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1930. С. 61).

залог и возможность русского освободительного движения. Более того он полагал, что стоит русскому искусству отказаться от своей оппозиционности по отношению к самодержавию, оно просто-напросто перестает быть искусством. Да и русское общество, воспитанное уже русской литературой, оказывает обратное влияние на нее: в этом тоже залог, что искусству не сойти со своего пути: «В России все те, кто читают, ненавидят власть <...>. От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболопной брошюрой» (VII, 220).

Через литературу и искусство в Россию входила европейская идея свободы, способствовавшая сознательной оппозиции образованного общества самодержавию. И в конечном счете именно это понимание развития общества — через созидание и накопление духовных ценностей свободы в человеческом творчестве повернуло Герцена от утопических упований к признанию реальных смыслов, реальных завоеваний европейской цивилизации, без которых, как показал, в частности, нечаевский синдром, немыслимо строить Будущее, созидающее свободную личность. История не была неудачей в Европе, она создала, как он писал, «капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен» (XX, 587). В созидании такого капитала и заключается подлинная революция, преобразующая человечество.

Дело в том, что укрепившийся к концу 60-х годов прошлого века левый радикализм нечаевско-ткачевского толка, опирался на герценовскую критику Европы и выводил из нее тотальное отрицание всех достижений западного развития (включая и науку и литературу), как балласта, мешающего продвижению в «светлое завтра». В письмах «К старому товарищу», полемизируя с Бакуниным, Огаревым и Нечаевым, Герцен по существу преодолевает свою собственную утопически-негативистскую установку, которая провоцировала ин-



стинкты разрушения цивилизации, но отнюдь не способствовала постройке фундамента Будущего. Этот революционный фундамент он нашел в русской литературе, но, как выяснилось, отрицание европейских ценностей неизбежно вело и к нигилизму по отношению к отечественной словесности — единственным на тот момент, чем Россия могла гордиться, где сосредоточилось все лучшее, что собрала и усвоила себе отечественная культура. Когда-то щекотавшие ему нервы параллели современной ситуации с историческими катаклизмами, вызванными варварскими нашествиями, теперь пробуждают у Герцена нескрываемый ужас: «Мы не можем брать на себя ни роль Аттилы, ни даже Антона Петрова. <...> Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку — и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной» (XX, 588, 592).

Поэтому в герценовской трактовке русской литературы и кроется, на мой взгляд, наиболее продуктивный и спасительный для самого мыслителя пафос. Ибо русская литература в его понимании оказалась той аккумулярующей силой, вобравшей в себя все лучшее и из западноевропейской традиции, и из российской (прежде всего суровый и беспощадный реализм), а потому и ставший тем реальным фундаментом, на котором могла укрепиться в России независимая, свободная личность. Здесь и находится шанс на достойное движение страны в будущее — не утопическое и безоблачное, а в трудное и тяжелое, но зато реально-историческое европейское время. В этом и заключалась для России революционная роль литературы.

### ХІІІ. ИВАН ТУРГЕНЕВ: РОССИЯ СКВОЗЬ «МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ» ГЕРМАНИИ

Начнем с констатации факта: не Пушкин, не Гоголь, не Лермонтов, признанные родоначальники русской словесности, а только лишь Тургенев был первым *открытым Европою* великим русским писателем. С этого момента (не без помощи Тургенева) русская литература становится событием и явлением европейской и мировой культуры. К удивлению Запада, Россия — место, представлявшееся духовной пустыней, — вдруг произвела нечто, что стало оказывать несомненное влияние на духовную жизнь цивилизованного мира. Тургенев еще при жизни был признан классиком всеми выдающимися деятелями Европы: от Жорж Санд до Т.Карлейля. Его называли единственным представителем эпического творчества в Европе (по сути, он подготовил зарубежных читателей к восприятию Толстого и Достоевского), влияние Тургенева к концу жизни было так велико, что, скажем, аугсбургская «Альгемайне Цайтунг», по свидетельству П.В.Анненкова, «ядовито и насмешливо говорила о поклонении немцев «московской эстетике»<sup>1</sup>.

#### «ЗАПАДНИК» И... ИСТИННО РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Выбор европейцев был, однако, неслучаен и безошибочен. Предшественники Тургенева казались тогда

---

<sup>1</sup> Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 354.

западному читателю не совсем самобытными. Пушкин, Гоголь и Лермонтов как бы вводили русскую культуру в контекст европейской, настраивая на современный лад: Евгений Онегин вполне встраивался в привычный ряд героев типа шатобриановского Рене или байроновского Чайльд-Гарольда, в «Капитанской дочке» улавливались сюжетные ходы Вальтера Скотта, в «Мертвых душах» — традиции «плутовского романа», а поэзия Лермонтова могла восприниматься как продолжение демонической линии западной литературы. Их своеобразность была осознана позже, к концу XIX века.

Тургенев утвердил, следуя за создателями отечественной словесности, те ключевые темы, фигуры и коллизии русской жизни, которые во многом определили направление и проблематику возникавшей великой литературы. Его тексты сделали внятными своеобразие этой проблематики. Скажем, от «Дневника лишнего человека» Тургенева прямой путь к «Запискам из подполья» Достоевского и «Крейцеровой сонате» Толстого. Здесь впервые разыгранна тема «лирического антигероя», получившая свое развитие в западной литературе XX века (Сартр, Камю, Гессе, Онетти и др.). Стали событием «Записки охотника», и дело было не только в изобличении крепостнического рабства. Писатель увидел в крестьянах людей, которых можно было мерить европейской меркой: в рассказе «Хорь и Калиныч» он, шокировав тем публику, одного из мужиков сравнил с Гете, а другого — с Шиллером<sup>2</sup>. От Тургенева идет сюжет разрушающихся «дворянских гнезд», заверченный Чеховым и Буниным. Он создал — первым! — символический образ русского народа — Герасима (из рассказа «Муму»): могучего и глухонемого. Потом уже, отталкиваясь от этого образа и с учетом тургеневского опыта был написан Толстым Платон Карата-

---

<sup>2</sup> Ср. об этом точное наблюдение Ю.Манна: «В первоначальном тексте рассказа (напечатанном в «Современнике») не случайно упоминалось о Гете и Шиллере («словом, Хорь походил на Гете, Калиныч более на Шиллера...»). Легко и свободно приложил Тургенев к явлениям крестьянского мира те масштабы, которые по традиции прилагались к более «высоким» сферам жизни... Русская народная жизнь в своем нравственном содержании поднималась Тургеньевым до уровня жизни общечеловеческой» (Манн Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 107).

ев, а Достоевским — мужик Марей. Наконец, Тургенев ввел в русскую литературу тему, которая стала едва ли не основной, во всяком случае, самой значимой в нашей отечественной судьбе, — тему нигилизма (в «Отцах и детях»), показав не только ее политическую и культурную злободневность, но и ее философскую и духовную глубину: Базаров у него не шут, а мыслитель, трагическая фигура. И пожалуй, именно Тургеневу принадлежит честь вполне сознательного использования определенного эстетического принципа для анализа явлений российской действительности — в контексте символов мировой культуры, в сравнении с великими образами европейской литературы, как в прямом соотношении («Гамлет Щигровского уезда», «Фауст», «Степной король Лир»), так и в косвенных параллелях, внутренней рифмовке, становящихся средством характеристики героев (Рудин рифмуется с Вечным Жидом, Ася — с Гретхен и Миньоной, Инсаров — с Дон Кихотом, Базаров — с Фаустом и Мефистофелем одновременно: как человек познания и дух отрицания в одном лице и т.п.). Этот принцип стал характерным для русской классики (от Л.Толстого и Достоевского до А.Платонова и М.Булгакова).

Однако Тургенев не только в Европе прозвучал как истинно русский писатель, но и (несмотря на все его *откровенное западничество*) в русской славянофильской критике он воспринимался «как великий русский художник», а «по природе своей, наперекор своему воспитанию и так называемым «убеждениям», и вполне русский человек»<sup>3</sup>. Это обстоятельство подчеркивалось не только славянофилами, но и западниками-демократами: «И.С.Тургенев... — истинный художник, и художник преимущественно русский. Русская национальность выражается как в создании русских типов, так и в отношении самого художника к создаваемым им типам»<sup>4</sup>. Уже в самом начале его поприща многими угадывалась необходимость его творчества для русской культуры. «Я убежден в будущности этого человека, — писал Огарев, — Он создаст что-ни-

---

<sup>3</sup> Аксаков И.С. И слово правды... Стихи, пьеса, статьи, очерки. Уфа, 1986. С. 220.

<sup>4</sup> Писарев Д.И. Сочинения. В 4-х томах. М., 1955. Т. 1. С. 19.

будь *важное* для Руси»<sup>5</sup>. Кстати, как раз славянофил И.Аксаков заметил, что Тургенев в своем Герасиме первым вылепил «олицетворение русского народа»<sup>6</sup>.

Короткоумную мысль изумляло, почему именно западник Тургенев оказался наиболее тонким и точным угадчиком русской жизни и ее типов. Он «был «западник»... — писал удивленно Николай Михайловский, — но это не мешало ему быть гордостью русской литературы»<sup>7</sup>. Сам Тургенев, напротив, считал, что он сумел нечто создать не вопреки, а благодаря тому, что он европеист, или, по словам его письма 1862 года Герцену: «Я все-таки европеус — люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал в молодости»<sup>8</sup>. Потому прежде всего, что из Европы пришла идея свободы, без которой не состоялось бы и русское искусство. В конце 60-х годов Тургенев, в очередной раз отстаивая благотворность европейской цивилизации, раскрепощающей душу и ум человека, писал об этом так: «Отсутствием подобной свободы объясняется, между прочим, и то, почему ни один из славянофилов, несмотря на их несомненные дарования, не создал никогда ничего живого... Нет! без правдивости, без образования, без свободы в обширнейшем смысле — в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, — немыслим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя»<sup>9</sup>.

Тургенев полагал, что отъезд на Запад укрепил и выстроил его душу. «Европейская жизнь, — как замечал друг и биограф писателя Павел Анненков, — много помогла ему в этом труде над собой. Вообще говоря, Европа была для него землей обновления: корни всех его стремлений, основы для воспитания воли и характера, а

---

<sup>5</sup> Н.П.Огарев о литературе и искусстве. М., 1988. С. 218.

<sup>6</sup> «Русское обозрение». 1894. Т. 28. Август. С. 475.

<sup>7</sup> Михайловский Н. Литературная критика. Статьи о русской литературе XIX — начала XX века. Л., 1989. С. 239.

<sup>8</sup> Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма в 18-ти томах. М., 1988. Т. 5. С. 131. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте.

<sup>9</sup> Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Сочинения в 12-ти томах. М., 1983. Т. 11. С. 95. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте.

также и развития самой мысли заложены были в ее почве...»<sup>10</sup>. Обретенное самосознание позволило ему найти и общественно-художественную позицию, с которой мог он понять и оценить явления русской жизни. На Западе он поверил в себя и в Россию. Ибо западничество, как пишет один из крупнейших нынче специалистов по этой проблематике, «выражалось не в презрении к России, а в отрицании ее отсталости и патриархальности: оно было во многом утопической и, без всякого сомнения, оптимистической верой в будущее русского народа, которому суждено было, по мнению западников, стать одной из ведущих культурных наций Европы и всего мира. Это и есть тот самый западнический взгляд, благодаря которому Тургенев написал «Записки охотника» такими, каковы они есть»<sup>11</sup>.

Идейной опоры для своего творчества в окружающей его российской жизни писатель не находил тогда: «...почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда» (Соч., т. 11, с. 8).

Удивление современников (как же он остался русским писателем!) Тургенев сознавал, но считал, что именно западничество есть немаловажная, а то и определяющая тенденция русской природы. В уже упоминавшемся рассказе «Хорь и Калиныч» (своего рода увертюре тургеневского творчества) он пишет, что из своих бесед с русским мужиком вынес одно убеждение — «убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так

---

<sup>10</sup> *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. С. 316.

<sup>11</sup> *Щукин В.* Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление. Kraków, 1987. С. 125.

уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов». Именно этой способностью к усвоению чужих смыслов русский народ относится к европейской культуре, выросшей на усвоении греко-римского наследства. Но для художника этот культурный билингвизм, состояние, я бы сказал, находимости-вненаходимости в своей культуре, то есть способность чувствовать себя представителем своей культуры и одновременно способность взглянуть на нее со стороны, с высшей или по крайней мере равной точки зрения, и создает художественное, бинокулярное зрение, позволяющее увидеть и понять свое родное. Не могу здесь не согласиться с весьма точным наблюдением Николая Вильмонта: «Вторжение инородного начала (расового или культурно-сословного) обычно только и делает большого человека полновластным хозяином национальной культуры. Тому первый пример — Пушкин, потомок «арапа Петра Великого» и правнук Христины фон Шеберх...»<sup>12</sup>. Но именно Пушкина Гоголь называл единственным явлением русского духа. Все вышесказанное объясняет и поразительную русскость «европейца» Тургенева.

## ГЕРМАНИЯ КАК МЫСЛИТЕЛЬНОЕ И ДУХОВНОЕ СРЕДОТОЧИЕ ЕВРОПЫ

Однако почему писатель окунулся именно в «немецкое море»? Более того, почему Тургенев, уже пожилым человеком, написал: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не чтить ее как мое второе отечество» (Соч., т. 10, с. 351)? Почему действие многих его повестей и рассказов происходит в Германии? Почему практически нет у Тургенева художественного текста, где в том или ином контексте не возникла бы немецкая тема

---

<sup>12</sup> Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., 1989. С. 49.

— в виде ли персонажа-немца, разговора о немецкой философии, чтения немецких стихов, сообщения героев о поездке в тот или иной германский город (даже простонародный персонаж из «Постоялого двора» ходил в «Липецк», то есть в Лейпциг), просто немецкой фразы или впервые в русской литературе употребленного того или иного немецкого слова, которое впоследствии становилось фактом русского языка?..

Можно предложить по меньшей мере два объяснения этому обстоятельству: культурологически-биографическое и культурологически-историческое. Разумеется, оба они взаимосвязаны, ибо биография выдающегося человека есть часть истории.

Итак, первое, биографическое. К примеру, детское впечатление: когда мальчик от бесконечных придирок и постоянных наказаний (его секли) решил бежать из дома, его остановил, уговорил остаться, а потом смягчил его мать, заступился за мальчика — немецкий учитель. На впечатлительного мальчика доброта подействовала, — отсюда, быть может, образы «добрых немцев», сострадающих лирическим героям писателя. Затем в течение двух лет (1828-1830) пансион Иоганна Фридриха Вейденгаммера. В 1838 году на пароходе «Николай I», курсировавшем между Петербургом и Любеком, Тургенев, отправлявшийся учиться в Германию, испытал первый, запомнившийся на всю жизнь страх смерти. Близ Травемюнде на корабле начался пожар, пассажиры еле спаслись, гибель казалась «угрожающей и неизбежной» (Соч., т. 11, с. 302), вспоминал Тургенев в 1883 году, последнем году своей жизни. Страх смерти, преодоление этого страха, то есть *духовное возмужание*, произошло у Тургенева на немецкой территории.

И наконец, самое важное — два года в Берлине, изучение философии Гегеля под руководством профессора Карла Вердера, о котором Николай Станкевич в 1840 году спрашивал Тургенева, прося сообщить сведения о берлинских знакомых: «А самое главное, напишите о Вердере. Скажите ему мое почтение, скажите, что его дружба будет мне вечно свята и дорога, и что все, что во мне есть порядочного, неразрывно с нею



связано!»<sup>13</sup> Именно в Берлине Тургенев заводит дружеские связи с российскими интеллектуалами, которые в дальнейшем приобретут мировую и историческую известность, а многие станут персонажами его романов, — с Михаилом Бакуниным, Тимофеем Грановским, Николаем Станкевичем. Затем он входит в круг Белинского, Герцена, Аксаковых, пропуском в эти слои духовной элиты России служит молодому человеку немецкая философия. Тургенев был принят за своего в этих философских кружках «Молодой России» несмотря на свою молодость. «Недаром же я жил в Берлине, — отмечал он впоследствии, — изощрялся в диалектических тонкостях, а потому я, хоть и не в передних рядах, однако высвистывал свою партию тоже» (Соч., т. 11, с. 286).

Вообще Германия и прежде всего Берлин были Меккой молодых русских дворян, пытавшихся расширить кругозор и понять мир. «Ты в Берлине! — восклицал Станкевич в письме к Грановскому. — Ты достиг цели твоего странствия! Я воображаю, как сжалось твое сердце, когда ты увидел этот немецкий город, на который каждый из нас возложил свою надежду!»<sup>14</sup> Таким образом, благодаря Германии Тургенев очутился в эпицентре духовно-идейной борьбы своего времени. Факт биографический, но много дающий для понимания духовной атмосферы в России второй четверти XIX века. Пушкин первым нарисовал такого, непохожего на своих соотечественников, русского дворянина, который «из Германии туманной привез учености плоды», при этом был «поклонник Канта и поэт».

Если мы заменим Канта на Гегеля, то перед нами вместо Владимира Ленского возникнет реальный молодой человек — Иван Тургенев: один из многих. Приехавшие из Германии, эти молодые люди меняли духовную атмосферу России, из их среды вышли славянофилы и западники, «зачинатели нашей интеллигенции, патетики и энтузиасты не хуже, а яростнее немецких студентов»<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982, с. 222.

<sup>14</sup> Там же. С. 139.

<sup>15</sup> Зайцев Б. Жизнь Тургенева // Зайцев Б. Далекое. М., 1991. С. 157.

Восторженным, речистым говоруном предстает перед нами Тургенев тех лет в воспоминаниях современников и в своих письмах. Он старается выглядеть философски воодушевленным, погруженным в сложные материи, старается заводить соответствующие связи. Скажем, из письма Беттине фон Арним (1840) видно его ученическое следование романтически-философской манере собеседования: «...вместо того чтобы, как многие это делают, например при пении соловья, отдаваться безотчетному томлению, у людей должен быть в груди неиссякаемый родник мыслей, исполненных чувства любви...» (Письма, т. 1, с. 352). Эта выпренность совсем была не в стиле дальнейшего творчества Тургенева. Достаточно сравнить приведенные строки с вполне натуралистической зарисовкой 1854 года «О соловьях», где рассказывалось «о соловьях, об их пенье, содержанье, способе ловить их и пр.».

Однако школа философствования способствовала углублению и развитию свойственного характеру Тургенева реализма. В шутовском письме к М.Бакунину и А.Ефремову (тот же 1840 год) он посылает стихотворения «Немец» и «Русский», где предпринимает попытку дать сравнительную характеристику двух национально-психологических типов, причем оба национальных образа как бы отзеркаливают друг друга, образ немца служит контрастным пояснением образа русского и наоборот. Можно сказать, что в этом сознательном сопоставлении двух представителей разных культур он впервые опробовал один из методов своего искусства: сквозь призму одного национального типа смотреть на другой — для лучшего их уяснения и изображения. Существенно и то, что стихотворение «Немец» написано по-немецки, а «Русский» — по-русски. Тема обоих стихотворений очень характерная для всего дальнейшего творчества Тургенева: любовь к юной девушке, расставание с ней и последующие переживания героя.

Как видим, частная жизнь писателя напрямую связана, как бы перетекает в его творчество, которое уже неотъемлемая часть культуры. А дальше были у Тургенева годы жизни в Баден-Бадене, письма любимой женщине Полине Виардо, писанные по-французски, но все самые

интимные и ласковые слова — по-немецки; видимо, для него именно на этом языке звучал непосредственный голос страсти. С семейством Виардо, укrywшимся от деспотии Наполеона III в Баден-Бадене, наблюдал он франко-прусскую войну, дав об этом событии ряд корреспонденций в русскую прессу. Факт вроде бы случайный, но интересно то, как ориентировал своих соотечественников великий писатель. Тургенев писал: «... в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе...» (Соч., т. 10, с. 310). В этом конфликте Германия казалась ему представительницей цивилизации, *с цивилизацией же связывал он преодоление дикости, рабства, насилия, а также воскрешение всех духовных и художественных свершений прошлого.* Поэтому для него естественно, что пергамские раскопки, открывшие миру «мраморные горельефы лучшей эпохи аттического ваяния», произведены Германией, что, «конечно, принесет ей больше славы, чем завоевание Эльзаса и Лотарингии, и, пожалуй, окажется прочнее» (Соч., т. 10, с. 326), — пишет он в 1880 году, ибо все же не победа в войне, а духовность и культура остались для Тургенева главными в облике Германии. Впрочем, чем выше духовность, тем глубже может быть падение в низменность и пошлость. От общеевропейского духа Гете к дикому национализму лавочников и военных. Об этом облике любимой страны он тоже написал.

Почему, однако, из всех европейских стран именно Германия оказалась в сфере внимания русских интеллектуалов, в том числе и Тургенева? Отвечая на этот закономерный вопрос, мы переходим от биографического к историко-культурологическому аспекту наших рассуждений.

Когда-то Немецкая слобода была изолированным островком в море русской жизни. Начиная с Петра I, немецкая культура, немецкая технология, немецкое военное искусство, немецкая наука, немецкий стиль правления, да и просто сами немцы, оказавшиеся на всех ступенях общественной пирамиды, — от царской семьи и царского двора до пекарей, булочников, сапожников,

управляющих именами, — стали постоянным элементом русской жизни. К середине XIX века «немецкая тема» поляризовала позиции русских мыслителей. Так, друзья Тургенева Герцен и Бакунин видели в этом обстоятельстве бедствие для России, искажение ее внутренней сущности; тургеневский друг и соперник писатель Гончаров, напротив, полагал наличие немцев благом для воспитания русского характера, введения его в цивилизованное русло. Именно немцы, а не, скажем, французы стали проблемой русской культуры, хотя галломания российских дворян хорошо известна. Однако, по справедливому наблюдению Герцена, и галломанией русское образованное общество было обязано немцам, немецкой галломании, а именно Екатерине Второй: эта «немка... была офранцузена, выдавала себя за русскую и стремилась заменить немецкое иго — общеевропейским»<sup>16</sup>. Но вслушаемся в это словечко — «общеевропейским». Немцы искали именно *общеевропейского* смысла, будучи сами окраиной Европы и европейскими маргиналами, чтобы ухватить ведущую тенденцию западной цивилизации. Немецкая философия, писал Н. Берковский, «обдумывала, приводила в логический порядок немецкие дела в связи с делами всей Европы»<sup>17</sup>.

Для России, много дальше Германии отстоявшей от Европы, оторванной от нее исторически (татарским нашествием) и конфессионально, уровнем цивилизации, но вместе с тем искавшей путей возвращения в европейскую семью народов — при этом в качестве самостоятельной культурной единицы, — немецкий опыт приобретал особый смысл и значение. Германия и в географическом, и в практическом, и в духовном отношении была тем соседом, который способствовал проникновению в Россию европейской системы ценностей. На этом пути возникали и германофилия и германофобия — в зависимости от принятия или неприятия европейских идеалов и образа жизни. Для Тургенева Россия законная часть Европы: «...мы, русские, принадлежим и по языку и по породе к

---

<sup>16</sup> Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти томах. М., 1958. Т. XIV. С. 156.

<sup>17</sup> Берковский Н.Я. Эстетические позиции немецкого романтизма // Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 6.

европейской семье, «genus Europaeum» — и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии, должны идти по той же дороге» (Письма, т. 5, с. 126). А в другом письме еще резче: «Россия — не Венера Милосская в черном теле и в узах; это — такая же девица, как и старшие ее сестры — только что вот задница у ней пошире... и так же будет таскаться, как и те» (там же, с. 124). В России, отсталой не только культурно-образовательно, но и экономически (в отличие от экономически развитой Германии), потребность скорейшего усвоения европейских плодов стала в известном смысле проблемой ее дальнейшего существования. И в немецкой философии, ухватив ее общеевропейский смысл, русские интеллектуалы искали своего рода отмычку, открывающую для России дверь в Европу. Причем нужно учесть, что Германия при этом рассматривалась либо в идеальном или даже идеализированном виде — через гегелевско-шеллингианскую философию, поэзию Гете и Шиллера, музыку Баха, Брамса, Бетховена, — как носитель духовности и прогресса, либо как воплощение всевозможного зла для России — прежде всего имперскости, монархизма, бюрократизма и антирусских тенденций, стреноживающих исконный русский духовный склад. Забывалось, что и сама Германия еще далеко не цивилизовалась и тоже ищет свои — особые — пути в европейское сообщество (эти поиски «особого пути» привели к грандиозной катастрофе гитлеризма в XX веке).

Да к тому же Германия, как и любая страна, противоречива и ее влияние на Россию было тоже неоднозначным, как и восприятие немцев русскими людьми. Быть может, наиболее полно этот широкий спектр восприятия немцев и немецкой культуры выразил Тургенев, знавший изнутри и Россию, и Германию, любивший обе страны и позволявший себе по праву любви говорить и немцам и русским нелюбезные вещи.

## НЕМЕЦКОЕ ВЛИЯНИЕ, ИЛИ СХОЖДЕНИЕ МИРОВОГО ДУХА НА РОССИЮ

Понятно, что можно многое написать о месте и роли немцев и немецкой культуры в творчестве Тургенева: тут

и реминисценции поэзии и прозы немецких писателей (от Гете и Шиллера до Гофмана и Гейне), скрытые цитаты из их творчества и откровенное цитирование — по-немецки! — стихов немецких поэтов, рассуждения героев о немецкой философии и литературе, характеристика персонажей по их отношению к немецкому языку (люди, взыскующие духовности, как правило, хорошо понимают немецкий, напротив, люди пустые языка не знают), не стоит забывать и германские места действий в его повестях и романах, влияние на его творчество философов от Шеллинга и Гегеля до Шопенгауэра, его связи с немецкими литераторами (Ф.Боденштедтом, Л.Пичем, М.Гартманом, Б.Ауэрбахом и др.); редакция немецких переводов своих текстов — это тоже особая тема, и наконец, самое важное — образы немцев в его творчестве.

Поднимать все эти темы здесь было бы нереально, тем более что существует немалая литература о немецких связях Тургенева, о германских реминисценциях в его творчестве, о влиянии того или иного философа или писателя на Тургенева, об изображении Германии в повестях Тургенева и т.п.<sup>18</sup> Мне хочется остановиться на двух взаимосвязанных проблемах, а именно: как воспринималось русским писателем влияние немецкой литературы на российскую ментальность и на российскую жизнь, как виделись сами немцы глазами русского писателя, а в результате понять, каким образом анализ России был связан с «немецкой темой».

Включенный в «Записки охотника» рассказ «Гамлет Щигровского уезда» объясняет российский гамлетизм как результат рефлексии, занесенной к нам немецкой фило-

---

<sup>18</sup> См. об этом, к примеру: *Жирмунский В.М.* Гете в русской литературе. Л., 1981; *Данилевский Р.Ю.* Стихотворная цитата в повести «Яков Пасынков» // Тургенев и его современники. Л., 1977; *Данилевский Р.Ю., Тиме Г.А.* Германия в повестях «Ася» и «Вешние воды» // И.С.Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982; *Пронин В.А.* Немецкие литературные реминисценции в произведениях Тургенева // И.С.Тургенев в современном мире. М., 1987; *Тиме Г.А.* «Записки охотника» И.С.Тургенева и «Шварцвальдские деревенские рассказы» Б.Ауэрбаха (Сравнительная типология жанра) // И.С.Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1990; *Thiergen P.* Iwan Turgenevs Novelle «Faust». In: Faust-Rezeption in Russland und Sowjetunion. Knittlingen, 1983.

софией, которая вроде бы вовсе и не применима в России. Российский Гамлет рефлексировал: «Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу могу извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?» Жизнь русского человека, построенная по немецким философским прописям, оказывается несостоятельной. Путешествующий по истории гегелевский мировой дух, кажется, не может найти себе обиталище на этом географическом пространстве. Л. Лотман видит в тургеневском герое «порождение русской провинции»<sup>19</sup>. Жена он нашел, однако, себе под стать, свое девичество проведшую «с бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками». Однако счастья ему она не принесла, несмотря на то, что «это было существо... любящее и способное на всякие жертвы», но, признается герой, «до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!» Почему же такое? Да потому что от Бетховена, Гете и Шиллера она не могла оторваться и «ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла». Жена только укрепляла его в ощущении ненужности окружающему миру, ибо сама была такая. Очень хорошо поясняет причину подобной тоски и совершенно экзистенциального чувства заброшенности, одиночества такой же ненужный и лишний человек — Рудин: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный фундамент создавать!»

«Собственный свой фундамент создавать» — задача неизмеримо трудная, когда «и почвы-то под ногами нету». Дело здесь не просто в русской провинции, ее жильцы вполне уютно устроены в жизни, а в точечных вкраплениях людей высокой культуры в эту провинцию, в столкновении людей, воспитанных на Гегеле и Шеллинге, привыкших к рефлексии и философствованию, с обы-

---

<sup>19</sup> Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века (Истоки и эстетическое своеобразие). Л., 1974. С. 13.

вателями, живущими только бытом, причем бытом нецивилизованным (так что даже немецкие мещане начинают в России казаться людьми высшего порядка), грубым, почти животным. В каком-то смысле все эти «точечные вкрапления» своего рода «духовные немцы», то есть русские, впитавшие высшие достижения немецкой духовности, а потому оказавшиеся как бы дважды чуждыми своему миру: и высотой стремлений, и тем, что стремления эти рождены в лоне инациональной культуры. В повести «Дневник лишнего человека» дан вроде бы эпизодический образ немца-учителя, но дан он на первых страницах и служит камертоном, настраивая читателя на тональность жалоб «лишнего человека» Чулкатурина, становится даже своего рода символом судьбы героя: «...Особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибленное существо, бесплодно сторовшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, — сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги, — а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?  
Was bekümmert dich so sehr?  
S'ist ja schön im fremden Lande.  
Herz, mein Herz, was willst du mehr?»

Как сообщается в примечании, четверостишие это навеяно стихотворением Гете «Neue Liebe, neues Leben». Иными словами, основа образа немца Рикмана — высокодуховная, ведь рядом есть и простые обруселые немцы, отличающиеся от своих русских соседей только происхождением, к примеру, «остряк землемер — немецкого происхождения, с татарским лицом». Эти немцы чувствуют себя своими, живут жизнью российской провинции. Но герой, как и его учитель немец Рикман, ощущает себя чужим в этом обществе: отсюда его рефлексия, самоко-



пание, бесконечная печаль и недовольство собой: «...между моими чувствами и мыслями — и выражением этих чувств и мыслей — находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду — мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался — я действительно становился несчастным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть, как все», — и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние...»

Итак, чужой, посторонний, лишний, почти подпольный, короче — немец, немой, не знающий языка родной культуры, а потому страдающий. Вопрос только в одном: незнающий или не хотящий знать? или вносящий в эту культуру нечто новое? Конечно же, эти герои не были пропащими людьми, были носителями «беспокойного творческого духа и энергии, способной приводить в движение мысль и деятельность других»<sup>20</sup>. Это смутно чувствуют даже антагонисты тургеневского героя. Лежнев говорит на прощанье Рудину: «Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение...» Рудин, когда-то прошедший школу немецкой философии в Германии, — проповедник иной системы ценностей, погибает; как и всякий трагический герой, но, как и следует, его гибель не остается бесплодной: эти «лишние люди», эти *Рудины стали тем самым фундаментом, на котором далее строилась русская культура*. Рудин еще не герой действия, он герой слова, но слово его меняет душу окружающих: «Какие сладкие мгновения переживала На-

---

<sup>20</sup> Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. С. 13.

талья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гетевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным взором: со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые, светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...»

Подчеркнем, что это не слова персонажа, а слова самого автора: они заслуживают того, чтобы быть прочитанными медленно, вдумчиво, с остановкой почти на каждом слове. Перед нами картина духовного пробуждения и становления человеческой личности. Когда-то Ю. Айхенвальд высокомерно писал про Тургенева: «У него любовь литературна и, так сказать, с цитатами... В словесности почерпает она свой источник и вдохновение, и редко любовники обходятся без посредничества книги: письмо Татьяны к Онегину, Анчар, Фауст, Гейне, Герман и Доротея...»<sup>21</sup> Не буду напоминать известную сцену Паоло и Франчески из «Божественной комедии» Данте, но замечу, что чтение у Тургенева — не пустая цитата, а *духовная возгонка героев*, да к тому же деталь весьма характеристическая и реалистическая: чтение в те годы действительно лепило и создавало русский образованный слой. *С уровня, заданного героями Тургенева, начинается русский философский роман.* Невозможно представить себе нечитающими книжных героев Достоевского<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 259.

<sup>22</sup> По наблюдению Михаила Бахтина, «литературный человек» и связанное с ним испытание литературного слова есть почти во всяком большом романе — таковы в большей или меньшей степени все герои Бальзака, Достоевского, Тургенева и др.» (Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 224).

Давно стало общим местом в литературоведении, что чтение немецкой философии и философской поэзии (Гете и Шиллера) пробудило русскую литературу, которая стала своеобразным соперником германской мысли. Особенно рельефно видно это в романах Тургенева. Его герои оказываются носителями «фаустовского начала». Как справедливо указывает Л. Лотман, «попытки героя романа «Рудин», «лишнего человека», осуществить целый ряд утопических проектов — просвещать юношество, прививать гуманность, превращать мелкие реки в судоходные — напоминают деятельность Фауста во второй части драмы Гете, где практическая работа на благо человечества трактуется как венец бесконечных устремлений саморазвивающегося творческого духа»<sup>23</sup>.

Образ Фауста для Тургенева — средоточие и квинт-эссенция немецкого духа; размышлению над этим образом посвятил он немало страниц, более того, во многих его центральных и эпизодических героях сквозят черты Фауста — Базаров, дед Веры Николаевны из Тургеневского «Фауста» Ладанов, отец Аратова, героя последнего произведения писателя «Клара Милич (После смерти)» и др. Однако зачем этот парафраз? Попытка найти в России подобные типы? Или соперничество с немецким гением?

Всю жизнь Тургенев преклонялся перед Гете, но в данном случае речь идет о соперничестве не поэтическом, а, так сказать, историко-культурном. Повесть Тургенева, названная по имени великого произведения великого немца «Фауст» (1856), позволяет достаточно ясно представить не только тип, но и причину сопоставления немецкой и русской культуры в творчестве Тургенева.

Основное действие повести происходит в срединной, далекой от столиц российской провинции, в одном из «дворянских гнезд», где герой еще молодым человеком влюбляется в прелестную девушку, хочет на ней жениться, отказавшись от своей поездки в Берлин для продолжения образования. Но мать Веры Николаевны требует его отъезда в Германию, чтобы он там возмужал, понял

---

<sup>23</sup> Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. С. 17.

себя. «Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну...» — исповедуется герой приятелю. И вот, по-прежнему одинокий, он возвращается в свою деревню, замечает, что уже стареет, ему под сорок — по тем временам почтенный возраст. В своем имении находит он немецкое издание «Фауста» и вспоминает Берлин, студенческое время, актера, игравшего Мефистофеля, и — молодеет, как Фауст. «Моя молодость пришла и стала передо мною... огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания...» И вот в этом состоянии омоложенного Фауста он встречается когда-то любимую девушку, ей уже двадцать восемь лет, она замужем, у нее дети, но волнение снова просыпается в крови героя. Он начинает к ним ездить, уговаривает послушать «Фауста», спрашивает ее:

«— Ведь вы по-немецки не забыли?

— Нет, не забыла.

— Она говорит, как немка», — поясняет ее простодушный и недалекий муж. Русская женщина в некоем идеальном смысле отождествляется с немкой. Зачем — станет понятно дальше. И вот эта внучка русского «чернокнижника» Ладанова под чтение гениальной трагедии (где сосуществуют и всевозможная кабалистика, чертовщина, магия, превращения и бессмертная любовь Гретхен и Фауста) влюбляется в нашего героя, причем, надо понимать, вся чертовщина ее уму, привыкшему к мистическим рассуждениям деда и матери, кажется вполне реальной. Но любовь чревата нарушением нравственного долга, к ней является умершая мать, грозит, и героиня — в отличие от немецкой Гретхен, — не смея преступить свой долг и честь, заболевает и умирает.

Все бы это воспринималось как российская вариация на темы Гете, если бы в повести не присутствовал еще один персонаж: «какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смиренным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе... все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили: это был некто Шimmel, учитель немецкого языка». Прибыл он на чтение трагедии

по приглашению Веры Николаевны, которая к нему благоволила. Немец тоже слушает чтение трагедии, время от времени выражая восхищение («в продолжение чтения он один нарушал тишину... «Удивительно! возвышенно! — твердил он, изредка прибавляя: — А вот это глубоко»»). Шиммель знает, что трагедией Гете надо восхищаться, но она не затрагивает его душу, поэтому он может нарушить тишину и глубину восприятия. Как мы знаем, молчавшая во время чтения Вера Николаевна заплатила жизнью за свое знакомство с «Фаустом», он коснулся самых глубинных ее структур.

Немец, неглупый, отягощенный философской культурой, в изображении Тургенева оказывается способен только на глубокомысленные банальности. Вот еще один весьма важный эпизод:

«Я вышел на террасу вместе с Шиммелем. Старик поднял глаза к небу.

— Сколько звезд! — медленно проговорил он, понюхав табаку, — и это все миры, — прибавил он и понюхал в другой раз».

Шиммель произносит слова, не раз звучавшие в немецкой философии (у Канта — «звездное небо надо мною»), но нюханье табака превращает их в пошлость и плоскость. И не потому, что звезды не имеют философского смысла, — имеют, только к ним надо относиться сущностно. Немец как бы изжил эту способность. Но ее получил русский, прошедший немецкую школу.

«Я не почел за нужное отвечать ему и только молча посмотрел наверх. Тайное недоумение тяготило мою душу... Звезды, мне казалось, серьезно глядели на нас». Иными словами, русский чувствует мистическую связь со звездным миром, а немец только говорит об этом. Но отсюда следует и другое, более важное.

Немец — старик, он все только вспоминает, у него все в прошлом. Русские молоды. В них просыпается духовность, которую как эстафету передают отжившие свой век немцы, делая русских историческим народом, пробуждая в них самосознание.

Вера Николаевна читает и перечитывает «Фауста», за этим занятием застает ее герой. И вдруг она произносит:

«— Что вы со мной сделали! — проговорила она медленным голосом...

— Вы хотите сказать, — начал я, — зачем я убедил вас читать такие книги?..

— Я вас люблю, — сказала она, — вот что вы со мной сделали».

Книга немецкого поэта превратила обычную степную помещицу, обреченную на заурядную жизнь матери семейства, в самосознающее и страдающее существо, в личность, способную на самостоятельные движения души. Именно утверждение индивидуализма, писал Тургенев в своей ранней статье о трагедии великого немца, выразил Гете в своем произведении: «Фауст» <...> является нам самым полным выражением эпохи, которая в Европе не повторится, — той эпохи, когда <...> всякий гражданин превратился в человека, когда началась <...> борьба между старым и новым временем и люди, кроме человеческого разума и природы, не признавали ничего непоколебимого». Гете выступил в своей трагедии «за права отдельного, страстного, ограниченного человека» (Соч., т. 1, с. 215, 216). *Как некогда греко-римская цивилизация передала германским варварам духовное начало, считал писатель, так сейчас через немцев этот дух переходит в Россию.*

Но Вера Николаевна не просто подражает, она перевоплощается в Гретхен, перед смертью бормочет, указывая на героя:

«Чего хочет он на освященном месте,  
Этот... вот этот...»

Имя героини здесь очень выразительно — Вера. Она *верит* матери, верит деду, верит герою, верит «Фаусту» Гете. А вера, как говорят, горами движет. К тому же Тургеневу было весьма свойственно мистическое мироощущение, которое современники считали случайным, данью дешевой российской романтике, упрекали за нее писателя, но это свойство очень ценили символисты конца века (И. Анненский и др.). Поэтому сам факт переселения души одной женщины в другую женщину для него есть реальность. Но в этот мистический факт он вносит весьма существенное историческое содержание: теперь

мировой дух из гегелевской Германии перекочевал в Россию, пусть русские еще слабы, молоды и неумелы, но за ними есть надежда будущего. В «Дворянском гнезде» Лаврецкий говорит о немце Лемме (после музыкальной неудачи того): «Очень он мне был жалок сегодня... со своим неудавшимся романсом. Быть молодым и не уметь — это сносно; но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары!..» В словах Лаврецкого есть чувство превосходства, но этого чувства нет у писателя. Вера в будущее России не означала для него презрения к Западу.

### ЧЕМ «МЫ ОБЯЗАНЫ НЕМЦАМ»?..

На первый взгляд историософская подоплека (о движении мирового духа), взятая у Гегеля, интерпретирована Тургеневым тем не менее вполне в славянофильском духе. Но если для славянофилов на Запад легла «тьма густая» (А.Хомяков), а германская философия была объявлена ими главным врагом русского любомудрия, то Тургенев показывает иное. *Для него не только русские «дети», но и «отцы» суть подростки по отношению к Европе, прежде всего к Германии*, с которой они, как со старшим братом, сводят счеты, стараются перещеголять, отрекаются от родства, но, по сути, остаются пока еще в кругу высказанных старшим братом идей. Славянофильская концепция «почвы» и «корней», которые взрастят дерево с райскими плодами, — и все это безо всякого культивирования и прививок, — была издавна органически чужда Тургеневу. В письме С.Аксакову (25 мая 1856 года) он иронизировал над подобными мыслями его старшего сына Константина — знаменитого славянофила: «... а с Константином Сергеичем — я боюсь — мы никогда не сойдемся. Он в «мире» видит какое-то всеобщее лекарство, панацею, альфу и омегу русской жизни — а я, признавая его особенность и свойственность — если так можно выразиться — России, все-таки вижу в нем одну лишь первоначальную, основную почву, — но не более, как почву, форму, на которой строится, — а не в которую

выливается государство. Дерево без корней быть не может, но К<онстантин> С<ергеевич>, мне кажется, желал бы видеть корни на ветках. Право личности им, что ни говори, уничтожается — а я за это право сражался до сих пор и буду сражаться до конца». Именно это выступление «за права отдельного... человека» нашел когда-то Тургенев у Гете, у Шиллера, быть может, сильнее прочих проповедовавшего в своем творчестве кантовскую идею о человеке как самоцели.

Для Герцена, для славянофилов, для Бакунина все немецкое — смертельный яд, убивающий русский дух. «...Мы обязаны немцам, — писал Бакунин, — нашим политическим, административным, полицейским, военным и бюрократическим воспитанием, законченностью здания нашей империи, даже нашей августейшей династией»<sup>24</sup>. И резюмировал: «Это было, по-моему, величайшим несчастьем для России»<sup>25</sup>. Напротив, основной пафос Тургенева в том, что все лучшее из немецкой духовной культуры (а было и скверное: об этом он тоже писал) способствовало одухотворению русской души, русской ментальности. Поэтому у Тургенева немцы наблюдают и сочувствуют, сопереживают пробуждению гуманных чувств в русских героях — прежде всего любви, то есть чувству, преодолевающему безличностную, стадную стихию пола, вычлняющего данного, конкретного человека из множества, *этого*, говоря языком Гегеля. Такова и фрау Луизе, устраивающая свидание Аси с господином Н.Н. («Ася»), это и уже поминавшийся Шиммель, которого Вера постоянно приглашает на совместные прогулки, где старик немец поет арию из «Волшебной флейты» и романсы о любви, в какой-то момент спасая влюбленных от гибели во время катания по озеру. И наконец, это старый музыкант Лемм (из «Дворянского гнезда»), «поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени», который мог бы стать, замечает писатель, «в ряду великих

---

<sup>24</sup> Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 264.

<sup>25</sup> Там же. С. 266.



композиторов своей родины», но судьба забросила его в Россию, где он быстро увял, не в состоянии найти достойной духовной среды для своего таланта и где доживал свою несостоявшуюся жизнь, «окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию».

Русским критикам образ Лемма представлялся необходимым, чтобы показать дилетантизм светского человека Владимира Паншина, творчество которого немец называет вторым номером, легким товаром. «В этих правдивых словах добросовестного труженика обрисован весь Паншин...»<sup>26</sup> — замечает Писарев. Примерно то же самое, но более развернуто говорит Ап. Григорьев: «Зачем... этюд в виде фигуры старика музыканта Лемма? Ведь он явно нужен только в одну минуту психологической драмы, минуту, когда необходимы душе человеческой бетховенские звуки, да и тут он явным образом стоит как тень Бетховена... Разве только еще для того, чтобы простое и истинно глубокое чувство изящного, врожденное натуре Лаврецкого, оттенить от ложной артистичности Паншина?»<sup>27</sup>

Однако во всех этих соображениях не учитывается глубинный культурологический смысл образов, который всегда имеет в виду великий писатель (к каковым мы относим Тургенева), тем более если учесть, что тема взаимоотношений России и Германии являлась центральной в спорах и исканиях русской мысли и русской литературы (переживавшей влияние от Гете, Шиллера, Гегеля, Шеллинга до Маркса, Маха, Ницше). Начнем с того, что чуждый писателю светский человек Паншин находится *вне* влияния немецкой культуры: «...Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки...». Ирония Тургенева очевидна и понятна: так называемым порядочным людям, людям из высшего света, противопоставлена глубина и серьезность, которые, как считалось, вносятся

---

<sup>26</sup> Писарев Д.И. Сочинения. В 4-х томах. Т. 1. С. 21.

<sup>27</sup> Григорьев А.А. И.С.Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо» // Григорьев А.А. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 146.

в русскую жизнь через немецкий язык. Напротив, Лиза Калитина, вторая после Татьяны Лариной, по высказыванию Достоевского, идеальная русская женщина, существо проникновенной, высокой нравственности и духовности, — любимая и лучшая ученица Лемма. В себе она соединяет два влияния: истово верующей нянюшки Агафьи и серьезно и глубоко относящегося к миру немца Лемма. Это то сочетание, которое, по очевидному замыслу писателя, и строит душу русского человека, гуманизирует ее. Более того, когда в этой не любимой им стране появляется истинно человеческое чувство любви — Лаврецкого и Лизы, в старике Лемме пробуждаются титанические художественные силы: он создает музыкальный шедевр, как бы передавая свою духовную силу и страсть двум любящим русским людям.

Идя после счастливого свидания с Лизой, Лаврецкий вдруг слышит из домика Лемма «какие-то дивные, торжествующие звуки». Он вбегает к нему, «тот повелительно указал ему на стул... сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотой, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга... Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив, не спеша, на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», — снова сыграл свою чудную композицию».

Соединение музыки как высшего рода искусства с немецкой культурой, с немецким духом — характерно. «Немцы прежде всего музыканты...»<sup>28</sup> — замечал Томас Манн в статье «Германия и немцы», добавляя, что именно немцы дали Западу самую глубокую музыку. Не случайно через все произведения Тургенева помимо немецких персонажей проходят имена немецких композиторов — Баха, Генделя, Вебера, Бетховена, Шуберта, И.Штрау-

---

<sup>28</sup> Манн Т. Собр. соч. В 10-ти томах. М., 1961. Т. 10. С. 309.

са, Моцарта и других, это тот звуковой фон, внутри которого живут герои писателя. Музыка сообщает о пробуждении высшего в человеке, но высшего, обреченного на трагедию, ибо человеку на такой высоте не дано удержаться самостоятельно. Русский человек уже слышит музыку сфер, однако он ее еще не в состоянии выразить сам, — и тут появляется немец. Как и в области мысли: духовные вопросы уже возникли у русских людей, но ответы на них они поначалу искали в Германии. Немецкая философия объясняла русским их проблемы, учила их даже идее самобытности<sup>29</sup>. Не случайно генезис славянофилов многие ученые ведут от немецких романтиков, ибо немецкий романтизм, по словам Т.Манна, — «это тоска по былому и в то же время реалистическое признание права на своеобразие за всем, что когда-либо действительно существовало со своим местным колоритом и своей атмосферой»<sup>30</sup>. Так что романтик Лемм — это не эпизодический персонаж, нужный на минуту. Он выразитель того, что не в состоянии выразить сам русский герой: поэтому они понимают друг друга после сыгранной стариком музыки. Лаврецкий чувствует, что он угадан и его чувства переданы точно.

«— Вы все знаете? — произнес со смущением Лаврецкий. Вы меня слышали, — возразил Лемм, — разве вы не поняли, что я все знаю?»

Он камертон всего движения романного действия, его музыкально-эмоционального настроения. Когда силы судьбы, рока разрушают возможность соединения и счастья Лизы и Лаврецкого, гений музыки покидает старика, но не только его, музыка уходит из жизни героев романа, уходит от них и Лемм:

---

<sup>29</sup> Здесь стоит отметить, что первая славянская мифология была написана русским дворянином Андреем Кайсаровым на немецком языке после двухлетнего обучения в Геттингене (вспомним пушкинскую характеристику романтика Ленского: «С душою прямо геттингенской...») и издана поначалу в Германии (*Versuch eine slavischen Mythologie*. Göttingen, 1804). И лишь спустя три года, переведенная на русский язык немцем Андреем Аллером, была опубликована в России под слегка измененным заглавием (*Славянская и российская мифология*. М., 1807).

<sup>30</sup> *Мани Т.* Собр. соч. В 10-ти томах. Т. 10. С. 322.

«— Ну, что скажете? — проговорил наконец Лаврецкий.

— Что я скажу? — упрямо возразил Лемм. — Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли (Alles ist todt, und wir sind todt). Ведь вам направо идти?

— Направо.

— А мне налево. Прощайте».

Остаются пошлые песенки светского человека Паншина.

## ПО КОНТРАСТУ, ИЛИ НЕМЕЦ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Но образ немца у Тургенева не только сопровождает как камертон положительных русских героев с пробудившимся самосознанием, немец позволяет прояснить и отрицательные типы отечественной действительности. Впрочем, эту роль немецкие персонажи играли и у других русских писателей, предшественников и современников Тургенева: от Пушкина и Гоголя до К. Леонтьева, Гончарова и Лескова.

Правда, у Пушкина немец скорее эпизодический гость («хлебник, немец аккуратный» в «Евгении Онегине», добпорядочный генерал в «Капитанской дочке»), за исключением разве что Германа из «Пиковой дамы», носителя демонического начала, первого русского наполеоновподобного героя, человека цели, противостоящего российской расхлябанности. В этом немце была угадка будущих трагических русских героев типа Раскольникова, пытающихся диктовать законы окружающему миру, но на деле лишь губящих себя. Во всяком случае Германн — первый в русской литературе человек воли, одержимый страстью. У Гоголя немцы даны весьма иронически, но в контрасте с ними русские персонажи изображены не иронически, а сатирически. Ремесленники Гофман и Шиллер из «Невского проспекта», которые выпороли поручика Пирогова, обладают представлением о чести («... я немец, а не рогатая говядина!» — восклицает жестяных дел мастер Шиллер). А поручика Пирогова беспокоит только честь мундира, *личного чувства чести у него нет*. И

когда он понимает, что оскорбление, нанесенное ему, останется никому не известным, он успокаивается. У К. Леонтьева в повести «Немцы» (1853), поначалу запрещенной цензурой за то, что в ней отдавалось предпочтение немцам перед русскими (опубликована под названием «Благодарность» в 1854 году), позиция очевидна. Не менее откровенна симпатия к немцам в повести Лескова «Островитяне», где их слаженный мирок разрушает русский — не умеющий и не желающий трудиться — художник Истомин, и даже привычная насмешка над немцем Шульцем, пытающимся стать «настоящим русаком», не мешает авторской симпатии к его трудолюбию и доброте. Разумеется, в этот контекст встраивается и гончаровский Штольц.

В ранней (1846 год) повести «Бретер» Тургенев вывел образ Лучкова, резко сниженного Печорина, без байронического глубокомыслия, с истинно русским хамством и пренебрежением к другим людям, вызванным чувством собственной неполноценности. От Лучкова прямой путь к толстовскому Долохову, потенциальному злодею, к чеховскому Соленому и т.п. Но интересно, что противопоставит Лучкову немец, русский немец Кистер, добрейшее и благороднейшее существо. Как впоследствии в «Обломове» благородный Штольц есть антитеза российским рвачам и злодеям — Тарантьеву и Мухоярову. Русская литература без конца искала положительных, идеальных героев. Тургенев первый заметил, что идеальный герой должен быть немного смешон и нелеп, как Дон Кихот. Его советом воспользовался Достоевский, создав грандиозный образ князя Мышкина. Самому Тургеневу положительные образы не удавались, как считала критика. За исключением натужно героизированного Инсарова, ни один из его героев не мог претендовать на роль «положительно прекрасного человека». Разве что герой ранней его повести Федор Федорович Кистер, который просто не был поставлен в масштабные обстоятельства, не спасал мир, не спасал красоту или православие, но был законченным типом «идеалиста», как справедливо именуется его Алексей Попов в своей диссертации «Немцы в творчестве И.С.Тургенева. Этнические стереотипы и их деятельно-эстетическая функция». Это принци-

ально новое измерение в трактовке образа «положительного немца».

В провинциальный русский кирасирский полк, квартировавший в одной из русских провинций, прибывает «молодой корнет Федор Федорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый и очень скромный, образованный и начитанный». В отличие от своих сослуживцев, жилище себе он устроил чистое и опрятное: «Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещами; в углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гете; на стенах висели ландкарты, четыре греведоновские головки и охотничье ружье; возле стола стройно возвышался ряд трубок с исправными мундштуками; в сенях на полу лежал коврик; все двери запирались на замок; окна завешивались гардинами». Это раздражало многих, особенно душевно неопрятного Лучкова, прикрывавшего свою пустоту байронической миной презирающего быт человека — самая удобная маска для не умеющего опрятно жить и постоянно трудиться русского человека. Оскорбительным поведением он вынудил Кистера на дуэль, где легко ранил немца, но после вроде бы они подружились, и новый приятель Лучкова, как оно и свойственно человеку с благородной душой, наделял собственным благородством и возвышенным строем мыслей туповатого и злобного бретера. Более того, заметив, как ему показалось, симпатию очаровательной дворянской барышни Маши к Лучкову (хотя и сам был к ней неравнодушен), он способствует сближению двух любящих, как ему воображается, сердец, жертвуя своим чувством. Это уже потом русский герой научается уступать сопернику во имя своей избранницы (князь Мышкин Рогожину), но первый пример дан немцами. Характерен разговор на эту тему в романе «Накануне» двух русских интеллигентов — Шубина и Берсенева. Берсенов говорит о нравственной красоте «любви-жертвы», на что Шубин хмуро отвечает: «Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым». Любить для себя — чувство еще варварское, когда женщина есть добыча победителя, а не независимый субъект чувств.

Лучков ведет себя на свидании как и положено хаму и грубому бездуховному фанфарону и ничтожеству, девушка разгадывает его пустоту и, будучи умственно и душевно выше рядового русского мужчины, начинает искать близкого себе по духовному уровню. Но такой тут только один — Кистер. И вот уже готовится свадьба, русско-немецкий идеалист и Дон Кихот чувствует свою жизнь озаренной высшим светом разделенной любви, но врывается зло, сладострастно уничтожающее все, что находится выше животных чувств и ощущений. Лучков снова вынуждает Кистера на дуэль и, разумеется, убивает, потому что безмозглая слепая стихия сильнее человеческой души и разума. Дух обречен в этом мире. «Герои, чья жизнь не имеет смысла, — справедливо писал Ю.Лотман, — в произведениях Тургенева не умирают. Лишь только жизнь Кистера, благодаря его любви к Маше, обретает смысл, как он уже у Тургенева обречен пасть жертвой бессмысленного Лучкова»<sup>31</sup>. Но дело в том, что все творчество Тургенева — это желание увидеть, как вносятся духовность и разум в косную российскую действительность. Первым среди тургеневских героев подобную попытку предпринимает немец Кистер.

## НЕ ТОЛЬКО ЗА, НО И ПРОТИВ

В своих мемуарах «За полвека» писатель Петр Боборыкин, общавшийся с Тургеневым на протяжении восемнадцати лет, мимоходом замечает, что у скитальца Тургенева «в Бадене и произошел... выбор оседлости... Не случись войны Германии с Францией, Тургенев не переехал бы на конец своей жизни в Париж. Его *перевезла* Виардо, возмущившаяся тем, как немцы обошлись с ее вторым отечеством — Францией»<sup>32</sup>. А не переехал бы, тем более не вернулся бы в Россию, потому что «Тургенева *всегда* держал в своих тисках культурный Запад, особенно Германия»<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х томах. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 105.

<sup>32</sup> Боборыкин П.Д. Воспоминания. В 2-х томах. [М.], 1965. Т. 2. С. 8.

<sup>33</sup> Там же. С. 15.

В специально посвященных российскому гению воспоминаниях «Тургенев дома и за границей» Боборыкин, подчеркивая его «несомненную своеобразность как русского писателя и человека» («Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал...»)<sup>34</sup>, фиксирует тургеневскую «платоническую любовь к немецкой умственной культуре... Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки, и из всех мне известных писателей он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью... В Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всем, чем они выше нас. Каких-нибудь выходов в русском вкусе насчет «немчуры», вероятно, никто от него не слышал»<sup>35</sup>.

Но именно потому, что Германия была для писателя «второй родиной», он не стеснялся высказывать ей помимо любви и признательности жестокие истины, рисовал шаржированные портреты немцев, не в меньшей степени, чем русских, ибо Тургенев, как и вся русская классическая литература, следовал формуле, которую с твердостью и непреклонностью выразил в одном из своих ранних рассказов («Севастополь в мае») Лев Толстой: «Герой... которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда».

Конечно же, было немало и отрицательных персонажей-немцев у русских писателей, к которым относились то иронически, как к чужакам, не понимающим российской жизни, то резко негативно, но это скорее в публицистике славянофильского толка. Однако каждый писатель имел свои резоны, рисуя те или иные раздражавшие или смешившие его немецкие черты. Что же неприемлемо было в немцах для Тургенева? В чем видел писатель «немецкие» недостатки, а то и

---

<sup>34</sup> Там же. С. 393.

<sup>35</sup> Там же. С. 394.



мерзости? Как правило, все они являются оборотной стороной достоинств.

1. Любовь к уюту и организованности жизни переходит в раздражающее писателя филистерство, мешанство, желание любой ценой обустроить свою жизнь. В «Накануне» это «Зоя Никитишна Мюллер... миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая». Ирония автора очевидна, и весь этот образ строится как параллель и антитеза Елене Стаховой, вырвавшейся из косности застойной русской жизни, несущей в себе высокое духовное горение и жертвенность. В «Дворянском гнезде» мать Варвары Павловны, неверной жены Лаврецкого, — Каллиопа Карловна, которая «сама считала себя за чувствительную женщину... и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дурые браслеты», а когда ее дочь оторвала богатого жениха, «подумала: *«Meine Tochter macht eine schöne Partie»*, — и купила себе новый ток». Таков же лавочник Клюбер из «Вешних вод». Впрочем, ненависть к филистерству свойственна была и великой немецкой литературе: не говоря уж о Гейне и Гофмане, вспомним саркастический образ филистера от науки Вагнера в «Фаусте» Гете.

2. Как противопоставление высокому духовному горению немецких гениев, высочайшим взлетам мысли и поэзии немецкая культура породила не только благополучных и пошлых мешан, но и самодовольно-грубую, чванливую и заносчивую солдафонскую массу, в пьяном кураже способную пока еще не на преступление, но на оскорбление и попытки насилия. Таковы сцены с пьяными немцами в «Накануне» и в «Вешних водах». В «Накануне» русские герои после разговоров о Шеллинге наталкиваются на толпу подгулявших офицеров, требующих один «поцалуйшик» от Зои или Елены. Тургенев отчетливо прописывает этот культурный перепад внутри одной нации: от разговоров о немецкой философии, о том, что немцы учат жертвенной любви, до хамского пристаивания к женщинам, что со стороны немцев выглядит особенно омерзительно. Но если в «Накануне» Инсарову достаточно бросить пьяного немца в воду, чтоб остудить его пыл

и привести в норму житейского поведения, то в «Вешних водах» герою приходится уже стреляться с немецким офицером, чтобы напомнить ему о поведении, достойном цивилизованного человека. И во втором случае этим учителем цивилизации выступает русский. Для Тургенева безусловно ясна разница, которая везде разделяет людей цивилизации и остающихся на ее обочине, только внешне подражающих ее нормам, ибо, считал Тургенев, вхождение в цивилизацию предполагает этап образовательно-литературный<sup>36</sup>, не только для страны, но и для отдельного человека, поскольку завоевания цивилизации даются личным, индивидуальным усилием, а не принадлежностью к определенной компании, кружку, тем более — определенной нации.

3. Пожалуй, более всего в русской литературе досталось «русским немцам», то есть представителям высших ветвей российской бюрократической власти. Есть такие персонажи и у Тургенева. Наиболее рельефно выписанный — Родион Карлович фон Фонк из пьесы «Холостяк» (1849). Он сух и правилен, но желает помочь своему молодому подчиненному Вилицкому успокоить совесть, когда тот убегает от невесты, а затем показно казнится, как всякий малодушный человек. И начальник-немец утешает его: «...искреннее участие, которое я в вас принимаю... Вы совсем не так виноваты, как вы думаете... Вы возбудили в ней надежды — несбыточные; вы ее обманули, положим, но вы сами обманулись... Ведь вы, повторяю, не притворялись влюбленным, не обманывали ее с намерением?» Вилицкий с жаром кричит, что, конечно же, он никогда не имел намерения обмануть бедную девушку. Так что немец-бюрократ в конечном счете не ломает русскую жизнь, а, напротив, делает то, что угодно его подопечному, — причем находя нравственные оправдания его поступку. Хотя опекун девушки и кричит про бывшего жениха: «Вишь, у него немец приятель, так вот он и зазнался!» — но и он винит не немца, а раболепную натуру своего русского друга. Несмотря на отчасти водевильный

---

<sup>36</sup> В статье о «Фаусте» Тургенев пишет: «У каждого народа есть своя чисто литературная эпоха, которая мало-помалу приготавливает другие, более обширные развития человеческого духа...» (Соч. Т. 1. С. 200).

характер пьесы, мысль Тургенева глубока и серьезна: нельзя в искривлениях своей жизни, в своих плохих и скверных поступках винить другую нацию. В холуйстве перед «русскими немцами» виноваты сами русские люди, к тому же каждый выбирает себе «своего немца». Тургеневу был нужен Гегель и Гете, российскому самодержавию — немец-бюрократ и т.п.

## НЕМЕЦКОЕ РУСОФИЛЬСТВО, ИЛИ ПРЕДЧУВСТВИЕ НАЦИЗМА

Однако самое глубокое и серьезное художественное открытие-предупреждение, стоящее пророчеств Достоевского по поводу грядущей «бесовщины», — это у Тургенева образ Ивана Демьяновича Ратча. В не понятой и не оцененной при его жизни повести «Несчастливая»<sup>37</sup> (1869) писатель изобразил немца — русского националиста, ставшего более ярким националистом, чем любые славянофилы русского происхождения, и показал, как этот национализм замешивается на материально выгодном антисемитизме. Можно сказать, здесь угадан прообраз российско-немецкого нациста за полстолетия до того, как этот тип человека стал массовым явлением и угрозой историческому бытию человечества.

Чтобы прояснить ситуацию этого открытия, стоит немного отступить в прошлое, к полемике славянофилов и западников 40-х годов. Как ни парадоксально, не западники, а именно славянофилы усвоили немецкие схемы и стиль мышления. Как замечал П.Вяземский о слоге Хомякова: «Прочел я статью Хомякова... В литературном отношении она очень тяжела, и более писана по-немецки, нежели по-русски. Странные люди — вопиют против чужеземного, а сами рабски подражают немецкой фразеологии и туманности»<sup>38</sup>. Но дело не только в слоге, сами славянофильские построения, стиль поведения, достаточно негибкий и доктринерский (несмотря на под-

---

<sup>37</sup> «Его «Несчастливая» — гадость чертовская», — писал в том же году Б.М.Маркевичу А.К.Толстой (А.К.Толстой о литературе и искусстве. М., 1986. С. 156).

<sup>38</sup> Исторический вестник. 1880. Т. I. Вып. 2. С. 248.

черкнутую российскую знаковость одежды и внешнего облика), воспринимался как буквальный и топорный перевод немецких схем. В.Одоевский писал: «...эти господа славяне — все те же немцы, только в зипунах...»<sup>39</sup> Это отсутствие самобытности объяснялось прежде всего тем, что она возникла по указке и подсказке Запада, который в своей самокритике пытался найти оздоравливающие начала у еще недостаточно цивилизованных народов, в том числе и в России. Ославянофилившийся в Европе друг и постоянный оппонент Тургенева Герцен писал: «...сам Запад повернул угасающий фонарь свой на наш народный быт и бросил луч на клад, лежавший под ногами нашими»<sup>40</sup>. Итак, «сам Запад» указал, чем мы должны заниматься, «сам Запад» заинтересовался нашей самобытностью и рекомендовал ее как следует поискать, «сам Запад» нуждается в освежающей струе национального пара, поднимающейся с нашей почвы. «Сам Запад» сказал, что у нас есть какой-то клад.

Это раболепное ослепление собственной значительностью поддерживалось и выходцами из Германии, которые были, быть может, наиболее активные русификаторы (начиная с Николая I, желавшего стать вполне русским, и кончая разнообразными чиновниками и славянофилами-учеными немецкого происхождения — Даль, Гильфердинг, О.Миллер и т.д.). Да и проживший почти всю жизнь в Мюнхене, дважды женатый на немках, защитник славянства и ненавистник немцев великий поэт Тютчев именно в Германии получил свою установку на самобытность, не говоря уж о том, что она была ему политически выгодна для службы и *дальнейшего проживания в Европе*<sup>41</sup>.

Но позиция «любви к отечеству» всегда выглядит для массового сознания привлекательнее критики. Не случайно на западников, по свидетельству критика-демократа, «смотрели чуть ли не как на злодеев, губите-

---

<sup>39</sup> Колупанов Н.И. Биография А.И.Кошелева. Т. I. Кн. II. М., 1889. С. 97.

<sup>40</sup> Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти томах. Т. 14. С. 183.

<sup>41</sup> См. об этом публикацию: *Основат А.Л.* Новонайденный политический меморандум Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1.

лей России; в них видели ненавистников своего родного — слышите! ненавистники — они, которые любили свою страну до фанатизма, до самозабвения»<sup>42</sup>. Но западники любили в России ее скрытые силы и способность к цивилизованному развитию. И быть может, не случайно именно западник Тургенев так язвительно и зло-проницательно изобразил грозную опасность, исходящую от немецкого русофильства.

Появление монстра Ивана Демьяновича Ратча (повесть «Несчастливая») обставлено поначалу юмористически, почти шутовски и вроде бы без особой неприязни. «Когда г.Ратч смеялся, белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону». И восклицания его слишком громогласно и навязчиво апеллируют к русскому духу, и сам себя этот персонаж аттестует следующим образом: «...старик Ратч — простак, русак, хоть и не по происхождению, а по духу, ха-ха! При крещении наречен Иоганн Дитрих, а кличка моя — Иван Демьянов! Что на уме, то и на языке; сердце, как говорится, на ладошке, церемониев этих разных не знаю и знать не хочу! Ну их!»

Поначалу это классический комедийный немец, не раз выводившийся в русской литературе, злоупотребляющий русскими пословицами и поговорками к месту и не к месту (от генерала Андрея Карловича Р. из «Капитанской дочки» до негоцианта Фридриха Фридриховича Шульца из «Островитян» Лескова; все это люди благородные и высокопорядочные, порой лучше окружающих их русских персонажей). И жена его поначалу выглядит вышедшей из водевильного, комедийного ряда, она тоже «здешняя немка, дочь колбасника... мясника...». Зовут ее Элеонора Карповна, и напоминает она «взору добрый кусок говядины, только что выложенный мясником на опрятный мраморный стол». Но г. Ратч настойчиво подчеркивает русскость своей супруги, так преувеличивая эту добродетель, что у читателя появляется чувство неясной тревоги. Г. Ратч восклицает:

«— Славянка она у меня, черт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?»

---

<sup>42</sup> Шелгунов Н.В. Литературная критика. Л., 1974. С. 67.

Элеонора Карповна рассердилась.

— Я надворная советница, вот кто я! И, стало быть, я русская дама, и все, что вы теперь будете говорить...

— То есть как она Россию любит, просто беда! — перебил Иван Демьяныч. — Вроде землетрясения, ха-ха!»

Любовь, которая грозит землетрясением, то есть глобальной катастрофой, настораживает. Заметим также, что в важные минуты супруги переговариваются друг с другом по-немецки. Но все бы прозвучало лишь в духе более или менее критического осуждения комического немецкого русофобства, если бы на сцену не выступила несколько неожиданная для Тургенева героиня: глубоко страдающая девушка, падчерица Ратча с библейским именем Сусанна. «Все члены семейства г. Ратча смотрели самодовольными и добродушными здоровяками; *ее* красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности. *Те*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всем ее несомненно аристократическом существе. В самой ее наружности не замечалось склада, свойственного германской породе; она скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые черные волосы без всякого блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий выпуклый лоб, орлиный нос, зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации...»

Кто же она? Это стоит пояснения.

«Разве она... еврейка?» — спрашивает рассказчик. Собеседник отвечает, слегка смущаясь: «Ее мать была, кажется, еврейского происхождения».

Введение в русскую прозу еврейки как героини было весьма необычно. Как правило, до Тургенева евреи — маргинальные персонажи (у Гоголя, Пушкина, Лермонтова, самого Тургенева в раннем рассказе «Жид», причем данные скорее безоценочно, если не считать стихийного юдофобства гоголевских казаков). В этой повести еврейка — не только героиня повествования, но *положительная героиня, трагическая героиня*. Сила

многих ее высказываний напоминает Ревекку из «Айвенго» Вальтера Скотта, этот роман она читает вслух своему любимому (литературная параллель, сознательно акцентированная Тургеневым). Да и Ратч понимает, что перед ним представительница высокой культуры, проявившей себя не только в древности (Библия!), но и в современной жизни Европы.

Во время визита рассказчика в дом г. Ратча заходит речь о музыке: «Что такое? «Роберт-Дьявол» Мейербергера! — возопил подошедший к нам Иван Демьяныч, — пари держу, что вещь отличная! Он жид, а все жида, так же как и чехи, урожденные музыканты! особенно жида. Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!» Употребляя слово «жида» вместо «еврей», слово в русском языке бранное, он сознательно оскорбляет свою падчерицу — причем оскорбление идет не на уровне невежественного непонимания, кто такие еврей, а на расово-зоологическом уровне. Тургенев описывает до сих пор работающую модель, много проясняющую в антисемитизме, которым столь отличалась Германия и которому не чужда была и Россия. Увидеть его истоки помогает Тургенев.

Название повести «Несчастливая», звучащее немного странно, становится понятным, когда узнаем, что речь идет о вечно гонимом племени («О, бедное, бедное мое племя, племя вечных странников, проклятие лежит на тебе!» — горестно восклицает девушка). Но именно гонимых в русском народе зовут «несчастливыми». Кто же виноват в несчастной судьбе Сусанны? Ее мать была дочерью еврейского живописца, выпитого из зарубежья богатым русским барином Иваном Матвеевичем Колотовским. Проживший всю жизнь холостяком, он соблазнил дочь живописца, но родившегося ребенка, Сусанну, не удочерил, хотя приблизил к себе «как лектриссу» (она ему читала) и дал европейское образование. Чтобы, однако, «устроить судьбу» соблазненной, выдал мать Сусанны замуж за г. Ратча, который был чем-то вроде управляющего. Началась несчастная жизнь, появился на свет сын от г. Ратча, и мать вскоре скончалась. Сусанну отчим нена-

видел. Думая через эту женитьбу «войти в силу», иметь возможность воровать без наказания, он как-то просил Сусанну заступиться за него перед барином, ее настоящим отцом, но девушка из гордости отказалась. С тех пор — ненависть, поначалу скрываемая. Потом отец Сусанны умер. Имение наследовал его брат, еще больший сластолюбец, предтеча старика Карамазова. Игравший в национализм, он «сам называл себя русаком, смеялся над немецкой одеждой, которую, однако, носил». Подлаживаясь к новому хозяину, и г. Ратч «с того же времени... стал русским патриотом». Новый барин воспылил постыдной страстью к своей племяннице, Ратч всячески содействовал барскому капризу. Но со стороны девушки последовал еще более резкий отказ. Тем временем г. Ратч женился на московской немке. Дядя Сусанны перед смертью раскаялся и наградил племянницу увеличенной пенсией в своем завещании, добавив, что она прекращается в случае ее замужества, а в случае ее «смерти она должна перейти к г. Ратчу». Вот тут-то и завязывается социально-психологический, почти детективный узел, развязку которого довелось увидеть рассказчику.

Г. Ратч пользовался пенсией Сусанны, но распускал всякие чернящие девушку слухи, чтоб помешать любому ее возможному браку; он ненавидел ее, но не решался разорвать отношения и просто позволить ей уйти жить самостоятельно — невыгодно! Когда дело доходило до решительных объяснений, пасовал, имитируя добродушие и шутливость, хотя, видимо, не случайно сын от первого брака называет своего отца (г. Ратча) «жидомор». И вот рассказчик наблюдает, как на решительный отпор девушки в споре этот «жидомор» отступает, похихатывая по своему обыкновению:

«— Вот, подите вы, ха-ха-ха! Кажется, не первый десяток живем мы с этою барышней, а никогда она не может понять, когда я шутку шучу и когда говорю в суриозе! Да и вы, почтеннейший, кажется, недоумеваете... Ха-ха-ха! Значит, вы еще старика Ратча не знаете!

«Нет... Я теперь тебя знаю», — думал я не без некоторого страха и омерзения».



Сусанна *мешает* «нормальной жизни» г. Ратча своим присутствием, строгим взглядом, высокой духовностью. Затаенное желание уничтожить падчерницу и страх перед возможным наказанием, боязнь потерять ее пенсию раньше времени — вот что угадывает рассказчик в словах и мимике г. Ратча, к которому отныне испытывает «страх и омерзение». И случайно ли, что как только возникает ситуация, которая определено чревата браком Сусанны, она умирает?.. Глядя на нее, лежащую в гробу, рассказчик приходит к твердому выводу: «Эта девушка умерла насильственной смертью... это несомненно». А перед этим визитом он убеждал Фустова, обманутого жениха оклеветанной девушки, что она *убита*: «Ты должен узнать, как это случилось; тут, может быть, преступление скрывается. От этих людей всего ожидать следует... Это все на чистую воду вывести следует. Вспомни, что стоит в ее тетрадке: пенсия прекращается в случае замужества, а в случае смерти *переходит* к Ратчу». Об этом же на поминках кричит и подгулявший гость: «Уморил девку, немчура треклятая... полицию подкупил...»

Хотя не исключено и самоубийство, ибо девушка потрясена тем, что любящий ее человек поверил клевете. Тургенев ироничен и прозорлив. Фустов вскорости забывает свою бывшую любовь, ибо не в состоянии жить в непрестанном духовном напряжении («природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!»). Но и г. Ратчу смерть Сусанны приносит не много выгоды, дела его «приняли оборот неблагоприятный», хотя двоих новых своих сыновей «он, «коренной русак», окрестил Брячеславом и Вячеславом, но дом его сторел, он принужден был подать в отставку» и т.п. Как и в прошлой, так и в будущей истории Германии и России от уничтожения или изгнания евреев мало выгадывали их гонители, ибо собственное разрушение нелюди носили в самих себе: внутреннюю неполноценность, глупость и нерасторопность не преодолеть внешними средствами. Но преступление г. Ратча подтверждается рассказчиком косвенно, он

сообщает о продолжающемся распространении клеветы об умершей девушке, а клевета — это самооправдание подлецов и преступников.

Тургенев, ярко и сильно изобразивший благотворность взаимовлияния российской и немецкой культур, с не меньшей зоркостью провидел возможный трагический результат контакта негативных сторон России и Германии. Это ответ Герцену и славянофилам, куда их может завести немецкое русофильство. Возникшая в результате смесь может оказаться смертельно опасной. Так оно и случилось. Да и жертву будущих нацистов он указал точно — евреи. Подлаживаясь к принявшей их стране, «русские немцы» разбудили русский национализм, всячески поддерживали его, пока не доработались до черносотенцев и русских фашистов, которые издавали в Мюнхене в начале 20-х антисемитские газеты, в свою очередь помогая Гитлеру строить его юдофобскую идеологию. Круг негативного взаимовлияния замкнулся. Но не будем здесь вдаваться в вопрос, что сильнее в мире — Зло или Добро. Исторический путь человечества идет через такие провалы и бездны, которые разум осознать не в состоянии. Ясно одно, что любое действие Добра имеет, несет в самом себе отрицающую его силу. Скорее можно испугаться человека, не отбрасывающего тени. Тень свойственна всему живому и жизненному.

А Тургенев верил в силу самого животворящего чувства — Любви, которая способна перешагнуть преграду смерти («Клара Милич»). В этой последней повести, герой которой Яков Аратов представлялся И. Анненскому «чем-то вроде Фауста, только забывшего помолодеть»<sup>43</sup>, снова появляются темы и мотивы 40-х годов. И там снова спутником и компаньоном героя становится добродушный русский немец Купфер, который сводит героя с героиней, тем самым предлагая герою высшее духовное испытание. На что он способен во имя любви? Способен ли он не испугаться смерти? И герой выдерживает — едва ли не впервые в творче-

---

<sup>43</sup> *Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 39.

стве писателя — это испытание. Эта грустная и самая светлая вещь Тургенева связана с той философской, *фаустовской верой* в силу добра, жизни и вечной женственности, которую он вывез «из Германии туманной». Как сказал другой выученик немецких философов — Борис Пастернак:

Но и так, почти у гроба,  
Верю я, придет пора —  
Силу подлости и злобы  
Одолеет дух добра.  
(«Нобелевская премия»)

## ИТОГИ

Пронизанность России немецким элементом — не только техникой, наукой, книгами и музыкой, но людьми! — была в прошлом веке так велика, что, строго говоря, даже уровень бытовых зарисовок требовал появления на страницах русских книг немцев. Они и возникли с начала XVIII века на русских лубках, выражая отношение простонародья к наиболее обильному на тот момент иноземному элементу русской жизни<sup>44</sup>. Но творчество Тургенева весьма далеко от бытового натурализма, хотя он начинал как писатель так называемой «натуральной школы». Тургеневское преодоление бытовизма связано с немецкой философией, школу которой он прошел вместе с многими будущими деятелями русской культуры (славянофилами и западниками), определившими дальнейший духовный путь России.

Однако каждый воспринял эту духовную возгонку по-своему. «Германский комплекс славянофилов», по точному наблюдению А.Пескова, вел их к попытке вытеснения из своего сознания немецкой духовности, отрицанию ее, противопоставлению двух культур, что в результате приводило к появлению обыкновенного русского национализма<sup>45</sup>. Парадокс, на который, меж-

---

<sup>44</sup> См.: Оболенская С.В. Образ немца в русской народной культуре XVIII-XIX вв. // Одиссей 1991. М., 1991.

<sup>45</sup> Песков А.М. Германский комплекс славянофилов // Россия и Германия: опыт философского диалога. М., 1993. С. 53-95.

ду прочим, указал и Тургенев, заключался в том, что и этот национализм был отчасти спровоцирован немецким влиянием. Тургеневское творчество полюсно этому ложному «национализму отрицания», вырастающему в несамостоятельность. Позиция Тургенева более мужественная, открытая и зрелая, она сообщала ему способность за внешними формами быта разглядывать знаки высшей реальности. В каком-то смысле она напоминает отношение к европейской образованности Петра Великого, не раз указывавшего своим сподвижникам на преимущество в развитии европейской цивилизации, что позволяло сохранять достоинство перед чудесами науки и ума Западной Европы учившимся у нее москвитам. «Историки полагают, — говорил Петр, — колыбель всех знаний в Греции, откуда (по превратности времен) они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем Европейским землям; но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши; а Поляки, равно как и все Немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние Греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас...»<sup>46</sup> Такая позиция исключает славянофильский комплекс неполноценности: ведь и немцы были когда-то варварами.

Всю сложность и непростоту этого духовного процесса выразил Тургенев в открытых им героях — людях, прошедших школу немецкой философии и ставших ферментом российских духовных борений, провоцирующих движение русской идейной и социальной жизни, — в «лишнем человеке», Рудине, Базарове и т.п. Именно этот тип мыслящих героев выразил самые болезненные стороны российского развития, позже под пером Достоевского он оказался ключом к прогностическому анализу российской истории. Но первым был Тургенев, который не скрывал, что его герои

---

<sup>46</sup> Петр Великий в его изречениях. М., 1991. С. 10.

мыслят, что только таких героев-идеологов он и может описывать, только они ему и интересны. Именно у Тургенева впервые, по мнению критики, «чувствуется присутствие мысли в рассказах»<sup>47</sup>. Писатель выступает как мыслитель, и только благодаря этому обстоятельству он становится способен не просто изобразить «указанное ему — под должным углом зрения», но сам проанализировать мир, изображая его. Добролюбов как-то заметил, а за ним без конца это на разные лады повторяли, что талант Тургенева «не мог бы вызвать общую симпатию», если б не касался животрепещущих вопросов, не обладал бы «живым отношением к современности»<sup>48</sup>. Писатель без мысли не имел бы, однако, живого отношения к современности, пронизанной идейными бурями. Тургенева называли всего лишь летописцем нашей духовно-общественной жизни, всех ее фаз и изгибов, хотя сами деятели описываемых им направлений считали свое изображение неверным, а себя непонятыми. Но он, как и любимый им Гете, оставался над схваткой, пытался понять происходящее, а не поддержать одну из сторон.

Начиная с «Отцов и детей», его ругали правые и левые. В «Дыме» наиболее раздражил общественность и вызвал наибольшие нарекания персонаж из баден-баденских русских — некто Созонт Потугин, не принимающий прямого участия в действии, но высказывающий некоторые горькие мысли. И быть может, как раз потому, что Тургенев не шел по разряду сатириков, инвективы его героев звучали особенно обидно: автор — реалист. Когда-то Сократ (в изложении Платона) сравнил себя с оводом, кусающим соотечественников и не дающим им успокоиться. За это, как известно, соотечественники казнили Сократа. Потугин вызвал почти такую же ненависть, перенесенную на его создателя. Интересно, что в тургеневских черновиках у По-

---

<sup>47</sup> *Анненков П.В.* О мысли в произведениях изящной словесности (Заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л.Н.Т[олстого]) // Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. М., 1982. С. 319.

<sup>48</sup> *Добролюбов Н.А.* Собр. соч. В 9-ти томах. М.-Л., 1963. Т. 6. С. 99.

тутина другое имя: не Созонт, а — Сократ. Таким «русским Сократом из Баден-Бадена» можно назвать и самого Тургенева: не случайно он не раз признавался, что Потугин — рупор его идей.

Сократ — независим, поэтому он может непредвзято и без иллюзий оценивать все окружающее. Но и Тургенев, как некогда античный мыслитель, судит о России и Германии, о двух своих отечествах, абсолютно без страха и прямо говоря все, что думает. Предчувствие Петра осуществилось. От Греции через Германию «очередь дошла до нас»: в России утверждается тип самостоятельно сознающей и судящей о мире личности. Духовная и мыслительная свобода писателя, способность к незаимствованным художественно-философским обобщениям и анализу общества, — таков не прямой, не сознательный, но очевидный результат влияния немецкой культуры на русскую, ее европеизация. А постоянное участие немецких персонажей, идей, тем и мотивов в произведениях Тургенева явилось своего рода «подсветкой» (если использовать театральный термин), необходимым и неизбежным сравнением, позволяющим яснее и отчетливее разглядеть особенности российской действительности, поставив ее в актуальный философско-исторический контекст, который переводил все факты и описания почвенного российского быта в символы исторического, всемирного бытия.

## XIV. КАРНАВАЛ И БЕСОВЩИНА

(«Бесы» Ф.М.Достоевского)

### 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ, ИЛИ ПРОРОЧЕСТВО О БОЛЕЗНИ РУССКОЙ ДУШИ?

Роман «Бесы» трактуется обычно в современном достоеведении (особенно ясно это прозвучало в перестройку) как художественное изображение политического убийства, совершенного революционером-радикалом Нечаевым или — если шире — как изображение особого типа русского революционерства: *нечаевщины*. А поскольку в большевизме черты нечаевщины просматриваются достаточно очевидно, то со времени первых русских эмигрантов роман этот стал называться романом-предупреждением. Предупреждением, которому, увы, не вняло русское общество. Общим местом стало в подобного рода рассуждениях (см. работы Ю.Карякина, Л.Сараскиной), что Достоевский *предсказал* наступивший в нашем столетии ленинизм-сталинизм.

Вероятно, что роман дает основание для такой трактовки, и я ни в коем случае не хочу ее оспаривать. Но если б Достоевский выступил в этом романе только как *предсказатель*, то после переживаний об удивительной точности его прогноза, сожалений, что писателю не поверили, как некогда не верили Кассандре троянцы, вскоре павшие под мечами греков, роман можно было бы больше и не открывать. Дело прошлое, и вроде бы место «Бесов» отныне в архиве. Для изучающих общественно-литературный процесс прошлого века.

Вместе с тем мы продолжаем обращаться к роману не только из любви к отечественной словесности, а как к сочинению, имеющему сущностный смысл — квинтэссенции национального самопознания. Более того, для русского читателя актуальность Достоевского в известной степени равна актуальности Библии. Думаю, такое сравнение вполне оправдано. Хотя сам писатель не раз говорил, что ему случалось некоторые факты общественной жизни предсказывать, считал он себя не предсказателем, а *пророком*. Разница принципиальная. Он любил повторять огаревские строчки:

Чтоб вышла мне по воле рока  
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

А пророк, по авторитетному соображению о.А.Меня, отнюдь не предсказатель, он — *посланец Божий*, обличающий свой народ за его грехи, бичующий его пороки, обнажающий его язвы, указующий на отход народа от законов Божиих. При этом он грозит народу бедами за нарушение этих законов и высших предначертаний. Когда же народ не слушает пророка, побивает его камнями, и кара Бога обрушивается на маловерных, подтверждая слова Его посланца, тогда пророк, как некогда Иеремия, рыдает на развалинах Иерусалима, ибо кары и бед могло не быть, если б народ отказался от своих грехов, излечился духовно. Предназначение пророка — не угадать будущее, а сказать народу, *как не должно жить*.

Думаю, что никаких предсказаний о большевизме и сталинизме Достоевский не делал. Его задача была много сложнее. Россия, считал он, не потому больна, что в ней появился Нечаев, как занесенный извне болезнетворный микроб, а Нечаев и нечаевщина появились потому, что больна Россия. Нечаевщина лишь симптом. Дело не в Нечаеве-Верховенском, Ульянове-Ленине, Джугашвили-Сталине, а в причинах, их породивших. Исследуя только образ беса Верховенского или Шигалева, мы в сущности исследуем только последствия болезни, а не саму болезнь. Как замечал С.Н.Булгаков, «Бесы» — роман «не о русской револю-



ции, но о болезни русской души»<sup>1</sup>. А такого рода болезнь имеет историко-метафизические основания и не исчерпывается политическими переменами. Она требует постоянного самоанализа, взглядывания в отечественную культуру и историю. Без Достоевского тут не обойтись. Слишком многое он угадал, на слишком многое указал, что требует расшифровки, если мы хотим жить, сознавая себя. Это и есть лечение.

## 2. АКМЭ СЮЖЕТА

Но если «бесы» только следствие, то где, в чем причина? Сообразим: центром сюжета вовсе не является убийство Шатова. Если бы у Петруши Верховенского была задача «склеить» свои пятерки кровью, связать их преступлением, то, разумеется, постарался бы он сделать это скрытно, прячась от обывателей, тем более от административных властей города. Он же афиширует себя, оказывается вхож в самые знатные дома, фамильярничает с губернаторшей и губернатором, грубит отцу, дразнит его, втягивает в орбиту своих действий в городе знаменитого писателя Кармазинова. Ведь не собирался же он вовлечь весь город в убийство Шатова. Но в некое действо он всех вовлек. И действо это — праздник, а затем бал «в пользу гувернанток нашей губернии»<sup>2</sup>.

Праздник и оказывается в центре романного сюжета. Именно тогда разрешаются многие коллизии романа: явлением Кармазинова, выступлением и прозрением Степана Трофимовича, пьяным скандалом на сцене с капитаном Лебядкиным, испугом городских обывателей, увозом Лизы к Ставрогину, убийством капитана и его сестры, Хромоножки, их служанки, гигантским пожаром, сжегшим часть города, безобразным пьяным дебошем и, наконец, оргийным экстазом толпы простонародья, до смерти забившей Лизу. Короче, на празднике вдруг выяс-

---

<sup>1</sup> Булгаков С.Н. Русская трагедия // Булгаков С.Н. Сочинения. В 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 523.

<sup>2</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1974. Т. 10. С. 248 (В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте, с указанием тома и страницы). Курсив в цитатах Достоевского мой — В.К.

нилось, что всем (а особенно бесам) «всё позволено». Не случайно, хроникер, ведущий рассказ, замечает о ночи праздника: «Вся эта ночь с своими почти нелепыми событиями и с страшною «развязкой» наутро мерещится мне до сих пор как безобразный, кошмарный сон и составляет — для меня по крайней мере — самую тяжелую часть моей хроники» (10, 385). А ведь дальше будет и убийство Шатова, гибель его жены, смерть Степана Трофимовича, самоубийство Кириллова и Ставрогина. Но все эти события уже не кажутся невероятными после всего того, что обнаружилось на празднике, задуманном губернаторшей как всепримирающий маскарад, в котором было отведено место даже «кадрили литературы» в «соответствующих костюмах».

Вообще как будто с самого начала писатель намекает, что почти все его персонажи немножко актеры, и уж кому, как не им, поддержать своим участием праздник и поднять его на должную высоту. На первой же странице романа сообщается, что «Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и *любил эту роль до страсти*» (10, 7). Хроникеру невольно приходится, хоть и без охоты, приравнять его «к актеру на театре» (10, 7). Позерствует, подавая свою персону в качестве великого писателя, Кармазинов. «Оперной барышней» именуется Лиза. Перед каждым выступает в своей особой роли Петруша Верховенский, *стараясь везде казаться своим*. Актерствует мелкий бес Лямшин, музыкальный виртуоз, трактующий музыкально франко-прусскую войну: «Марсельеза» побеждается «пошлой» немецкой песенкой «Mein lieber Augustin». Даже пьяница капитан Лебядкин изображает поэта, несчастного влюбленного, напуская на себя многозначительную таинственность. Пытаются переиграть друг друга Варвара Петровна и губернаторша Юлия Михайловна, соревнуясь в попытке занять первое место в обществе. Смахивает на актера и Ставрогин: «Говорили, что лицо его напоминает маску» (10, 37).

Праздник, однако, как мы знаем, кончился катастрофой. Ибо актерская игра на театре и в жизни *принципиально, культурно* разные действия. В период становления

европейской художественной культуры (в Античности и Ренессансе) актер отделялся от зрителя сценой. Тем самым игровое действие потеряло характер всеобщности, оргийности, организовывавшей в древности жизнь человека. Отныне актер воздействовал лишь в строго определенных моменты (в строго определенном месте) на ум и душу зрителя, избавляя его от необходимости свою повседневную жизнь превращать в мистерию. «Медиумичность, провокация, зеркальность, — писал С.Н.Булгаков, — является самой основой сценического искусства, в этом его сила, ибо им раздвигаются грани эмпирически ограниченной индивидуальности: в одной человеческой коже вмещается несколько тел, на одно лицо можно накладывать много различных гримов, но в этом и его ограниченность. Соответственно своей природе, актер может быть медиумом одинаково и добра, и зла, хотя в служении красоте и он имеет во всяком случае оздоровляющее начало, перед которым никнет сила зла. Напротив, актерство, перенесенное в жизнь, неизбежно становится провокацией. Таков Ставрогин, этот актер в жизни, личина личин, провокатор»<sup>3</sup>.

Актер на сцене ограничен рампой, которая защищает зрителя от жизненной провокации. Актер в жизни не ограничен ничем: люди беззащитны перед ним. Есть время жизненного дела и время игры. Европейская культура разделила эти два времени. Одно не должно пересекаться с другим. *Даже в карнавале*, когда актерство, маски, личины выплескиваются на улицу. Сошлюсь здесь на Бахтина — самого яркого сторонника карнавала, как освобождающей силы: «Можно сказать (с известными оговорками, конечно), что человек средневековья жил как бы двумя жизнями: одной — официальной, монолитно серьезной и хмурой, подчиненной строгому иерархическому порядку, полной страха, догматизма, благоговения и пиетета, и другой — карнавальнo-площадной, вольной, полной амбивалентного смеха, кощунств, профанаций всего священного, снижений и непристойностей фамильярного контакта со всеми и со всем. И обе эти

---

<sup>3</sup> Булгаков С.Н. Русская трагедия. С. 512.

жизни были узаконены, но разделены строгими временными границами»<sup>4</sup>. Теперь можно по крайней мере предположить, почему театрализованный праздник, задуманный губернаторшей, превратился в мистерию-жизненный кошмар. Потому что вся жизнь в губернском городе была и без того карнавализована, и карнавал этот не имел ни временных, ни пространственно-социальных границ и преград. Ничем не ограниченный карнавал имеет опасность перерасти в оргию. Забегая вперед, выдвину тезис: карнавал как образ жизни народа, как повседневность, — вот что страшило писателя, казалось ему губительным для еще нетвердого, непрочного в России христианства. Именно поэтому «праздник», как бы стянувший к себе все карнавальные мотивы романа, оказался в центре сюжета, стал акмэ сюжета.

### 3. КАРНАВАЛЬНЫЕ МАСКИ-ЛИЧИНЫ В РОМАНЕ

Все герои «Бесов», заметил С.Н.Булгаков, «в мучительном параличе личности. Она словно отсутствует, кем-то выедена, а вместо лица — личина, маска»<sup>5</sup>. Надо сказать, что подобная личинность отвечала не только романному действию, но реальной общественно-исторической жизни России, ее духовному пребыванию среди бесконечно сменяющихся западных теорий, которые плохо усваивались, чаще выглядели личинами, масками, под которыми билась совсем иная жизнь. В поисках собственной сущности Россия непрерывно меняла идеологические маски. «Вольтеррианство и гегелианство, Шеллинг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народовольчество, порнография и богоискательство — все это выло, прыгало, кривлялось, на всех перекрестках русской интеллигентской действительности»<sup>6</sup>, — писал Иван Солоневич. Но беда была не в смене интеллектуальных концептов-масок, а в том, что эта чехарда идеологических личин накладывалась на почвенно-карнавальную основу,

---

<sup>4</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 220 (Курсив мой. — В.К.).

<sup>5</sup> Булгаков С.Н. Русская трагедия. С. 503.

<sup>6</sup> Солоневич И. Народная монархия. М., 1991. С. 131-132.

еще не нашедшую времени — не создавшую его — для осознания своего серьезного Я. Христианство серьезно, его улыбка умильна. Смеются, профанируя все святое, только бесы. В ограниченном временном пространстве такой карнавальный смех давал выход — под надзором христианской церкви — непреодоленному еще и в Западной Европе язычеству, которое, *побесившись*, скрывалось до следующего разрешенного выхода. Показательно, что под европейскими вроде бы масками героев романа скрываются совершенно российские фантомы.

Про Ставрогина прямо говорится, что он напоминает «принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли» (10, 36). Такова его маска. Речь идет о принце из пьесы Шекспира «Генрих IV», будущем благочестивом английском короле Генрихе V. Но под этой маской у русского «принца Гарри» таится другое прошлое и другое будущее: убийства, растление и смерть малолетней, дружба с бесами, безжалостное развращение женщин (в том числе жен близких людей), убийство чужими руками венчанной жены и, наконец, одинокое, угрюмое самоубийство: путь жизни, ведущий напрямик в ад. Как русский карнавал не знает временных границ в отличие от западноевропейского, так русский герой не знает меры и преград любым своим желаниям. Но и его, как английского принца, тоже ждет корона. Только поднесенная не законным путем, а полученная из рук бесов, надеющихся всколыхнуть древнерусское язычество против христианства, поставив в главе Ставрогина, обрядив его в фольклорный костюм. Приведу отрывок из беседы Петра Верховенского со Ставрогиным. Бес определяет задачи «русского карнавала» (т.е. полного уничтожения норм и законов), предсказывает языческую вакханалию и описывает в этом процессе роль «принца Гарри».

«Одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки» (жертвоприношение? — В.К.), чтоб по привык. <...> Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... *Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...* Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?

— Кого?

— Ивана-Царевича.

— Кого-о?

— Ивана-Царевича; вас, вас!» (10, 325).

Любопытно, что сам бес Верховенский тоже носит западноевропейскую маску «социалиста», едва ли не представителя «Интернационалки». Но в социализме его возникают вскоре сомнения — и на бытовом, и на политическом уровне. «Я ведь мошенник, а не социалист» (10,324), — бросает он Ставрогину. Ставрогин даже подозревает, что «Петруша» — «из высшей полиции». Однако это подозрение бес Верховенский отменяет: «Нет, покамест не из высшей полиции» (10, 300). Замечательно это «покамест»! Но он все время меняет маски. С губернатором и губернаторшей он откровенно фамильярничает *шут*. Только в отличие от шекспировских шутов, носителей здравого смысла, он сеет в умах бессмыслицу и разрушение. В маске предводителя и представителя «западных революционеров» он появляется «у наших». Характерен его совет Ставрогину, когда он вел его к «нашим»: «Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь» (10, 300). Существенно отметить, что именно Ставрогин, еще не сознавая своей демонической природы, спросил однажды: «А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога?» (11, 10). И бес в лице Петруши Верховенского ему был послан. Ведь почвенно-языческие боги, к которым взывает молодой Верховенский, в христианской традиции суть бесы, враждебные христианской, т.е. *пришлой религии*. Спровоцировав Шатова на очевидно губительный для того визит к «нашим», бес ликует, вполне понимая, *кто* ему помогает. «Ну, хорош же ты теперь! — весело обдумывал Петр Степанович, выходя на улицу, — хорош будешь и вечером, а мне именно такого тебя теперь надо, и лучше желать нельзя, лучше желать нельзя! Сам русский бог помогает!» (10, 295). *Русский бог*, то есть *бог места*, почвенный, языческий, не христианский бог, как выясняется из этих слов, есть повелитель Верховенского. Бес всего лишь его представитель, его волей творит зло.

И, видимо, не случайно поддается Шатов на бесовскую провокацию. Ведь на Шатове тоже специфическая личина, ведь Бог для него атрибут русской народности. Эту личину он тоже привез с Запада, выдумал ее там, как противовес неприемлемому для него западному образу жизни. Он бредит религиозной идеей национальности, хотя не верит сам в Бога. Вот эпизод его разговора со Ставрогиным: «— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в иступлении Шатов.

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога» (10, 200-201).

Но христианство обращается ко всем народам и ко всем языкам. И верующий в «народ-богоносец», но не в наднационального Бога, Шатов закономерно становится жертвой «русского бога».

Идея богоборчества тоже пришла с Запада. Но Кириллов, ее носитель, доводит ее до русской крайности, до русского безудержа. Он убивает себя, чтобы сравняться с Богом, своей волей отнять у себя жизнь, данную ему Богом. И тоже становится, как и Шатов, как и другие, игрушкой, куклой в бесовском разгуле. Ведь пользуясь его самоубийством Петр Верховенский возлагает на него вину за убийство Шатова.

В этом ряду особенно выразителен образ Хромоножки, Марии Тимофеевны Лебядкиной. Она *носит личину* обвенчанной по христианскому закону *жены* Ставрогина. Но совративший бесчисленное количество женщин Ставрогин оставляет свою законную жену девственницей. У нее на этой почве начинается своего рода сексуальный бред, в котором явно просвечивают мотивы соблазненной и оставленной Фаустом Гретхен, всемирно признанном образе Вечной Женственности. Она даже говорит, что ребеночка своего (которого не было и быть не могло) в пруду утопила. Совсем как Гретхен. Но на самом деле женской жизни она не знает. Вечная Женственность для нее тоже личина. В поисках спасения она приходит к Богородице, но трактует ее в полуязыческом духе: «Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том

для человека заключается радость» (10, 116). Справедливо заключение С.Булгакова, писавшего, что Хромоножка «принадлежит к дохристианской эпохе. Сказать ли? Ведь, может быть, она вовсе и не знает Иисуса, не ведает лика Христова, а о «Богородице» говорит совсем в особом, космическом смысле. Она праведна и свята, но лишь естественной святостью Матери Земли, ее природной мистикой, живет от «слов, написанных в сердцах язычников», и еще не родилась к христианству. <...> Это — дохристианская или внехристианская душа, которая разумеет шепот Додонского дуба, прислушивается к оргиастическому лепету пифийской жрицы на ее треножнике и пророчеству весталки»<sup>7</sup>. В развернувшейся после карнавала оргии она не может противостоять бесам и оказывается одной из их жертв. Убийцей ее становится Федька Каторжный, бежавший с каторги, из «мертвого дома», т.е. в символическом смысле — посланец с того света, мелкий бесенок из ада.

Можно множить перечисление личин, участвующих в карнавале, каким по сути является все действие в романе, но пора все же определить тип и смысл этого русского карнавала.

#### 4. КАРНАВАЛ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как же реализуется карнавал, карнавальное поведение в романе? Вернемся к определению Бахтина: «Карнавал — это зрелище без рампы и без разделения на исполнителей и зрителей. В карнавале все активные участники, все причащаются карнавальному действию. Карнавал не созерцают и, строго говоря, даже и не разыгрывают, а ж и в у т в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют, то есть живут карнавальную жизнью. Карнавальная же жизнь — это жизнь, выведенная из своей о б ы ч н о й колеи, в какой-то мере «жизнь наизнанку», «мир наоборот»<sup>8</sup>.

Далее Бахтин перечисляет признаки карнавальной жизни: это жизнь вне дела, вне работы, фамильярный

<sup>7</sup> Булгаков С.Н. Русская трагедия. С. 509.

<sup>8</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 207.



контакт между людьми, эксцентричность, мезальянсы и т.п. Сразу можно сказать, что «мир наоборот» в христианской традиции — это бесовский мир. В нем и живут герои романа. Никто из них не работает, никто не живет своим трудом, деньги получаются словно бы из воздуха. Они заняты только межчеловеческими — вполне фамиллярными — контактами: достаточно напомнить взаимоотношения Степана Трофимовича и Варвары Петровны, Степана Трофимовича и кружка, где дни проводились в сплетнях и «за бутылкой», Петра Степановича и губернаторши. Эти отношения эксцентричны до чрезвычайности. Тут не только поступки Ставрогина, протащившего за нос старшину клуба или укусившего за ухо прежнего губернатора. Тут и Шатов, ударивший кулаком в лицо Ставрогина: вроде бы ни с того ни с сего. По своему эксцентричен скупердяй, ревнивец и сплетник Липутин, читавший втайне Фурье и «упивавшийся по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование» (10, 45). Абсолютно вне норм фигура капитана Лебядкина, пьющего мертвую и сочиняющего абсурдистские вирши. И т.д. и т.п. Что же касается мезальянсов, то ими роман переполнен. Чего стоит попытка женить Степана Трофимовича на «чужих грехах»! Или вторжение на праздник не званых никем «дикарей», как именует уличных пьяниц хроникер... И самый главный мезальянс — ось романа: это женитьба великосветского человека и богача Николая Ставрогина на юродивой хромоножке Марии Лебядкиной. Если к этому добавить личинность каждого персонажа, то картина карнавала будет полной. Даже визит в церковь оборачивается для Варвары Петровны, матери Ставрогина, карнавальным казусом — встречей и столкновением со своей, неизвестной ей, однако, невесткой, с Хромоножкой, тайной женой ее сына.

В главе «Перед праздником» Достоевский дает общий абрис настроения и поведения жителей губернского города: «Странное было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие, и

нельзя сказать, чтобы мало-помалу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. <...> Искали приключений, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота» (10, 249). Казалось, что в это карнавальное веселье разврат, обещанный, ожидаемый Верховенским, вкрадывался как норма поведения. Здесь можно вспомнить, скажем, и историю с молоденькой женой сурового поручика, перед которым она провинилась, проигравшись в карты, и муж по старинке, несмотря на вопли жены, «натешился над нею досыта» (10, 250). А дальше в духе легкомысленного карнавала «ее тотчас же захватили наши шалуны, заласкали, задарили и продержали дня четыре, не возвращая мужу. Она жила у бойкой дамы и по целым дням разъезжала с нею и со всем разрезвившимся обществом в прогулках по городу, участвовала в увеселениях и танцах. <...> Бедняжка смекнула наконец, что закопалась в беду, и еле живая от страха убежала на четвертый день в сумерки от своих покровителей к своему поручику» (10, 250). Что уж с ней проделывали «шалуны», можно только воображать, «но две ставни низенького деревянного домика, в котором поручик нанимал квартиру, не отпирались две недели» (10, 250). Нет сомнений, что истерзал муж свою благоверную.

И ведь праздника еще не было. Просто карнавал, по наблюдению Достоевского, пронизывал русскую жизнь. Только в отличие от Бахтина Достоевскому карнавал не казался освобождающей силой в России. Безмерная во всем, Россия безмерна и в карнавальная жизни. Карнавал, на взгляд писателя, ведет к тотальному уничтожению нравственных христианских законов, элиминирует личность. Не случайно, и Бахтин в своей концепции карнавализации словно забывает об обладающей собственной свободой и достоинством личности. Лицо у Бахтина заменяется «материально-телесным низом», как высшим раскрепощением человека. «Бесы», среди прочего, показывают *опасность* карнавала, превратившегося в норму жизни. Ибо это та жизнь, которая становится питатель-

ной средой для бесовства. Там, где личины подменяют человеческое лицо, нет места ни закону, ни нравственности, ни справедливости. Карнавальные «машкерады» Ивана Грозного, пляски oprичников в личинах — исторический образ этой опасности. Впрочем, сталинская эпоха — с шутовским развенчанием старой (царской) власти, валтасаровыми пирами вождей, кровавым хрустом костей у жертв, жестокой фамильярностью палачей с заключенными и убеждением рядовых обывателей, что у нас «каждый день есть праздник» — тоже дает на новом историческом витке свой вариант возможностей русской карнавализации<sup>9</sup>.

## 5. «ПРАЗДНИК»: ОТ КАРНАВАЛА К ОРГИИ

Когда-то карнавал при своем появлении в Западной Европе выполнял социально-терапевтическую роль. Языческие кровавые обряды заменялись игрой в эти обряды, вместо людей казнили и сжигали чучела, не говоря уж о строго ограниченном времени, отпущенном для карнавала. Карнавал преодолевал оргию. Лишенный меры, как показывает Достоевский, карнавал оказывается явлением с обратным знаком: он не преодолевает, а ведет к оргии. Надо сказать, что еще на заре становления Европы, в Античности, люди знали об опасности оргазма, дионисийства и т.п. И понимая, что склонность к дионисийству заложена в природу архаического человека, пытались не уничтожить его, но противопоставить оргазму *меру*.

«В мифотворческой симфонии эллинской культуры, — писал один из лучших российских знатоков Античности Я.Э.Голосовкер, — явственно слышатся две темы, два стимула творческой жизни Эллады: тема оргазма и тема числа. И если оргазм был выражением стихии народ-

---

<sup>9</sup> В свое время это отметил писатель Владимир Кормер: «Сталин может считаться «классическим» представителем сознания, карнавализованного на почве диалога с историей. <...> Отсюда, между прочим, и ненависть к «ленинской гвардии», нашедшая выход в карнавально оформленном ее развенчании, ритуальном обливании нечистотами и уничтожении (напомним, что карнавал обязательно включал символику уничтожения)» (Кормер В.Ф. О карнавализации как генезисе «двойного сознания» // Вопросы философии. 1991. № 1. С. 184).

ной, то число было выражением полиса с его в широком смысле понимаемой гражданственностью. Взаимодействие этих двух выражений и обнаруживается как характер элина с его изумительной чертой: искусством гармонизировать любой оргиазм». И далее он пишет (существенно сравнить его описание с развернувшимся на «празднике» в «Бесах» непотребном пьянством): «Даже попойка получила вскоре у элинов форму организованного симпозиума — пирования, подчиненного уставу и канону и все же вольного: и здесь число претворило оргиазм в гармонию»<sup>10</sup>. Борьба с почвенной, неуправляемой и кровавой энергией велась в Античности посредством гражданственности, становления полисного, вносящего меру мировоззрения. «Некогда оргиазм, — по словам Голосовкера, — находил выход в кровавых ритуалах, в безудерже половых вакханалий, в оргии дионисийских тиасов-кружков, в явлениях социального психоза, пока силой полиса не был введен в русло государственных мистерий — элевсинских, орфических и иных»<sup>11</sup>. После заката античного мира, его гибели в огне варварского переселения народов, вновь сложившийся жестокий и кровавый почвенный мир попытался — и не без успеха — обрести христианство, взявшее на себя миссию по превращению языческой дикости и стадности в мир, где каждый начал чувствовать себя личностью, ибо о каждом пекся христианский Бог. Добавим к этому и влияние на западноевропейский менталитет римского права с его разработанностью форм и норм жизни. Для выплеска почвенно-языческих страстей отводилось определенное карнавальное время, затем в права снова вступал христианский порядок, при котором душа каждого прихожанина была на учете и на божественном попечении. Человек вместо личности обретал лицо. При этом постепенно утверждавшиеся в обществе юридические законы тоже пытались защитить нарождавшегося индивида от почвенно-языческой стихии.

Что же за карнавал изобразил Достоевский?

---

<sup>10</sup> Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 77.

<sup>11</sup> Там же. С. 78.

Интересно, что многие семейства средней руки собирались на «праздник», *буквально тратя последнее*. Выразительнейшая особенность карнавала, разворачивающегося на страницах романа! Обычно карнавал есть знак житейского изобилия. Но здесь он происходит за счет насущной жизни, не от избытка, а через отказ от необходимого. «Многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню всё, даже семейное белье, даже простыни и чуть ли не тюфяки... Почти все чиновники забрали вперед жалованье, а иные помещики продали необходимый скот, и всё только чтобы привезти маркизами своих барышень и быть никого не хуже» (10, 358). Иными словами, карнавал не разрядил напряженность будней, а просто-напросто разорил большинство населения.

И добро бы верили эти разоряемые, что карнавал принесет если уж не разрядку, то пусть пользу (ну хотя бы их барышням — может, мужа найдут), так нет. Еще праздник не начался, а уж «никто <...> не верил, что торжественный день пройдет без какого-нибудь колоссального приключения, без «развязки», как выражались иные, заранее потирая руки. <...> Непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала: было всеобщее раздражение, что-то неумолимо злобное; казалось, всем всё надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм, цинизм через силу, как бы с натуги» (10, 353-354). Итак, все ждут развязки, скандала, то есть того, что нарушит пусть и безнравственное, но все же веселое, не страшное течение карнавала.

Сложившаяся ситуация словно требовала перехода карнавала в новую степень, степень понижения нравственных норм. «Началось с непомерной давки у входа. <...> Я настоящую публику не виню: отцы семейств не только не теснились и никого не теснили, несмотря на чины свои, но, напротив, говорят, сконфузились еще на улице, видя необычайный по нашему городу *напор толпы*, которая *осаждала* подъезд и *рвалась на приступ*, а не просто входила. <...> Явились даже со-

всем неизвестные личности, съехавшиеся из уездов и еще откуда-то. Эти *дикари*, только лишь вступали в залу, тотчас же в одно слово (точно их подучили) осведомлялись, *где буфет*, и, узнав, что нет буфета, безо всякой политики и с необычно до сего времени у нас дерзостью *начинали браниться*. Правда, иные из них пришли *пьяные*» (10, 358). Итак, почти все точно по Бахтину: не личность, а толпа, ищут буфет, то есть, материальной, а не духовной пищи; как и положено на карнавале, бранятся и сквернословят. Но чувствуется и элемент вакхический, оргийный: военные термины — толпа «осаждала», «рвалась на приступ», явились уже «пьяные» (разумеется, им не до симпозиа), да к тому же — «дикари», по словоупотреблению того времени, очевидно, что язычники.

Интересно отметить одну деталь. Очевидно, сам губернатор, немец фон Лембке, воображал устраиваемый праздник, как своего рода театр, где зрители и актеры разделены выработанной в европейской традиции рампой, а также принятием актерской игры за некую условность, в которую нельзя вмешаться. Не случайно, Достоевский описывает, как еще в молодые годы будущий губернатор *«склеил из бумаги театр*. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками; в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Всё было сделано из бумаги, всё выдуманно и сработано самим фон Лембке; он просидел над театром полгода» (10, 243). Символика образа в контексте романа абсолютно прозрачна: в России этот созданный западноевропейской цивилизацией условный мир духовности может существовать только сотворенный из бумаги, но уж никак не в реальности. Вспомним, как величайший выразитель народной ментальности граф Лев Толстой бранил Шекспира именно за неправдоподобность, условность происходящих на сцене событий, вроде бы не имеющих никакого отношения к действительной жизни людей, находящихся в зале.

В «Бесах» как раз и произошло это чаемое слияние театра с жизнью. Началось с того, что на сцену выпустили

пьяного капитана Лебядкина с похабно-прогрессиистскими виршами. «Как будто торопились беспорядком» (10, 363), — замечает хроникер. Это как бы объединило, поддержало вакхически настроенную часть зала: «Чуть не половина публики засмеялась, двадцать человек зааплодировали» (10, 361). Выкрики с мест, восклицания, поощрения и поношения из залы сливаются постепенно с речами выступающих на сцене. Праздник, как можно понять, задумывался по аналогии с театром: «Вся зала сплошь была уставлена, как партер театра, стульями с широкими проходами для публики» (10, 359). Однако ожидавшийся гармоничный театральный космос превратился, по словам рассказчика в «хаос» (10, 370). Присутствие прогрессивных литераторов и литературной кадрили, хоть и в масках, но «с направлением» показывает, что устроители видели в празднике своего рода сочетание театра и симпозиума. Но уж тем более не вышло симпозиума, предполагающего трезвость ума и взаимоуважение. А бал, устроенный после чтений, был прерван пожаром части города. Причем существенно, что писатель так и оставляет нас в сомнении, кто поджигатели. То ли Федька Каторжный, то ли радикалы-бесы, то ли сам народ, выступающий в романе под псевдонимом «шпигулинские», то есть работники с фабрики Шпигулина. *Реальный народ*, не народ-богоносец из идеологических построений Шатова.

Характерно, что описывая пожар, почти нероновский по размаху, Достоевский все время помнит карнавальным смыслом происходящего, сравнивая приметы западного и русского карнавала: «Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар» (10, 394). Западноевропейский карнавал сжат и ограничен по своим возможностям выражения: дальше фейерверка, «веселящего» человека, он не смеет идти. Русский, не знающий меры разгул заканчивается всеохватным всежигающим пожаром, губящим имуще-

ство и жизни. Оргийный разгул происходящего подчеркивается безбрежным, неостановимым пьянством, превращающим пьяниц в свиней, а помещение в свинарник: «Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько десятков гуляк, а с ними даже несколько дам осталось в залах. *Полиции никакой.* Музыка не отпустили и уходивших музыкантов избили. К утру всю «палатку Прохорыча» снесли, *пили без памяти*, плясали комаринского без цензуры, *комнаты изгадили*, и только на рассвете часть этой ватаги, совсем пьяная, *подоспела* на догоравшее пожарище *на новые беспорядки ...* Другая же половина так и заночевала в залах, *в мертвопьяном состоянии, со всеми последствиями, на бархатных диванах и на полу.* Поутру, при первой возможности, *их вытащили за ноги на улицу.* Тем и кончилось празднество в пользу гувернанток нашей губернии» (10, 393).

Итак очевидно, что полная карнавальная свобода («полиции никакой») обернулась свинством, превратилась в дикую пьяную оргию. Достоевский беспощаден: русская публика не цивилизовалась, не доросла до театра и до симпозиума<sup>12</sup>. Но оргия требует и жертвоприношения, причем яростного, вакхического, языческого, с участием жрецов и возбужденного, пришедшего в неистовство народа. Все это Достоевский показывает, доводя события до логического конца. Есть и жрецы — бесы, исполнитель — Федька Каторжный (кстати, из мужиков, бывший крепостной Степана Трофимовича) и оргийный хор — шпигулинские мужики. Есть и жертвы.

## 6. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

И жертв много. Капитан Лебядкин и его сестра — жена Ставрогина Хромоножка, их прислуга; девочка Матреша; Лиза; жена Шатова, беременная от Ставро-

---

<sup>12</sup> Сошлось на современного исследователя: «Русский праздник растворен в толще русского быта и очень трудно поддается регламентации. На Западе все обстоит наоборот. Даже средневековый европейский карнавал, ограниченный во времени, является скорее показателем дисциплины, регламентированности жизни» (Елистратов В.С. Арго и культура. М., 1995. С.101.).



гина, умирающая в родильной горячке вместе с ребенком; орудие многих убийств Федька Каторжный, убитый своим приятелем; сам Шатов, чьей кровью хотел Петр Степанович не только свою пятерку склеить, но и помазать ноги своему идолу, чтоб идол осознал силу своего служителя. Но кому жертвы и кто идол?

Пожалуй, первым попытался облагородить этого идола Вяч. Иванов. «Но кто же Николай Ставрогин? Поэт определенно указывает на его высокое призвание: недаром он носитель крестного имени <...>. Ему таинственно предложено было некое царственное помазание»<sup>13</sup>, — писал он в эссе «Основной миф в романе «Бесы». С этих пор все исследователи повторяют, что «ставрос» в переводе с греческого значит крест, и стараются с умилением глядеть на «великие страдания и терзания» Ставрогина, доходя до кощунственных намеков, опять же следом за Вяч. Ивановым, что «возможен Иван Царевич, грядущий во имя Господне»<sup>14</sup>. Между тем, нельзя забывать, что Достоевский — писатель если и не двусмысленный, то многосмысленный. И крест может означать в его понимании не только символ христианской веры, но и его первоначальный смысл — орудия мучений и казни Христа. Как языческий Царевич не может пролагать путь Господу, так «крест» фамилии Ставрогина указывает не на Христа, а на то орудие, на котором язычники казнили свои жертвы, и является инвариантом идола, требовавшего человеческих жертвоприношений. Именно как к идолу относится к Ставрогину главный бес романа Петр Степанович Верховенский. В экстазе он восклицает: «Ставрогин, вы красавец! <...> *Вы мой идол!* <...> Вам ничего не значит пожертвовать жизнью, и своею и чужою. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» (10, 323-324).

Идол должен быть свободен от человеческих и христианских обязательств и обязанностей, руки его должны быть развязаны. Именно в этом причина ожидаемого, но произошедшего не на глазах читателя

---

<sup>13</sup> Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 310.

<sup>14</sup> Там же. С. 311.

убийства венчанной жены Ставрогина Марьи Тимофеевны, Хромоножки. Впрочем, она чувствует свою обреченность, понимая, что ее брак — личина, а ее якобы муж — на самом деле *маска, самозванец*, и она кричит ему: «Прочь, самозванец! <...> Гришка От-ре-пъ-ев а-на-фе-ма!» (10, 219). За христианской личиной их брака скрывается вполне языческая шутовская, карнавальная сущность. Хромоножка с самого начала — жертва ставрогинской изломанной прихоти.

Но есть жертва, которая приносится *на глазах читателя*, в разгар переходящего в оргию карнавала. Это как бы *жертва-иллюстрация, разъясняющая природу происходящего языческого антихристианского бунта*. В записных тетрадах к «Бесам» Достоевский замечал, что он опасается «возбуждения подвижности в стенке-разиновской части народонаселения (11, 278). То есть разгула волюшки поперек всех норм нравственности. Тема Стенки Разина возникает во взаимоотношениях Лизы Тушиной и Ставрогина, она строится на параллели — атаман и персидская княжна. Уже появление Лизы на празднике, ее облик говорит о ее особом состоянии, она словно дева, предназначенная в жертву: «Никогда еще Лиза не была так ослепительно прелестна, как в это утро и в таком пышном туалете. Волосы ее были убраны в локонах, глаза сверкали, на лице сияла улыбка. Она видимо произвела эффект; ее осматривали, про нее шептались» (10, 359). А ведь ей и впрямь была приурочена роль жертвы — «персидской княжны». Еще перед праздником, лебезя перед Ставрогиным, Петр Степанович обещал: «Вы начальник, вы сила; а я у вас только сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна... или как там у них, черт, поется в этой песне...» (10, 299). Верховенский пересказывает разбойничью русскую народную песню, предлагая осуществить ее на деле, ведь было решено, «что праздник будет демократический» (10, 249), то есть исполняться по воле народа. На это оперноязыческое, национально-фольклорное и купил бес девушку, принеся ее в утеху сладострастия своего идола. Улестил ее, «говорил префантастические вещи, про ла-

дью и про кленовые весла из какой-то русской песни», — наутро после сладострастного угара трезвеет Лиза, понимая уже, что носимая ею карнавальная маска «оперной барышни» и привела ее в логово чудовища, винит себя, понимая, что погибла: «Я дурная, капризная, я оперную ладью соблазнила, я барышня...» (10, 401).

Натешившись девушкой, Ставрогин не желает никаких обязательств перед ней и практически изгоняет ее на улицу, туда, где горят зажженные бесовской оргийной силой дома, где лежат трупы его зарезанных родственников и бушует опьяненная вином и огнем толпа шпигулинских мужиков. И Лиза, отданная на потеху толпы, погибает окончательно — жертвой дионисийского неистовства. Хроникер описывает сцену убийства Лизы, как проявление неведомых сил, как безличное дело, как своего рода коллективный вдох и выдох толпы: «Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячая, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание: громко заговорили и вдруг завопили. <...> Вдруг я увидел, что над ее головой, сзади, поднялась и опустилась чья-то рука; Лиза упала.<...> Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы. <...> Не помню в полной точности, как происходило дальше; помню только, что Лизу вдруг понесли. <...> Я тоже, как очевидец, хотя и отдаленный, должен был дать на следствии мое показание: я заявил, что всё произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но *мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку*» (10, 413). То есть людей, находившихся в состоянии оргийного беспамьятства. Совершив это жертвоприношение, толпа успокоилась и отрезвела от пролитой крови. Но отнюдь не все. Ибо бесы не были изгнаны из бесновавшихся. Понятно, что успокоение наступило временное, локальное. Поскольку в другом месте бесовские насилия и убийства продолжались: насильственная смерть ждала и Федьку Каторжного, и Кириллова, и Ша-

това, каждый из которых был по-своему отторжен от примиряющего людей и народы Христа. Кажется, прав оказался российский поклонник оргийности и дионисийства — Вячеслав Иванов, с некоторым сожалением заметивший: «Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством только разрушительным»<sup>15</sup>.

## 7. ВЫВОДЫ

Сам Достоевский в письмах к своим литературным корреспондентам очень любил делать предварительные выводы из своих романов, достаточно четко формулируя свою идейно-художественную задачу и долженствующий последовать результат. В своем знаменитом письме А.Н.Майкову от 9(21) октября 1870 г., отправленном из Дрездена, он вроде бы, на первый взгляд, весьма внятно и убедительно определил свой замысел: «Болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краевскими и проч. дело не кончилось. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука: бесы сидели в человеке, и имя им было легион, и просили Его: повели нам войти в свиней, и Он позволил им. Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось всё стадо с крутизны в море и всё потонуло. Когда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесноватого — уже одетого и смыслящего и сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выbleвала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выbleванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — вот эта-

---

<sup>15</sup> Там же. С. 83.

то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней» (29, кн. I, 145).

Надо сказать, что уже в самом замысле содержится серьезное противоречие. Больными называются русские западники: иными словами, именно они должны излечиться, именно они, стало быть, представляют больную Россию. Нечаев же и другие радикалы — это свиньи, а отнюдь не русские люди. Это сомнительно. Русскость русских радикалов достаточно очевидна, не случайно, от них отреклась та самая западная «Интернационалка», к которой они апеллировали. Противоречие в замысле не помешало выстроить великому писателю роман, развивающийся логично и открывающий не только читателю, но и самому сочинителю неожиданные стороны российской действительности.

Начну с того, что соединение христианского Бога и народности как панацеи от бесовства было поставлено под сомнение образом Шатова, не сумевшего никак противостоять бесам, оказавшегося с ними в тесной связи. Более того, писатель начинает с шаржированного изображения русского западника Степана Трофимовича Верховенского, делает главного беса его сыном. Но потом происходят удивительные уточнения образов. Бес Петруша Верховенский рисуется писателем в контексте вполне национальных русских фольклорно-языческих мотивов. Впрочем, так воспринимался общественным мнением и его прототип — С.Г.Нечаев. Стоит сослаться на слова умнейшего адвоката В.Д.Спасовича: «Хотя Нечаев — лицо весьма недавно здесь бывшее, однако он походит на сказочного героя. <...> Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне кажется, Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение моровой язвы»<sup>16</sup>.

Если П.А.Флоренский говорил о полуязыческом характере православия в России, то Достоевский, прикос-

---

<sup>16</sup> Цит. по: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1975. Т. 12. С. 204 (примечания).

нувшись к «бесовской», то есть языческой теме, в сущности изобразил массовое обесовление. Ведь бесы у него в романе составляют большинство персонажей, и они господствуют, задают тон. Происходит по сути дела восстание языческой стихии. Она торжествует в романе. Поразительно, что писатель не нашел никого, кроме неудачно изображенного о.Тихона (к тому же главы с Тихоном в каноническом тексте «Бесов» нет), из «истинно русских людей», кто бы мог противостоять бесам. Персонажи романа делятся на принявших бесовское поведение и на губимых бесами, не умеющих, не смеющих им противостоять. И оказывается, что *единственным человеком*, вступающим в идейную схватку с бесами, становится столь шаржированно изображенный в начале романа русский западник Степан Трофимович Верховенский. На «празднике» он, и только он произносит речь, направленную против бесовства. Ему же дано уйти и «сесть у ног Христа»: он бежит от «бесовского праздника» и умирает на руках «книгоноши» — женщины, распространяющей христианскую литературу: деталь весьма символическая. Не случайно исследователи замечали, что «Степан Трофимович Верховенский <...> выражает в романе в ряде случаев идеи, близкие, самому Достоевскому. Именно он по воле автора «Бесов» является истолкователем евангельского эпиграфа к роману»<sup>17</sup>.

Вот что он говорит: «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» (10, 499). Заметим, во-первых, что «за века», то есть — поправляет себя Достоевский — не веяния с современного Запада виноваты. Во-вторых, здесь еще яснее противоречие, проявившееся уже в письме: «Но великая мысль и великая воля оселят ее свьше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша... и я, может быть,

---

<sup>17</sup> Буданова Н.Ф. Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы» // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974. Т. I. С. 177.

первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога» (10, 499). Остается, однако, роковой вопрос: не являются ли жители России (в том числе изображенные в романе, как бы обнимающем все слои населения) самой этой Россией. Ведь страна — это составляющие ее люди (не просто же «месторазвитие», некое пустое пространство!), а в этих людей и вошли бесы, и они либо обесились, либо взбесились, словно те самые свиньи (как евангельские, так и упившаяся на «празднике» толпа). «Трагедия Достоевского, — писал, акцентируя смысл заглавия, С.Н.Булгаков, — называется «Бесы». Силы зла, а не добра владеют в ней русской душой, не Спаситель, но искупитель, имя которому — «легион, потому что нас много», — само многоликое зло»<sup>18</sup>.

Достоевский в своем романе затронул гораздо более глубокие пласты национальной психеи, чем он сам ожидал. «Века», копившие миазмы и нечистоты, были веками, когда в души людей не проникали христианские идеи добра, света и справедливости. Эту непросветленность сознания, которую Достоевский именует безмерностью, широтой русского человека, способностью «переступить черту» и нарисовал он в своем самом безнадежном романе. Нет выхода, кроме гибели. И лишь прокливаемые им западники сохранили остатки представлений о красоте, гармонии и мере. Христианство провело твердую грань между добром и злом, отсутствие этой грани, безмерность и безграничность, приводит к карнавалу как образу жизни, где размыты все нравственные понятия и где владychествуют не знающие узды и удержу бесы.

Не случайно, карнавално-бесовское начало, дьяволов водевиль, где лица заменены личинами, увидел Федор Степун в Октябрьской революции. В эту оргиастическую эпоху, писал он, «начинается реализация всех несбыточностей жизни, отречение от реальностей, погоня за химерами. <...> Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками, проститутки становятся уездными ко-

---

<sup>18</sup> Булгаков С.Н. Русская трагедия. С. 503.

миссаршами. <...> Развертывается страшный революционный маскарад. Журналисты становятся красными генералами, поэтессы — военморами... <...> В этой демонической игре, в этом страшном революционно-метафизическом актерстве разлагается лицо человека; в смраде этого разложения начинают кружиться невероятные, несовместимые личины. С этой стихией связано неудержимое влечение революционных толп к праздникам и зрелищам»<sup>19</sup>. Таков философский комментарий к реальным историческим событиям, а кажется, что к роману «Бесы». Достоевский не предостерегал, он просто нарисовал картину России, погруженной в языческую стихию, живущей до- и внехристианской жизнью. И его пророческое обличение собственной страны, несмотря на веру в нее, на любовь к ней (как и у ветхозаветных пророков), исполнилось, оказалось не тревожным преувеличением, а самой доподлинной реальностью. Спустя десятилетия мы можем только поражаться, с какой легкостью, словно взбесившееся стадо свиней, кинулось большинство народа после революции в море тоталитаризма. Можно сказать, что «Бесы» — это роман о судьбе страны, оставленной Богом, о стране, где торжествует нечисть, а правда и добро бессильны. К этому роману надо относиться, как к библейскому пророчеству, которое обличая и бичуя, понуждало свой народ стать *не народом-богоносцем* (когда, говоря словами Шатова, народ «имеет своего бога особого»; 10, 199), а *богоизбранным народом*, подчиняющимся законам, данным христианским — наднациональным — Богом, *народом, способным жить по Божьим заповедям*.

Но воздействие таких произведений требует длительного исторического времени. Даже за одно столетие они не усваиваются.

---

<sup>19</sup> Стенун Ф. Религиозный смысл русской революции // Современные записки. Париж, 1929. № XI. С. 453.



## XV. АРТИСТИЧЕСКАЯ ЭПОХА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

(По страницам Федора Степуна)

### 1. ЭПОХА КАНУНОВ. КУЛЬТУРНЫЙ СИНТЕЗ ИЛИ ПРЕДВЕСТИЕ АПОКАЛИПСИСА?

Пожалуй, не было в XX веке периода, который вызвал бы столько разноречивых оценок и суждений, как начало нашего столетия. Даже те российские художники и мыслители, которые в результате произошедшей катастрофы лишились Родины и обеспеченного существования, испытывали в свою эмигрантскую пору ностальгию, вспоминая дореволюционные годы как период невероятного духовного взлета, расцвета искусства и науки, *едва ли не нового Ренессанса*. Сошлюсь хотя бы на Бердяева: словно забыв о своих апокалиптических предчувствиях в начале века, он так сказал о своей молодости: «У нас был культурный ренессанс»<sup>1</sup>.

Но не Бердяеву выпало подвести итоги. Скорее всего, последним из оказавшихся в эмиграции крупнейших осмыслителей и мемуаристов эпохи был Федор Августович Степун (1884-1965). Его появившиеся на русском языке в 1956 г. воспоминания «Бывшее и несбывшееся» не случайно привлекли к себе внимание Пастернака, к этому моменту издавшего «Доктора Жи-

---

<sup>1</sup> Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 237.

ваго». Для Пастернака очевидно — они оба последние. «Я полон счастья при мысли, что мы оба, Вы и я, еще живы в такое время, когда <...> так дорого стоит и оплачивается каждое движение души, когда все так реально»<sup>2</sup>, — писал он Степуну 30 мая 1958 г. Но сквозь реальность настоящего Степун сумел оценить минувшее: не ностальгически, не проклиная, а удивительно объемно и трезво. Интересно, что главу «Россия накануне 1914 года» о так называемом «русском ренессансе», созданную в разгар Второй мировой войны, он закончил словами: «Час исполненья страшных русских предчувствий настал»<sup>3</sup>. Появление мирового ужаса было для него неразрывно связано с эпохой «творческого досуга»<sup>4</sup>. Почему? — в этом и стоит разобраться. Слово Степуна было подытоживающим (мемуары Эренбурга полны двоемыслия и недоговорок, а потому не могут быть подлинным духовным свидетельством). А последнее слово не менее важно и значительно, в каком-то смысле равно первому слову.

На некоторые идеи и наблюдения Степуна я и буду опираться в дальнейшем анализе интересующего меня феномена «артистической эпохи». Сам он считал, что рассказать о русской «канунной» культуре, «значит написать историю русской культуры»<sup>5</sup>. Резоны такого утверждения очевидны. Сегодня ученые называют этот период «серебряным веком»: «Серебряный Век, — пишет С.С.Хоружий. — Недолгая, но блестящая — как и требует имя! — эпоха русской культуры. Из ее богатейшего наследства, из необозримой литературы о ней явственно выступает, заставляя задуматься, одна важная черта: некий новый уровень и новый облик, который приобретает здесь извечный конфликт российского культурного развития — конфликт Востока и Запада, славянофильской и западнической установок. Живой

---

<sup>2</sup> Пастернак Б. Собр. соч. В 5-ти т. М., 1992. Т. 5. С. 560.

<sup>3</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. В 2-х т. London, 1990. Т. I. С. 326.

<sup>4</sup> В кн.: Степун Ф. Встречи и размышления. London, 1992. С. 171. В дальнейшем ссылки на эту книгу даны прямо в тексте: ВиР, а затем номер страницы.

<sup>5</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. I. С. 255.

материал культуры, равно как и выводы культурологов, согласно нам говорят, что культура Серебряного Века в немалой степени сумела осуществить сочетание и сотрудничество, «синергию» соперничавших установок и благодаря этому явила собою новый культурный феномен, даже культурный тип — некий духовный Востоко-Запад»<sup>6</sup>. Этот период сравнивали не только с Ренессансом, но и с Античностью, и с александрийской эпохой, тоже осуществлявшей западно-восточный синтез.

Откуда такое ощущение? Нельзя забывать, что в этот момент, несмотря на социально-политический кризис (все же «между двух революций»!), Россия переживала «культурный и экономический подъем» (ВиР, 195). Но подъем этот затронул только узкий слой, русская элита получила возможность относительной материальной независимости (впервые не на основе крепостничества), а стало быть, и духовной свободы. «У всех людей, принадлежавших к высшему культурному слою, <...> было очень много свободного времени» (ВиР, 171), — замечал Степун. Границы между странами стали открытыми, межкультурное общение — нормой. Этот фактор свободы, как и всегда бывало, пробудил и в России, и в Западной Европе творческую энергию не только в искусстве, но и в науке, что привело к невероятным открытиям, совершившим переворот в жизни человечества. В общественном сознании господствовала идея освобождения всех сословий и классов. Неизбежность выхода на историческую сцену огромного количества людей, не прошедших школу личностной самостоятельности, рождала, однако, ощущение «заката Европы» (Шпенглер), разрушающего цивилизацию «восстания масс» (Ортега-и-Гассет), наступающего «возмездия» (А.Блок) и «нового средневековья» (Бердяев). Ощущение понятное. В самой своей глубине народные массы не прошли действительной христианизации, отсюда поднявшиеся языческие мифы, созидание по их образцу новых мифов,

---

<sup>6</sup> Хоружий С.С. Жизнь и учение Льва Карсавина // Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. С. V.

приводящих к созданию антихристианской реальности (тоталитарные режимы в России, Италии, Германии).

Очень многие русские писатели и мыслители «твердили об одном и том же: о кризисе культуры, о грядущей революции, о горящих лесах и расползающихся в России оврагах» (ВиР, 196). Но при этом русская духовная элита существовала в своеобразной изоляции, фантасмогорическом мире, *где наслаждались минутой в предчувствии неизбежной катастрофы*. Это было странное и удивительное сообщество людей, воспринявших духовные достижения мировой культуры, глубоко переживавших смыслы прошедших эпох, с постоянной игрой понятий, где одно переливалось, нечувствительно переходило в другое, где самые неистовые споры вскрывали относительность позиций, где вместо крови лился «клюквенный сок» (как показал Блок в «Балаганчике»), где казалось возможным произнести все, не боясь, что оно воплотится в жизнь<sup>7</sup>, где даже апокалиптические предвестия драпировались в «масочку с черною бородой» и «пышное ярко-красное домино» (в «Петербурге» А.Белого). Не «шигалевщину», как Достоевский, не будущего русско-немецкого нациста, как Тургенев (г.Ратч в повести «Несчастливая»), не явленного во плоти Антихриста, как Вл.Соловьев, но вполне маскарадно-условную «тень Люциферова крыла» видел Блок простертой над двадцатым веком, который

Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...  
(«Возмездие»).

А рядом еще более приподнято:

В терновом венце революций  
Грядет шестнадцатый год.  
(В.Маяковский. «Облако в штанах»)

Я не хочу сказать, что за этими строками не стояло реальности, реальных ощущений. Конечно, они были.

---

<sup>7</sup> «Скажите мне что-нибудь для меня интересное и страшное», — любила озадачивать собеседника Зинаида Гиппиус (*Иванова Л.* Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 33).

Однако *слишком близко подошли кануны, новое угнезди-лось уже настолько рядом, что его контуры оказались размытыми* («большое видится на расстоянии»), поэ-му даже трагические слова Блока *звучали неконкретно и как-то общо*. Но — звучали. За вроде бы удавшимся синтезом коренилась неуверенность, страх и понима-ние временности, а потому и неподлинности этого синтеза. Так оно и случилось. Изысканный, карна-вальный, почти «парковый», ухоженный мир людей искусства раскололся на непримиримые группы с са-мого начала Первой мировой, а затем рухнул в про-пасть революции, смуты гражданской войны и всерос-сийского ГУЛАГА, который даже в самых страшных своих снах не мог бы предугадать Алексей Ремизов. Взамен картонных, театрально устрашающих декора-ций был явлен настоящий ужас реальной жизни. Этот фантастический перепад судеб прозвучал в «Реквиеме» Анны Ахматовой:

Показать бы тебе, насмешнице  
И любимице всех друзей,  
Царскосельской веселой грешнице,  
Что случится с жизнью твоей -  
Как трехсотая, с передачею,  
Под Крестами будешь стоять  
И своею слезою горячею  
Новогодний лед прожигать.  
Там тюремный тополь качается,  
И ни звука — а сколько там  
Неповинных жизней кончается...

*Всепримирающий духовный синтез*, все тревоги пре-творявший в игру, распался и прекратил свое сущест-вование. «Царскосельская веселая грешница», изобра-жавшая пантомимические фигуры на вечерах в «баш-не» у Вяч.Иванова, выдержала удар демонических сил, преобразивших Россию в один из департаментов ада. Ахматова выстояла. Но далеко не у всех хватило на это сил. К примеру, Валерий Брюсов, считавшийся самым европейским, самым культурным, введившим в свои стихи реалии практически всех цивилизаций, завора-живавший своей образованностью сотни поклонниц и

поклонников, как выяснилось, не случайно приветствовал «грядущих гуннов». С победой большевиков он вступил в ВКП(б), стал цензором, возглавив Комитет по регистрации печати, желая стать «главным поэтом» при новом режиме. В своих мемуарах Степун приводит его стихи (из переписки с Луначарским), задолго до гитлеровцев призывавшие к кострам из книг, прославлявшие варварство и полные «погромных желаний»:

В руинах, звавшихся парламентской палатой,  
Как будет радостен детей свободный крик,  
Как будет весело дробить останки статуй  
И складывать костер из бесконечных книг<sup>8</sup>.

Что же, по справедливому выражению Л.М.Баткина, культура «неуютна». А если говорить об игровой ситуации, в которой жил «серебряный век», то вспомним когда-то замеченное, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Вроде бы и так: веселая карнавальная игра есть признак смены эпох, она выводит человечество из языческого кошмара неистовства, подчинения человека стадному чувству, отпуская на это чувство короткий отрезок времени и превращая серьезные и страшные обычаи прошлого в шутку. Скажем, играя в ритуализированные жертвоприношения: жгут чучело вместо человека, надевают маски, когда-то значившие слияние с духом данной личины (дьявола, ведьмы, красавицы, разбойника, животного и т.п.), а теперь вызывающие лишь смех. Но есть в истории и другие периоды, когда игра и весьма своеобразное веселье приобретает характер дьявольской шутки, возникает как попытка скрыть тревожный и страшный смысл происходящего, а то и просто утаить его: такова была функция смеха в Древней Руси — пугающие «машкерады» Ивана Грозного служили предвестием его кровавых оргий. Как видим, вполне двусмысленной была и игровая ситуация в «серебряном веке»; не случайно, «высокий духовный синтез» перерос в Апокалипсис. Впрочем, подобную ситуацию пережила в эти годы не только Россия. Западная Европа осмысли-

---

<sup>8</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 225.

ла свой опыт элитарной игры в проблемы в двух, по крайней мере, выдающихся сочинениях: «Игра в бисер» Г.Гессе и «Homo ludens» Й.Хейзинги. Интересно, что писались они, когда игра из феномена элитарной жизни стала реальностью многомиллионных масс. Только ставкой в этой игре стало само человеческое существование.

## 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ КАК ПРЕДСКАЗАНИЕ БУДУЩЕГО

Всякое явление действительности антиномично. Элита была вроде бы далека от действительности, во всяком случае от ее конкретики. Однако придуманные ею художественные и теоретические конструкции и построения неожиданно оказались угодными реальности и были воплощены в жизнь, но — *в формах самой жизни*. В этом нет никакого парадокса. Художник может ошибаться, когда сознательным усилием старается угадать будущее, но оно само говорит через него, когда он и не подозревает об этом. Это очень хорошо понимал и четко формулировал Степун — современник многих революций XX века (эстетической, научно-технической, большевистской в России, фашистской в Италии, нацистской в Германии): «Готовящиеся в истории сдвиги всегда пророчески намечаются в искусстве»<sup>9</sup>. Причем часто намеки эти проскальзывают в творчестве поэтов и мыслителей вроде бы наиболее далеких от социально-политических споров своего времени. Уж куда дальше многих был от злободневности Вячеслав Иванов, погруженный в созерцание Античности и русской классики, продуманно архаизировавший свой поэтический слог. Но, по словам Степуна, именно *«Вячеслав Иванов является одним из наиболее значительных провозвестников той новой «органической эпохи», которую мы ныне переживаем в уродливых формах всевозможных революционно-тоталитарных мирозозерцаний»* (ВиР, 173; курсив мой. — В.К.).

---

<sup>9</sup> Там же. Т. II. С. 125.

В чем это проявилось?

Скорее всего, среди прочего Степун имел в виду статью поэта-мистагога «Предчувствия и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего». В этой статье Вяч. Иванов называл «новое искусство» начала века «одним из динамических типов культурного энергетизма»<sup>10</sup>. Поэт восторгался не личностным, не аполлоновским, но дионисийским архаичным искусством Античности, когда «каждый участник литургического кругового хора — действенная молекула оргийной жизни Дионисова тела, его религиозной общины»<sup>11</sup>. Именно там существовала «реальная жертва» (впоследствии — фиктивная, далее превратившаяся в театрального протагониста, героя), а хоровод — «первоначально община жертвоприносителей и причастников жертвенного таинства»<sup>12</sup>. В дальнейшем, уже с Эсхила, закрепившись в творчестве Шекспира, рождается новая форма — театр, т.е. «только зрелище»<sup>13</sup>. В результате, сожалеет поэт, люди лишились подлинной причастности к почве и бытию, потеряли соборность, утратив возможность участия в оргийном действе. Отныне толпа — лишь зритель, она «расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной»<sup>14</sup>. Любопытно, что поэт не ограничивается теоретическими построениями, он вдруг выкрикивает лозунги, напоминающие футуристические (от фашиста Маринетти до коммуниста Маяковского): «Довольно зрелищ... Мы хотим собираться, чтобы творить — «деять» — соборно, а не созерцать только... Довольно лицедейства, мы хотим действия. Зритель должен стать деятелем, соучастником действия. Толпа зрителей должна слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних «оргий» и «мистерий»<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 37.

<sup>11</sup> Там же. С. 43.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же. Курсив Вяч.Иванова.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же. С. 44.



Призыв, казалось бы, сугубо эстетический, к тому же высмеянный Андреем Белым<sup>16</sup>. Уж во всяком случае никакого отношения не имевший к жизни социальной, к политике, к общественному бытию России. Но паразитальная вещь — в новую «органическую эпоху» большевистского тоталитаризма оргийное, мистериальное действие стало фактом реальной жизни, воплощаясь не художниками, а — партийными функционерами и диктаторами. В бесконечных политических процессах, *которые лишь внешне напоминали театр*, зрителей больше не осталось, *все стали участниками и соучастниками дионисийской драмы тоталитаризма*. И кровь полилась настоящая, и ее было много, а общинный хор по указке его руководителя выкрикивал имена все новых жертв. Йохан Хейзинга, размышляя о специфике фашисткоидных режимов, покрывших к середине тридцатых годов Европу, писал: «Самым существенным признаком всякой настоящей игры, будь то культ, представление, состязание, празднество, является то, что она к определенному моменту *кончается*. Зрители идут домой, исполнители снимают маски, представление кончилось. И здесь выявляется зло нашего времени: игра теперь во многих случаях никогда *не кончается*, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь далеко идущие последствия. Обе сферы совместились»<sup>17</sup>.

Итак, по наблюдению Хейзинги, тоталитаризм по форме — игра, но по сути — мистериальное действие, в отличие от игры не имеющее завершения, длящееся, пока существует данная мифологическая структура. Теория Вячеслава Иванова, сочиненная как игра ума по поводу театра, вдруг оказалась формулирующей

---

<sup>16</sup> «Почему хоровод в любом селе не оркестра? О бедная Россия, — ее грозят покрыть оркестрами, когда она издавна ими покрыта. <...> Вот что значат выводы из теории, не считающейся с конкретными формами жизни» (Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х т. Т. II. М., 1994. С. 32).

<sup>17</sup> Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня // Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 332. Курсив Й.Хейзинги.

принципы не игры, но жизни. Это в «Мистерии-буфф» подтвердил Маяковский: «Былью сменится театраль-ный сор». Отказ от идеи театра на самом деле значил много больше, чем простой эстетический эпатаж. И вот почему.

В эпоху Ренессанса произошла своего рода культурная революция: *роль была отделена от человека и формализована*, человек мог роль играть, но уже не жить ею. Произошло это сначала в искусстве. Возник тип плута пикаро, проходящего все социальные слои. Дон Кихот и Алонсо Кихана разделены как роль и ее носитель. Фигаро выше социальной роли слуги. Но, быть может, ярче всего эта революция проявилась именно в театральном искусстве. «Театральная рампа, — возмущался Вяч. Иванов, — разлучила общину, уже не сознающую себя, как таковую, от тех, кто сознают себя только «лицедеями»<sup>18</sup>. Но именно благодаря такому возникшему взаимоотношению между людьми пропала обязательность общинно-хорового действия, личность получила свободу и право быть не участником, а зрителем, от одобрения или неодобрения которого зависит судьба актера.

В данном случае речь идет уже и об общественной жизни. Эта утвердившаяся в Возрождение оценка жизни со стороны (так сказать, зрительская оценка) позволили человеку быть ее разумным строителем, не просто в ней участвовать, но понимать ее, и, следовательно, исправлять, пересоздавать. На этом начале строится принцип парламентаризма: парламент — это театр, наблюдаемый и оцениваемый обществом со стороны, в качестве зрителя, который, однако, платил деньги за вход, отделен от лицедеев рампой и может ошибаться и прогнать неугодного актера со сцены.

Разумеется, и в поствозрожденческий период кровь лилась, в войны втягивались десятки тысяч людей, но все эти ситуации уже были как бы нарушением объявленной, утверждавшейся в культуре и зафиксированной искусством свободы личности, ее праву на нево-

---

<sup>18</sup> *Иванов В.* Родное и вселенское. С. 45.

влеченность в то или иное действие. Усвоить это право, этот принцип был *исторической задачей* взрослеющего человечества, научающегося, по словам Канта, «*пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого*»<sup>19</sup>.

Возрождение не было простым воскрешением языческих античных тем и сюжетов. Такого рода реминисценции, как замечал Й.Хейзинга в «Осени средневековья», существовали и раньше. В самом средневековом христианстве содержалось много языческих элементов, в том числе и мистериальных, которые либо изживались, либо получали иное значение. Событие было в другом: опять — после Платона и Аристотеля — основой взаимоотношения человека с миром стал его разум, опора на себя. Все откровения и открытия ренессансного искусства как бы вписывались в парадигму проснувшейся в культуре независимой личности, подготовленной тысячелетней борьбой христианства с антиличностными принципами варварского и дионисийского язычества. Понимание самоопределяющегося человека гениальный Пико делла Мирандола вкладывает в уста христианского Бога: «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь»<sup>20</sup>. Это и была новая логика, которой следовало новое искусство. Как пример можно вспомнить возрожденческое открытие «прямой перспективы», *оставлявшей зрителя вне картины*, но позволявшей ему глубже заглянуть в отделенный от него мир: нечто вроде театральной рампы. За зрителем оставалась свобода оценки, *свобода отношения к миру*. Выступивший против принципа «прямой перспективы» русский философ «серебряного века» П.А.Флоренский тем не менее оценивал ее вполне

---

<sup>19</sup> Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Кант И. Соч. В 6-ти т. М., 1966. Т. 6. С. 27. Курсив И.Канта.

<sup>20</sup> Пико делла Мирандола Джованни. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. М., 1981. Т. I. С. 249.

точно: «Задачей перспективы, наряду с другими средствами искусства, может быть только известное **духовное возбуждение, толчок, пробуждающий внимание к самой реальности**»<sup>21</sup>.

Флоренский противопоставлял возрожденческому открытию идею «обратной перспективы», как естественную, как ту, которой — в отличие от «прямой перспективы» — *не надо учиться*. Но процесс исторического взросления, становления человека как человека цивилизованного, *его выход из варварства* требует столетий культивации и самообучения. Именно на обучении основана возрожденческая живопись — и художника, и зрителя. «Потребовалось **более пятисот лет социального воспитания**, — писал Флоренский, — чтобы приучить глаз и руку к перспективе; но ни глаз, ни рука ребенка, а также и взрослого, без нарочитого обучения не подчиняются этой тренировке и не считаются с правилами перспективного единства»<sup>22</sup>. Начиная с Льва Толстого, значительная часть русских философов «серебряного века» пыталась отказаться от возрожденческих принципов искусства и науки, ибо они ведут к цивилизации, чуждой почвенной культуре народа. Да и в Западной Европе надолго самой модной стала книга Шпенглера, проклявшая цивилизацию и объявившая о закате европейских ценностей. На этот испуг перед сложностью человеческого пути к зрелости отозвался великий писатель Томас Манн, жестоко назвав Шпенглера «пораженцем рода человеческого»<sup>23</sup>.

Отказ Толстого от достижений цивилизации вместе с тем понятен. Ему чудилось, что он и другие представители высших классов, воспитанные на западноевропейских ценностях, обречены гибели: «Мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция (т.е. по Толстому, —

---

<sup>21</sup> Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Соч. В 2-х т. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 81. Выделено П.А.Флоренским.

<sup>22</sup> Там же. С. 77. Выделено Флоренским.

<sup>23</sup> Манн Т. Об учении Шпенглера // Манн Т. Собр. соч. В 10-ти т. М., 1960. Т. 9. С. 613.

революция работников, в том числе и крестьян. — В.К.) с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов»<sup>24</sup>. Весь ужас от того, что европейское образование не может по вполне понятным материально-практическим причинам, по причинам бедности, быть усвоено русским народом, полагал Толстой.

К тому же гуманистическое воспитание требует долгого исторического времени и больших усилий. Толстой встал перед проблемой пробудившихся масс, желающих самостоятельности. Но как? Какой? Пока в добытое усилиями христианских гуманистов *поле свободы* входили небольшие социальные слои, цивилизующие их механизмы действовали. Когда в это поле начали входить многомиллионные массы, оно не выдержало, произошел слом, цивилизационные механизмы дали сбой. Это недоверие к результативности гуманистических ценностей и сказалось в концепциях, призывавших отказаться от трудности гуманистического воспитания и вернуться к общинно-хоровому типу жизни. Не случайно народ, совершивший в семнадцатом году Октябрьскую революцию, поддержал разгон Учредительного собрания. Механизм *парламентарной* демократии не был ему внятен, хотя как точно заметил С.Л.Франк, «русская революция есть демократическое движение в совершенно ином смысле: это есть движение народных масс, руководимое смутным, политически не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности. По объективному своему содержанию *это есть проникновение низших слоев во все области государственно-общественной жизни и культуры* и переход их из состояния пассивного объекта воздействия в состояние активного субъекта строительства жизни»<sup>25</sup> (курсив мой. — В.К.).

---

<sup>24</sup> Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Толстой Л.Н. Собр. соч. В 22-х т. М., 1983. Т. 16. С. 378-379.

<sup>25</sup> Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 215.

Прозвучавшие в «серебряном веке» призывы к «симфонической личности» (вместо гуманистической; Л. Карсавин), «обратной перспективе» (П. Флоренский), общинно-хоровому «высвобождению дионисийских энергий» (Вяч. Иванов) стали своеобразной эстетической моделью тех социально-политических структур, что с такой убийственной силой реализовались в историческом пространстве, превращая его в антиисторическое и уничтожая цивилизационно-гуманистические заветы петровско-пушкинской эпохи. Надо сказать, что такую возможность Вяч. Иванов угадывал: «Отрицательный полюс человеческой объективирующей способности, кажется, лежит в сердце нашего народа: этот отрицательный полюс есть нигилизм. *Нигилизм-пафос обесценения и обесформления* — вообще характерный признак отрицательной, нетворческой, косной, дурной стихии варварства. <...> *Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством только разрушительным*»<sup>26</sup> (курсив мой. — В.К.). Так оно и произошло. Явился пренебрегший театральной рампой хор и принялся управлять жизнью. Только явился он не в античных одеждах, а в мужицких зипунах, солдатских шинелях и кожанках Чека.

Чрезвычайно интересно, что многие корифеи этого хора были так или иначе связаны с элитой «серебряного века» — литературно или дружески<sup>27</sup>. Значит, все существовала какая-то связь, существовали умы, усвоившие игровые модели, и существовал некий фактор, позволивший превратить игру ума в реальность.

### 3. ФАКТОР X (икс)

Назвать таким фактором *рабочее движение? Научно-технический прогресс? Или социалистические идеи? Но*

---

<sup>26</sup> *Иванов В.* Споряды // *Иванов В.* Родное и вселенское. С. 83.

<sup>27</sup> Скажем, в богемно-артистическом ресторанчике «Привал комедиантов», пишет Степун, «в 1917-ом году за одним столом сиживали: адмирал Колчак, Борис Савинков и Лев Давидович Троцкий» (*Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. Т II. С. 123).

все эти факторы работали и там, где и помину не было о тоталитаризме (в Англии, США). Скорее, речь может идти о «восстании масс» в той исторической ситуации, когда, как говорил Лев Толстой, не возникли «спасительные клапаны» социально-культурной регуляции. Но и это обстоятельство не объясняет, быть может, самого важного — *тип человеческого сознания*, который в годы этого восстания определял социальную и духовную жизнь страны. Он тоже возник сначала в реторте художественных исканий, а точнее, в стиле жизни элиты «серебряного века», чтобы затем проявиться в «воле к власти» новоявленных коммунистических и фашистских лидеров, в деятельности их сподвижников и в умении обывателей приспособиться к «новому порядку».

Какой психологический тип был характерен для большинства в те годы? Сказать, что все жившие при «новом порядке» — прирожденные преступники, извращенцы (сексуальные психопаты, некрофилы, как Гитлер, параноики, как Сталин, и т.п.) было бы, очевидно, сильным преувеличением. Безумцами были скорее персонажи первого ряда, лидеры. Но основная масса? Продолжая тему жизни, долженствующей обратиться в мистериально-игровое действо, стоит прислушаться к одной мысли Ницше, брошенной им как бы мимоходом в «Веселой науке»: «Появляется совершенно новая порода людей, новая флора и фауна, которая никогда не смогла бы взрасти в более жесткие, регламентированные времена — но если бы и выросла, то все равно осталась бы «на дне», с вечным клеймом чего-то постыдного и позорного, — это означает неизменно, что *наступают самые интересные и самые безрассудные времена истории, когда «актеры», актеры всех мастей, становятся истинными властителями*»<sup>28</sup> (курсив мой. — В.К.). С этой мыслью немецкого философа очень существенно для моей темы сопоставить наблюдение русского консерватора, оберпрокурора Святейшего Синода К.П.Победоносцева:

---

<sup>28</sup> Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 486.

«Есть люди умные и значительные, которых нельзя разуметь серьезно, потому что у них нет твердого мнения, а есть только ощущения, которые постоянно меняются. <...> Вся жизнь их — игра сменяющихся ощущений, выражение коих доходит до виртуозности. И выражая их, они не обманывают ни себя, ни слушателя, а входят, подобно талантливым актерам, в известную роль и исполняют ее художественно. Но когда в действительной жизни приходится им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в какую сторону направится их деятельность, как выразится их воля, какую окраску примет их слово в решительную минуту...»<sup>29</sup> (курсив мой. — В.К.).

Как видим тенденция *вмешательства актерства в действительную жизнь* чувствовалась многими. Напомню, что Ленина, Муссолини и Гитлера называли поначалу шутами, клоунами, актерами, их перевороты (успеха которых они сами не ожидали), оказавшиеся революциями, выглядели поначалу в глазах обывателей как злодейские буффы, а в глазах сторонников как «мистерия-буфф» (В.Маяковский). Как говорил один из персонажей «Белой гвардии» М.Булгакова — «красавые оперетки». Таким революционное действо и виделось мирному жителю Российской империи, а руководители революции — «опереточными злодеями»: характерно, что Питирим Сорокин называл Троцкого «театрализованным разбойником»<sup>30</sup>. Сталин свою партийную кличку «Коба» взял в честь романтического разбойника, мелодраматического героя одного из грузинских романов, т.е. играл роль, *актерствовал*. Интересно и то, что победившая тоталитарная диктатура, уничтожая и изгоняя поэтов и мыслителей, принимала актеров, а актеры шли на сговор с тоталитаризмом. Замечательный анализ этого явления дан в романе Клауса Манна «Мефистофель» — о карьере актера в Третьем рейхе. Выразителен эпиграф к роману — из «Виль-

---

<sup>29</sup> *Победоносцев К.П.* Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 173-174.

<sup>30</sup> *Сорокин П.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 236.



гельма Мейстера» Гете: «Все слабости человека прощаю я актеру и ни одной слабости актера не прощаю человеку». В послевоенных мемуарах Клаус Манн так оценивал это свое художественное исследование: «Стоило ли трудиться, чтобы писать роман о такой фигуре? Да; ибо *комедиант становился воплощением, символом* насквозь комедиантского, глубоко лживого, нежизнеспособного *режима*»<sup>31</sup> (курсив мой. — В.К.). В этом контексте название богемного кабачка «Привал комедиантов», где общались деятели будущей социально-политической жизни России, приобретает символический смысл.

Можно сказать, что само время актерствовало. Ведь на самой вершине государства, оказалось, нуждались в *гениальном актере жизни* — Григории Распутине, который изображал из себя святого старца и одновременно распутствовал. Его актерский талант сделал его первым человеком при императорской фамилии, а стало быть, и в России. Он был не одинок. Стоит указать на психологически однородный персонаж из элиты «серебряного века» — на Максима Горького (отметим актерский псевдоним, с которым он прошел по жизни, да так, что люди забыли его настоящее имя: Алексей Пешков). *Из простой пешки этот купеческий внук добрался до роли ферзя* — «величайшего пролетарского писателя первого в мире социалистического государства». Уже упомянутый Клаус Манн вспоминал о своем визите к классику соцреализма после Первого съезда советских писателей: «Прием в доме Горького. Писатель, познавший и изобразивший крайнюю бедность, мрачайшую нищету, жил в княжеской роскоши; дамы его семьи принимали нас в парижских туалетах; угощение за его столом отличалось азиатской пышностью»<sup>32</sup>. Не случайно Иван Бунин самой характерной чертой Горького считал его *бесконечное актерство*: «Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто порази-

---

<sup>31</sup> Манн К. На повороте. Жизнеописание. М., 1991. С. 346.

<sup>32</sup> Там же. С. 341.

тельных по количеству актерских поз и выражений, <...> он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства»<sup>33</sup>.

Эти позы, маски в восприятии современников срастались с образом поэта, как, скажем, «желтая кофта» с ранним Маяковским. Некоторые старательно создавали свой образ, например, Валерий Брюсов. Маргарита Волошина вспоминала о нем: «Черные густые брови, широкие скулы — московский купец, стилизующийся под Клингзора»<sup>34</sup>. Замечу здесь, что Клингзор — Черный маг из цикла средневековых романов о Граале — был весьма популярным персонажем в мифопоэтике «серебряного века». *Личинность, маска замещала лик человека*. Об этом поразительное самоисследование Андрея Белого: «Что-то от «личины» приросло к лику индивидуума; в позднейших символизациях жизни и «Борис Николаевич», и «Андрей Белый», и «Унзер Фрейд» вынужден был изживать свое сомосознающее «Я» не по прямому поводу, а в диалектике ритмизируемых вариаций «Я» личностей-личин, из которых ни одна не была «Я»; причина, почему «Я» не изживаемо в личности-личине, уже с семилетнего возраста — предмет мучительных раздумий»<sup>35</sup>. Вызывая в памяти прошлое, «серебряный век», Анна Ахматова в поэме «Без героя» (кстати, удивительно точное название: там, где все личины, героя быть не может) ждет к себе друзей молодости, и они являются — масками:

Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,  
Дапергутто, Иоканааном,  
Самый скромный — северным Гланом,  
Иль убийцею Дорианом,  
И все шепчут своим Дианам  
Твердо выученный урок.

Вот такая была эта актерская, артистическая эпоха, тигель, в котором много чего плавилось и выплыви-

---

<sup>33</sup> Бунин И. Автобиографические заметки. В кн.: Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 194.

<sup>34</sup> Волошина М. Зеленая змея. История одной жизни. М., 1993. С. 116.

<sup>35</sup> Белый А. Почему я стал символистом... // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 420. Курсив А.Белого.

лось. Разумеется, никакая эпоха не может даже вообразить следующую, идущую ей на смену. Но она придает будущему не просто тон, окраску, стиль. Очень часто стиль прошлой эпохи оказывается сутью, спецификой новой. Современники «серебряного века» чувствовали установившийся артистический стиль, не создавая его как нечто, имеющее сущностное значение. Тем более никто не ставил вопрос *об актерстве как типе сознания, типе души*, типе, имеющем глубоко философский и мировоззренческий смысл. Впрочем, я не прав, это попытался сделать Федор Степун, скорее всего не сознавая всей историсофской и культурологической важности предпринятого им анализа. Но об этом — дальше.

#### 4. ПОЧЕМУ ВСЕ ЖЕ СТЕПУН?..

Начнем с того, что *Степун был абсолютно адекватен своей эпохе*, ее духу, ее пристрастиями, ее слабостям, ее поискам, ее заблуждениям и откровениям. *Он был не больше, но и нисколько не меньше эпохи*, а потому говорил с ней (и о ней) на равных. Приведу слова его ученика последних, немецких, лет: «В Степуне воплотился не только ученый и мыслитель, прошедший суровую школу неокантианства, и социолог, обученный Михайловским, Максом Вебером и Г.Зиммелем, но и художник, романист и повествователь, тонкий литературный критик и знаток театра, <...> посвященный во все мистерии сцены, экрана и актерского искусства; и тоже пленительный артист, рецитатор и режиссер. Вместе с тем он был и замечательным стилистом, и притом двуязычным, владевшим как художник слова немецкой речью настолько же хорошо, как и русской, — и не только как эссеист, мемуарист и повествователь, но и как выдающийся оратор и блестящий академический учитель»<sup>36</sup>. Разумеется, такой человек способен вникнуть в разные смыслы времени и сказать *свое*.

---

<sup>36</sup> Штаммлер А. В. Ф. А. Степун // Русская религиозно-философская мысль XX века. Питтсбург, 1975. С. 323.

Не менее существенно и то, что, говоря, свое, *он не указывал эпохе, как ей жить*, довольствуясь духовным излучением своей личности. А указывали все: символисты, акмеисты, футуристы, «знаньевцы», разнообразные толки социалистов (эсеры, меньшевики, большевики), кадеты, октябристы, монархисты, неопиты православия... Время между «Февралем» и «Октябрем», когда ему пришлось выступить в роли «указчика», он вспоминал как самое неподлинное для себя: «Неустанно носясь по фронту, защищая в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков, я впервые за всю свою жизнь не чувствовал себя тем, кем я на самом деле был. <...> Время величайшего напряжения и даже расцвета моей жизни, остались у меня в памяти временем предельного ущемления моего «я»<sup>37</sup>. По своему психологическому складу, Степун был скорее аналитик и наблюдатель.

Но поразительно то, что при таком складе ума и характера, он *сменил в жизни невероятное количество ролей*, порой играя их одновременно. Вырос в деревне, проведя почти *помещичье детство*. Можно назвать его — по чисто профессиональному признаку — *философом и писателем*. Но еще и *боевым офицером, артиллеристом*, участвовавшим в Первой мировой. А до войны объездил почти всю Россию как *профессиональный лектор*. В течение своей жизни *издавал или редактировал* разнообразные журналы («Логос», «Шиповник», «Современные записки», «Новый град»). Как *политический деятель* был не много не мало — начальником Политуправления при военном министерстве во Временном правительстве. В 1918-1919-е голодные годы *работал крестьянской работой*, чтоб не умереть. С 1919 г. по протекции Луначарского стал руководителем Государственного показательного театра, выступая в качестве *режиссера, актера и театрального теоретика*. Этот свой опыт он, кстати, зафиксировал в книге «Основные проблемы театра» (Берлин, 1923). Изведал горький

---

<sup>37</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 2. С. 19.

хлеб эмигранта, в 1922 г. изгнанный — среди прочих российских мыслителей и писателей — по личному распоряжению В.И.Ленина за участие в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы». В эмиграции он получает *профессорскую кафедру* в Дрездене, в 1937 г. нацисты лишают его профессорства, изгоняя из всех учебных заведений, и только после войны он приглашается профессором в Мюнхенский университет на специально для него созданную кафедру русской истории и русской культуры. Преподавая, он в то же время является в журналах в новом облике — *литературного критика и публициста-историсофа*. И, наконец, его последняя роль — роль *мемуариста*, причем, надо сказать, одного из самых блестящих в нашей письменной истории.

Поэтому создавая свой *трактат «Природа актерской души»*, Степун, как и положено человеку, прошедшему школу неокантианства и гуссерлианской феноменологии, опирался на свой выстраданный опыт, в духе «строгой науки»: «Я исхожу из самоанализа и стремлюсь не к исторически верному, но лишь к внутренне точному воображаемому портрету. Избранный метод я не только не считаю произвольным, я не считаю его и субъективным. Я уверен даже, что он в скрытом виде неизбежно лежит в основе всякого так называемого научно-объективного исторического исследования. Все научно-объективные ответы истории зависят в конечном счете от наших до-научных, внеисторических, личных убеждений» (ВиР, 38). Вместе с тем он, как видим, полагает, что из его анализа возможны исторические экстраполяции, так сказать, «научно-объективные вопросы к истории». Поэтому все дальнейшее изложение является по сути культурологическим прочтением (или попыткой культурологического прочтения) феноменологического текста. Впрочем нечто подобное позволял себе и сам Степун, обращаясь к проблеме артистизма в своих историсофских статьях и исследованиях, а также в мемуарах как к историко-культурному явлению.

Это тем естественнее, что, хотя трактат основными теоретическими постулатами восходит к главному философскому труду Степуна «Жизнь и творчество»

(1913), но в нем безусловно сказался и его *личный опыт* военных лет. Не случайно, описывая безумие тыла во время войны, полное непонимание высшим начальством того, что происходит на фронте, Степун дает вдруг короткую зарисовку: «Нарядная и веселая толпа густо струилась вверх и вниз по Кузнецкому мосту. Среди нее *повсюду мелькали бритые актерские лица*»<sup>38</sup> (курсив мой. — В.К.). Вроде как чертики в глаза лезут... И это еще задолго до работы в театре. Почему так?

Трактат об «актерской душе» имел подзаголовок: «О мещанстве, мистицизме и артистизме». Степун строит *типологию*, располагая актерскую душу между *мистической* (которую можно понять как *истово религиозную*) и *мещанской* (судя по ее описанию — *вполне буржуазной*). Актерская душа интересует его как наиболее активно проявляющийся тип сознания, отвечающий творческим задачам человека, которые, по Степуну, являются сущностной особенностью человеческого развития.

## 5. ТИПОЛОГИЯ СТЕПУНА. МНОГОДУШИЕ КАК ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Начиная свое рассмотрение типов человеческого сознания, Степун задает, фиксирует определенный уровень, при наличии которого вообще возможен подобный феноменологический анализ. Этот уровень предполагает в качестве объекта человека, *уже вышедшего из природного состояния*, самого первичного *состояния несвободы*. Вступивший в поток истории испытывает много стеснений, но приобретает свободу и способность многофакторного ответа на эти стеснения, вариативность отношения к миру. Как наказание за выход из первобытной невинности человеку дано, говоря словами Степуна, *много-душие*. Разумеется, свойственен этот тип сознания далеко не всем. «Каждый человек, *осознающий себя на достаточной глубине*,

---

<sup>38</sup> Степун Ф. (Н.Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. М., 1918. С. 125.

— пишет Степун, — неизбежно сознает себя в раздвоении. Каждый <...> дан себе как хаос и задан себе как космос... <...> Благодаря такому раздвоению своего бытия и сознания, человек неизбежно изживает свою жизнь как борьбу с самим собой за себя самого. В этой борьбе вся сущность человека как совершенно своеобразно поставленного в мире существа. <...> *Вне борьбы возможна или жизнь скотская, или божеская, но невозможна жизнь человеческая*» (В и Р, 40; курсив мой. — В.К.). Иными словами, сложность и хаотичность внутреннего мира человека — расплата за обретенную им возможность свободы.

*Появление самосознающей личности есть первый шаг к исторической жизни.* Разумеется, поначалу личность появляется в среде социальной элиты, более образованной, а потому соприкоснувшейся с разными смыслами, которые и конструируют зачатки сознания. Но следом за высшими слоями и народ потихоньку втягивается в поле исторической свободы. То же самое происходило и в России. В одной из первых своих статей Степун достаточно категорически заявил, что «эта *злосчастная свобода чувствуется ныне всеми и всюду.* То состояние духовной жизни, которое славянофилы считали характерным только для западноевропейской культуры и безусловно немислимым в России, чувствуется ныне и у нас»<sup>39</sup> (курсив мой. — В.К.).

Стало быть, проблема многодушия стала российской проблемой, и самоанализ философа имеет общезначимый смысл. В своем рассуждении Степун исходит из того, что на данном этапе своего развития человек не способен совладать с разнообразием душ, т.е. с многодушием: «*Положительное богатство человеческого многодушия катастрофически сталкивается с требованием строгого отграничивающего единодушия*» (ВиР, 42; курсив Степуна).

Он рассматривает три возможных типа преодоления многодушия. Первый путь, наименее для него прием-

---

<sup>39</sup> Степун Ф. Прошлое и будущее славянофильства // Северные записки. 1913. № 11. С. 125.

лемый, — мещанский. «Мещанское разрешение проблемы единогодушия и многодушия <...> сводится к погашению в человеке всякой борьбы, к уничтожению в нем всякого раздвоения путем атрофии в его груди всех душ, кроме одной, житейски наиболее удобной, практически наиболее стойкой» (ВиР, 42). На этом пути, как кажется философу, исчезает сложность личности, а, стало быть и сама личность отчуждается от самой себя: «Мещанская душа <...> всего только осадок земной жизни, порождение ежедневных дел, общественных отношений, бытовых зависимостей, связей с миром внешних отношений, т.е. в конце концов, *вообще не душа, а вещь*» (ВиР, 43; курсив мой. — В.К.). Это вполне романтическое неприятие им мира буржуазных ценностей не означало однако, что его так уж прельщала второй путь — мистический.

Казалось бы, что плохого, если «в мистицизме многодушие не атрофируется, но преобразуется путем его вознесения в царство всеединящего духа» (ВиР, 46). Более того, «единогодушие мистическое <...> утверждает полноту и богатство человека, все сложное человеческое многодушие, но лишает это многодушие жала противоречий, ибо связывает его утверждение с подчинением каждой входящей в него души закону духовной установки, чем и достигает своей тайны: полного отождествления единогодушия и многодушия, абсолютной целостности» (ВиР, 44). Однако религиозно-мистическое разрешение противоречия кажется Степуну исключительным, т.е. не общезначимым. В пределе — путь мистический ведет к *святости* (а святой полностью растворяется в Боге), но тем самым *лишает человека творческих стремлений*: «Это путь священной пассивности и духовной нищеты», поэтому «мистический строй души враждебен творчеству» (ВиР, 45). А со времен первого грехопадения именно творчество, преодоление косного мира и себя было задано Богом человеку, как цель жизни. То есть Бог заповедал творчество. Оно может быть трагичным, но это единственно естественное состояние человека.

Какой же тип души наиболее предрасположен к творчеству? И каким путем, стало быть, идти челове-



ку? Для Степуна, без сомнений артистический. Таким образом, он как бы приходит к решению проблемы творчества, поставленной в двух его ранних программных статьях — «Жизнь и творчество» и «Трагедия творчества (Фр. Шлегель)». Степун формулирует вполне определенно: «Основная черта артистического душевного строя — страстная любовь к творчеству, предопределенность к нему. ... Радость артистической души — богатство ее многодушия, страдание артистической души — невоплотимость этого богатства в творческом жесте жизни» (ВиР, 48). Но эта невоплотимость побуждает вроде бы все к новым и новым творческим деяниям, ибо «артистизм — предельное утверждение многодушия» (ВиР, 48).

Здесь очевидна полемика с классической эстетикой, отводившей актеру весьма невысокую ступень при характеристике художественной деятельности. Скажем, Гегель полагал, что самость актера совпадает с его личиной, иными словами, отказал актеру в праве на личностную независимость: «Актер должен быть чем-то вроде инструмента, на котором играет автор, губкой, впитывающий все краски и так же, без изменений отдающий их назад»<sup>40</sup>. Заметим, что традиционно именно дьявола называли актером, обезьяной Господа Бога, повторяющей его движения, но искажающей суть, ибо дьявол склонен не к творчеству, а к разрушению мира. В христианстве страсть к разрушению никогда не считалась творческой страстью (правда, Мих. Бакунин назвал эту страсть благородной, тем самым поддерживая позицию дьявола). Актерский путь воспринимался как свобода от мещанства, не более того — в «Вильгельме Мейстере» Гете. Он возможен, когда молодой человек находится в поисках себя, своей сущности. Найдя, он становится творцом, деятелем, а не актером. И хотя тот же Гегель считал, что «с точки зрения нашего современного умонастроения быть актером не позорно ни в моральном, ни в социальном отношении»<sup>41</sup>, Сте-

---

<sup>40</sup> Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4-х т. М., 1971. Т. 3. С. 568.

<sup>41</sup> Там же. С. 569.

пун фиксирует совершенно другую, но весьма реалистическую ситуацию: «В Германии достопочтенные граждане и поныне не сдают им (актерам. — В.К.) комнат и квартир. Все это правильно и в порядке вещей. В настоящем актере всегда должно чувствоваться нечто скитальческое и бездомное» (ВиР, 67). Надо заметить, что говоря то об актере, то об артисте, Степун поясняет эту смену терминов: «Интересующая меня душа актера, только разновидность общеартистической души» (ВиР, 42).

Показательно, что в начале века бездомность, беспочвенность, скитальчество артиста — с полной переменной оценок — стали восприниматься прологом пути всего человечества, на котором только и возможно творчество. Ведь Степун объявил, что строит свое исследование на самоанализе, т.е. перед нами своего рода рентгенограмма, но рентгенограмма человека вполне определенной эпохи, а также и страны. Из предъявленного нам рентгеновского снимка понятно, что данному «больному» претит мещански-буржуазное душе-и-мироустройство, что он не испытывает доверия к мистически-религиозной возможности устройства конкретной человеческой жизни, зато именно актерски-артистический путь предоставляет, на его взгляд, человеку шанс сохранить свою душевную сложность, свое многодушие и — реализоваться как творческой личности. Если мы вспомним, что Павел Флоренский называл свое учение «религиозным эстетизмом»<sup>42</sup>, то станет ясно: *перед нами точный отпечаток мироощущений духовной элиты серебряного века.*

Но вот ведет ли актерство к творчеству? Глубоко пессимистически глядел на ситуацию серебряного века его прямой провозвестник — Иннокентий Анненский. «Когда миновала пора творчества, — писал он, — выдвинулись актеры — век *творчества* сменился веком *интерпретации*»<sup>43</sup> (выделено мной. — В.К.; курсив И.Анненского). Ведь творец практически из ничего создает нечто. А актеру дана роль, дана личина, кото-

<sup>42</sup> Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 585.

<sup>43</sup> Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 483.

рую он должен оживить. Степун чувствовал свою эпоху и расклад в ней интеллектуальных энергий иначе. «Мистицизм и мещанство, — утверждал феноменолог, — по совершенно разным мотивам, одинаково враждебны творчеству. <...> Всякая артистическая душа живет вечным восторгом о творческом раскрытии своей тайны» (ВиР, 48). Однако он отнюдь не прямолинеен, не публицистичен. С философской объективностью он указывает, как и многие его современники, на связь эстетического созидания с проблемой восхождения к Богу. Еще в «Жизни и творчестве» Степун писал: *«Лишь иссквозив все свое творчество и все творения свои последнюю религиозную тоскою, может человечество оправдать творческий подвиг свой»*<sup>44</sup> (курсив мой. — В.К.). Творчеством не создать Бога, но само оно является заданной Богом человеку задачей. Творчество — это создание новых смыслов.

Впрочем, в Бога и творчество играла вся неорелигиозная элита, но когда пришло время испытаний не нашлось ни у одного ни силы, ни влияния, чтобы явиться Лютером или протопопом Аввакумом, хотя бы Львом Толстым. Именно это актерство неорелигиозной элиты презирал Анненский: «Срывать аплодисменты на Боге... на совести. Искать Бога по пятницам... Какой цинизм!»<sup>45</sup> И вправду неорелигиозное движение, именно как движение, не вышло за пределы элитарных салонов, оказалось абсолютно вне народного восприятия. Степун дал весьма убедительный феноменологический анализ своей, а стало быть, так называемой «русской» души. Ей заказаны мещанские соблазны, ей чужд мистический путь, требующий растворения в Боге, зато открыт путь артистический, ибо он сохраняет все ее многодушие. Напомню, однако, слова одного из персонажей Достоевского: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

Но и Степун задает похожий вопрос, который окончательно смыкает его феноменологический анализ

---

<sup>44</sup> Степун Ф. Жизнь и творчество // Логос. М., 1913. Кн. третья и четвертая. С. 126.

<sup>45</sup> Анненский И. Книги отражений. С. 485.

с социокультурной проблематикой: а что если многодушие есть, а творчества нет? Что тогда? На что способна артистическая душа? Да и обладает ли она вообще онтологическим статусом? Вдруг у него вспыхивает эта тема: «Странная, призрачная, химерическая душа, по отношению к которой всегда возможен внезапный вопрос: да существует ли она вообще или ее в сущности нет, т.е. нет в ней подлинного духовного бытия?» (ВиР, 49). И ответ он дает жесткий и определенный: «Нет сомнения, что вне выхода в творчество артистический путь до конца сливается с путем катастрофическим, превращаясь из специфической формы разрешения многодушия в единодушие, в удушение души на безысходных путях многодушия» (ВиР, 56; курсив Степуна). То есть не творчество страшно, а его отсутствие, его имитация, что неминуемо может привести к катастрофе.

Именно эта тревога философа и составляет сегодня для нас главный интерес его феноменологического построения.

## 6. ОПАСНОСТИ АРТИСТИЗМА

Степун начинает с простого хрестоматийного примера. Бывший на грани самоубийства Гете написал «Вертера», в котором герой стреляется, зато писатель возвратился к жизни. И Степун очень четко формулирует свою задачу: «Моя проблема артистического творчества, не сопряженного с художественным дарованием, сводится к вопросу: как застрелить в себе Вертера, не имея возможности его написать?» (ВиР, 60). Жажда творчества у актера не случайна. Она предопределена инстинктом самосохранения, ибо «артистизм — предельное утверждение многодушия <...> в эстетически совершенной картине борьбы» (ВиР, 48). Но если не состоится акт творчества, если не будет создана «эстетически совершенная картина», тогда начинается либо коллапс, либо в одном человеке «война всех против всех», а в результате, преодолевая это состояние, актер пытается найти себя в реальности. «Характернейшей

чертой подлинного артистизма, — замечает Степун, — является при этом одинаково непреодолимое тяготение *как к действительности, так и к мечте как к двум равноценным полусферам жизни*» (ВиР, 58; курсив мой. — В.К.).

Иногда подлинный актер может и в действительности сыграть некую возвышенную роль по требованию необходимости. Но актерская игра — минута, а жизнь — длительна, держаться игрой не может (речь, разумеется, не об экстремальных ситуациях). «*Всякая организованная социальная жизнь, — констатирует философ, — неизбежно требует учитываемости всех поступков своих членов. Но подлинный актер — существо не учитываемое; в его душе всегда слышен глухой анархический гул. Ему часто свойственна высшая нравственность, но всегда чужд устойчивый морализм. Актеры естественны на баррикадах и непонятны в парламентах. Гении минут и бездарности часов, они часто талантливые любовники и обыкновенно бездарные мужья*» (ВиР, 67; курсив мой. — В.К.). Родовая ошибка актера: преображая себя, он — выйдя в жизнь — полагает, что так же успешно преображает и все окружающее. Но человеку, ставшему индивидуальностью, естественно *не поддаваться чуждому влиянию и жить своей собственной жизнью*. Так что даже подлинный актер, на взгляд Степуна, вне сцены не адекватен нормальному процессу жизни.

Актеру свойственно менять роли, и жизненная смена ситуаций вызывает в актере не желание разобраться в сути проблемы, а просто сменить маску. И тут возникает феномен отказа от вчерашних ценностей и вчерашних друзей. Это заложено в самой структуре артиста. «*В многодушии артистической души всегда таится такое многообразие эротических возможностей, какого никогда не осуществить жизни. Осуществление какой-либо одной возможности неизбежно превращается потому в артистической душе в предательство всех остальных*» (ВиР, 54). Отсюда «*совершенно неизбежный для артистической души, конституирующий ее как таковую, грех — грех предательства*» (ВиР, 54; курсив мой. — В.К.). Поневоле, захочешь отгородиться от ак-

тера театральной рампой, чему впрочем, настоящий актер и сам рад.

Но гораздо более скверная и опасная ситуация, когда актер лишен дара творчества. «Роковая ошибка творчески бессильного, дилетантствующего артистизма — всегда одна и та же: всегда *попытка оседло построиться на территории мечты*. <...> Результат этих попыток неизбежно один и тот же: убийство мечты реализацией и *взрыв жизни мечтой*» (ВиР, 61; курсив мой. — В.К.). Что значит взорвать жизнь мечтой? Это значит заставить ее актерствовать день и ночь, заставить жизнь потерять свои сущностные основы. Ведь и для актера мечта и творческое деяние разные вещи. «Мечтать для артистической души значит временно передавать ведение своей жизни... — душе-призраку. <...> *Но жизнь, творимая призраком, — неизбежно призрачная жизнь; в сущности, не жизнь, но игра призрака в жизнь*» (ВиР, 64; курсив мой. — В.К.). Пока эта призрачная жизнь существует на сцене, все нормально, но катастрофа, если она шагает в зал и дальше в мир.

Беда и опасность России в том, что в ней существует некое множество людей, лишенных мещанской души и связанных с нею буржуазных добродетелей, лишенных также и мистически-религиозного горения, зато наделенных артистической душой. Возможно, так случилось потому, что в свое время Россия не прошла через многовековой опыт Западной Европы с его крестовыми походами, религиозным фанатизмом, а также эпохой бюргерского устройства частной жизни. А вот игровые моменты звучали не раз: тут и неперебродившее скоморошье язычество; и игра в любовь к татарскому хану; и «потемкинские деревни»; и генералиссимус Суворов, кричавший петухом; и построение «цивилизованного фасада» варварской империи, да мало ли что еще можно вспомнить. Во всяком случае тип «актера в жизни» был очень свойственен русской культуре. И Степун это констатирует: «Есть люди безусловно артистического склада, у которых в душе множество возможностей, главная душа которых, однако, всегда почему-то под ногами у множества ее второстепен-

ных душ. <...> В социальной жизни их бросает от журналистики к агрономии и от скрипки к медицине; в личной так же, — от жены к демонической актрисе и от актрисы снова к другу-жене. Всюду они отчаянные дилетанты, которым даны «порывы», но не даны «свершения», которые ежедневно сжигают то, чему еще вчера поклонялись, т.е. вечно поклоняются праху. В молодости громкие хулители своей среды, революционеры, они к старости всегда ее тайные поклонники, обыватели, ибо только в ощущении себя «заеденными средой» возможно для них примирение со срывом всей своей жизни. Таковы те *жертвы артистизма*, которых так особенно много среди широких, талантливых, богатых, русских натур. Их тайна разгадана еще Потугиным. *Их тайна — отсутствие творчества*» (ВиР, 56-57; курсив мой. — В.К.).

Выписанные строчки Степуна заслуживают внимательного и медленного чтения, ибо здесь показана питательная среда, из которой формировались русские революционеры. Возможно, эти артистические натуры так бы и составляли некую взвесь в русском обществе. Являясь своеобразным дополнением и как бы бытовым снижением артистизма столичной элиты эпохи. Но прогремели одна за другой три русских революции. А по наблюдению Бунина, «одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна»<sup>46</sup>.

И тут «жертвы артистизма» удивительно совпали с настроениями поднявшегося, вышедшего к самостоятельности народа. И артистические натуры весьма способствовали организации той жизненной мистерии, где кровь и жертвы были настоящими; они были не только режиссерами и творцами этих зрелищных действий, но не брезговали и исполнением вспомогательных ролей.

В чем же была точка их соприкосновения с народом? Почему и элита «серебряного века» создавала столь личинно-маскарадный мир художественных и

---

<sup>46</sup> Бунин И. Окаянные дни. С. 91.

религиозных идей? Случайно ли прозвучало это пред-  
вестие? Или тут простое совпадение?

## 7. АРТИСТИЗМ В РОССИИ КАК КУЛЬТУРНО-ВОЗРАСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Каждый народ, каждая культура проходит этапы своего взросления одним ей свойственным образом. Подростковый фанатизм мог сказаться в крестовых походах, он же звучит в идее Реформации о приобретении богатства как богоугодном деле.

С какой же идеей взрослел русский народ, вступивший всей массой в историческое поле свободы? Разумеется, не с идеями марксизма, которые требуют изощренного ума для их восприятия. Идея была простая, высказанная Лениным в июне 1917 г. на первом Всероссийском съезде советов: «Переходя к вопросу внутренней политики, — вспоминает Степун, — Ленин удивил всех предложением немедленно же арестовать несколько сот капиталистов, дабы сразу прекратить их злостную политическую игру и объявить всем народам мира, что партия большевиков считает всех капиталистов разбойниками»<sup>47</sup>. Тут и представление о жизнедеятельности буржуазии как об «игре», а также расшифровка этой игры — «разбойничество». Если же учесть, как полагал Степун, что «Ленин, в одиночестве думавший о революции, уже жил массовой психологией»<sup>48</sup> (курсив мой. — В.К.), то становится очевидным понимание народом так называемой социалистической революции как грандиозного разбойно-игрового действия, где низы просто должны занять место верхов. Не трудом медленного подъема своего социального и культурного уровня, а — по слову Достоевского — *разом*, как на театре, сегодня «мужик», а вот к завтраму уже сразу «барин». Такое стремление было вполне в духе сложившейся к XX веку народной психологии. Называя Октябрьскую революцию «нашествием внут-

---

<sup>47</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 2. С. 103-104.

<sup>48</sup> Там же. С. 69.



ренного варвара», С.Л.Франк отмечал тем не менее, что «нашествие это движимо не одной лишь враждой к культуре и жадной ее разрушения; основная тенденция его — стать ее хозяином, овладеть ею, напитаться ее благами. <...> Отчужденность от «барина» и презрение к нему есть преходящая форма, под которой скрывается зависть к барину, желание самому стать «барином» не только в материальном, но и в духовном отношении»<sup>49</sup>. *То есть стать не самим собой, а сыграть иную жизненную роль.*

Но, быть может, была более значительная идея? Согласимся, во-первых, что артистическая идея игры в новую социальную роль не такая уж мелкая, а во-вторых, обессиленность и малую продуктивность всех прочих идей прекрасно продемонстрировала война. Наиболее честные из русских мыслителей заговорили о *духовной неподготовленности России* военному противостоянию, ибо российская «общественность во время небывалой мировой катастрофы бедна идеями, недостаточно воодушевлена. Мы расплачиваемся за долгий период равнодушия к идеям»<sup>50</sup>. И это тем прискорбнее, что речь идет о самой идее национального бытия России, о ее самовидении, ведь «война апеллирует не к моральной справедливости, а к онтологической силе»<sup>51</sup>.

Надо сказать, что Степун, несмотря на возгласы патриотических публицистов по обе стороны фронта (в России и в Германии) о пробуждении во время войны национальной (и одновременно всемирнозначимой) идеи, видел вокруг себя то состояние умов, которое он позднее назовет «метафизическим одичанием»<sup>52</sup>. Живым примером был его старый оппонент, философ-славянофил Владимир Эрн, кстати, один из ближайших друзей Вяч. Иванова и П. Флоренского. Не участвовавший сам в боевых действиях, но писавший программные антинемецкие статьи — вроде «От

---

<sup>49</sup> Франк С.Л. Из размышлений о русской революции. С. 216.

<sup>50</sup> Бердяев Н. Судьба России. М., 1918. С. 89.

<sup>51</sup> Там же. С. 194.

<sup>52</sup> Степун Ф. Путь творческой революции // Новый град. Париж. 1931. С. 16.

Канта к Круппу», «Налет Валькирий» и т.п., В.Ф. Эрн, говоря о страдавших в окопах русских солдатах, торжественно провозглашал: «Вместо людей в серых шинелях мы видим вдруг *живой серый гранит*, который решительно неподвластен обычным законам человеческого существования. <...> Этот момент есть явление народного *духа*, внезапное вторжение онтологии народного существования»<sup>53</sup>. Этими словами рисуется почти мистериальная ситуация почти хорового Дионисова действия («неподвластность обычным законам человеческого существования»), но сам Эрн этого не замечает, его мышление слишком театрально-героично.

Находившийся в действующей армии Степун писал по поводу этих ура-патриотических философствований: «Ужаснейшая лож нашей идеологии. «Отечественная война», «Война за освобождение угнетенных народностей», «Война за культуру и свободу», «Война и св.София», «От Канта к Круппу» — все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства»<sup>54</sup>. Поэтому он с иронией замечает о добровольцах, отправившихся на фронт под влиянием этой патриотической публицистики: «Для них *театр военных действий* в минуту отправления на него *рисовался действительно всего только театром*»<sup>55</sup> (курсив мой. — В.К.). Между тем, эта война «не есть война, а есть *некое теургическое действие*, или называй как-нибудь иначе, это все равно»<sup>56</sup> (курсив мой. — В.К.). Во всяком случае в этом действе и жертвы, и кровь были уже настоящие и готовили Россию к большевистским теургическим действиям. Напомню наблюдение Бердяева: «Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры»<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup> Эрн В.Ф. Сочинения. М., 1991. С. 395. Курсив В.Ф.Эрна.

<sup>54</sup> Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. С. 76-77.

<sup>55</sup> Там же. С. 76.

<sup>56</sup> Там же. С. 70.

<sup>57</sup> Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. С. 230.

Свои письма с фронта, производившие большое впечатление, Степун печатал под псевдонимом Н. Лугин в журнале «Северные записки»<sup>58</sup>. И при всем, казалось бы, ограниченном кругозоре артиллерийского прапорщика он разглядел нечто, что проморгали многие, связанные либо партийной идеей, либо поисками мистической сущности России. Он понял и указал на *артистизм как на архетипическое, онтологическое состояние русской жизни, русской души*, угадав чудовищность, если оно проявляется в реальности, теургического действия. *Архетипическое*, ибо тянется из языческого прошлого, *онтологическое*, ибо составляет на данный момент суть национального бытия. Он писал: «Очень это странно, но настроение призванных к «наивысшему подвигу» сынов России трагически похоже на настроение изгнанных из России студентов-эмигрантов и политических беглецов. Та же стонущая тоска в настоящем, то же лирическое настроение, как основной душевный колорит, та же поэтизация прошедшего, та же возносящая и развращающая, спасительная и тлетворная мечтательность. Отсюда и наш граммофон, и гитара, и Вяльцева, и Панина, и все застольно-русское, грустно-цыганское, надрывно-самовлюбленное, себя уязвляющее и свои раны лелеющее, все то, к чему все мы так привыкли, что так любим, что знаем с ранней юности, как типично русское настроение. <...> Но разве это настроение, если его даже взять в его мистическом, а не в его кабацком смысле, есть настроение героев и воинов?»<sup>59</sup> Разумеется, как он впоследствии констатировал, эта мечтательность, пронизавшая все слои русского народа, не могла не взорвать государства, устроив на его обломках «мистерию-буфф».

Степун не раз отмечает у простого солдата желание убежать от своей жизни, заменить ее мечтой, выдум-

---

<sup>58</sup> Журнал этот, вспоминал С.И.Гессен, «очень скоро стал популярен, особенно после публикации в нем «Писем капитана артиллерии» (так у Гессена. — В.К.) Ф.А.Степуна» (*Гессен С.И. Мое жизнеописание // Вопросы философии. 1994. №7-8. С. 159*).

<sup>59</sup> *Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. С. 79.*

кой, игрой. У Степуна был в этом наблюдении весьма зоркий предшественник — Достоевский, который писал: «И простолудин, и даже пахарь любят в книгах наиболее то, что противоречит их действительности, всегда почти суровой и однообразной, и показывает им возможность мира другого, совершенно непохожего на окружающий». И далее пояснял: «Александр Дюма написал <...> гениально, именно так, как нужно для рассказа народу. <...> Мне самому случилось в казармах слышать чтение солдат <...> о приключениях какого-нибудь кавалера де Шеварни и герцогини де Лявергондьер. <...> Эффект впечатления был чрезвычайный»<sup>60</sup>. Но читать простому мужику сложно, ибо при чтении очевиден ракурс преломления между своей и чужой жизнью. Игра приближает, почти превращает играющего в прельщающий его образ. Уже имея другой, нежели Достоевский, исторический опыт, Степун углубляет это социологическое наблюдение: «Быть может, и та страсть к театру, что залила Россию в первые революционные годы, объясняется той же *народной жаждой быстрого социального восхождения*. За правильность этой гипотезы говорит, во всяком случае, и нелюбовь деревни к пьесам из крестьянского быта и бесспорное пристрастие деревенских лицедеев к ролям из господской жизни»<sup>61</sup> (курсив мой. — В.К.). Если Степун прав, то можно предположить, что ненависть к высшим слоям на самом деле означала *тайное желание* занять их место. В своем социально-историческом опыте народ опирается на сложившиеся ценности общества. Религиозный пафос был достаточно маргинален (старообрядцы), действующее духовенство — презираемо всеми слоями народа, так что пойти *путем религиозного преобразования* общества (реформаторских, тем более пуританских социальных движений) получивший независимость мужик не мог. *Бюргерский путь*, путь кропотливого труда, экономии, медленного строительства собственного уголка, в России не прижился, ибо не сложилось настоящего, буржуазного,

<sup>60</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1979. Т. 19. С. 50, 53.

<sup>61</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 2. С. 323.

третьего сословия. Заместившее его дворянство получило свои преимущества одним махом — указом за верную службу, это был *путь немедленного возвышения*, который отложился в народной памяти, укоренившись в национальной ментальности. Лишившись традиционных скреп общинно-государственного принуждения, когда не успели сложиться связи социально-экономического правопорядка, народ оказался в ситуации перекати-поля, беспочвенного героя Достоевского, который, как показал М.Бахтин, способен примерить на себя любую социальную роль, но охотнее ту, где сразу «из грязи — в князи».

*Артистическая эпоха* есть по сути дела проявление этого «беспочвенного» социального положения людей, причем осязаемого большинства — не только в России, но и в Европе, и в Америке: выхода на историческую арену человека массы, который ощутил себя главным действующим лицом и главным распорядителем всех предшествовавших культурных и цивилизационных ценностей. Но пользоваться ими еще не умел. Разумеется, в каждой культуре это был человек своего, не похожего на соседский исторический и социальный опыт: этот диапазон очерчивается двумя литературными персонажами — от Мартина Идена до Павки Корчагина. Отметим житейский «американский» реализм и прагматизм (при всем бессеребренничестве и романтизации творчества) у героя Джека Лондона и постоянную ориентацию на книжные образцы (Овод и пр.) у героя Николая Островского. Характерно при этом, что оба эти образа в значительной степени автобиографичны.

Мы часто говорим о молодости американской нации. Но там народ был свободен, а потому исходил всегда из своих реальных жизненных возможностей. В России — иное. Долгое социальное рабство (от татаро-монгольского ига до крепостного права) не давало развернуться самостоятельности российского крестьянства, не давало ему повзрослеть. Ребенок, подрастая, осваивает жизнь взрослых при помощи игры. Он целиком перенимает повадки и внешние приметы избранного

им для подражания взрослого, но никогда не в состоянии усвоить те реальные проблемы, что стоят за внешним обликом и манерой поведения. Поэтому американец наивнее, ибо не подражает, но умудреннее, взрослее, русский — инфантильнее и по сути дела неопытен в устройстве собственной жизни. Американец и европеец желают театра, зрелищ, могут себя ощутить участниками театрального спектакля, выступающими *на исторической сцене*, окруженными зрителем-миром. Русский народ желает — и это Вяч. Иванов угадал — *мистериальной игры*, с полным перевоплощением, чтоб не временно казаться кем-то, а стать этим, изображаемым. Степун замечает: «Не зрелищ хочет народ, но игры. Наблюдая происходивший в моих деревенских актерах процесс художественного предвосхищения предстоящего им революционного переселения в высшие слои жизни, я начал понемногу понимать и то, почему народ не любит народных пьес, и то, в каком настроении играли крепостные актеры... <...> Мне кажется, что *исключительная театральность русского народа есть не только природное, но социально-возрастное явление*. Во всяком случае углубленное постижение этой театральности совершенно необходимо для серьезного социологического анализа *на добрых 50% разыгранной большевистской революции*»<sup>62</sup> (курсив мой. — В.К.).

Конечно, вошедший в историческое пространство человек массы повсюду, в любой культуре, требует зрелищ. Но в одном случае, он зритель, в крайнем случае пассивный участник (карнавал), в другом — мистериальная жертва.. Чем ближе к востоку Европы, чем меньшую вестернизацию прошли народы (Германия и Франция менее «западные», чем, скажем, Англия), тем больше шансов на теургическое всеобщее — тотальное, тоталитарное — действие. Французская революция 1789-1793 гг. рядилась в тоги римских республиканцев и рубила на гильотине многие тысячи голов. Муссолини апеллировал к императорскому Риму, насаждая фашизм. Гитлер возрождал образ древнего гер-

---

<sup>62</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. I. С. 49.

манца а ля Арминий (победитель римских легионов в Тевтобургском лесу). Это был путь самоутверждения европейских стран вдруг оказавшихся маргиналами в процессе цивилизации, отстаивания своего места наперекор «Западу».

Отсюда еще одно определение. Артистическая эпоха — это реакция на введение в историческое поле свободы огромных свежих масс людей. Старые системы очеловечения, гуманизации, цивилизации (вроде мистически-религиозного и мещански-бюргерского) дают сбой. Тогда включается в действие артистическая система, возвращающая людей в доцивилизованный этап с реальными мистериями и жертвами, таким путем пытаясь помочь сознанию масс справиться с обрушившейся на них свободой. Человечество как бы сызнанова проигрывает свое духовное развитие, сызнанова дорабатываясь до предохранительных механизмов цивилизации, но уже способных совладать с человеком массы. После катаклизмов XX века Европа, включая и Россию, похоже, возвращается к ренессансной — с опорой на личность — парадигме истории. Соборное сумасшествие эпохи сошло на нет, игра не требует больше мистериальной крови, не требует жертвы, канализована, формализована, а человек отделен от действия как зритель — рампой: экраном кино, телевизора, трибунами стадионов и т.п.

Конечно, этот Контрренессанс прозвучал в России иначе, нежели в других европейских странах, хотя ко всей европейской жизни можно смело отнести слова Бердяева «о конце Ренессанса и о кризисе гуманизма». «Я ощущаю эпоху, в которую мы вступаем, как конец ренессансного периода истории»<sup>63</sup>, — так он формулировал «центральную тему» своей историософии. Россия, в отличие от других стран Европы, имела слишком краткий промежуток ренессансного мироощущения (начиная с Пушкина), чтобы он мог стать защитным слоем против варварства. Ренессанс, понимаемый как *глубоко гуманизированное христианство*, тем менее

---

<sup>63</sup> Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990. С. 116.

мог утвердиться в России, что и взлет собственно духовной христианской проповеди, обращенной к личностному смыслу верующих, приходится уже на конец XIX столетия. И проповедники этого христианства сочетали в своем творчестве и ренессансные черты, откровения о душе человека, и вызывающе антигуманистические построения. Не случайно, возник Великий Отказ великого писателя России Льва Толстого от всего возрожденческого по духу искусства, от науки, от цивилизации. Не случайно, самый главный «персоналист» в русской духовности Достоевский выступал с антиличностными призывами: «Смирись, гордый человек!»

Зато традиции дьявольского артистизма, самозванничества, особенно ярко вспыхивавшие в смутные времена России, ох, как были сильны. Их силу предсказал в «Бесах» Достоевский устами Верховенского: «И начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой мир еще не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? <...> *Ивана-Царевича*» (курсив мой. — В.К.). Ставрогин догадывается и проясняет этот сказочный образ: «Самозванца? — вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на иступленного. — Э! так вот наконец ваш план». *Самозванец — это актер, вжившийся в чужую личность*, нося ее, однако, как личину. XX век вместо самозванцев подарил, так сказать, *самоназванцев*. Людей псевдонимов. То, что было свойственно для художественной среды, прежде всего для актеров, обрело новую жизнь в революции. *Революцию творили*, ее силы возглавляли — *личины, псевдонимы*, так в личинном своем облике и вошедшие в народное сознание — Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Молотов, Горький, Бедный, Киров. Этими псевдонимами — даже не другими именами, псевдонимами — называли старые города, отнимая с именем и историческую жизнь. Ожившие личины требовали крови, чтобы поддержать свое призрачное существование. И за артистической эпохой, продолжая ее, как закономерное следствие пришла эпоха, когда люди, причем все, *в едином мистериальном действе* не просто играли, а, перевоплощаясь, жили своей ролью.



Это и было то самое теургическое действо, та мистерия, хотя в современном облике, которую призывал на Русь Вяч. Иванов. Не только Степун, но и Бердяев, говоря о конце Ренессанса, о тоске постренессансного человека «по органичности, по синтезу, по религиозному центру, по мистерии», полагал, что «самым блестящим теоретиком этих синтетически-органических стремлений является у нас Вячеслав Иванов»<sup>64</sup>. Но именно Вяч. Иванов ужаснулся исполнению в реальности своих предвестий, о чем не без иронии вспоминал Борис Зайцев: «Как будто начали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе... Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь». <...> Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 году Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку <...>, но в 1924 году «утек» в Италию»<sup>65</sup>. Где, замечу кстати, в 1926 г. принял католичество. А «дионисийский взрыв» революции, отвергший все защищающие человека социальные структуры, охотно использовал наработанные артистической эпохой личинно-игровые методы освоения и преобразования реальности.

Так что была артистическая эпоха как бы увертюрой надвигавшегося на Россию безумия как образа жизни, как и положено безумию — игрой изживавшему болезнь, в данном случае — *социальную болезнь взросления* оторвавшейся от общинно-государственной и семейно-родовой жизни огромной массы народа.

## 8. АРТИСТИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ, ИЛИ ЧТО КАК НАЗЫВАЛОСЬ

Разбушевавшаяся в Октябре народная стихия была, по мнению одних, обманута большевиками, по мнению других — ими изнасилована, по мнению самих

---

<sup>64</sup> Бердяев Н.А. Кризис искусства // Бердяев Н.А. О русских классиках. М., 1993. С. 294.

<sup>65</sup> Зайцев Б. Далекое. М., 1991. С. 484-485.

большевиков — верно управляема, по наблюдению же Степуна поставлена судьбой, роком, историей в определенные сценические условия, в которых *приняла предложенные ей роли. Ибо хотела принять.* Этого требовала жажда «быстрого социального восхождения» (Степун), а *по правде* так не бывает, *только понарошку*, только в сказке. И народ это в глубине своей души понимал, понимал, что только в сказке Иван-дурак *вдруг* становится Иваном-Царевичем. Но *самоназванцы* предложили ему тоже названия, позволяющие не только «грабить награбленное», *но оживив сказку, сделать ее как бы жизнью.* «Воровской идеал, — замечал в своей пореволюционной статье Е.Н.Трубецкой, — находится в самом тесном соприкосновении с специальной мечтой простого народа. Есть эпохи народной жизни, когда все вообще мышление народных масс облекается в сказочные образы. В такие времена сказка — прибежище всех ищущих лучшего места в жизни и является в роли социальной утопии»<sup>66</sup>.

А утопия уже требует своего реального осуществления. Только в данном случае — в сказочной, игровой форме, с переодеванием костюмов и имен (Иван-дурак в роли Ивана-Царевича и т.п.). В результате, как замечал Степун, «русский мужик был наречен русской революцией пролетарием, пролетарий — сверхчеловеком, Маркс пророком сверхчеловечества, и <...> вся эта фантастика одержала в России столь страшную победу над Россией»<sup>67</sup>. Победила фантастика, сказка. Причем, победившая фольклорная структура сознания и впрямь предполагала, что за словами, за мифическими персонажами существует самая что ни на есть реальность: большевизм, проникший в народ как сила, оправдывающая все народные стремления — даже дикие и темные, разумеется, почти религиозно воспринимал провозглашенные им истины. Не играя, а по системе Станиславского *вживаясь во все слова своей ро-*

---

<sup>66</sup> Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке // Литературная учеба. 1990. Кн. 2. С. 103.

<sup>67</sup> Степун Ф. Мысли о России // Современные записки. Париж, 1927. № XXXII. С. 283.

ли. Не случайно, эта система оказалась близка эстетическому мировосприятию большевистских идеологов, именно на нее сделавших упор в художественном воспитании населения. И не только художественном. Партия большевиков, писал Степун, страстно боролась за осуществление своих принципов, «не брезгая никакими средствами, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, слепо веруя, что сущность революции в том «философствовании молотом», о котором говорил Ницше, что коммунистической вере действительно под силу двигать горами»<sup>68</sup>.

Это была как бы полуязыческая вера, где реальность замещалась фантастикой, но этой фантастикой жили, чувствуя себя хористами мистериального действия. Ситуацию пробуждения древних — доренессансных и догуманистических — смыслов замечательно осмыслил и описал Томас Манн в романе «Доктор Фаустус», романе, подытожившем эпоху: «В самом воздухе здесь застоялось что-то от человеческой психологии последних десятилетий пятнадцатого века, от *истерии уходящего средневековья*, от *его подспудных психических эпидемий*. <...> Пусть это звучит рискованно, но, право же, крестовый поход детей, пляски в честь св. Витта, визионерско-коммунистическая проповедь какого-нибудь «босоного брата» у костра <...>, — казалось, все это здесь вот-вот разразится. <...> Ведь *наше время тайно, да нет, какое там тайно, вполне сознательно, с на редкость даже самодовольной сознательностью, по неволе заставляющей усомниться в естественном развитии жизни и насаждающей ложную, дурную историчность, тяготеет к тем ушедшим эпохам и с энтузиазмом повторяет их символические действия, в которых столько темного, столько смертельно оскорбительного для духа новейшего времени, сожжение книг, например, и многое другое, о чем лучше и вовсе не говорить*»<sup>69</sup> (курсив мой. — В.К.). Но все же — *повторяет*, не просто живет, но еще и играет. Вот это странное мироощущение и пытался угадать Степун. Оно вело в про-

---

<sup>68</sup> Там же. С 282. (Кстати, ницшеанство русского большевизма заслуживает вполне серьезной разработки).

<sup>69</sup> Манн Т. Собр. соч. В 10-ти т. М., 1960. Т. 5. С. 50.

вал тоталитаризма, но оно же давало шанс на то, что рано или поздно игра прекратится, а тогда сам собой угаснет и мистериально-соборный бесовский хоровод.

Каждому «представителю народа» было внушено, что он — член счастливейшего исторического сообщества, которое, конечно, вызывает зависть у врагов. Враги имели *имена-клички*, своего рода *роли* (скажем, «буржуй», «кулак», «вредитель», «попутчик» и т.п.). По ходу мистерии врагов надо было находить и обезвреживать, этим действием увеличивалось счастье оставшихся членов сообщества. Каждый чувствовал, что ему поручена роль спасителя отечества, но может быть поручена и другая роль, он не навечно прикреплен к своей личине, своей маске. Диапазон ролей определен. От «сподвижника» до «жертвы», которая приносится в закляние с пролитием ее настоящей крови, чтобы сплотить, склеить общество. Причем жертвы всегда надеялись, что вдруг в какой-то момент их роль из мистериальной станет просто театральной и, осудив их для виду, втайне диктатор их помилует. Поэтому они и «играли честно роль злодеев в спектаклях, выдуманных им» (*Наум Коржавин*). Вот эта вот тонкая, еле уловимая грань между подлинной мистерией и вполне кровавой игрой в мистирию, когда все подлинно должно было выглядеть и происходить, но за этой псевдоподлинностью все же скрывалось тайное ощущение, что когда-нибудь мистерия станет обыкновенным театром, а жертва — лишь театральной жертвой. Исторический опыт не только подсказывал, что так уже однажды произошло, он был все-таки прививкой, не дававшей по крайней мере некоторым, небольшому весьма числу людей самостоятельного духа, принять эту мистирию как историческую заданность жизни.

Им-то казалось, что происходящее в России, Германии, Италии — *кровавый фарс*, всего лишь *попытка* возродить мистирию, но такая попытка, когда грань игры и жизни почти незаметна, хотя есть надежда, что пронизанная личностными смыслами европейская жизнь сызнава цивилизуется и дистанцируется от игры. Вместе с тем, если поверить русским мыслителям,

выразителям неособорности (Флоренский, Эрн, Вяч. Иванов и др.), то Россия была — в отличие от других европейских стран — обречена на мистериальное существование, в этом ее сущностная особенность. Другие страны Европы слишком заражены возрожденческим пафосом индивидуального самоосуществления, поэтому соборность в них не утвердится, как бы они ни старались. Зато Россия к соборности предназначена едва ли не самой судьбой. Скажем В.Ф.Эрн был твердо уверен в *антиренессансной направленности русского духа*: «Культура нового Запада с Возрождения идет под знаком откровенного разрыва с Сущим и ставит себе задачей всестороннюю *секуляризацию* человеческой жизни. <...> Новая культура Запада проникнута пафосом ухода от небесного Отца, пафосом человеческого самоутверждения, принимающего человекобожеские формы, пафосом разрушения всякого трансцендентизма... <...> Русская культура проникнута энергиями полярно иными, ее самый глубинный пафос — пафос мирового возвращения к Отцу, пафос утверждения трансцендентизма, пафос онтологических святынь и онтологической Правды»<sup>70</sup>.

В социально-политическом плане этот пафос «мирового возвращения к Отцу» моментально выродился в преклонение перед Отцом народа — диктатором, вождем, «корифеем всех наук», а также *корифеем хора*. Вообще, прокламируемое славянофильствующими философами утверждение «онтологической Правды» имело истоком идеализированную жизнь Московского царства, из которого когда-то Россия через Смуту, потрясение всех основ, все же вышла к такому типу существования, что позволял хотя бы частично принять принципы исторического движения. К сожалению, призывы славянофилов всегда осуществлялись, но в такой чудовищной форме, что оказывались страшнее самых мрачных пророчеств их оппонентов.

По схеме теургически-хорового принципа творились театрально-политические мистерии не только в

---

<sup>70</sup> Эрн В.Ф. Сочинения. С. 388. Курсив Эрна.

России, но и в нацистской Германии, фашистской Италии, франкистской Испании и т.п. И, быть может, для нравственного выживания и возрождения чрезвычайно важно было не признать их бытийственно присущими роду человеческому, а лишь этапом, срывом, творимым, по выражению Степуна, «особыми демоническими энергиями человеческой души»<sup>71</sup>, а потому объяснимым особыми социоисторическими ситуациями, коих они являются порождением. Для Степуна большевизм — частный случай, *момент российской истории*. А потому от мыслителя требуется не только умение не принять, как говорил Достоевский, существующее за свой идеал, но и умение найти, указать, построить объясняющую модель. Это Степун и пытался сделать. В одной из своих лучших эмигрантских работ он определил феномен революции как сочетание *молодости, преступности* и пробужденной в душах *демонической фантастики*. Все три обозначенные явления несут в себе колоссальной силы игровой элемент. Не говоря уж о молодых людях, через игру входящих в жизнь, напомним свидетельства В.Шаламова и А.Солженицына о склонности блатного мира к романтике, к позе, к актерству. Что касается демонизма, то он по определению предназначен строить на Земле «дьяволов водевилей». Когда случается вдруг революция, тогда оказываются отодвинутыми в сторону и мистические, и мещанские души, но торжествует душа артистическая. Ибо тогда «со дна сотен и тысяч душ одновременно срываются неизжитые мечты, неосуществленные желания, загнанные в подполье страсти. Начинается реализация всех несбыточностей жизни, отречение от реальностей, погоня за химерами. Все начинают жить ультра-фиолетовыми лучами своего жизненного спектра. Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками, проститутки становятся уездными комиссаршами. Передоновы переходят из среднеучебных заведений в чечку. Садистические «щипки и единицы» превращаются в террористические акты. Развертывается *страшный*

---

<sup>71</sup> *Степун Ф.* Религиозный смысл русской революции // *Современные записки.* Париж, 1929. № XL. С. 452.

*революционный маскарад. Журналисты становятся красными генералами, поэтессы — военморами, священники — конферансье в революционных кабарэ.*

*В этой демонической игре, в этом страшном революционно-метафизическом актерстве разлагается лицо человека; в смраде этого разложения начинают кружиться невероятные, несовместимые личины. С этой стихией связано неудержимое влечение революционных толп к праздникам и зрелищам, как и вся своеобразная театрализация революционных эпох»<sup>72</sup> (курсив мой. — В.К.).*

Итак, главное, что происходит в этом актерстве, в этом революционном празднестве — это «разложение лица», уничтожение личности, растворение ее в хоре, легкая и почти пародийная смена социальных ролей («поэтессы — военморами»), человек теряет представление, кто он таков на самом деле, ибо целиком зависит от обряжающей его стихии. А потом и от возглавившей эту безличностную стихию партии. Кстати, *личинность* определяла не только жизнь интеллигенции в советский период, скрывавшей свои мысли под маской преданности, но и самих партийных работников. И дело тут не в их якобы двоемыслии. Это было их специфическое качество. Ведь член партии работал зачастую не по воле своих способностей или своей специальности, а по прихоти партии, «перебрасывавшей его на тот или иной участок работ» (термины специальные). С промышленного объекта в колхоз, а оттуда руководить учебным заведением или научным институтом, а потом вдруг — морским промыслом... Так осуществлялась полная потеря личной самоидентичности, когда не суть важно, *кто ты есть* на самом деле, а важно, *как ты называешься*, какую роль тебе «доверили». Вынести такую шизофреническую ситуацию могла только актерская психология, ставшая, как и отмечал Степун, в эту эпоху массовой. Существенно это было и для способности выживать в кровавом хаосе большевистско-мистериальной оргийности. В своих мемуарах Степун отмечал: «Ренегатов было в России

---

<sup>72</sup> Степун Ф. Религиозный смысл русской революции. С. 453.

немного: примитивный морализм не в русской природе, зато *оборотни вертелись повсюду*. В противоположность ренегату, *оборотень — человек многомерно-артистического сознания*. Поклонение новому не требует от него отречения от старого. *Разнообразные жизненные обличия он так же легко совмещает в себе, как актер разные роли*. С большевиками он большевик, с консерваторами — консерватор. С первыми он проливает кровь, со вторыми — слезы. И то, и другое, *в одинаковой степени лживо, но искренно*<sup>73</sup> (курсив мой. — В.К.).

Революционные фанатики и ригористы вымирали в тоталитарно-игровой ситуации (в тотальной игре!) довольно быстро. *Оставались и выживали — актеры*, которые и воплотили в себе тип человека тоталитарной эпохи, эпохи восстания масс. Вот бытовой, но многозначный пример. И Сталин, и его сподвижники являлись народу аскетами, суровыми бойцами и радетелями за счастье людей, хотя на самом деле жили они на спецдачах со спецпайками, участвуя в сталинских воистину лукулловых пирах. Но поразительно то, что двоедушия у этих людей не было, они разрешили это противоречие вживанием в каждую очередную роль. Похоже, Степун прав, что все ими делалось «в одинаковой степени лживо, но искренно».

## 9. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Разумеется, артистическая эпоха сама по себе, эпоха как таковая, не может быть виновата в такого рода последствиях. Она была результатом общеевропейского, если не общемирового кризиса. «Накануне великой войны, — писал Степун, — все мы жили кризисами — кризисом религиозного, политического и эстетически-эротического сознания»<sup>74</sup>. Артистизм, театральность характерны, как показывает исторический опыт, для любого слома традиционного мировоззрения. Сложность описываемого периода (начало которого можно

---

<sup>73</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 2. С. 371.

<sup>74</sup> Там же. С. 342.



увидеть в Великой французской революции) в другом, а именно в том, что кризис коснулся не верхней части населения, как в эпоху Возрождения (когда как противоядие были найдены *мера* и *перспектива* для нормального существования человека), а многомиллионных масс, соприкоснувшихся с историческим бытием и возможностью свободы. А, как известно, количество при своем росте неминуемо переходит в иное качество. Масштабы явления придали ему новое качество. Образовались — вместо мелких тираний Ренессанса — невиданные раньше человечеством гигантские тоталитарные общества. Так на антиисторических путях человечество поначалу попыталось справиться со слишком неожиданным расширением поля свободы, как, впрочем, и с увеличением списка действующих лиц на исторической сцене, где каждый, не имея цивилизованной привычки зрителя, хотел сам играть роль главного героя.

Однако парадокс этого контррenessансного движения заключался в том, что претендуя на вечность своего бытия, уверяя, что в основном человечество жило во внерenessансных структурах, что антиличностный период занимает большую часть времени всего существования человечества, оно *не учитывало силы уже запущенных историей механизмов цивилизации*. В «Бесах» Достоевским было предсказано очень многое из того, что случилось. И тут не только попытка главного «беса» Петечки Верховенского «склеить» свои *пятерки* — прообраз будущего общества — кровью, своего рода жертвоприношением, но и связь народного возмущения, бунта рабочих с устроенным «бесом» театральным представлением-капустником, где все оказались носителями той или иной *маски, актерами*. А далее *все это кончается самоубийством главного героя* Ставрогина, того, который «подарил» свои идеи разным действующим героям «Бесов». Так и деятели артистической эпохи, смоделировавшие возможный тип жизнеустройства надвигавшегося будущего, либо эмигрировали из страны (Вяч.Иванов), либо приняли большевизм (Брюсов), либо были уничтожены «неблагодарными беса-

ми» (Флоренский). Усвоившими их модели, но отвергнувшими их идейное наполнение.

Достоевский связывал преодоление «бесовщины» с православием. Но несмотря на усилия того же Достоевского, затем Соловьева, Бердяева и других неорелигиозных мыслителей придать православию личностный характер, оно традиционно осталось закрепленным в общинно-государственных, антиличностных структурах. А механизмы цивилизации и гуманизации общества были когда-то рождены в лоне *личностного христианства*, затем приобрели собственную динамику. Выяснилось, что человечество не может уже оторгнуть наработанные им цивилизационные структуры, опробованные когда-то в эпоху Ренессанса на переходе от Средневековья к Новому времени. Ибо они предполагали движение, развитие. А главное — возможность благоустроенной жизни не только для элиты тоталитарного общества, а и для всех.

Процесс этого преодоления можно обрисовать, как постепенное воздействие цивилизационных структур на ментальность жителей тоталитарных обществ. Ведь *не был остановлен станок Гуттенберга*, и хотя он печатал «мнимую литературу» современности (выражение одного из героев каверинского «Скандалиста»), но также и классику с ее личностными смыслами, пробуждая у поколения новых читателей желание создавать нечто подобное, хоть «в стол». *Продолжали функционировать театры*, довольно быстро пережившие период агитки и обращавшиеся к зрителям *через рампу* с беседой и рассказом о вневременных проблемах общества, о которых зритель мог размышлять *наедине с собой*. *Оставалась станковая картина*, которой тоже были приданы функции агитпропа, но *сама форма искусства возрожденческого типа*, картины старых мастеров, хранившиеся в музеях, продуцировали художников независимого, личностного характера. Я уж не говорю о социально-политических и экономических влияниях западной цивилизации на социалистические страны. Их подданным были отчетливо видны успехи Запада в преодолении тоталитарного прошлого (там, где оно было), в развитии демократических институтов, свободного рынка, беспрепятственного обмена идей.

И еще, быть может, самое важное. Конечно, энтузиасты «нового порядка» погибают первыми, но надолго ли хватает энергии у *актеров* — быть хористами, жертвами и даже руководителями хора? Как нам продемонстрировал опыт России, обошедшейся — в отличие от Германии и Италии — без постороннего западноевропейского вмешательства, — *сорок лет* (1917-1957). Примерно столько, сколько водил Моисей евреев по пустыне после бегства из Египта. Число, похоже, сакральное. Энтузиазм уходит за это время окончательно, ибо постоянное нервное напряжение мистериально-возвышенной жизни не способен долго выдержать ни один культурный организм. Потом начинается ритуализация и формализация. То есть из теургического действия возникает театральный спектакль, где все немножко актеры, но все же в большей степени зрители, наблюдающие на телеэкранах вырождение правящего режима. Да и эти ведущие актеры устали быть попеременно то жертвами, то палачами, а уж хору тем более хочется со сцены в зрительный зал, где — по смыслу европейской цивилизации, впервые открытому Возрождением — большинству и положено быть. В очередной раз театр, выросший некогда из мистерии, победил оргийность, утвердив независимость человека. Ибо демократические институты (парламент и пр.) имеют именно театральный, но не теургический характер. Выброс энергии, рожденный «восстанием масс», завершился введением ее в цивилизованные рамки с разнообразными способами ее канализации — от футбола и бейсбола до телешоу и парламентских выборов.

Артистическая эпоха была прямым прологом этого восстания. Ее смысл замечательно выражен известными строками Брюсова из «Грядущих гуннов»:

Но вас, кто меня уничтожит,  
Встречаю приветственным гимном.

Степун как зоркий наблюдатель указал нам тип создания, тип человека, который подготавливался этой эпохой для «темных веков». Сейчас, по их завершении, мы можем судить, насколько верна была его догадка, его анализ одного из ведущих принципов жизнеповедения нашего недавнего прошлого.

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

### О НАЦИОНАЛЬНОМ МИФЕ НЕПОНИМАНИЯ

Среди отечественных Любомудров давно установилось мнение, что Западу не понять нашей сущности, наших особенностей, нашего своеобразия. А потому все попытки опереться на западный силлогизм в решении российских проблем приведут рано или поздно к неудаче. Однако пример последнего столетия, когда под видом марксизма, мы исповедовали собственное бесовство, предсказанное еще Достоевским, заставляет задуматься: точно ли в наших неурядицах виноват западный «самодвижущийся нож разума»<sup>1</sup>? Быть может, речь должна идти о недостаточной разработанности нашего мышления и сознания, приводящей к роковым абберациям, создающим определенные фантомы в нашем восприятии самих себя.

Один из таких фантомов есть миф о непостижимости, о загадке, о тайне, об особом предопределении русской судьбы, не поддающейся анализу разума. «Умом Россию не понять», — написал как-то Тютчев в стихотворении, ставшем программным для отечественного национализма, поводом к особой, специфической гордости, закрывающей путь к самопознанию. Между тем эта строка свидетельствует, скорее, о метафизическом отчаянии поэта, отчаянии, принадлежащем определенной мыслительной традиции.

---

<sup>1</sup> *Киреевский И.В.* Критика и эстетика. М., 1979. С. 251.

В 1845 г. Хомяков написал статью «Мнение иностранцев о России», в которой огорчился недоброжелательным взглядом иноземцев на российскую действительность, но объяснял его тем, что мы сами недостаточно себя знаем, что русские не осмеливаются мыслить самостоятельно, ожидая интеллектуальной помощи с Запада, называл это незнание «грехом неведения»<sup>2</sup>, но пытался показать, что Россия способна к самопознанию, несмотря на всю его трудность, которую приходится преодолевать и западным народам. Призыв *понимать* был очевиден и явился, видимо, ответом на сомнения Чаадаева, воскликнувшего в своем первом «Философическом письме»: «Где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто за нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь»<sup>3</sup>? Впрочем, Чаадаев же исходил из того, что русский ум мало подготовлен к подобной работе: «Все нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам чужд»<sup>4</sup>.

Вроде бы опасения Чаадаева были опровергнуты развитием русской поэзии (первый поэт России хотел «мыслить и страдать»), историсофскими построениями славянофилов, Кавелина, Соловьева, Ключевского, становлением русской мысли, решавшей задачу, которая явственно выразилась в заглавии книги Д.И. Менделеева — «К познанию России». XIX столетие, особенно поначалу, питалось пафосом рационалистического познания мира, европеизации и гуманизации почвенной жизни во всех странах Европы, к которой причисляли и Россию. Не забудем фразу екатерининского «Наказа»: «Россия есть европейская держава». Именно европеец Пушкин («француз» — по его лицейскому прозвищу) не только воспел дело Петра I, но сумел понять и нарисовать специфические явления русской жизни — от летописца Пимена, самозванничества, бессмысленного и беспощадного русского бунта до русской барышни как музыки и духовности России

---

<sup>2</sup> Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. С.88.

<sup>3</sup> Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С.24.

<sup>4</sup> Там же. С.23.

(«софийность» рубежа веков была подготовлена его интуициями). Что же касается европеизации Европы, вестернизации Запада, то и эта проблема, казалось бы, была ясна русским мыслителям. «Образованности в Западной Европе очень много, — писал Чернышевский. — Так: но неужели масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции еще до сих пор не остается погружена в препорядочное невежество? <...> Она верит в колдунов и ведьм, изобилует бесчисленными суеверными рассказами совершенно еще языческого характера. Неужели этого мало вам, чтобы признавать в ней чрезвычайную свежесть сил, которая <...> соразмерна дикости»<sup>5</sup>? Так что в своем движении к европеизации Россия стояла в ряду других стран, возникших в результате переселения народов и строивших свою цивилизацию под воздействием христианства и усвоения духовных и материальных завоеваний Античности.

Однако, как постоянно твердили русские мыслители, именно в России разрыв между европейски ориентированным слоем образованного общества и народом был многими степенями сильнее, чем в других странах Европы. Если в Московской Руси было общее бесправие, общая внеисторическая жизнь всех сословий, практически единый культурный уровень, то в послепетровское время образовался слой, наделенный правами, широтой культурного общеевропейского выбора, сознававший себя выразителем России. Но остался в прежнем положении народ, то есть сложилась ситуация, при которой, по удачному выражению Владимира Вейдле, «Россия стала нацией, но не включила в нацию народа»<sup>6</sup>. Влияние же почвенных, еще во многом языческих структур народного сознания на национальную ментальность создавало умонастроение, в корне противоположное личностному рефлексивному развитию. Не случайно в своей «Семирамиде» Хомяков замечал, что «русским можно лучше других народов Европы понять переход саг (сказаний) в мифы. Мы еще

---

<sup>5</sup> Чернышевский Н.Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 665.

<sup>6</sup> Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956. С.96.

недавно вышли из эпохи легковерной простоты и за-тейливой сказочности»<sup>7</sup>. И это умонастроение — от почвенно ориентированных мыслителей до крайних радикалов-нигилистов — утверждало неприменимость к России западных мерок. То, что Чаадаеву казалось трагедией, получило вдруг (среди первых — у И.Киреевского) окраску национальной добродетели, могущей вызывать только гордость и самоуважение. Но не у всех и не сразу. В 1859 г., возвращаясь с Запада домой, Тютчев так описал свое впечатление от Родины:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —  
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,  
В каком-то забытии изнеможенья,  
Здесь человек лишь снится сам себе.  
(«На возвратном пути»)

По Тютчеву, непокорность судьбе есть основной признак самосознающей личности. Здесь же человек себя не сознает, он себе лишь снится, это жизнь вне истории. Понять ее нельзя, ибо это и не природа: ни естественнонаучный, ни исторический разум здесь неприменимы. Что остается любящему свою страну поэту? «В Россию можно только верить», — это умозаключение Тютчева 1866 г. Здесь слышится безнадежность помрачнее, чем у Чаадаева. Ничего не может поэт найти утешительного, кроме смиренности и долго-терпенья, ибо не в состоянии понять *смысл* существования России. Тем более «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный...» Только почвенно, кровно сросшийся может не осознать, нет, это невозможно, — *почувствовать нечто*, а потому и поверить. «Верую, ибо абсурдно», — было сказано на заре «темных веков». Но так можно верить лишь в Бога, как Непостижимого. В данном случае, однако, происходит коренная подмена: *вера не в Бога, а в место*. А это чревато определенными последствиями.

Ведь если Россия является сакральным пространством, особым образом устроенным, которое живет по законам, неподвластным принципам жизнеустройства

---

<sup>7</sup> Хамяков А. С. Сочинения в 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 131.

остального мира, то бог этого места, разумеется, не наднациональный Бог, для которого «несть ни эллина, ни иудея», а бог языческий.

Невероятное усилие русских писателей и мыслителей конца прошлого века по христианизации России было в значительной степени продиктовано испугом, причину которого указал Достоевский, предъявив читателям угрозу «беса» Верховенского: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...» Об этом же и тревога С.Н.Булгакова, беспокоившегося о недостаточной укорененности христианства в русском народе: «Не приходится преувеличивать сознательности и прочности этой его старой веры (по Булгакову, в данном контексте, — православия. — В.К.), разлагающейся иногда от первого прикосновения»<sup>8</sup>. Удар «неоязычества» (С.Н.Булгаков) был тем сильнее, что народная вера, как показали русские богословы, включала в себя на равных правах веру в Христа и во всякую почвенно-языческую нечисть, иными словами, о преобладании Христа в сознании простолюдина было говорить рано: «Баба, ходившая «снимать килу» к колдуну, не чувствует себя согрешившей: она с чистым сердцем будет после этого ставить свечи в церкви и поминать там своих покойников. Церковь и колдун просто разные департаменты»<sup>9</sup>.

Язычество, которое, по слову Чернышевского, сохранялось не только в России, а также в Германии и других вроде бы цивилизованных странах, вполне доказало свою жизнеспособность и силу, девестернизируя и дегуманизируя европейское сознание. Это с приходом фашизма констатировал Томас Манн: «Есть в современной европейской литературе какая-то злость на развитие человеческого мозга, которая всегда казалась мне не чем иным, как снобистской и пошлой формой самоотрицания. <...> С модой «на иррациональное» часто бывает связана готовность принести в жертву и по-мошеннически от-

---

<sup>8</sup> Булгаков С.Н. Религия человекобожия в русской революции // Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С.131.

<sup>9</sup> Ельчанинов А., Флоренский П. Православие // История религии. М., 1909. С. 181.



швырнуть достижения и принципы, которые делают не только европейца европейцем, но и человека человеком»<sup>10</sup>. Россия попала в этот общий поток, возникший после взрыва в Европе подсознательных, почвенно-языческих инстинктов, которые возжелали управлять историческим процессом, тем самым отрицая его надсубъективную силу и смысл.

Инициированные христианством принципы исторического развития человечества по сути дела отрицались в тех странах, где восторжествовали почвенные боги, превратившие даже интернациональные идеи в племенные. Очень хорошо ложилась в этот контекст «непостижимость России».

Скрещение «чужого» рационального разума и почвенных влияний — языческих, порой почти магических, как показал Флоренский, — родило национальный (скорее даже, националистический) миф о России как стране, неподвластной пониманию. Существенно уточнить, что неподвластна она казалась именно уму, как порождению инородного Запада. Знание о стране давалось непосредственным, бытовым, можно сказать, физиологическим соприкосновением с ней, сопереживанием, чувственной пронизанностью ее почвенными токами. Так утверждается в России специфический феномен *знания помимо и вне понимания*, враждебный воспитанию и образованию свободно и самостоятельно мыслящего человека. Эту националистическую традицию вполне усвоили (хоть и бессознательно, я полагаю) большевики. Не случайно, победил в России не рациональный марксизм легальных марксистов, а «выстраданный», если воспользоваться термином Ленина. Этот «выстраданный» Маркс занял место национального идола. Книги Маркса можно было открыть, а можно и не открывать: и без чтения правда жизни очевидна.

Это гениально выразил в предсмертной поэме Маяковский:

Мы открывали  
Маркса  
каждый том,

---

<sup>10</sup> Манн Т. Письма. М., 1975. С. 61-62.

как в доме  
    собственном  
        мы открываем ставни,  
но и без чтения  
        мы разбирались в том,  
в каком идти,  
        в каком сражаться стане.

В советской жизни после победы революции возник весьма обширный и влиятельный слой людей, исполнявших роль идеологических жрецов, которые не читали Маркса, не понимали марксизм, но разбирались и знали твердо, что про него надо говорить и каким образом орудийно использовать. Утверждения Каутского и других западных социал-демократов, что ленинцы идут против теории, были с презрением отвергнуты, как мещанские, т.е. такие, которым доступен только поверхностный, понятийный слой жизни, но заказан путь к истине «живой жизни». Рассудочности, логистике, «отвлеченному разуму» (И.В.Киреевский) снова противопоставлялась наша глубина, которая недоступна пониманию западных мыслителей. Блестящий шарж на подобное национальное самовозвеличение можно найти в «Арабесках» Андрея Белого:

«Говорят, что широкая славянская натура чуждается тех рамок, в которых с таким удобством уживается натура немца. Говорят, что славяне глубже французов. Глубина и ширина сочетаются в нас, русских. <...> Глубина отрывает от жизни, ширина сжигает душу — и беспочвенный, но широкий и глубокий русский интеллигент оказывается с отчаянием в душе и опущенными руками пьяницей после запоя. <...> Или тугоумен Кант? Быть может, тугоумна немецкая культура и мы пользуемся всеми этими Кантами, Марксами, Вагнерами и Бетховенами только для того, чтобы, претворив их в нашей глубокой и широкой душе, явить миру десятки Марксов! <...> За границей есть строгое разделение повседневной жизни от жизни творческой. <...> У нас нет повседневности: у нас везде святое святых. Везде проклятая глубина русской природы отыщет вопрос. <...> И как пьянице вино, так интеллигенту — словесное общение; предмет общения: всегда прокля-

тый вопрос. И мы углубляем вопрос до невероятности. А ответ на вопрос — живой, действительный акт — убегает в неопределенность. Оттого-то у нас все вопросы — вопросы проклятые. <...> Так создаем мы себе убеждение, что мы необыкновенно глубоки. Но глубина эта — часто словесное пьянство. Да, слова наши — пьянство. И часто мы в кабаке. Кабак всегда с нами»<sup>11</sup>.

Парадоксальным образом этот шарж подтвердил Александр Зиновьев, с настойчивостью доказывавший во всех своих произведениях, что пьяный словесный всплеск российского интеллигента, отрицающего саму возможность понять окружающую действительность, важнее и сложнее не только коммунистической партийной идеологии, но и западного сухого рационализма. Непонимание мира было объявлено им глубиной. Ограниченность подобной критики сделалось очевидной, когда русские партократы и сталинисты стали причисляться философом-диссидентом к выразителям непостижимой российской сущности. Основной рефрен его текстов: Западу нас не понять, он может нас переиграть, но по-прежнему не понимая, с кем или с чем имеет дело. Самоуничтожение сливается с «чувством законной гордости» за собственное неумение жить. И думать. И понимать. Западу не понять, а Зиновьеву знание о России дано нутряно, почвенно, экзистенциально, если не побояться западного термина.

Впрочем, подобное знание было всем нам явлено в советские времена в «письмах трудящихся»: «Я Пастернака не читал (т.е. не хочу понять), но знаю, что он наш злейший враг». И т.п. Этот иррационализм стал нашей повседневностью, чтобы не сказать — *нормой* жизни. Механизм культуры, отказывающейся от самопознания, несмотря на усилия писателей и мыслителей XIX столетия, возобладал, создавая в умах инакомыслов не желание понять, а ощущение доблести: «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя», совершенно непостижимо — а мы боремся с ним. Такое сознание льстило и власти, придавая ей сакральную

---

<sup>11</sup> *Белый А.* Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х т. М., 1994. Т. 2. С. 325-328.

глубину. В постперестроечные времена это чувство непостижимости сказалось в ставших общеизвестными словах государственного человека: «Хотели, как лучше, а оказалось, как всегда». То есть присутствует в нашей реальности нечто, не поддающееся осознанию, пониманию и переделке.

А раз невнятен высший смысл бытия в этой культуре и чужд ей сложный Пастернак, враждебны Замятин, Ахматова и Зощенко, неизвестны творения отечественных философов, то ничего другого не остается как описывать ее (что и делали писатели-«деревенщики»: В.Белов, В.Распутин и др.) *этнографически*, как некогда Миклухо-Маклай страну папуасов. Но поскольку писали о себе, то не научно-аналитически, как о дикарях ученый, а ностальгически-умиленно. Хотя тоже безо всяких поисков у своих героев стремлений духа, работы мысли, высокой страсти. Злокозненно-изворотливым умом наделялись, как правило, персонажи — пришельцы из западной цивилизованной жизни, ибо ум с его разлагающим анализом противопоказан, конечно же, *ладу почвенного мира*. Противоположности, однако, сходятся: нынешние постмодернисты тоже исходят из непонятности, неподвластности рассудку принципов российской жизни. Они поэтому работают на уровне партийно-коммунистических клише, передразнивая их (Д.А.Пригов), но отказываясь от обсуждения отечественных проблем и коллизий по существу.

Как недавно было заявлено в одной независимой газете критиком-постмодернистом; мы текстов не читаем, обходясь «дискурсом» по поводу выпущенной писателем книги. Но ведь, казалось бы, они люди, понимающие, что *все есть текст*: мир, страна, жизнь, судьба, книга, картина и т.п. И этот текст надо читать, стараясь вникнуть в него. Как говорил еще Пушкин: «И с отвращением читая жизнь мою...». Здесь же знают и выносят суждение до чтения. Не случайно, постмодернисты так решительно отвергают и не читают русскую классику, хотя и допускают ее в свои «дискурсы»: вполне как их духовные отцы — партноменклатурные литераторы. Потому что русская классика от

Пушкина до Бунина была одержима стремлением понять свою страну, свою действительность, тем самым как бы переналадить механизм культуры, демифологизировать ее, десакрализовав все ее понятия и учреждения: от помещиков и чиновников (Гоголь), государства и церкви (Лев Толстой), купечества (Островский), интеллигенции и крестьянства (Чехов и Бунин), армии (Куприн и Замятин) и т.п.

Трагично бытие людей, желающих понимать. Реальность, утвердившаяся на почве бесчеловечного мифа, отрицавшего разум, была безусловно и категорически отвергнута Мандельштамом, искавшим опору именно в разуме, в рацио. В статье «Девятнадцатый век» (1922) он сформулировал это: «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом, — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. <...> Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум энциклопедистов — священный огонь Прометея»<sup>12</sup>. Поэт оказался прозорливее многих своих ученых современников, винивших во всех бедах нашей жизни рационализм западной теории. Ее достоинств и недостатков обсуждать здесь не имеет смысла, ибо речь о другом. О том, что наша жизнь очень долго была построена на пафосе непонимания — запрете мысли, чтения и попыток самостоятельного размышления о судьбах мира.

Желая свободы мысли, возможности самореализации, не стесненного догмами образования, правового и открытого общества, мы встаем перед неимоверно сложной проблемой. Можем ли мы рассчитывать хоть как-то повлиять на идущий исторический процесс? Говоря словами поэта, «европеизировать и гуманизировать» его?.. Очевидно, не более того, как удалось это самому Мандельштаму. Однако ему и другим «потер-

---

<sup>12</sup> Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 86.

певшим крушение» в XX столетии гуманистам на самом деле удалось многое. Они сохранили и передали нам свое отношение к миру. И от наших усилий зависит сегодня не просто беседовать (или «вести дискурсы» по поводу), но — понимать. Утверждая *понимание России умом* как национальную добродетель. Чтобы эта добродетель стала фактом культуры, способным к дальнейшей ретрансляции.

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Исторический опыт России .....	11
I. Западничество как проблема «русского пути» .....	13
II. Стихия и цивилизация: два фактора «российской судьбы» .....	41
III. Является ли Россия исторической страной? (К спорам о евразийстве) .....	83
IV. Свобода или произвол? (К вопросу о российской ментальности) .....	107
V. Насилие и цивилизационные срывы в России .....	138
VI. О необходимости у нас бюрократии .....	192
VII. Демократия как историческая проблема России .....	204
VIII. Меняется ли российская ментальность? .....	244
IX. «Лишенные наследства» (К проблеме смены поколений в России) .....	255
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Литература и историософия .....	291
X. Книжность как фактор просвещения и свободы в России .....	293
XI. Русская литература: желание и боязнь капитализма (Пушкин и Гоголь) .....	301
XII. Александр Герцен: Запад и Россия, революция и литература .....	331
XIII. Иван Тургенев: Россия сквозь «магический кристалл» Германии .....	345
XIV. Карнавал и бесовщина («Бесы» Ф.М.Достоевского) .....	390
XV. Артистическая эпоха и ее последствия (По страницам Федора Степуна) .....	416
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
О национальном мифе непонимания .....	467

**Владимир Кантор**  
**«...ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА»**  
**Россия: трудный путь к цивилизации**

*Художественное оформление А. Сорокин*

ЛР № 030457 от 14.12.1992. Подписано в печать 20.06.1997.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 27,4. Тираж 1500 экз. Заказ № 1929

Издательство «Российская политическая энциклопедия»  
(РОССПЭН)

129256, Москва, ул. В.Пика, д. 4, корп. 1. Тел. 181-00-13 (дирекция).  
181-04-13 (отдел реализации). Факс 181-01-13.

Отпечатано в Московской типографии № 2 РАН  
121099, Москва, Шубинский пер., 6